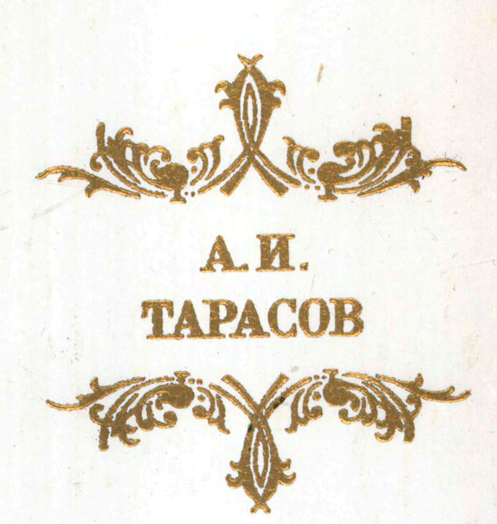
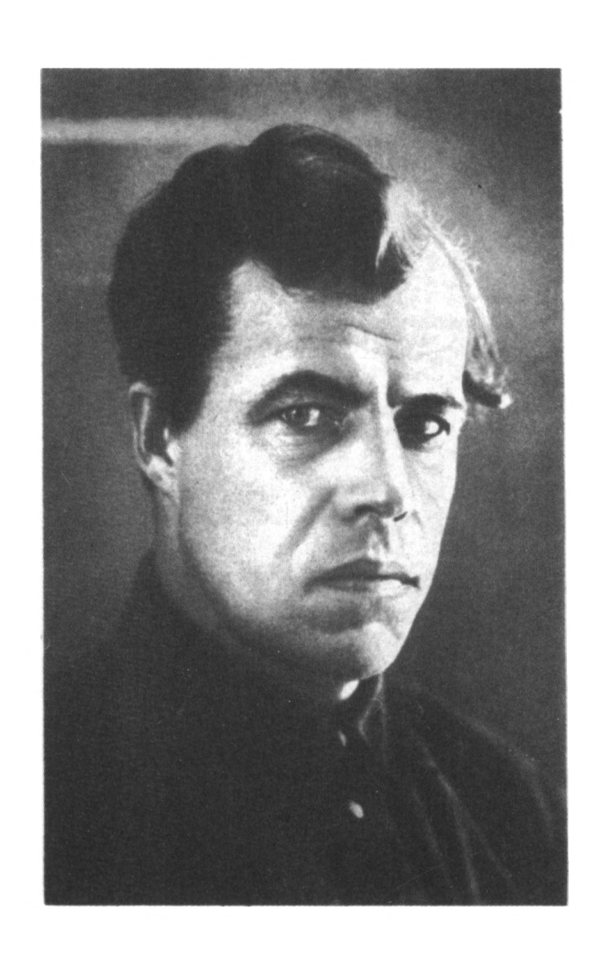

А. И.
ТАРАСОВ

Необъятно богата сокровищница
русской литературы.
Помимо гениев, обозначивших вехи
в духовном развитии человечества,
свой вклад в нее вноснлн
и многие менее известные писатели,
заслуживающие нашего внимания
и доброй памяти.
Заботу об издании таких писателей
заповедал нам Владимир Ильич Ленин:
«...мы должны вытаскивать из забвения,
собирать их произведения
и обязательно публиковать отдельными томиками.
Ведь это документы той эпохи»

(В. И. Ленин о литературе и искусстве.
6-е изд. М., 1979, с. 699).



ИЗ НАСЛЕДИЯ

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ

Будни

Повести и рассказы

«СОВРЕМЕННИК»
МОСКВА
1985

Р2
Т19

Составление, вступительная статья
и комментарии *В. А. Оботурова*

Тарасов А. И.

Т19 Будни: Повести и рассказы/ Вступ. статья и коммент. В. А. Оботурова.— М.: Современник, 1985.— 432 с., портр.— (Из наследия).

В пер.: 2 руб. 40 коп.

Александр Иванович Тарасов (1900—1941) заявил себя как писатель в 30-е годы Уроженец вологодской деревни, он до конца своих дней не порывал связей с земляками, и это дало ему обильный материал для его повестей и рассказов В своих произведениях А И Тарасов отразил трудный и своеобразный период в жизни северной деревни — от кануна коллективизации до войны

В настоящем сборнике публикуются повести и рассказы «Будни», «Отец», «Крупный зверь», «Охотник Аверьян» и другие.

Т $\frac{4702010200-308}{М106(03)-85}$ 117—86

ББК84Р7
Р1

Александр Тарасов и его проза

Очень драматично порою складываются судьбы людей в литературе... Пятнадцать лет неустанно заниматься самообразованием, извести горы бумаги, познать недолгий, но бесспорный успех и безоговорочное признание критики и — погибнуть, только-только выйдя на порог зрелости. А потом, посмертно,— оказаться забытым на многие годы: в самом деле, много ли значат два томика общим тиражом двадцать тысяч за сорок лет... Такова была судьба А. И. Тарасова (1900—1941), крестьянского сына из дальней вологодской деревни.

На берегу реки Вожеги, впадающей в озеро Воже, на пограничье двух северных губерний — Архангельской и Вологодской — раскинулась небольшая деревенька Назаровская Кадниковского уезда (ныне — Вожегодского района). Здесь 27 марта 1900 года в семье крестьянина Ивана Федоровича Тарасова родился сын, крещенный Александром. Семья многодетная, дети — ма́лы, потому неизбежной была бедность. «9 человек, $1^1/_2$ надела, хлеба до рождества»[1],— запишет позже в кратких биографических заметках А. Тарасов.

Окончив трехклассное земское училище в соседнем селе Подчеварово, Саша начинает помогать семье — работает ремонтником на железной дороге, землекопом, плотником в Архангельске. В 1918 году он избирается секретарем комитета деревенской бедноты в родной деревне, а весной следующего призывается в Красную Армию. Сначала служит в Ярославле, потом едет на Восточный фронт (Уфа, Троицк, Сызрань) и участвует в боях с белогвардейцами. В 1920 году Тарасов направляется на год в Петроградский народный университет, посещая занятия «с перерывами на несение патруля по городу во время Кронштадтского мятежа» (ВОГА, ф. 49, оп. 1, д. 440, л. 1). Воинскую службу Тарасов заканчивал под Ленинградом — в Луге, Лахте.

В 1922 году, вернувшись со службы, Александр Тарасов работает в отцовском хозяйстве, через год принят в члены РКП(б), назначается избачом в Бекетове (волостной центр), становится селькором и создателем первой комсомольской ячейки. В 1924 году Тарасов едет учиться в Воло-

[1] ВОГА (Вологодский областной государственный архив), ф. 49, оп. 1, д. 435, л. 1. В дальнейшем ссылки на архив даются в тексте.

годскую губсовпартшколу, организует сначала группу «Борьба», а потом зависимую от «Перевала» литературную группу «Спайка».

Молодые литераторы Вологды: Непеин, Смуров, Ушков, Студенецкая, Попов, Козлов, Гибшман, Романов, Пестюхин, Якорев, Вячеславов и другие с азартом взялись за работу. Они сумели подготовить и издать два сборника —«Зарницы» (1925) и «Северный альманах» (1926) —«это только первые шаги молодых начинающих художников слова», как сообщали они от редакции.

И рассказы А. Тарасова —«В лесу», «В тумане», «Ниточка бус» («Зарницы»), «Корни», «Наследство», «Присуха» не очень выделяются среди других произведений сборников, хотя чувствуется у молодого писателя и серьезный жизненный опыт, и чуткость к слову. Может быть, лишь рассказ «Корни» стоит особняком, как первый вариант будущей повести «Отец», но будет он коренным образом переработан. И молодой писатель не самообольщается, хотя и отмечает у себя «благоговение перед «большими» писателями», поскольку он «всю жизнь мечтал научиться писать» (ф. 49, оп. 1, д. 435, л. 2.). Однако сомнения его не оставляют: «Думаю, я не писатель,— горько сознается он перед собою.— Пестюхин уверяет, что из меня толк выйдет. Соблазняет. Снова пишу» (там же, л. 4). И тем не менее два года после совпартшколы ничего не выходит из-под его пера.

Он работает в это время в следственных органах города Кадникова, библиотекарем в Няндоме, часто бывает у родных дома. А деревня пробуждается в ожидании перемен, и это напряженное ожидание почувствовал А. Тарасов. Он берется за повесть «В цвету черемухи», замысел которой был поддержан издательством «Федерация», и в 1929 году повесть вышла отдельным изданием под названием «Будни».

Содержание ее точно определено названием: будни северной русской деревни накануне коллективизации. Сравнить это произведение писателя можно с широко известной повестью К. Горбунова «Ледолом», изданной в том же году, высоко оцененной А. М. Горьким. Молодой писатель Тарасов впервые пришел к настоящему большому успеху, и сейчас диву даешься, почему «Будни» остались обойдены вниманием критики.

От первой до последней строки А. Тарасов так прост и органичен, что не замечаешь строгой выстроенности произведения. Автор скуп в отборе материала, однако охватить сумел многое. И пусть в центре повести лежит семейный конфликт, уже сам по себе открывающий черты нового в жизни деревни, писатель сумел свежо и непосредственно показать накопление тех сил, созревание тех условий, которые привели к коллективизации.

Самые обычные для деревни события: передел сенокосов и пашни, организация избы-читальни, свадьба и поседки, гуляния, столкновения взрослых и детские игры — все это идет чередой, прихотливо переплетаясь, создавая реальное ощущение жизни. Работает крестьянин среди природы, и немногословные пейзажи, создавая общий фон, еще и формируют настрое-

ние повести. Объем ее углубляется и за счет бытовых деталей: скажем, начиная разговор с навестившим его соседом, крестьянин не сразу оставит поделку, которою занимался до встречи.

Исподволь складывается система персонажей: это люди, живущие одним и тем же трудом на земле, но очень разные. Понимая разницу их жизненных интересов и целей, А. Тарасов видит классовую подоплеку, но далек плоского социологизма, характерного для литературы той поры. Не все персонажи прорисованы достаточно отчетливо (ведь и объем повести невелик), но главных мы представляем себе живо и непосредственно. Понимает молодой писатель детскую психологию, умея и через ребячьи отношения показать черты времени. А самое главное, он знает: мир не без добрых людей,— он умеет и любит рисовать тех людей, чьи образы по праву можно назвать положительными.

Отмечая этот момент, надо иметь в виду, что писатели в конце двадцатых годов, как и их предшественники (И. Вольнов, А. Подъячев и т. д.), рисовали деревню дикую, темную, задыхающуюся от невежества. Было и такое: А. Тарасов покажет крестьян в резком споре на переделе пашни, набросает сцены хулиганства на праздничном гулянии. Но он всегда видит, в ком проявляется злоба и дикость, и, понимая причины невежества, умеет уважать трудолюбие мужика и присущее труженику чувство собственного достоинства, его житейский и нравственный опыт.

В центре повести образ Федора Дмитриевича Жижина (в просторечии, обычном для деревни,— Федька Жиженок), молодого мужика. Лет десять назад, вернувшись с первой мировой, был он заводилой всех перемен в родной деревне Красный Стан, инициатором перераспределения земли для бедняков. Однако рушилось собственное хозяйство, и Федька вынужден был отойти от общественных дел, но вот недавно он избран сельским исполнителем. В этой своей роли вместе с секретарем Алехой Шарганчиком при участии мужиков всей деревни руководит он переделом земли. Сейчас, наверное, уже многим непонятно, что такое «передел», это очень существенно для понимания тогда происходившего. Дело в том, что северная Россия не знала частной собственности на землю, которая принадлежала миру, общине, и раз в несколько лет перераспределялась с учетом изменения числа душ (мужских) в семье до революции и по числу едоков — после революции. Участки пашни неравноценны по качеству, и, чтобы не закреплялась несправедливость, принадлежность их определялась жребием. Понятно, что держатели удобных земель (чаще всего — зажиточные мужики) исхитрялись получать или сохранять лучшие участки. Так и в деревне Красный Стан, где Федор Жижин как сельский исполнитель обязан был обеспечить справедливую дележку.

Делят на мелкие клинышки, да ещё оставляя межи, разные угодья, добавляя меру тому, кому клин достался похуже. Федор радуется, что дележ идет мирно, без большой ругани, а мечтаются ему широкие поля,

на которых севообороты ввести можно. Знает он, кое-где у соседей уже добились этого, однако без полного согласия сельского схода такое невозможно. А деревня Красный Стан от согласного житья пока далека: зажиточные мужики Куленок да Семен Гиря поперек встанут, у них свои цели.

И все-таки что-то назревает мало-помалу (а что — этого не знал и сам А. Тарасов). Вот мужики, собираясь вечерами, вместо книг про Ника Картера или Иоанна Кронштадтского начинают читать новые книги из сельской избы-читальни, приобщаясь к земледельческой науке. Вот тесть Федора Епиша в дальней деревне увидел за работой общественную молотилку и загорелся целью объединить мужиков на общее дело — совместное приобретение и использование сельхозмашин. «Кабы мне да ваши-то годы!— говорит Епиша, укоряя Федора в вялости.— Всех бы заставил в одно сердце слиться...» И верится, заставит: так глубоко и точно по-народному выразился идеал коллективного труда. Вот ребятишки, услышав разговоры взрослых, по-своему предвосхищают события: «Никола говорит, будем кулаков мылить»— и строят наивные догадки: как это? А на деле — мужики со следующего года собираются переходить на многополье: это одна из форм простой кооперации, углубляющая коллективные начала владения личными наделами. Это были заметные сдвиги, а слова «колхоз» тогда еще, наверное, и сам А. Тарасов не знал, но очень чуток был молодой писатель ко всем переменам в деревне. Сейчас-то нам понятно, что настроения в деревне середины 20-х годов, которые по горячим следам отражал А. Тарасов, подготовили коллективизацию. И обострение классовой вражды он заметил своевременно, однако показал без тенденциозности. Семен Гиря и Куленок всеми силами сопротивляются сближению других мужиков, дружно отстаивают свои интересы. А Семен натравливает на потенциального противника своих собутыльников или находит иной способ во что бы то ни стало унизить врага в общественном мнении.

Врагом номер один оказывается для Семена Гири сельский активист Федор Жижин. Переливы переживаний всех членов семьи Жижина, сложность складывающихся отношений с удивительным чутьем и тактом передает молодой писатель. Нет, он не прибегает к психологическому анализу, внутренних монологов не использует и прав в этом, поскольку крестьянин чужд рефлексии. Внутренний мир героев открывается в реакции на деталь (Федора мучат глаза сына, в которых видит он ненавистный отблеск Гириных глаз), в реакции на сказанное друг другу слово.

Исход драмы происходит на людях. Это не тот штамп, что сложился в литературе позже: чуть что случилось — беги к коллективу, а люди спасут. Дружеское участие Алехи Шарганчика, несколько бестолковое, да извечная тяга мужиков к общению друг с другом, усиленная новыми интересами,— вот что сыграло свою роль. А последнюю точку помог поставить тесть: «— Больно-то не кисни!.. Эко дело, подумаешь. Я старик, да ни на что не смотрю... И ты плюнь, взгляни повыше. Да и некогда этим занимать-

ся ..» Некогда, потому что впереди ждет большое общественное дело. Вот эта высота нравственных представлений крестьянской среды, способность безоглядного прощения — не от слабости, а от сознания собственной силы,— привлекательны в образе добродушного и могучего старика Епиши

Светом большой надежды полна концовка повести: «Солнце поднималось все выше, искрились, горели сугробы — и не было на душе у Федьки ни страха перед будущим, ни злобы».

Трудно поверить, что «Будни» появились сразу после тех, первых рассказов,— шаг сделан А. Тарасовым очень значительный. А следующий — роман «Ортодоксы», опубликованный в журнале «Земля советская» (1930, № 7 — 8),— в нем писатель использует свои наблюдения из жизни совпартшколы в условиях яростной борьбы с троцкистами. Критика встретила роман недоброжелательно. Даже Петр Замойский, читавший роман в рукописи, не принял критической позиции А. Тарасова. Вот запись его 25 января 1930 года: «...написано хорошо, местами чрезвычайно хорошо. Типы партшкольцев почти физически ощутимы. Видны их лица. Они живые, яркие, четкие. Сцены некоторые так сильно даны, что забываешь даже, рукопись ли лежит перед тобой или это само действие происходит и наблюдаешь его...» (ф. 49, оп. 1, д. 522, л. 1) Отдельной книгой роман «Ортодоксы» никогда не выходил.

С 1930 года литературная работа становится основным делом жизни А. И. Тарасова. Весной этого года он приезжает в Москву учиться в институте кинематографии, но его постигла неудача. Вот что он пишет об этом в автобиографических заметках: «...выдерживаю испытание на сценарное отделение. Но общежития нет, с квартирой устроиться не могу, когда нахожу приют у одного работника Литфонда, оказывается, из списков учащихся института уже вычеркнут» (ф. 49, оп. 1, д. 440, л. 1). Будущему писателю не легко было найти свое место в Москве, ему приходится неустанно заниматься самообразованием.

А одновременно Тарасов много ездит по заданиям редакций газет и журналов (Сибирь, Урал, Средняя Азия, Вологодчина, Архангельск и т. д.), публикует очерки в «Лесной промышленности», «Комсомольской правде», в журналах «Красная новь», «Земля советская», «Наши достижения». Не оставляет молодой писатель и художественной прозы: в первой половине тридцатых годов (а кое-что, видимо, и раньше — многие рукописи не датированы) он написал повести «Синие поля», «Дальним волоком», «Легенда об исчезнувшей деревне», «Кривая дорога», «Повесть о комсомоле», «Удивительные происшествия в городе Ротозейске» и другие, а также множество рассказов. Сохранилось в архиве писателя немало планов, замыслов, набросков, в их числе повести «Сыны деревни», «Соль земли»— из жизни провинциальной богемы и т. д. Возможно, некоторые из этих произведений опубликованы и «утонули» в журнальной периодике. Известно также, что в 1931 году А. Тарасов работал над романом «Инь-

ва» (сохранилась датированная машинопись объемом 277 страниц).

Работа велась писателем огромная, а, судя по всему, печатать прозу он не спешил, не будучи уверен в успехе. Только с 1935 года к читателю одна за другой пошли новые повести А. Тарасова, прежде всего в «Красной нови», а потом и отдельными изданиями.

Только однажды обратился Александр Тарасов к жизни дооктябрьской еще деревни в повести «Подруги» (1935), проследив путь двух своих героинь с их девичьих лет и горького замужества до старости, что пришлась уже на первые колхозные годы. Эту вещь пересказать невозможно, поскольку она сама по себе прямой, несколько стилизованный под прямую речь крестьянки сказ. И ведется он по воле настроения старой Александры, ассоциациями нередко неожиданными, воспоминаниями порою случайными. И тем не менее в неожиданном и случайном А. Тарасов сумел не только воплотить характеры героев в единстве языка и образа жизни, но и сам этот образ жизни. Воссоздают его и картины труда, и семейные сцены, и деревенские гуляния с их песнями и частушками. Во многом А. Тарасов предвосхитил искания «деревенской прозы» конца шестидесятых — семидесятых годов, то есть уже нашего времени. А тогда, в середине тридцатых, повесть была необычной и оказалась не всем понятной. Во всяком случае, оценили ее по достоинству не сразу.

Рассказ Александра Тарасова «Отец» (1935) — это своего рода лирическое повествование о последнем единоличнике. Дело не только в том, что речь ведется от первого лица, причем в рассказчике по приметам биографии угадывается сам автор. Определяющей оказывается интонация: в ней нет и тени осуждения или шельмования отсталого человека, тупо не принимающего нового. Позицию писателя определяет сочувствие старому отцу, неспособному отрешиться от привычных представлений, и горечь сожаления. А выявляется смысл драмы на фоне объективных картин жизни деревни, вступившей на новые пути.

Одна деталь, оброненная в самом начале повествования, весьма красноречиво свидетельствует об искренности рассказчика. Сын приезжает к отцу в деревню после пятилетнего перерыва. Тут же в доме появляется любопытный сосед Манос, которому очень хочется казаться умным. Он бесцеремонно берет записную книжку гостя из его рук, читает: «Письмо из деревни. Опять отец просит денег. Что я им — денежный?..» Реакция рассказчика: «Не давая дочитать, я беру книжку и прячу ее в карман. Лицо мое горит... Мне стыдно смотреть и на отца, и на всех домашних». Здесь невозможно усомниться в житейской достоверности сцены, и впредь писателю веришь уже в каждом слове.

А почему бы не верить? — но речь ведь идет об отце, и не каждому в подобном случае хватит духу быть правдивым до конца. Тарасов — смог. «В моих мыслях он двоится, — скажет рассказчик позже. — Мне жаль в нем

того, первого, безгранично простого, доброго, и меня злит этот второй — жадный, упрямый, во всем сомневающийся».

Каков же он, отец, первый и каков — второй?

Немногие вехи жизни отца отражены в скупых дневниковых записях: родился он в 1864 году, наречен Павлом, женился в 1889-м, сын Андрей родился в 1900-м, в 1925 году умерла жена. Слова об этом последнем событии выведены «нетвердой рукой». Он был хороший семьянин, после смерти жены один воспитывал младших детей. По-своему заботился и о старшем, приучил его к чтению, и до сих пор Андрея волнуют эти «книги из корзин коробейников всего уезда, десятки лет оберегаемые, без счета раз прочитанные». Пусть эти книги лубочного содержания, исторические или приключенческие,— внося разлад в юный ум, они все-таки утоляли страсть познания. Но еще красноречивее они характеризуют отца.

Деревенский книгочей, каких немало было по России, он был и неутомимым тружеником, возделывающим свою пашню, и умелым мастером-бондарем. Труд, пусть тяжелый и напряженный, ему в радость и удовольствие. Таков он первый. Но что же тогда мешает ему войти в колхоз?

Нет, ничего вразумительного отец сказать не может: вступить в колхоз для него — будто «назад пятками ходить», «все равно что волосы снять да среди бела дня по деревне пройти»... Короче, за этими окольными, по-крестьянски замысловатыми высказываниями — страх перестраивать жизнь, стариковское упрямство, наконец. Даже на раздел с детьми пошел отец, мучается в одиночестве, не желая подстраиваться ко всем.

Нет, старик вовсе не против Советской власти и не осуждает тех, кто вступил в колхоз. Скрывая свой интерес, приглядывается он, как люди работают в колхозе, об этом же частенько спрашивает сына. Ходит он на колхозное поле, на котором впервые в этих северных местах посеяли озимую пшеницу. С тревогой думает отец и о том, что он остался единоличником в числе немногих, среди которых и такой бездельник, как Кисяй. «Оба и с сыном-то ничего не делают, только мотаются да спят... Вот так всю жизнь прожил»,— говорит он о нем сыну.

Нелегко, непросто примеривается к колхозу старый крестьянин, не сразу избавляется от раздражения но все ближе и ближе он к односельчанам. И сын, не желая обижать отца, стремясь переубедить его фактами, уже верит, что скоро, скоро отец будет со всеми вместе.

Обаятельный образ молодой колхозницы создает Александр Тарасов в рассказе «Анна из деревни Грехи» (1936). Она в колхозе — новенькая: познакомившись на лесопункте с Егором, выходит за него замуж и приезжает к нему в деревню. Пристально приглядываются колхозники к молодухе,— так бывало всегда и раньше,— нравы крестьянской среды пока мало изменились. Да и зачем бы им в этом меняться? Тех, с кем рядом живешь и работаешь, знать надо.

Всем привлекательны приветливость Анны, ее сноровистость в любой

работе — траву ли косить, рожь ли серпом жать... В этом рассказе, наверное, впервые так подробно рисует А. Тарасов картины коллективного труда. Работа, кажется, все та же, извечная, но писатель знает ее так дотошно, так увлечен своими героями, так радуется единству людей в совместном труде, что нельзя не увлечься вместе с ним. И природа своей летней щедрой роскошью, принимая работающих людей, пленяет нас.

Рады односельчане видеть красивую счастливую пару, а рослый широкоплечий Егор тоже очень заметен,— только исподволь начинает назревать что-то неладное. На покосе Егор заметно отстает от своей жены,— он тут вовсе не из первых. А вот поговорить, похвастать — горазд. Сам Трофим, отец Егора, замечает это и однажды в разговоре обрывает хвастовство сына: «Пустой колос высоко стоит». Вот так по-крестьянски Трофим основателен во всем: и в слове, и в работе,— и справедлив. Обидно ему за сына, однако и невестка ему дорога, внушает уважение. Не в силах он упрекать ее в том, что она мало-помалу охладевает к Егору. Отца раздражает жалкая самовлюбленность сына. Вот на березовом полене он видит буквы «Е. Т. Д.» и отмечает про себя, что «они были вырезаны глубоко, с большим упорством и любовью». И снова те же буквы на прялке, которую Егор сам сделал и подарил матери с надписью: «За решительность дела и качество работы вселюбезнейшей матери от дорогого сына». А прялка возьми и сломайся... В старое время, думает Трофим, «баба принимала мужа таким, каким он был, покорно и безропотно», и видит, что теперь не так, и, болея за сына, все-таки не осуждает невестку.

Новь утверждала в деревне свои законы, и нравственное достоинство старого крестьянина А. Тарасов увидел в том, что он принимает эти законы, пропуская через свой собственный жизненный опыт. А у молодых героев писателя тут и вопросов не возникает. Анна способна глубоко любить, но не может уважать хвастуна, а тем более притворяться перед людьми. Таков и молодой бригадир Никита, внешне невидный и застенчивый, но искренний и деловитый,— не зря его уважает Трофим.

Показывая деревню в начале колхозной жизни, А. Тарасов сумел не только увидеть ростки нового в отношениях людей. Он нашел себе опору и в традициях отцов, одним из первых создал прекрасные сцены труда. А главное, в деревне, только-только вступающей на новый путь, он увидел красивых, нравственно здоровых людей, которые многое обещали на будущее.

Несколько необычны по сюжету повести Александра Тарасова «Крупный зверь» (1939) и «Охотник Аверьян» (1940),— в них отразилась противоречивая реальность нашей жизни в тридцатые годы. Сближает их и общность ряда героев: Манос (впервые появившийся еще в рассказе «Отец»), председатель сельсовета Макар Иванович, охотники Онисим и Лавер.

Сейчас нам трудно представить, как быстро и спокойно вошла в свои берега деревенская жизнь после коллективизации за какие-то пять-шесть

лет. Совместная работа уже привычна людям, ни о каких мятущихся собственниках и речи нет. Писатель приглядывается к тому, как в новых условиях меняется внутренний мир личности крестьянина. В этом он, может быть, один из первых в прозе конца тридцатых годов. Он видит колхозника не как человека, нуждающегося в поучениях и наставлениях, а как личность, самостоятельно мыслящую. Утвердиться на этом пути А. Тарасову помогло его уважительное отношение к вековым традициям крестьянской среды — трудовым и нравственным прежде всего.

К сюжету, на нынешний взгляд, детективному прибегает А. Тарасов в повести «Крупный зверь»: в роли ученого-охотоведа в деревне появляется некто Шмотяков с диверсионной целью поджечь деревообрабатывающий завод. Нет нужды пояснять, что «зеленое золото» (расхожая метафора той поры) было тогда одним из важнейших источников пополнения валютного фонда страны, во-первых. А во-вторых, газеты тридцатых годов полны фактов диверсионной деятельности врага, направленной на экономическое ослабление Страны Советов. Так что А. Тарасов взялся за материал весьма актуальный. Между тем писатель создал все-таки не стереотипный детектив с эффектными ловушками, захватывающими поворотами развития действия, с безликими злобными врагами и непорочно-благостными героями. Тарасов написал повесть социально-психологическую, избрав центром своего внимания образы двух старых друзей-охотников — Онисима и Лавера, оказавшихся в глубоком разладе. Разлад и пути обретения взаимопонимания прослеживаются на фоне жизни колхозной деревни, жизнью ее предопределяются и в ней находят исход.

Выбирают на сходе колхозного охотника, и нет ничего странного в том, что определен старший из них, Онисим. Болтливый Манос, которому хочется руководить и умничать перед публикой, замечает: «Этот вопрос очень трогательный... Если б я хотел, да меня не выбрали, так я бы сна лишился, а то заболел... Как же, обществом обракован!..» Бестактность закладывает первую трещину между друзьями, а тут еще Лыско, собака Онисима, пропадает. Старик, мучаясь от смущения перед Лавером, заражается еще и подозрительностью к нему, предполагая, что это он пса отравил.

Мелочи?.. Может быть. Надо иметь в виду особенности деревенского уклада жизни, где каждый знает другого, где все держится на абсолютном доверии, где не надо многих слов, чтобы понять друг друга. Вот почему невозможен простой, казалось бы, способ примерения — сойтись да и выяснить отношения. А исследование тонкостей в складывающихся взаимоотношениях Александр Тарасов ведет дотошно, в деталях.

Языком жестов отлично владеет А. Тарасов. Лавер и Онисим ни словом друг против друга не обмолвились, но уже чувствуют напряженность отношений. И вот сошлись они вместе, словом бы перекинуться, из одной табакерки табаку понюхать. Однако «табакерка была открыта, но сам Лавер сидел отвернувшись, как будто рядом с ним никого не было». Естест-

венно, Онисим не перешагнет отчуждения и торопливо уходит. Такой же значащей деталью оказывается колышек у перил мостка через речку: впеpед идущий должен передвинуть его, давая знак другу,— а прошел и не тронул колышка — значит, сердится.

Вот так А. Тарасов добивается углубленной обрисовки характеров, открывая их до мелочей, умея ценить в героях главное: их основательность и совестливость, любовь к природе, сдержанность и чувство собственного достоинства. Эти качества оказываются решающими и помогают старым друзьям вернуться к прежнему ладу. Оба они чувствуют в Шмотякове чужого человека и, не сговариваясь, начинают следить за ним.

Онисим спрашивает Шмотякова:

«— Медведя знаешь?

— Знаю. Но я больше по горным»,— отвечает тот.

Вот и во всем стремится Шмотяков уйти от прямого ответа, чтоб не выдать себя перед охотниками. А между тем и в лесу он ведет себя неуверенно, и птицу напрасно пристрелит, и неприязни к людям скрыть не в силах... Как опытные психологи, раскусили врага старые охотники и, обложив его, как крупного зверя (они не раз вместе хаживали на медведя), разоблачили, сойдясь в финале повести. А уж где ему от двух опытных медвежатников уйти...

За размолвку старых друзей молчаливо переживала вся деревня. И это можно понять, потому что в общем труде односельчане нашли взаимопонимание, научились совместно преодолевать трудности. Писатель рисует колоритные сцены сенокоса, тушения лесного пожара,— здесь колхозники показаны в единстве своей жизни. И свет участия и доброжелательности красит эту повесть А. Тарасова, пронизывая каждую ее сцену.

Еще острее отражает время повесть А. Тарасова «Охотник Аверьян».

Конец тридцатых годов — напряженная пора в жизни нашего общества. Ясная оценка негативных явлений дана партией только в пятидесятые годы, а тогда — накануне войны — взяться за такой сложный материал было гражданским подвигом писателя. Обо всем пишет А. Тарасов спокойно, без надрыза,— он верит в здоровую нравственность народа. Однако не разоблачение приспособленца становится ведущим мотивом повести, а тема доверия к человеку, что гораздо важнее. Как и в других произведениях А. Тарасова, здесь на первый план выходит личная драма, и от конкретности судьбы одного героя писатель выходит к широким обобщениям социального плана.

Женился Аверьян, счетовод сельсовета и заядлый охотник, как и многие, любя и не любя,— охладел к жене раньше, чем детей завел. Теперь их уже трое, привычка берет свое: хозяйство забот требует и детей растить надо. И тут настигает его большое, волнующее, неодолимое чувство. Не сразу замечает он молодую жену соседа Вавилы, который командирован в Архангельск на лесоэкспорт, но, постепенно приглядываясь, понимает, что

она ему необходима. Приветливая, аккуратная, деловитая — Настасья и всем колхозникам поглянулась. И она готова откликнуться на его чувство,— не из легкомыслия, а потому что с Вавилой жизнь не складывается. Однако Аверьяну нелегко оборвать семейные узы: постыла жена, так дочка Аленка держит, да и общественное мнение свою роль играет. Люди искренние и совестливые, и близости они не знали, а разговоры и нарекания вызвали. И вот Аверьян уходит от семьи, Настасья разводится с Вавилой, но вместе им не быть,— суровая необходимость жизни берет свое.

Внимательно и чутко исследует А. Тарасов чувства своих героев. Их отношения развиваются на людях, что и упрощает, и одновременно усложняет задачу писателя. На деревне все знают про всех, вот и каждая встреча, любое слово, сказанное ими, становятся известными, любой жест выдает их переживания. Умея постичь сложность душевной жизни героев, Тарасов остается предельно простым в слове, в повествовании.

Понимая безысходность своего чувства, Аверьян опускается, пьет,— об этом писатель сообщает мимоходом, уважая своего героя. Сочувствие односельчан помогает подняться Аверьяну: в своей беде он не знает ни насмешек, ни злобных пересудов,— читателю ясно дано это почувствовать. И в таких обстоятельствах ему, умному и тактичному человеку, оказывается достаточно одной, вроде бы случайной, фразы иносказательного толка, что услышал он от незнакомого человека, охотника из соседней волости, с которым вместе плутали они по лесу в поисках воды: «— Этак ты свою реку никогда не найдешь. Такое ли время? Время тревожное». Задумавшись о времени и о себе, Аверьян сурово судит себя, истово берется за работу (а счетовод сельсовета в ту пору — должность уважаемая и ответственная).

Взявшись за ум, Аверьян приходит к мысли о вступлениии в партию. Такое решение он принимает сознательно, зная всю меру требовательности сельского мира к коммунисту,— тогда партийные организации на селе были еще очень малочисленны. Узнав о намерении Аверьяна вступить в партию, старый охотник Онисим, сам беспартийный, напутствует: «Только идешь туда — не шали, хватит». Очень многозначительное высказывание!

Нет, разумеется, одного звания коммуниста и тогда не было достаточно, чтобы заставить уважать человека, да разве можно заставить уважать?.. Вот так односельчане никак не могут проникнуться уважением к Илье Евшину, который везде трубит о своих заслугах перед партией. А какие заслуги? Все в деревне знают, что однажды двое неизвестных тяжело избили его, а причин не знают. Илья намекает,— что по причине его героического участия в коллективизации и раскулачивании. Оказывается, по словам мужиков из дальнего села, где в ту пору Илья работал, у одной вдовы он два мешка овса украл,— вот двое ее сыновей и свели счеты. Гордится Илья тем, что всем говорит правду в глаза, всех поучает. Между

тем сам колхозную работу делает кое-как: на сенокосе первым отдыхать уходит;. там, где зерно у молотилки загребает — озимь прорастает; стог смечет — он промокать станет... Зато на собственном огороде у него порядок, в страдные дни успевает хлев для своего скота срубить в лесу... Все это не сразу узнают люди, и Евшин по любому поводу упражняется в красноречии: и председателя Маноса поучает, и уполномоченного из района Азыкина в троцкизме «уличает», и, наконец, добивается обсуждения персонального дела Аверьяна и исключения его из партии.

Перед наступательной демагогией Ильи Евшина не устояла малочисленная сельская парторганизация. Куда там! У него все обвинения на «документах» основаны, промахи всех и каждого постоянно в записную книжку заносятся и по-своему истолковываются. А обуздать красноречивого обличителя непросто — он взял на себя право от имени всей партии обличать и осуждать. Кто его знает, как оно на самом деле-то, а вдруг?..

Люди, однако, знают больше: и Аверьян у них на виду живет, и Евшин по тем же улицам ходит. И если первый из них встречает сочувствие, от второго люди отворачиваются. Показать формирование общественного мнения в деревне А. Тарасову удалось детально и убедительно.

Потрясенный Аверьян, отлученный от партии, отчаялся на самоубийство и только случайно остался жив. И в этом потрясении пробуждается его жадная любовь к жизни, воля к борьбе за справедливость. Он знает мнения колхозников, поддержкой ему становится и доверие секретаря райкома партии Ребринского... «Дело» Аверьяна будет пересмотрено.

Спекулируя именем партии, ради отстаивания своих корыстных целей Илья Евшин использует шантаж и подлог, сплетню и демагогическую фразу. Колоритную фигуру приспособленца вывел в своей повести А. Тарасов! В ту пору подобные люди встречались в жизни довольно часто, знал их сам писатель, испытав ядовитое жало клеветы и доноса. Потому и убедителен он в каждой детали. Казалось бы, злобная сила демагогии должна повергнуть писателя в уныние, но нет. Он видел в жизни, что люди уверены в неизбежном торжестве справедливости и добра, и сам в это верил. Отсюда и жизнеутверждающее звучание повести, созданной на материале трудном и противоречивом, на путях, литературой не изведанных.

С выходом в издательстве «Советский писатель» книг «Анна из деревни Грехи» (1937), «Крупный зверь» (1939), «Охотник Аверьян» (1941) об Александре Тарасове широко заговорила критика. Публикуются обстоятельные статьи и рецензии Н. Замошкина, К. Лавровой, Б. Рагинского, К. Малахова в «Литературной газете» и в журналах «Новый мир», «Красная новь», «Октябрь», «Литературная учеба» и других. Большим событием для А. Тарасова стала творческая конференция московских писателей, организованная по инициативе А. А. Фадеева.

Повести А. Тарасова обсуждались в один день с романом С. Бородина «Дмитрий Донской», и, как отмечалось в обзоре, «никто из участников

конференции не говорил о недостатках в творчестве Тарасова», напротив, немногие критические замечания в его адрес вызвали общие возражения. «Тарасов замечает новые явления в нашей жизни и умеет обобщать их»,— говорил И. Арамилев. «Прозрачность манеры письма, бесспорная чистота мысли — вот черты, характерные для Тарасова», по мнению А. Чаковского. «Произведения Тарасова вносят нечто новое в литературу, посвященную колхозной теме. Конфликты в его повестях и рассказах гораздо тоньше и сложнее тех, которые изображались раньше в произведениях подобного типа»,— говорил В. Ермилов (Лит. газ., 1941, 20 апр.).

К писателю приходит известность, общественное призвание. В это время А. Тарасов работает ответственным секретарем журнала «Молодая гвардия», избирается секретарем групкома издательства «Советский писатель», членом бюро секции новеллистов Союза писателей. Устанавливаются его прочные связи в литературной среде, о чем свидетельствуют письма и книги с дарственными надписями — А. Фадеева, С. Щипачева, А. Кожевникова и В. Кожевникова, П. Пунуха, И. Меньшикова, В. Авдеева, П. Замойского и многих-многих других писателей.

Между тем Александр Тарасов каждый год бывает в родной деревне Назаровской,— последний раз он ездил туда в августе 1940 года. Вот запись об этом в его дневнике:

«25 августа 1940 года. Август удивительный. Были дожди, грозы. Теперь стоит жара. Ночи тихие, теплые. С матерью несколько раз ходили в лес. Все собирают бруснику. Она еще не совсем поспела. Дозревает дома, в корзинах. Я сплел две корзины под ягоды. Одна уже полна. Частенько хожу в свое любимое место к старой мельнице и выше...»

Писатель не оторвался от родной деревни, жил ее заботами и трудами, умел делать любую крестьянскую работу, как истинный лесовик, знал северную тайгу. Через год, в 1941 году, он не смог выбраться на родину. Началась Великая Отечественная война, Александр Тарасов рвется на фронт,— об этом говорят скупые и красноречивые записи в его дневнике.

27 июня: «...третий раз я прошу, чтобы меня отправили на фронт, все не могу добиться».

11 июля: «Очень волнуют корреспонденции с фронта. Читаю жадно и рвусь на фронт еще больше».

14 августа: «Совсем нет времени. Работаю в ТАСС. Пишу для «Известий». Положение очень серьезное: нашими войсками оставлен Смоленск. Много печальных лиц».

30 августа: «Все обещают послать на фронт. Проходили при ССП военную подготовку. 20 часов — очень мало. Сегодня думал над идеей рассказа. В массе, в коллективе с единым устремлением народ непобедим и бессмертен»— это последняя запись в дневниках (ф. 49, оп. 1, д. 220, 221). Только сохранилась между листами коротенькая записка: «Останусь жив — напишу хорошую книгу. 25 сентября 1941 года». Погиб Алек-

сандр Тарасов через пять дней после этой записи. Об этом рассказывает Г. Бровман.

Они знали друг друга раньше, а в конце августа они были приглашены в отдел печати ГлавПУРа. «Формировался коллектив газеты 52-й армии Северо-Западного фронта,— вспоминает Бровман.— Нам с Тарасовым предложили предусмотренные штатным расписанием должности «писателей армейской газеты». Мы сразу же согласились...» (Красный Север, Вологда, 1975, 16 марта).

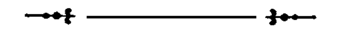
В ночь с 6 на 7 сентября работники политотдела армии вместе с сотрудниками газеты (в их числе — Семен Борзунов, Андрей Суслов) выехали на Бологое и через два дня были в поселке Кулотино Окуловского района. Тарасов сразу же взялся за работу, и уже 13 сентября в армейской двухполоске появились его строки. Части 52-й армии обороняли огромный участок от озера Ильмень до Киришей под Ленинградом,— здесь и узнал А. Тарасов фронтовую действительность, побывав во многих частях. А 27 сентября армия передислоцируется, и эшелон, выйдя по маршруту Окуловка — Бологое — Пестово в направлении Тихвина и Волховстроя, подвергся налету гитлеровской авиации.

В этом налете А. И. Тарасов и получил смертельные ранения. Он похоронен на сельском кладбище в деревне Горка близ станции Кабожа. Салют из пистолетов, краткие речи, и поезд двинулся на Тихвин уже другим путем — через Вологду и Череповец.

Хорошую книгу о подвиге народа А. И. Тарасов написать не успел: остались в его архиве лишь первые главы повести о партизанах да несколько очерков...

...Он жил одною жизнью с народом, писатель-коммунист Александр Тарасов, и последний вздох свой отдал народу вместе с жизнью. Но остались его повести и рассказы, исполненные верой в человека и великого уважения к людям. И произведения А. Тарасова заслуживают того, чтобы спустя годы снова вернуться к народу, в котором они родились.

ВАСИЛИЙ ОБОТУРОВ



Будни

1

В это гулкое холодное утро Федор Дмитриевич Жижин, или попросту, как звали его в деревне, Федька Жиженок, проснулся не совсем обыкновенным образом. Ветер сорвал Анютину юбку, которой завешено было разбитое окно, и отбросил ее, вместе с загремевшей по полу палкой, чуть ли не к самой лежанке, где спал Жиженок.

Подняв с подушки плешивую голову, Федька протер подслеповатые глаза и запахнул ворот рубахи — под нее уже успел забраться холод. С улицы смотрело в избу большое бледное солнце, качались под окнами черемухи, мимо окна гремела телега.

— Анюта!— крикнул Федька, одеваясь.— Опять пуговицу к штанам не пришила.

— На тебя пуговиц не напасешься,— ответила из-за перегородки только что вставшая жена.— От шинели все отпорола и от мундира тоже. Подумаешь, барин какой — подавай ему пуговицу с орлом. Носил бы деревянную баклыжку.

— Дура ты, Анюта. Это политика старая, так мы ее вот куда...

— А ты поменьше теряй.

Федька оделся, приладил опять к окну юбку, сел на лавку и стал вспоминать, что нужно сегодня делать.

— Ага,— вслух произнес он,— поверстание земли запасного фонда в пользу вновь народившихся граждан.

Улыбнулся Жиженок, теребя рыжий ус, спрятал в бурых веках подслеповатые глаза свои.

— Уйдешь куда?— спросила Анюта.

— В поле пойдем, всей деревней.

Анюта поставила на стол чугун с горячей картошкой, принесла грибов. На полатях завозился Васька: свесив свою кудрявую голову, он сонным взглядом осмотрел избу.

— Слезай завтракать,— позвал его Федька.

Сын был смуглый лицом, черноволосый, с темными блестящими глазами.

— И зачем эдакий испекся?— говаривала о нем в шутку балаболка Улита, Игната Медведева жена.— Не в матку, не в отца, а в прохожего молодца.

Она раскатисто, басом смеялась:

— Не то Никита Цыганок, не то Гиря.

А потом, спохватившись, скороговоркой добавляла:

— В дедка, в дедка! И повороты его, и замашки... Пустое говорить нечего.

— Мы на войне кровь проливали, а вы здесь, мать вашу так, только о мужиках и думали,— отшучивался Федька; но слушать Улиту было ему неловко, потому что сын и вправду совсем на него не был похож. «Сходство, бывает, до седьмого колена тянется»,— успокаивал он себя, а все же, как-то против воли, посматривал и на Цыганка, и на Гирю...

Васька слез с полатей, подсел к столу. Принялись за картошку. В это время в избу вошел виловатый, нескладный Алеха Шарганчик, старинный Федькин приятель и друг.

— Не в службу, а в дружбу, посмотри, брат, пожалуйста,— сказал он, подавая Жиженку какую-то бумажку.

— Заявление, што ль?

— Вот-вот.

— Гм... И сколько этих заявлениев пересмотришь, прямо уйма...

— На то ты и начальство.

— Да, начальство... «Заявление в волостной уфинотдел или вику»...* Надо бы добавить — Загорскому. Виков-то по губернии пятьдесят семь... «Гражданина Титова заявление»... Гм... Анюта, свари-ко сегодня гороху. Люблю горох — поешь и будто снова родился... «Прошу рассмотреть мою жалобу и переучесть мою разверстку. Живу я очень худо. А именно: старшему Ивану 10 лет, Марье 8, Нине 6,

* Слова, обозначенные звездочкой, разъяснены составителем в комментариях.

Авдотье 3, двойням по два, да, окромя того, баба на сносях»... Ну-ну, наделал-то, с лешова!.. «А корова у меня одна, да две овцы, да один ягненок, а больше ничего нет, окромя петуха да курицы»... Это в объект не входит. Ты бы еще сказал — есть кошка с котятами.

Шарганчик смущенно молчал.

— Садись горячей картошки есть.

— Нет, не хочу... Тут, я думаю, надо, Федька, что-нибудь насчет Советской власти сказать. Ну, вроде как я ее почитаю.

— Это можно.

— Я за Советскую власть горой. Так же и за всю революцию.

— Нет, это не подходит. Ужо дай позавтракать, тогда придумаем.

— Ну, тогда так: Советскую власть почитаю в следующем, что можно сказать народ больно хорош наши начальники. Я прошлый год председателя обругал большой маткой, и он меня тоже, на том и разошлись.

— Дура! Не знаешь, чем это пахнет?

— Нет.

— Так сиди.

Однако Шарганчик не унимался.

— А просто напишем — да здравствует!

— А чего здравствует-то?

— Поставим, а там разберутся.

— Не стану. Здравствует, здравствует, а чего — не известно.

— Ну, как хочешь.

— Вот мы что напишем. Бери карандаш... Потому как Советская власть есть алимент трудовых прослоек, в корне и на основе иду на защиту мировой перспективы...

— Это не то что у меня,— бормотал довольный Шарганчик, медленно выводя на бумаге заглавную букву.— Ну-ко еще, я забыл.

— Потому как Советская власть есть алимент... есть алимент... Тьфу! Забыл.

— Ладно, не сердись, что-нибудь придумаем.

Покончив с едой, Федька достал старые корки от книги, в которых хранились его дела, велел Алехе подать с окошка чернильницу и любовно взялся за ручку.

— Надо, парень, торопиться. Сам знаешь, какие дела сегодня.

— Знаю,— ответил Алеха.— Да мы на своем настоим. Вспомни-ка, что раньше было!

— Было, да сплыло,— задумчиво ответил Федька и склонился над бумагой.

2

А были в Федькиной жизни совсем иные времена.

Десять лет тому назад, худ, как охлестанный веник, с винтовкой за плечами, с наганом в кобуре, грозен и незнаком явился он в родную деревню. С радостным воплем бросилась навстречу ему жена, но он сурово отстранил ее от себя и вместо приветствия, вместо ласкового слова спросил, насупясь:

— Ну, вот что — кто у вас в комитете?

— Там начальником Василий Иванович,— испуганно ответила готовая расплакаться Анюта, не понимавшая, что это приключилось с Федькой.

— Мироед!.. А землю делили?

— Какую землю?

— Такую, дура! Всю, котора нам принадлежит, трудовому классу.

Не дожидаясь ответа, побежал Федька к старосте. В избе у него первым делом сбросил со стены и смял ногами портрет какого-то генерала в очках и с орденами во всю грудь, вырвал у девочки, игравшей на полу, объявления шестнадцатого года и изорвал их в клочья. Затем полез он к божнице — но тут староста Миша Носарь пришел в себя и схватился за полено:

— Ежели ты в рассудке, так бить стану, а ежели с ума сошел — свяжем.

— Молчать, гидра!

Ругань была тем более обидна, что Носарь не понимал ее, и когда Федька снова полез к иконе, попутно швырнув на пол портрет Ивана Кронштадского, он крикнул взрослым сыновьям своим:

— Вяжи его, Ванька, чего тут канителиться! А ты, Гришка, за народом беги.

И тут доброго молодца, прошедшего сквозь огонь и грохот бесчисленных кровавых схваток, сквозь революцию, сквозь митинги и солдатские комитеты, двое безоружных, как пить дать, смяли. От неожиданности и злобы Федька даже говорить не мог — только лежал да скрипел зубами.

В избу собирались мужики — переминаясь с ноги на ногу, стояли в углу и смотрели на связанного. Пришел и Алеха Шарганчик, друг молодости Федькиной.

— Что это с тобой?

— Развяжи сначала,— хмуро пробурчал Федька.

— А ты не мели зря,— спокойно вставил Носарь,— вот все соберутся, рассудим, что с тобой делать. Может, тебя в баню запереть придется, почем я знаю.

От этих слов не стало у Федьки терпения. Изловчился он, поднялся на ноги, вскидывая над головой связанные руки, принялся выкрикивать все то, что приходилось ему слышать за последние месяцы фронтовой жизни. С дикими глазами, растрепанный, худой, оборванный, вертелся он на месте, извергая великое множество слов.

— На сколько хватает глаз, все бери, никто не отнимет,— захлебываясь, кричал он.— Долой!.. Да здравствует!..

Лица кой у кого засветились улыбками. Пыхтя и заикаясь, выступил вперед тугой на ухо старик Игнат.

— У-у-ужо стой, Федор. Развязать т-тебя надо. Хм... Ишь ты...

— Теперь,— надрывался Жиженок,— дадут каждому земли десятин по восемьдесят, а то и больше!

— Ну?— удивился Носарь.— Пожалуй, развязать бы его, ребята.

Развязали узлы на веревках... И в то время как разминал Федька затекшие руки, проталкиваясь сквозь толпу, вошли в избу деревенский богач Куленок, имевший большой кусок купленной земли, и длинный, нескладный мужик Архип, которого за непомерный голос прозвали Трубой.

— Что тут за собрание?— спросил Куленок.

— Хотим изничтожить весь капитал в волости,— отрезал Федька.— И до твоей земли, погоди, доберемся.

Зашумел, заволновался сход, раскололся надвое...

С этого и началось. Федька пошел за главного, Алеха Шарганчик, даром что коряво писал, хуже школьника любого — писарем, а третьим — Никола Конь, мужик мудрый, крепкий и ядовитый на язык. Для начала настояли они на том, чтобы раскидать поровну Куленкову землю, и мужики делили ее всей деревней, с шумом и спорами, три дня подряд. Потом, во время продразверстки, помогали все трое отбирать у кулаков хлеб. А какие речи говорил Федька, каким героем выглядел он в солдатской шинели своей, всегда

туго подпоясанный, с наганом в кобуре!.. Два года почти был Жиженок в деревне большим человеком, заправлял всеми делами и однажды побывал даже на уездном съезде... А затем стала Анюта, жена, все чаще и чаще заговаривать о том, что совсем опустилось их нищее хозяйство, что впору ей с Васькой идти по миру. Да и сам Федька видел — если не взяться как следует за работу, изба и та развалится: вся на подпорках стоит — куда ни взглянешь, всюду дерева, как в лесу... И решился Федька, пришел как-то на сход, выложил дела на стол:

— Вот вам, ребята, колокола и книги. Чем могу — помогать буду, а бегать круглы сутки некогда. У нас молодых много, пусть приучаются.

Взялся вести общественное дело молодой мужик Мишка Зайцев. А Федор Дмитриевич Жижин с того времени день и ночь колотился вокруг дома,— подрубил двор, поставил баню, разворочал на полосах своих межи, и хоть хозяйство не больно ладилось, все же кое-как перебивался. На сходки он по-прежнему ходил аккуратно, первым... А на восьмом году революции не вытерпел: снова стал в Красном Стане «начальником»— сельским исполнителем.

3

Наконец заявление было написано, и Алеха бережно убрал его в карман.

— Пошли, што ли?

— Да вот сейчас, соберусь только.

Федька приказал жене достать гимнастерку, старую, засаленную, видавшую многие виды, и пока одевался он, смотрела Анюта на мужа как и десять лет назад, внимательная, покорная, и вспомнился ей Федька, по-молодому бойкий товарищ Жижин семнадцатого года. Вспоминался рядом и другой — черноглазый, чернокудрый парень Сенька... Нет теперь ласкового парня Сеньки, есть богатый молодой мужик Семен Гиря, первый хулиган в волости... Нет и Федьки, боевого, крутого, есть сельский исполнитель Федор Жижин, смирный и кропотливый...

Приятели молчаливо вышли за околицу.

— А все-таки, Федька, уж десять лет прошло,— первым заговорил Шарганчик.

Федор Дмитриевич ничего не ответил.

— А все-таки, парень, сколько за это время людей наделано,— продолжал Алеха.— Уж и в деревне не то стало... И сами мы не те...

Опять промолчал Федор Дмитриевич, улыбнулся студеному солнышку, огляделся кругом. Из-за амбаров, из-за гумен, по дорогам, по застывшим пустым межам шли люди. Высоко задрав голову, бодрый и веселый, шел Никола Конь, махал Федьке с помощником шапкой, кричал им что-то. Длинный, белея холщовыми штанами, размахивая палкой, шел Труба. Что думал он в это время? За кого раскроет он сегодня свое широкое горло?.. А там у околицы, белый, как холщовые штаны Трубы, плетется Игнат... Будут сегодня мужики подтрунивать над ним, над тем, что женился старый второй раз на молодой бабе, накопил две семьи.

В поле, на горушке начиналась пустующая несколько лет полоса. Это была самая лучшая земля из всего того, что думали делить сегодня.

— Граждане, товарищи,— начал Федька,— мы, как сознательная прослойка, мирно, без греха будем делить сегодня эту землю. Вон ту первую полосу отдадим по мере, кто больше всех нуждается.

Мужики одобрительно зашумели, и это еще пуще развеселило Федьку.

— Как, будем ли межи в счет класть?— крикнул он.

— Межа така же земля,— ответил Труба,— мы в прежние годы такие ли межи ворочали!

— Ребята, Мишке накиньте полбатога на нос!— кричал Никола Конь.— У его отрока нос больше, чем у батюшки.

— Тебе бы на ноги аршина три приставить, так вышло бы как леший,— полушутливо ответил Мишка Носарь.

— А что есть, брат, так не скроешь. Ноги да нос всегда на виду, чистое наказание.

Мужики смеялись.

— Будет зубить,— уговаривал их Жиженок,— принимайтесь за дело. Алеха, пиши пóмерки* для жеребью. Али, может, братцы, так уложим, которому краю забой?

— Мишка,— обратился к Носарю Куленок,— ты с краю живешь, что берешь — ноги или голову?

— Ноги,— немного смущенный, сказал Мишка.

— То-то, дурья голова, небось знаешь, что лучше,— вмешался Конь.

Носарь мышонком вертелся на полосе, чуть не касаясь

лицом земли, заглядывал на мерку, которую твердой рукой ставил Конь, охал, качал головой:

— Прикинь, прикинь немного. Урезал этого батога, сукин сын.

— Не ершись, наглотаешься,— спокойно ответил Никола.— Мера как в аптеке, что твоя стролябия. Вот тебе межи кусок, на, ешь на здоровье, ковыряйся носом.

— Тьфу,— сердился Носарь,— ей-богу, ребята, где бы ни делили, межи везде мне. Пра...

— А ты, братец, охочь по вечерам чужую травку косить, так вот тебе травка.

— Ты что, видал меня на чужой меже?

— Вот Матрена души не съест, у нее спрашивай,— лукаво улыбаясь, сказал Никола, указывая на вдову Матрену.

Но с Матреной Носарь говорить не стал — она застала его однажды с косой и кузовом у своей полосы.

— Назад-то не оттягивай,— сказал он, как будто не слыша слов Николы.— Ишь, гнилые лытки, опять пол-аршина съел.

— Уйди, не мешай... Ну вот тебе семь батогов. Комиссар, заноси в главную книгу.

Шарганчик, пыхтя, присел на одно колено и вывел: «Михайлу Окульмину семь батогов с забою».

Куленок услужливо забил в границу Носаревой полосы приготовленную им заранее свайку. Семен Гиря написал на свайке химическим карандашом имя владельца.

— Пошли дальше!— крикнул Конь.

Федор Дмитриевич наблюдал за всем этим, и его сердце готово было выпрыгнуть из груди от радости. «Вот как хорошо,— думал он,— вот как дружно, в елку с вершинкой-то».

— Никите Сенюшкину накинь батог, земля хуже пошла, с водорезом!— орал с другого конца полосы Архип.

Работа кипела, и казалось Федьке, что скажи он сейчас мужикам о каком-нибудь новом деле,— они согласятся на все без спора. А хорошо бы, например, сказать о том, что не нужно делить земли на клинышки, что надо бы махнуть ее широкими полосами, завести шесть полей... Давно хотелось этого Жиженку, да все как-то не клеилось. В соседней волости деревня Приселки уже третий год ходила по четырем полям. Привозил оттуда Федькин тесть на успенье нерусский какой-то горох для скота, охапку клевера, несколько крупных бураков... Смотрел Федька и любовался,

завидовал. Чего же отставать Красному Стану?.. На работе, в короткие минуты отдыха, ломал Федька голову, раскидывал, укладывал всяко, и выходило, что устала земля — отдала все, что в ней было. Человек отдыхает, животное отдыхает, и земле отдых нужен... И мерещились Федьке цветущие поля с крепкими изгородями, медовый запах клевера, бураки... Стоит удивленная Анюта на поле, хлопает руками:

— Батюшки, Федор, что наросло-то!

— Подожди, Анюта, это ли еще будет. Мы с тобой, косматая, не дом, а каменные палаты построим. Будешь ты у меня по полу похаживать, книжки почитывать да уму-разуму учиться...

Видит Федька: едет он по полю, Карюха в жнейку запряжена, он беззаботно покуривает на беседке, а в сторону, сноп за снопом, так и летит спелая рожь... А вот уложил Федька на телегу плуг, дисковую борону... Из сил выбивается Анюта, сдерживая сытую, как печь, кобылу,— не идет лошадь, а играет, вот-вот понесет и расшибет все вдребезги.

— Держи, стерва!— кричит Жиженок.— Не умеешь на хороших лошадях ездить! На эту лошадь крепкие руки нужны.

Визжит Анюта... А вот и дом ихний. Новый, крепкий, просторный он, как игрушка, красуется на краю деревни... И видит Федор Дмитриевич большое новое гумно, наполненное красностанцами, слышит шум чудовища-мотора. Мелькают снопы, мелькают лица, руки, торопливо режут воздух бодрые выкрики.

— Сегодня десятый овин молотим!— кричит запыхавшийся Шарганчик, скидывая снопы со скирды.

И видит Федор Дмитриевич... а впрочем, ничего этого нет — видит он Архипа на другом конце полосы, размахивающего палкой.

— Накинь, Никола, себе полбатога, тут у тебя сплошной камень пошел. Как, ребята?

— Пускай!— весело отзываются мужики.

4

Когда кончили делить, тень Архиповой фигуры занимала уже полполя, и он одной рукой мог обнять весь разделенный кусок земли, как кóробью с красным товаром.

Присели отдохнуть.

— Вот что, ребята,— начал Федька,— смотрю я и думаю: на кой леший нам такие обрезки? Не махнуть ли, братцы, широкими полосами, чтобы было к чему с плугом приехать, да уж заодно не расколоть ли нам всю угоду на шесть полей?

— Фюить!— свистнул Носарь,— больно что-то ты, Федька, выдумываешь!

Куленок собрал на лбу складки. Нахмурился Семен Гиря. Архип ни с того ни с сего ударил палкой собачонку Никиты Цыганка, и бедная пронзительно завизжала, катаясь по земле.

— Эк, отсохни руки!— сердито сказал Цыганок.— Ну, скажи, пожалуйста, чем собака помешала?

— А не вертись на дороге!— рявкнул Архип.

— Так как же, ребята?

— Мужик дело говорит,— сказал Никола Конь.

— Знамо дело,— подтвердил Шарганчик.

Их поддержали еще несколько человек. Но тут вступил Семен Гиря. Как-то быстро сверху вниз, точно ударить кого хотел, хватив левой рукой, он крикнул:

— Это что же, коренная ломка выходит? Опять землю переминать? А кто ее унаваживал, кто корешки выдергивал?

— Десять лет пользовался,— ответил Федька.— Ну, а потом, надо же когда-нибудь по-человечески жить. До чего дошло — без серпа жнут!

— Навозь!.. Трудись!..

— Все трудимся, у всех не бог родит. Тебе просто кричать, когда тебе мягко попало...

— Мне?.. Мне мягко попало?— крикнул Гиря, придвигаясь к Федьке.

— Конешно.

Гиря опять взмахнул рукой, долгим злым взглядом посмотрел на Жиженка, и тот отвел глаза; было во взгляде Семена что-то такое, от чего смутился мужик,— казалось, уже не раз видел он этот взгляд, видел эти быстрые, прыгающие огоньки в глубине темных глаз...

— Ну, что ж вы, ребята, не поддержите, ведь я не худа желаю,— произнес он каким-то сразу упавшим голосом.

Мужики зашумели, заволновались.

— Давайте говорить толком, по душам,— продолжал Федька.— Архипу самая хорошая земля досталась, Кулен-

ка тоже не обидели, ну и другие протчие... Правду ли я говорю, ребята?

— Известно, так,— сказал кто-то из толпы.— Десять лет пользовался, теперь давай другому...

— Вот что, Федька,— угрюмо, но уже мягче начал Гиря,— а знаешь ли ты, как все это делается? Видал ли ты это? Укажи-ка мне пример!

— За примером недалеко ходить. Хоть Приселки возьми. У мужиков и корму, и хлеба, и картошки...

— Это люди говорят, а ну-ко хватись!.. Да на одного землемера твоего житья не хватит.

— Не зря газеты пишут. Вон плуги теперь у нас, сам пашет, а сначала тоже не хотели... Машины люди придумали разные, а у нас ничего нет, будто проклятые.

— Будет вам горячиться, ребята,— примиряющим тоном сказал все время молчавший Куленок.— Шесть полей, конечно, хорошо, надо спасибать Советской власти, что она мужика на дорогу выводит. Так дело разве в том? Вот у нас, например, в деревне, хоть голову разбей — ничего не выйдет. Поля, сами видите, разные — одно лешево поле, а другое шапкой закроешь. И народ, надо сказать, недружен... Я, к примеру, новую изгородь поставил, а вот у Семена открыто стоит. Какая ж польза? Не доросли мы еще, а дело это хорошее...

Послышалось несколько одобрительных голосов.

— Вот тебе и вся правда,— ехидно сказал Гиря, пристально посмотрел на Федьку и нахально улыбнулся глазами.

Вздрогнул Федька, поморщился. Опять кольнул его этот взгляд, заставил смутиться. Многие из мужиков заметили, как сменился он в лице. Потухли, трусливо притаились насмешливые огоньки в глазах Гири, он отступил на шаг и отвернулся.

— Не подеритесь,— предупредительно сказал Игнат.— Что это за деревня, как на общественное дело, так и содом... Тьфу!

Федька, еле сдерживая себя, махнул рукой и сказал тихо:

— Тряпки вы, а не мужики. Пойдемте домой, коли так.

Они пошли вместе с Шарганчиком.

— Что ты сдал больно сразу?— участливо спросил Алеха.

— А чего ради прыгать-то? Ты много ли за меня буркнул?

— Да что я один...

Федька нахмурился, шел понурив голову. Перед ним был враг — большой, изворотливый. Нужно бы с ним говорить не по-сегодняшнему, а как-то иначе. Но как?.. В былые годы крикнул бы свое «Да здравствует! Долой кулацкую гидру!»— пошумел бы, прижал противников к стенке... А теперь совсем не то. Вот хотя бы Куленок — пойди возьми его сейчас, когда он притих, присмирел, редко вступает в спор, ни с кем не ругается. «Мое дело сторона,— говорит он на сходках,— я, как лишенный голоса, прав не имею. А думается, так бы вот лучше...» Ох, хитер Куленок, хитер и зол! В голодные годы он потихоньку спекулировал мукой и маслом, построил на эти деньги новый амбар, поправил дом... На дворе у него стоит пять коров, две лошади... Знает все это Федька, но не так страшен ему Куленок или жадный Мишка Носарь, как пугает Гиря, упрямый, мстительный, отчаянный. Ни одного праздника не проходило без того, чтобы Гиря не разбил у кого-нибудь рамы, не избил бы кого из красностанцев. Он собрал вокруг себя молодых мужиков и своими безобразиями наводил страх на всю волость. Часто по зимам его компания являлась на посиделки, и хулиганы избивали молодых ребят, смеялись над девушками. Некоторые из них, в том числе и Гиря, уже бывали под судом, но, отсидев месяца три в исправдоме, возвращались и опять принимались за прежние дела. Отчаянность Семена удивляла всех. Однажды Куленок, с которым Гирю связывала, кроме всего прочего, еще охота, хвастал, что он из своей «крымки»* за две версты достанет.

— Давай встану за рекой к сеновалу,— сказал Гиря,— и версты не будет!

— На сколько?

— На четверть горькой.

— Вставай!

Присутствовавшие при споре мужики стали отговаривать их.

— Не ваше дело,— буркнул Семен.

Он встал у сеновала. Цель была хорошо видна. Куленок не торопясь поднял ружье, крепко приложил к плечу. Целился он долго, а когда наконец спустил курок, выстрел получился такой, что все охнули, а пучок пламени, вылетев-

ший из ствола «крымки», сиганул до полполос, обронив загоревшийся пыж.

— Ой!— вскрикнул кто-то из мужиков.— Лежит чернокожий.

Куленок начал испуганно протирать глаза.

— Где лежит? Что ты врешь, стоит, сволочь...

Гиря долго стоял как пригвожденный. Затем он повернулся и ткнул рукой около себя. Мужики побежали смотреть. Пуля пробила стену аршина на полтора выше Семеновой головы. Куленок без слов купил четверть.

Вспоминая сейчас этот случай, Федька невольно содрогнулся: такой головорез мог пойти на все, а хитрый Куленок мог натравить, подучить его... И опять видел Федька пристальный, насмешливый взгляд Гири, опять волновался и никак не мог понять — почему...

Дома было шумно. К Ваське, пришедшему из школы, собрались ребята. Играли в спектакль. Васька был за руководителя, распределял роли — Колька Игнатов должен был играть старика отца, Анюта, сестра его, невесту, Мишка, сын Семена Гири, жениха. Сам Васька ушел за переборку, служившую ему как бы суфлерской будкой, и подавал оттуда в щель реплики. Переборка служила также и кулисами. Ванька Антипин, единственный зритель, сидел среди избы на скамейке.

Федька, позабыв неудачу, смотрел на ребят, любовался расторопностью Васьки и его умением распоряжаться.

— Начинаем!— крикнул из щели Васька и ударил чем-то твердым в сковороду.

Жених вышел из-за перегородки. Но каково же было его удивление, когда, вместо готовой к игре артистки, он увидел Анюту, сидевшую на полу всю в слезах.

— Ну беда...

— Я боюсь,— сказала артистка сквозь слезы.

— Вот дура-то, ведь тебя не резать станут,— попробовал уговорить ее Васька, но ничто не могло помочь, и пришлось вызвать из публики Ваньку Антипина, чтобы он заменил невесту.

Отец с невестой сидели и ждали. Жених убежал за кулисы, просморкался там во всеуслышание и важно вошел в избу.

— Живете здорово!

— Милости просим!— ответила невеста.

— Дурак! Молчи, ты — невеста, ты не должен говорить, я скажу,— поучал невесту Колька.

Жених стоял и ждал.

— Вот, дядюшка, я приехал к тебе свататься...

Колька-дядюшка шмыгнул носом.

— Чего говорить-то?— спросил он.

— Ой, фефела! Говори чего-нибудь!

— Ну, приехал, так и ладно,— сказал Колька.

— Что, отдашь девку-то? Я купец, у тебя товар. Я жених богатый, у меня одних коров... во... шестнадцать!

— Ну вот,— послышалось из-за переборки,— эдак нигде и не бывает. Сказал тоже... Хоть бы четыре...

— У меня четыре дойных коровы,— продолжал жених,— да три быка, да семь нетелок, да две овцы...

— Ну, ну, заплел!— послышался возмущенный голос Васьки.— Столько коров, а овцы только две. У нас две коровы, а овец пятеро!

Жених сердито покосился на щель, но сдержался и стал говорить дальше:

— Два новых дома, мельница паровая о четыре толчеи*, только мелева нет... А денег у меня четыре ста. Баня новая, с молоточка... Ну, отдай девку, чем тебе не жених?

— Не знаю,— ответил будущий тесть,— вот как Ванька...

— Да не Ванька, а Марья, фефела!

— Может, невесте жених не нравится?— важно подбоченясь, спросил Мишка.

Ванька посмотрел на него и неожиданно выпалил:

— Жених, жених, а вчера матка прутом драла.

— Тьфу, дурак!— вспылил Васька.— Тебе-то какое дело, может, и тебя драли!

Совершенно сконфуженный жених повернулся и стал смотреть куда-то в сторону.

— Ну вот все и испортил, ворона,— ворчал Васька, выходя в избу.— Давайте играть другое. Я буду председателем сельсовета, а вы приходите ко мне с налогом.

Это предложение всем понравилось,— даже Анюта запрыгала. Васька, вооружившись карандашом и бумагой, сел за стол.

Первым пришел Мишка Семенов.

— Ну, товарищам последние копейки принес!— задрав голову, сказал он.

— Разве так приходят?— возмутился председатель.— Ты приди, подойди к столу и скажи — пришел сельхозналог платить.

— А для чего и налог? Нам никакой пользы нет. С нас шкуру дерут... У нас тятька так говорит, он больше знает. Не налог, а собаке в рот.

— Да тебе-то какое дело? Как я говорю, так и делай.

Мишка сердито повернулся на месте и отошел в сторону.

— Ты, Миша, не сердись, я нарочно,— мягко сказал Васька,— давай лучше землю делить.

— Мне на шесть едоков!— крикнул Колька.

— На шесть много, так и не бывает, на три можно.

— На четыре,— сказал Колька.

— Ну, пускай на четыре.

— Не на четыре, а поровну,— вмешался Мишка Семенов.— У тебя ребятишек много, так ты и счастлив. Ребятишек нетрудно делать, а ты вот работать научись.

— Ну, ладно, не спорь. Колька, бери меру.

— Какую меру-то?

— Ой, растрепа! Бери ухваты.

— Лучше сковородник.

— Ну, сковородник, все равно. Вот половицы, это будут у нас полосы. У этой стены длинная, до самой двери, так будем давать у́же, а там стол мешает — шире.

— Можно под стол забиться и там смерить.

— Под стол с плугом не поедешь, да этак и неинтересно. Лучше — одна половина дольше, другая короче.

Мишка Семенов взялся записывать, Анютка, наломавши лучинок, приготовилась втыкать их в щели.

— Мне первому,— сказал Мишка.

— Это почему же?— спросил Васька.

— Потому, что у меня земля даром не пролежит. А дай другому, он пустыню сделает.

— А мы жребий кинем.

На жребий согласились все, кроме Мишки. Длинный край достался Анютке.

— Я не стану играть,— сказал Мишка, надувши губы,— тут Васька подделал.

— Ну, делай сам,— крикнул обиженный Васька.— Вот простокваша кислая!

Мишка сам держал шапку с номерками, но и на этот

раз длинная полоса досталась не ему, а Кольке. Он нахмурился и отошел к столу.

— Что, и играть не будешь?— спросил Васька.

— Делите, мне все равно.

— Ты на сколько едоков берешь?

— На четыре.

Васька деловито измерил землю, себе и Анютке наметил по два едока, Кольке трех, Мишке четырех. На коротких полосах выходило полсковородника на едока, на длинных — четверть.

— Это курам на смех, а не земля,— недовольно сказал Мишка, смотря на доставшуюся ему полосу в три половицы.— Себе небось вон сколько намерил.

— Тьфу, зараза!— крикнул Васька и так посмотрел на товарища, что даже Федьке стало неловко.— Переходи на тот край. Забирай полсковородника!

Но Мишке и тут показалось неладно. Он сказал, что надо отодвинуть стол, потому что земля с этого краю хуже, с водорезом.

— Зюзя,— зло крикнул Васька, подбегая к товарищу,— с тобой никогда не поиграешь!

Федька видел, какая ненависть горела во взгляде сына, и сам волновался.

— Кулак ты, вот кто!— выпалил Васька.

И вдруг Федька вздрогнул, побледнел — зарябило в глазах, и даже дышать стало трудно: ему показалось, что с лица сына смотрят на него глаза Семена Гири, такие же темные, быстрые, с злыми, прыгающими в них огоньками.

— Играть, не плакать,— глухо произнес Федька.— Васька, сядь. И ребятам домой время.

Васька молча положил сковородник, но взгляд его еще долго не потухал.

5

Вернувшись от соседей, Анюта никак не могла понять, что случилось с Федькой.

— Ушел честь честью, а тут на-ко,— вздыхала баба, глядя на его насупленное лицо.— С чего это ты?

Федька нехотя, вполголоса ответил:

— Полно, дура! Тебе всегда не знать что покажется.

И, помолчав, добавил:

— На поле с Семеном Гирей поспорили.

— Что эдак?

— Да все из-за земли... До поры до времени все хорошо, а как коснулось — показали себя.

— Нет хуже нашей деревни...

Чувствовала Анна что-то особенное в голосе Федьки, металась встревоженная из угла в угол. Несколько раз пробовала она заговаривать с мужем, но тот молчал, хмурился. А когда она предложила ему самое любимое его кушанье — горох, он схватил фуражку, велел Ваське одеваться и, ни слова не сказав ей, вышел из избы. Вконец перепуганная Анюта завыла, бросилась к окну. На улице было пусто. Садилось солнце, и огненные отсветы его играли на стеклах домов напротив... Затем показался Васька — деловито и весело улыбаясь, он выводил из двора лошадь. Следом за ним вышел Федька, стал привязывать к телеге старые веревочные вожжи... Анюта поняла, что муж собрался ехать за дровами, и хоть пугали эти сборы в позднее неурочное время — тревога отлегла от сердца.

Давно кончились теплые дни. Растеряв листья, обнажились деревья. Голая и печальная качает длинными тонкими сучьями рябина, яркими пятнами алеют на ней гроздья ягод. Сей год тяжелы у рябины кисти, крепка, как краснощекая молодуха, осень! Днем носятся в воздухе легкие серебряные нити, небо чистое, почти такое же голубое, как летом, и только в воздухе, холодеющем, как бы остекленелом, чувствуется осень, запахи грибов, овинов, свежего хлеба... Кричат улетающие поздние птицы, одинокий и худой, точно страдающий чахоткой, конек на крыше смотрит в пустое небо. Все кажется особенным, небывалым, и частушка звенит издалека как-то по-новому полно и грустно:

Что ты, белая березка,
Не рублю, а падаешь,
Что ты, дроля сероглазый,
Не люблю, а хвастаешь.

Хмурый и молчаливый сидел Федька на телеге.

Пятнадцать лет тому назад песенник и плясун Федька Жижин впервые увидел на поседке в Приселках девушку в скромной синей кофте. Увидел — и пропал. Не было с той поры часу, чтобы не думал он о ней, не вспоминал бы ее голос, ее быстрые глаза под черными, круто изогнутыми бровями. Случилось это осенью — и навсегда полюбил

Федька пустые, выжатые осенние поля, осенние запахи, непроглядные ночи, в темноте которых парень кажется во сто раз милей, а девушка нежней, теплей и красивей... Точно такой непроглядной ночью сидел однажды Федька с любимой на бревнах в Приселках. Сама положила Анюта на плечо к нему горячую руку, шепнула:

— Феденька...

На всю жизнь запомнил Федька эту ночь, этот жаркий шепот, это легкое прикосновение Анютиной руки и, вспоминая о них, не раз говорил задумчиво:

— Анюта, я тебя любил не по-человечески...

А сейчас — ничего нет. Нет прежней Анюты, и никогда уже не вернется она. Пятнадцать лет любил, верил, а она — обманывала, притворялась... Нет и сына, Васьки,— есть отродье врага... Все это было так неожиданно, что Федька сразу опал, растерялся, не знал, что делать. Было страшно думать, что придется ломать ладную семейную жизнь, страшно было сознавать, что нет ни Анюты, ни Васьки. «А может, так показалось,— пробовал он успокоить себя,— может, и нет ничего. Сходство до седьмого колена тянется». Он пытался представить себе, как будет жить без жены и сына — как придет усталый, голодный из лесу и никто не встретит его,— не услышит он голоса Анюты, не увидит сонного лица Васьки, который не ложился до сих пор, чтобы дождаться его... Нет, нет, страшно!

— Тятька,— прерывая его мысли, сказал Васька,— Мишка Семенов злой, с ним играть совсем нельзя.

— А ты от него подальше... У него отец — кулак, а мы с тобой — не то. Я в окопах лежал, власть брал...

Уже стирались в сумерках тени, тушевались кусты на горушке в Марьином потоке, когда они приехали туда. На краю чащи остался нескошенным чей-то клин — высокая бурая трава шуршала под колесами. Черные лужи с пятнами желтых и красных листьев, как большие старушечьи платки, пестрели в низинах. В стороне на березах семьями сидели тетерева — казалось, что это вырезанные из черного картона силуэты вросли в вечернее, до боли холодное небо. Все казалось застывшим, настороженным и холодным — но во всей этой неподвижности было что-то давно знакомое, милое — и каждое кривое дерево, каждый листочек на земле, каждая травинка казались родными. Иногда лошадь, упрямо опустив к земле голову, пила из разломанной лужи. Затихал шелест травы о колеса, становилось жутко в на-

ступившей тишине, только хомут поскрипывал веревочными гужами.

— А мы с тобой кто такие, Вася?

— Мы не богатые, у нас лишнего нет.

— То-то вот, парень, не богаты... Трудно, брат, на ноги встать.

— Ничего, тятька, подожди, я подрасту, заживем.

— Как же это?

— Я артистом буду, стану деньги зарабатывать, вот ты и поправишься.

— Ну ладно, а вдруг ты выучишься, уедешь в город и забудешь своего тятьку?

— Нет, я тебя не оставлю.

— Ладно. А пока что мне надо тебя не оставить. Вон видишь, у тебя сапоги порвались, пиджачишка подходящего нет...

— Ничего. Только вот ребята смеются... Да мне наплевать.

— Вот ты какой у меня!

— Я, тятька, не прошу. У других вон и хлеба не хватает, а мы ничего.

Наложив полный воз дров, тронулись обратным путем. Васька сидел на дровах, а Федор Дмитриевич шел рядом с возом.

Таяли, исчезали блеклые вечерние краски. Грязное небо уже не казалось таким холодным. Кусты, неподвижные и жуткие, выплывали навстречу, а черные платки с желтыми цветами старуха-ночь уложила в коробушку... Вместе с ушедшим днем улетела, рассеялась и Федькина тревога — даже раскаяние шевелилось в нем, он жалел, что так сердит был с женой сегодня, и решил ничего не говорить ей. Главное, не думать, не думать... Это все от думы, сгоряча. Ничего не случилось. Все по-старому.

6

Устыдился Федор Дмитриевич своей временной слабости — вспомнил, что стоит общественное дело, и решил посоветоваться со своим приятелем Андреем Ивановичем, секретарем волостного партийного комитета.

Андрей Иванович встретил его приветливо, спросил, как дела. Федька рассказал ему о своем разговоре с мужиками в поле.

— Так, так,— проговорил Андрей Иванович и задумался.

— Семен у них сила большая.

— Знаю, хулиган известный... А ты, дружище, вот что: кажется мне, горяч ты больно. Тут, знаешь, надо делать осторожно.

Федька вопросительно посмотрел на него.

— Так прямо, как мы с тобой говорим — нельзя.

— Это я понимаю.

— Ну вот... Ты сначала попробуй-ка подойти этак, как будто тебе все равно. Ну знаешь?.. Вот видишь, ты ляпнул, что ему мягко досталось, задел его, а так-то сначала не надо бы... Ты попробуй. А если не выйдет — чего там трусить! Узнал, что большинство за тебя, и шатай.

— Покос тоже надо бы поверстать.

— Вот и дуй.

Вечером Федька собрал сход.

— Что опять за беда?— спрашивали мужики.— Кажинный день сход!

Федька начал издалека. Сначала заговорил о крестьянском займе, рассказал случай, как один мужик в соседней волости на облигацию пятьдесят рублей выиграл.

— Да и я, наверно, тоже выиграю,— добавил он.— У меня как раз та серия.

Он назвал серию.

— И у меня тоже!— крикнул оторопевший Носарь.

Многие стали рыться в кошельках.

— Больше нет у тебя?— спросил у Федьки Игнат.

— Чего нет?

— Да этих, билетов-то?

— Есть, хочешь — бери.

Затем Федька перешел на другое, поговорил о многополье, о том, что везде идут поверстки... В компании Куленка насторожились.

— Конечно, ребята,— продолжал Федька,— если правду говорить, деревня у нас дружная. Ведь только так говоришь, а кто хочет работать — у всех земля есть.

— Знамо, так,— подхватил Носарь.

— Мне думается, если посчитать у всех поровну, лишка ни у кого нет.

— Конечно,— вставил Гиря.

Кой-кто из бедноты с удивлением посмотрел на Федьку.

— Так что, пожалуй, можно бы и не делить,— закончил он.

— Зачем делить?— заторопился Гиря.— Теперь небось сам видишь, что неладно тогда кричал. Давай вот, иди сейчас на мой повыток, я у любого беру!.. Узнаете, как мягко досталось.

— Поработали бы на нашей земле, узнали бы,— с горечью сказал Куленок.— Ей-богу, ребята, не жалко, хоть сейчас делите!

— Делить, землю переминать ни к чему,— сказал Федька.

— Да ведь нам не страшно!— выкрикнул Носарь.— Мы от общества не прочь!

— Ты что, Федюк, не с ума ли спятил?— удивленно спросил Нософырка, мужичок такой маленький, что его, казалось, можно было бы зажать в горсть.

— А что? Федька правду говорит,— высунулся Никола Конь, которому Жиженок уже несколько раз наступал под столом на ногу,— работать нужно!

— Вот это верно,— одобрил Николу Куленок.

— Не только землю, и покос делить не нужно бы,— добавил Конь.— Все равно никому больше не достанется.

— Покос делить — траву терять,— сказал Гиря.

— Вот-вот...

— Так что, братцы,— начал опять Федька,— не худо бы остаться как есть, без канители... Да только дело вот в чем — везде и всюду давно уже поверстали, а мы еще так, по-прежнему... Конечно, нам-то что! Не делить — ладно, и делить — друг друга не обделим. Как, братцы, ведь все равно?

— Пускай люди верстают,— дрогнувшим голосом заговорил Гиря.— Дураку закон не писан. Ведь силком не заставят, власть на местах.

— Это понятно... А все-таки, братцы, чтобы от людей не отставать, мы, я думаю, разделим.

Потемнел Куленок, прикусил губу Семен. Архип приготовился рявкнуть, но, видимо, долго не находил что сказать.

— Так что, граждане, кто за коренной передел, подними руки.

Кучка человек в десять осталась сидеть неподвижно, весь же сход, как один, взмахнул руками.

— Вот это я понимаю, вот это деревня!.. Давай, ребята, напишем протокол? Ладно ли?

— А ты пиши, не спрашивай,— крикнул Шарганчик.

— Да уж вот что, ребята, к слову пришлось — раз делить, так давайте и покос разделим.

— Голосуй!

Опять всего несколько человек остались сидеть неподвижно. Федька от удовольствия докрасна натер свою лысину.

— Раз на то пошло, давай с тебя начнем!— крикнул ему Гиря.— Выставляй пожню Гринькино! Поставлено у тебя тридцать пять копен, а я беру за тридцать семь.

— Я беру за сорок!— крикнул Никола Конь.

Гиря посмотрел на него так, будто сейчас только заметил, что Никола тоже присутствует на сходе.

— Напрасно, ребята,— добродушно сказал Федька, стараясь не смотреть на Гирю.— Ей-богу, больше тридцати пяти не будет!.

Кто-то из угла накинул еще копну.

— За сорок две,— сказал Конь, толкая под столом Федьку.

— Сорок четыре!— крикнул Куленок и сразу осел.

— Сорок пять!— еще громче крикнул Гиря.

— Ну что же, и обирай на здоровье!— со смехом сказал Федька.— Ребята, ведь я думаю, больше никто не накинет?

В углу засмеялись.

— Да будет ли тут и тридцать пять?— сказал Игнат.

— А вот Семен излюбовал, так пускай берет.

— Известно,— крикнул кто-то из угла,— надо улюботворить мужика покосом.

Федька еле держался от смеха.

— Сволочь, ты подзадорил,— прошипел Гиря Куленку.— Обирай сам!

— Нет, мне не надо. Я больше сорока четырех не давал.

— Ну и обирай за сорок четыре!

Глядя на двух споривших приятелей, сход покатывался со смеху.

— Вот, ребята, оживило голову! Хоть Семен на траву-то забрался... Продай мне на будущую зиму возишко,— со смехом говорил Игнат.

— А ему, ребята, ладно!— кричал Конь.— Он охотник,

а там на болоте сплошная утка. Осибирится* мужик: и утка, и сено, и протчая снедь!

Гиря, стиснув зубы, смотрел на мужиков.

— Что рады, мать вашу так?

— А кто тебя пихал? Больно охочь до мягкого, так получи сырого!— сердито сказал Игнат.— Вот, ребята, подвезло-то, ей-бо...

— Сволочь ты!— крикнул Семен, в упор глядя на Федьку.

Федька спрятал улыбку.

— Это за что же я сволочь-то?— спросил он, сразу потускнев.— Спасибо. Это за мою работу?..

— Шпион ты, вот кто!

— Ладно, говори, что знаешь.

Не мог утерпеть Федька, поднял голову. Прямо на него смотрели черные, с огоньками на дне глаза.

7

«Батюшка покров, меня, девушку, покрой»,— говорят девки, ложась спать на покров, строят из палочек колодцы и прячут их под подушку, чтобы приснился суженый.

С покрова начинаются в деревнях поседки. Девки бросают жребий, с которой избы начинать. Ребята ходят вечерами по улице, собирают у амбаров и гумен костицу, жгут ее в куче, подбрасывают горящие клочья на палках, и звездами летят в темное небо искры. Для каждого есть осенью своя отрада! Мальчишки на коньках, а то и просто на подошвах сапог, носятся по замерзшим лужам, и кажется, что счастливей их нет никого на свете. Хозяин подсчитывает урожай, колет лишний скот — свежие розовые туши висят по клетям и сараям. К покрову во многих местах варят пиво, ждут гостей.

Федор Дмитриевич уже второй год не варил пива, праздновал день урожая.

— Больше шабаш религиозные предрассудки,— сказал он жене решительно и твердо.

— А как же — гости придут?

— Чайком попой, пирог испеки хороший. Вот я засяду и буду газеты читать.

Читать газеты Федьке, впрочем, не пришлось — ребята-комсомольцы из соседней деревни утащили его участвовать в спектакле.

Так было в прошлом году. Нынче же Федьке было не до спектаклей — хмурый, похудевший, он целыми днями молчал, все валилось из рук его.

— Да что с тобой?— спрашивала Анюта.

— Живот болит.

Было это дня за три до праздника. До вечера Федька пролежал на конике, ночью ворочался с боку на бок, стонал... Анюта несколько раз вздувала огонь и смотрела на него. Ей казалось, что муж тает, как свеча.

— Тяжело?

— Ой, тяжело... Да ты ляг, успокойся.

Большая борьба шла в груди у Федьки. Сказать ли жене о своих думах или жить затаившись и мучиться? И видел мужик, заговори он сейчас с женой — разлетится, расколется вся их такая налаженная жизнь, и не соберешь ее, не догонишь.

— Ой, Анюта!

— Ну?

— Ничего... Хотел спросить, ходила ли ты сегодня в баню?

— Господи, да что с ним?

«А вдруг она до сих пор любит того, ненавистного?»— подумалось Федьке, и дрожь пробежала по его худому нескладному телу.

— Жена!— снова окликнул он.

— Да что такое?

— А вот... Не перенесть ли нам, как ты думаешь, на будущий год хмельник на другое место? Али, может, совсем изничтожить?.. Все равно теперь хмель не требуется, пива не варим.

— К чему ты о хмельнике-то, ни к селу ни к городу?

В голосе Анюты — испуг и тоска. Она всхлипнула и громко заплакала.

— Ну, чего воешь, дура, скажи на милость,— упавшим голосом пробормотал Федька.— Вот, ей-богу, беда-то! Хошь не говори ничего... У людей бабы как бабы, а тут и посоветоваться нельзя.

Он уже жалел жену — измучил он ее совсем!— и жалость смешивалась со злобой. Анюта плакала все тише и наконец, вся в слезах, забылась. Неподвижная тишина стояла в избе, это еще пуще угнетало Федьку,— тоскливые мысли не давали уснуть.

Наутро он решил еще раз проверить жену

— Вчера вспоминала, что нужно крупу смолоть,— сказал он,— так у Гири жернова хороши, давай сходим к нему.

— У Игната тоже жернова есть,— ответила Анюта.

— У него старые, худые, а тут новенькие.

Федька пытливо смотрел на жену. Она отвела глаза, опустила голову.

«Правда,— со страхом подумал Федька,— теперь хоть не ходи...» Но они все-таки пошли. С Гирей встретились в сенях — он сколачивал какую-то кадку.

— Здорово, Семен.

— Здорово,— угрюмо пробурчал Гиря, не глядя на Федьку, но по звуку шагов и по теням догадался, что он не один, и поднял голову. Поднял и чуть заметно вздрогнул.

— Да ты еще и не один,— сказал он развязно, особенно налегая на последние слова.

Федька чувствовал себя как человек, добровольно идущий на посмешище. Анюта стояла рядом точно пришибленная, застенчиво, по-девичьи уставившись глазами в пол.

— Так что же, дашь жернов или нет?

— На дом не дам, а здесь мелите,— просто ответил Гиря.— Скоро самим потребуется.

Жернова стояли в задней избе, выходившей окнами в огород.

— Ты одна смели,— сказал Федька, проводив туда жену, и ушел, оставив ее одну в зимовке.

Сухие головки девясила и старой крапивы лезли в низкие окна, скрадывая и без того скудный предвечерний свет серенького дня. Пахло холодом, старым густым молоком и квашней.

Анюта долго, внимательно осматривала избу. Все в ней было крепкое, слаженное прочно и неуклюже — так бывает в старых крестьянских избах, где живет зажиточный хозяин. Толстые сосновые лавки были украшены широкими подпушками и выкрашены красной краской. Широкие плотные полати с резьбой на воронце возвышались над богатой лежанкой с фигурными печурками... Все это нравилось Анюте. Понравилась ей и полочка для посуды — большая, крепкая, с выжженными фигурками по бокам.

«Федьке такой не сделать»,— подумала она и сразу устыдилась своей мысли. Но высокий здоровяк с размашистыми движениями, Гиря, против воли вставал в памяти. «Счастлива Варвара с таким мужиком»,— опять подумала ба́ба и,

чтобы избавиться от мыслей, сердито махнув рукой, принялась за работу.

Жернов оглушительно гремел, сердито грыз сухой овес, выбрасывая на подстилку готовую крупу... Жернов был тоже какой-то особенно прочный, неуклюжий — казалось, ему век не будет издержу.

«Не сам устраивал, поди-ко»,— подумала Анюта. В это время широкая полоса тусклого света пробежала в передний угол, и Анюта угадала, что кто-то вошел в зимовку. Сильнее забилось сердце, кровь прилила к лицу, и она быстрее завертела жернов.

Мимо нее в передний угол прошел Семен — долго рылся на полавочнике, затем поискал что-то на шестке, но, ничего не взяв, остановился посреди избы. Сквозь гром жернова было слышно, что Семен говорит какие-то слова. Не поднимая головы, Анюта остановила работу.

— Что не пошлешь на мельницу?

— Все некогда.

— Некогда?..

Семен опять прошел к печке, нагнулся над шестком... И вдруг баба увидела, что он направляется к ней. Она вздрогнула, ниже опустила голову.

Большая, тяжелая рука легла на ее плечо.

— Что тебе?— спросила Анюта и робко взглянула на Гирю. Знакомые черные глаза — глаза кудрявого парня Сеньки — медленно приближались к ее лицу, заглядывали, казалось, в самую душу.

— Ну что?..

— Да ничего. Давно не видал тебя.

— Смотреть на меня нечего, баба, так баба и есть... Чего зубы скалишь?

— А помнишь, Анюта, что было?

— Ну, помню, так что же из этого?.. Что было, то прошло. Дура была тогда.

— Нет, не дура... Все равно ведь никто не знает.

— Ладно, отвяжись, чего, в самом деле...

— Эх ты!.. А я тебя и теперь вспоминаю...

— Отстань! Не мешай работать. Пристал ни с чем...

Анюта еле сдерживалась, чтобы не обругать его, не плюнуть ему в лицо, и тут же незнаемо как вспыхивало в груди звериное желание обхватить руками крепкую Сенькину шею, заглянуть в эти страшные темные глаза — глубже, глубже, как десять лет назад...

— Давай вспомянем старинушку?— шептал Семен, обжигая ее дыханием.

— Уходи, окаянный, вот расскажу все Федьке...

— Нет, ты ему не скажешь, побоишься...

И руки у него были такие же цепкие, проворные, как десять лет тому назад. Только казались сейчас эти руки еще сильнее... Анюта отбивалась, молила, но ничего не помогало — грубой, пахнувшей табаком и старым деревом ладонью он приглушил ее крик.

И тогда Анюта с ужасом поняла, что она бессильна уйти от греха...

— Кто кому чем плотит, а мы вот...

Последних слов Анюта не расслышала — почувствовала только, что было в них что-то очень обидное и для нее, и для Федьки...

Федор Дмитриевич, оставив Анюту одну, забеспокоился. Он уже сам был не рад, что оставил жену бок о бок с врагом — представляя себе, как входит Семен в зимовку, как заговаривает с Анютой, быть может, смущает ее, подговаривает... И наконец он не вытерпел — заторопился к Анюте.

Из зимовки доносился грохот жернова. Гиря, веселый, довольный, насвистывая, возился с кадушкой. У Федьки екнуло сердце, и он молча прошел мимо него.

После того как Семен оставил Анюту, первой мыслью ее было — броситься на улицу, созвать народ, каждому рассказать о насилии. Но сразу же поняла она, что ничего этого не посмеет сделать, и, повалившись на лавку, зарыдала. Случилось самое страшное, что могло только случиться с ней в жизни — и казалось, что никакой жизни у ней уже не может быть. И еще страшней было чувствовать где-то в глубине души, что она почти покорена этим диким, уверенным в себе нахальством — ведь этак, среди бела дня, пожалуй, никто не осмелился бы сделать. «Он, дьявол хитрый, горячий»,— думала Анюта и опять выла, стискивая зубы и захлебываясь.

Федька застал ее за работой. На глаза у нее был опущен платок, и она даже не взглянула на мужа.

— Ты что эдак?— встревоженно спросил Федька.

— Так, что-то вздумалось...

Голос у Анюты был глухой, немного охрипший.

— Ревела?

Анюта молчала.

— Может, Семен говорил что?

— Нет, просто так.

Домой шли молча. Молчал Федька и дома, а ночью опять долго не мог уснуть — думы, одна тяжелей другой, наваливались на него...

8

Федька сидел за столом, наблюдал исподлобья за хлопочущей у печки женой. Баба двигалась быстро, как молодая девка, и во всех движениях ее виделось Федьке что-то новое — она точно бахвалилась своим проворством, расторопностью... «Да, дело неладно, совсем неладно»,— тоскливо думал Федька. Он старался оборвать эти мысли, перебросить их на другое, но и о другом — о неотложных общественных делах — думать было невесело. До сих пор еще не закончили поверстку покосов. Дело оттягивалось тем, что половина деревни ходила на заработки, и многие вернулись только вчера перед самым праздником.

С покосами было много греха. Подрались на пожне Труба с Конем — отлупили друг друга палками и кричали так, что было слышно на весь сельсовет. Случайно во время потасовки Никола прорвал Хавкуну белые штаны, и тот кричал не столько из-за покоса, сколько из-за испорченных штанов. Он наклонялся, соединяя пальцами лоскутья, но они рассыпались, и синеватое острое колено проглядывало в дыру смешно и неловко... Миша Носарь за лишние полкопны сплясал вприсядку и три раза обежал большую пожню. А когда, чуть не падая от усталости, он вымолвил: «Ну вот нате, заработал!»— Никола Конь хлопнул его по плечу и, подмигивая мужикам, сказал:

— Пока ты, Мишка, бегал, пожню-то Игнат взял...

Носарь взвыл. Он топтался на месте, ругался, грозил, что пойдет жаловаться...

— А кто кроме тебя согласился бы такую штуку проделать?.. Иди, жалуйся в исполком, там только посмеются.

Заработанное ему, впрочем, дали... Затем много кричал Семен Гиря — особенно когда пришел на доставшуюся ему от Федьки пожню и увидел, что она вся в воде.

Конь разбежался и весело скользнул, прокатился по льду.

— Ну, Семен,— крикнул он ядовито.— Покупай коньки! Вот, ей-богу, утеха-то!

Семен злобно матерился...

Куленок с горькой усмешкой брал свою часть.

— Ну, Илька, тут помочь не позовешь, один управишься,— говорил ему Никола.

Вспоминая сейчас об этом, Федька видел, что все дальше и дальше заходит вражда между мужиками. Он знал, что это неизбежно, но думать об этом было все же тяжело и тревожно.

С двенадцати пошли пьяные, под гармошку орали песни. Федька смотрел на них и вздрагивал. «Зачем это? К чему? Да разве есть время целых три дня заниматься гуляньем?»

Мимо окон прошла стайка девушек.

Полно, миленький, сердиться,
Губки бантиком держать.
Я желаю помириться
И тебя поцеловать.

И не успела растаять девичья песня, как грубый мужской голос проревел:

Револьверы отобрали,
Мы наганы заведем.
После этого отбору
Председателя убьем.

Партия молодых мужиков с Гирей во главе шла по дороге. Семен свернул к бревнам, сложенным напротив Жиженковой избы, и крикнул:

— Сюда, ребята!

Федька инстинктивно отодвинулся от окна.

— Под драку!— крикнул Гиря, пошатываясь.

Кто-то изо всех сил рванул гармошку, и началась бешеная пляска. Семен на пару с другим мужиком, почему-то сразу перестав шататься, носился по дороге, вертясь вьюном, присвистывал и ревел похабные частушки... Больно и страшно было глядеть на эти дикие бесшабашные лица, на эту отчаянную пляску. Кто-то окрестил компанию трестом. «Трест идет!»— говорили в праздники мужики и старались уходить подальше от греха.

Весь день Федька не выходил из дому, рано лег спать. Ему снились тревожные непонятные сны, он стонал, пугая Анюту... А под утро его разбудил какой-то неожиданный грохот и треск.

Компания Гири гуляла вовсю — принимали нового члена, молодого мужика Мишку Зайцева; поспорив с женой,

он напился, вышел на улицу и весь день уже не возвращался домой. Пили, пели, плясали, гонялись за девками... Вечером, еле держась на ногах, вооруженные кто чем попало, с ревом шли по улице, и все разбегались перед ними. Только один человек, тоже что-то кричавший, не успел скрыться. Никто не знал, что это был за человек, но все чувствовали, что ему надо наломать бока.

— Мишка, действуй!— крикнул Семен.

Зайцев, пьяно ругаясь и сплевывая, двинулся вперед.

— Кто такой, зачем орешь?— бормотал он заплетающимся языком.

— А ты... ты что за цаца?..

— Вали!— крикнули новичку сзади, и Мишка, размахнувшись, ударил шатающуюся перед ним фигуру. Сзади одобрительно загоготали,— новичок выдержал экзамен.

— Да ты... ты меня насмерть расшиб, сопля!— послышалось из темноты.— Да ты знаешь, кто я? Я... Игнат Медведев, самый лучший мужик в деревне. Под суд тебя!.. Ну, подними, кляп с тобой.

— Чего ты с ним возишься?— крикнул Семен.

И опять шли по темной улице, дико, во всю глотку орали:

Двухаршинного товарища
Порезали ножом...

Перед рассветом, снова напившись, шли мимо избы Нософырки, который в этот праздник, кроме ежегодно выбиваемой одной и той же оконницы своего хлева, выломал еще две рамы в зимовке и забросил их на крышу.

Услышав за занавешенными каким-то тряпьем окнами голоса, хулиганы притихли.

— Лахудра, спи!.. Я хозяин в доме!

— Будь ты проклят... хозяин!

— Ненила, смотри, встану!..

Семен поманил мужиков в сторонку и стал им что-то нашептывать. Корчась от холода, нашли где-то ведро, почерпнули из колодца воды. Семен встал с ведром у окна, а один из мужиков пошел к воротам.

— Молчи, лахудра, золотые рамы вставлю!— доносилось из избы.

Стоявший у ворот постучался. В избе стихли.

— Ненила!

Ненила молчала.

— Ненила, что это?

— Сам слышишь. Кто-то в избу просится.

— Иди, отопри.

— Мне-то что, на то муж есть.

— И пускай стучит, с места не сдвинусь.

Опять наступило молчание.

— Хозяин, пусти погреться,— донесся с улицы старческий голос.

Нософырка повернулся на постели, прислушался.

— Сходила бы, Ненила, узнала.

— Сказано, не пойду.

— Ну, лахудра!

Он поднялся и направился к двери.

— В окно-то посмотри сначала.

— И то, в окно...

Нософырка приподнял одежину, робко взглянул наружу.

— Кто крещ...

Договорить он не успел: Семен опрокинул на голову ему все ведро.

— А... фрр!.. о... го-ос-по-ди!

Бросив ведро, двинулись дальше. Добравшись до избы Жиженка, уселись на бревнах.

— Что бы еще, ребята, сделать?— соображал Семен.

— Напугать Федьку.

— Как?

— Постучимся давай.

— Нет, брат, старо. А вот звону наделать — это да!

Все согласились. Семен выбрал в канаве большой камень, то же сделали и другие. Потом, выстроившись в ряд, по команде пустили гостинцы в Жиженковы окна... Звону было действительно очень много. И вот от этого-то звону Федька и проснулся.

Днем собрали сход.

Семен и приятели его, казалось, вели себя свободно — шутили, смеялись, перешептывались друг с другом, но чувствовался за этими улыбками, за этим коротким смешком — большой страх.

Мужики сурово ждали, когда заговорит Жиженок.

— Ваше дело, ребята, сознавайтесь, кому больше?— тихо сказал Федька.

— Что такое?— спросил Семен.

— Вот видишь,— указал Федька на разбитые рамы.— Чем же рамы-то виноваты? Бей меня, ежели в чем,

граждане... Ну, как я теперь, ведь холода наступают!

Все молчали, было тихо в избе. Стоял Федька за столом бледный, растрепанный, в заношенной синей рубахе...

— Ведь ежели, братцы, судить, так небольшое я начальство. Сами знаете — для вас все, для общества служу, никакого жалованья не получаю. Чем бы, кажется, досадить — в толк не возьму! Ведь это беда, разор. Худым концом, по полтиннику рама. Три разбиты, значит, выходит, на полтора рубля пожалели... Я говорю, уж ежели досадил чем — бей меня, а не тронь рамы. Потому не надо наносить урон хозяйству...

Снова повисла в избе неподвижная тишина. Хмуро молчали мужики. Притих Семен, притих и весь «трест»...

Наконец неторопливо поднялся с лавки Труба.

— Вот что, мужики,— грозно заговорил он,— будет нам на них любоваться... До чего дошло — живи и бойся.

— Написать прокурору!— крикнул кто-то.

— Да, братцы, это уж ни на что не похоже,— выступая вперед и показывая ссадину на лбу, заговорил Игнат.— Меня вот избили... Тоже они — кто другой?.. Ну чего им от меня, старика, надо?

Нософырка сидел на лавке молча. Он боялся говорить.

— Напишем прокурору, откажемся от них,— гремел Труба,— убирайте куда знаете, нам таких разбойников не надо.

— Голосуй, Федька, чего ты!— крикнул Шарганчик.

— Приговор, братцы, кто желает?— неуверенно обратился Федька к собранию.

— Хорошо придумано. Надо!

— Пускай лишат родного места!

Федька мельком взглянул на Гирю и уловил в его взгляде что-то похожее на мольбу. Сейчас в глазах Семена не было ничего, что напоминало бы Ваську, и, быть может, поэтому Федьке показалось, что Семен стыдился своего поступка, что он уже раскаивается...

— Пиши! Пускай убирают поскорей.

— Твое дело, Федька, тебя больше всех обидели,— сказал Игнат.— Как ты скажешь, так и будет.

Опять тихо стало в избе. Федька понурившись думал.

— Ну, леший с ними, пускай вставят рамы,— сказал он вяло и махнул рукой.

9

— Что это ты, Федька, скис?— обратился однажды к другу своему Алеха Шарганчик.— Ходишь как в воду опущенный, будто и не были мы с тобой первыми закоперщиками!.. Тебе бы жить да радоваться. Сила у нас теперь больше, не то что раньше. Покос вон разделили по-своему, землю будем верстать... Я, на тебя глядя, похудел даже, ей-богу...

Долго молчал Федька. Ему самому было совестно, что изменился он, растерял пыл свой в семейных делах. Но как ни старался он успокоить себя — ничего не выходило. Нежданно-негаданно вломилась в его жизнь темная сила, и уже не мог он одолеть ее.

— Я к тебе всегда с чистой душой, как бумага белая,— продолжал Алеха,— а ты хоронишься от меня, скрываешь...

Федька взглянул на него — потянуло рассказать о своих думах, открыться во всем, облегчить накипевшее горе.

— Ну что ж, Алеха, скажу я тебе... Только тебе одному и могу сказать, ты уж смотри...

— Вот лопни мои глаза!

— Васька-то...

— Ну, ну?

— Не сын он мне.

Будто Алеху ударил кто крепко и неожиданно — вздрогнул он, привстал даже на месте.

— Ох!.. Так это как же, Федька? Как же быть-то?

— У тебя хотел спросить.

— А отец настоящий... неужто Гиря?

Федька замолчал, отвернулся в сторону.

— То-то я замечаю, смотришь ты на него...— начал было Алеха и не кончил, зло сдвинув брови, сказал:— Да, брат, на бабу никогда нельзя надеяться.

— Смотря какая баба.

— Стой, Федька! — вскрикнул вдруг Шарганчик, оживляясь.— Да что это ты, мать твою так! Да помнишь, как бывало... Плюнь! Законы знаешь? Отдай парня отцу.

Он близко придвинулся к другу, заглянул в глаза ему. Федька улыбнулся жалкой, бледной улыбкой и опустил голову.

— Не могу я, Алеха... Да и не сделаешь этого — ведь девять лет прошло.

— Ну, а ты все-таки не унывай, что-нибудь придумаем...

— Что тут придумывать? Развестись, скажешь, из-за этого? Ее загубить?.. Да и мое житье без бабы тоже незавидное будет.

— Найдешь другую.

Федька не ответил и, помолчав, сказал горько:

— Пятнадцать лет жил, надеялся, считал за жену...

— Вот что,— опять встрепенулся Алеха,— ты знаешь, махни рукой на все да береги свое здоровье! Забудь все, ей-богу!.. Ну мало ли что бывало? На позиции-то, поди, тоже не жил святошей...

Вспомнил Федька фронт, девиц, ночные встречи, вечеринки по деревням.

— Всяко бывало...

— Ну вот... А другого тут ничего не придумаешь. Верно?

— Верно.

— Вот то-то, давно бы надо сказать. Ум хорошо — два лучше... Надо тебя, брат, расшевелить... Что ты теперь все дома сидишь? На народе-то пов催аднее. Приходи сегодня к Николе сидеть.

— Ладно,— ответил Федька, и в голосе его уже не было прежней горечи.

...Любили мужики проводить длинные осенние вечера у Николы — в разговорах о деревенских новостях и нуждах, в рассказах о всякой всячине коротали время... Федька пришел, когда все были уже в сборе — не хватало только Архипа, да вряд ли его и ждали сегодня: уж больно здорово ругались они с Николой на пожне.

— Плешивый пришел,— приветствовал Федьку Конь.— Начальство лешево, комиссар!.. Вот бы, ребята, кому ноги-то обломать, не носил бы черт по солдаткам от своей бабы. Вот наказанье-то в деревню послано! Того и гляди, под носом напроказит. Недаром у нас в деревне ребятишек много... Навалить бы всех на плешивую голову,— на, мошенник, корми! Начальник тоже... Этот начальник не только мужиков, и баб улюботворит.

Мужики смеялись, вставляли кой-что от себя, и, не успевая отвечать им, чувствовал Федька, как тает в этом родном кругу вся печаль его.

Неожиданно, кряхтя и ругаясь, ввалился в избу Архип.

— Я у тебя, у прохвоста, на крыльце чуть голову не сломал. Отсохли руки поправить-то!

— У меня не крыльцо, а слопец,— примиряюще ответил Никола,— как зашел, так и с катушек долой.

Приходу Архипа никто не удивился: этот горластый мужик не умел сердиться. Кричать — было его потребностью, и, бывало, доставалось от него совершенно безвинному человеку; а через какой-нибудь час, прочистив горло, Труба подходил к обиженному и заговаривал с ним как ни в чем не бывало.

Архип сел на боковую лавку, прикрыл закропанное колено и принялся закуривать.

Сегодня Никола рассказывал о себе. Он подсел к столу и, с усмешкой посмотрев на собравшихся, начал:

— Ой, ребята, чего только не бывало...

Он оглянулся на мать, сидевшую рядом на лавке. Старуха хлопнула его по спине, засмеялась:

— Сиди, окаянный, хоть бы все-то не рассказывал!

— Пасха подходит, а у нас и кусать нечего,— продолжал Никола.— Поскребла старуха заступом пол, подмыла окна,— стекла-то были не меньше как вот с Федькину лысину... А в те времена купил мне, молодцу, покойный батюшка гармошку за полтора рубля, весом эдак на полпуда — два раза можно печь истопить. Был у этой гармошки зарочек небольшой: где надо только пискнуть, так ревела по-медвежьи, а где и вовсе мышонком пищала... Не знаю, правду или нет говорят, когда я учился, так все кошки в краю подохли. Иногда девкам под песни заиграешь, а она рявкнет ни с того ни с сего — с ума сойдешь!.. Ну, вот и молодцевал я с эдакой гармошкой. Пошел однова в другую деревню, к сударушке. Был я порядком подвыпивши и, вместо того чтобы дорогой идти, дай, думаю, напрямки через кусты да через реку, благо снег неглубок. Кружил да кружил по кустам, ушел версты за полторы от дороги, к узкой поляночке, и забрался в осинник какой-то. Вижу, близ меня столб стоит, вокруг столба площадка, на ней собака на привязи бегает. Что за чудо? Подошел ближе. Верно, собака. Как попала? Зачем?.. Потянулся я к собаке и — хлоп!.. Сквозь землю, братцы мои, полетел! Сразу весь хмель к лешему, о мерзлую землю локоть ссадил и голову расшиб... Осмотрелся — вижу, близ меня кто-то как две спички зажег. Тут только я понял, что это за собачка такая! Хотел крикнуть — голос отнялся; хотел выскочить — высоко... Ну, видно, погибай, Николка! И только что подумал это — услы-

шал я, братцы мои, как кто-то зубами щелкает. Да чего кто-то — сразу догадался, что это матерый волк, которого третью зиму Никита Кныш ловит... Схватил я гармонь, раздернул вовсю,— отодвинулись спички. Немножко приотлегло. А тут, как на грех, три голоса вдруг по-коровьи заревели, и такая поднялась музыка, что, думаю, будь тут леший и тот бы напорошил от такой игры... Самому и то непереносно, ей-богу. Да, поди, и волк уж не больно рад, что попал на эдакую поседку... Часа полтора без перерыва зудил я под драку — моченьки больше нет. Нарочно рявкнул изо всех сил медвежьими голосами, перешел на песни. Заиграл «Последний нонешний денечек»— сам плачу да пою. Волк сидит, слушает. Я начал «Солнце всходит и заходит», потом «Коробочку» сыграл. Голос весь выкричал да стал маленько понимать, что уж, пожалуй, пальцы скоро не заходят. Посмотрю наверх, послушаю... Вижу с правой стороны Большую Медведицу, как телега без колес стоит на небе. Беда! Собрал я все силы, вскочил на ноги и давай сам себе под драку опять наигрывать, вприсядку пошел. Волк сидит в сторонке, а я гармоньей пудовой все коленки отбил, весь подбородок исколотил себе — измотался вконец, упал в угол ямы, лежу и двинуться не могу. Смотрю — волк ко мне двигается... Так откуда, ребята, силы взялись! Сам не понимаю, чего выходит, куда пальцами тычу, а играю... Наверху уже Медведица укатилась, ну, думаю, скоро утро — протяну до утра, а там и погибать при свете легче. Зажал одну гребенку ногами, за другую обеими руками ухватился и дергаю. Ничего, звонко выходит... Сколько времени так дергал, не знаю. Посмотрел наверх — там светлее стало; посмотрел в другой конец ямы, видно, сереет что-то... А еще немного погодя увидал я у своего соседа лапы,— ну лапки!— одной меня зашибить может... Рот открывает, зубами хвастает, а я, будто и дело не мое, совсем отвернулся... И стал я, братцы, с белым светом прощаться, у отца, у матери да у добрых людей прощения просить. Но пожалел, видно, меня бог: ехали мужики на станцию, услыхали мою музыку с дороги, пришли по следу. «Кто крещеные, сказывайся!»— спрашивают. «Караул,— кричу,— помогите!»—«Да куда ты попал?»—«Достаньте,— отвечаю,— расскажу все по порядку». Сходили мужики за вожжами, опустили мне конец. Одной рукой играю, другой вожжу к ремню привязываю. Наконец готово. «Тяните!»— кричу. Они тянут, а я играю... Так и вытянули. Велел я им отки-

нуть с ямы хвою — тут только и увидели мужики, с кем я ночку коротал.

— Ну и врать здоров, гнилоногий,— качая головой, сказал Шарганчик.

— А может, где-нибудь так и на самом деле бывало,— возразил Игнат Медведев.

— Говорю, со мной было,— со смехом отозвался Никола, и нельзя было понять, врет он или говорит правду.

— Расскажу вам еще одну бывальщинку,— начал он, закурив от лампы.— Ездили мы однажды, я да Артюха Галанин, со скипидаром. Двенадцать недель мыкались. Берут худо, дают дешево, проторговались мы в пух-прах. Заехали как-то ночью на хутор. Смотрим — один-одинешенек большой дом стоит. Постучали в окно — не отпирают. Артюха взял кол да в ворота: «Эй, кто слышит, кто видит, погибаем!» Вышел хозяин. «Кто тут?»— спрашивает. «Ночевать пустите».—«Много вас тут шляется». Вот беда-то!.. До деревни во все стороны двадцать верст, ночь морозная... «Да что, дядя,— просим мы его,— ведь не погибать же нам на волоку!» Насилу уговорили. Лошадь во двор поставили, спрашиваем: «Самим-то куда?» Ничего не сказал мужик. Отпирает нежилую избу-поморозницу. Зашли. Темно, снегом все окна завалило, холодище — зуб на зуб не попадает. Легли на пол, укрылись своей одежонкой, прижались друг к другу. Артюха у меня всю хозяйскую семью и всю его родню проклял. Да тут еще, на беду, есть хочется — не жрали целый день... Ох уж эти богатые мужики, мать их растуды!.. Делать нечего, лежим, не в живых душах. Вдруг слышно, вышел кто-то в сени. В прихлевок двери открывает, потом вроде плачет кто. «Зажало бы да и не отпустило!»— говорит Артюха... И входит тут к нам мужик с фонарем. «Спите?»— спрашивает. «Нет».—«Чьих вы будете-то?» Сказались. «Поди, худа наживишка-то?— спрашивает.— Чего дома-то есть?» Артюха стал врать, мужик только хмыкает. «Не бывало ли у вас,— спрашивает,— что корова не может разродиться?»—«Как не бывало»,— отвечает Артюха. «Не поможете ли горю?» Толкнул меня Артюха локтем. «Что можем,— говорит,— сделаем». Пошли в хлев. Артюха усы разгладил, рукава засучил: «Ну-ко раздевайся, Коля! Да и ты, хозяин, раздевайся, не задумывайтесь над этим делом», как командир, покрикивает!.. Ноги вперед показались — затолкали обратно, голова вперед пошла. «Тяни, Коля, живо до чаю». Вытащили мы теленка пудового, и ко-

рова жива осталась. «С поту-то,— говорит Артюха,— негоже в подвал идти».—«В избу идите,— отвечает хозяин. Телята у меня не живут, не знаете ли, чего поделать?»— «Что знаем — сделаем!.. Щепай лучину!..» Мужик как на пружинах заскакал. Теленка в избу притащили. «Буди все семейство!»— говорит Артюха хозяину. Разбудил мужик жену, двух дочерей, сына. «Ну вот что,— говорит Артюха,— ты зажги лучину, держи вот так, а они все пускай через огонь пройдут». Сам у печки копается. Подойдет к теленку, в ноздри ему чего-то сует для виду. Фыркает теленок, ногами дрыгает, а Артюха его уговаривает: «Лежи, лежи!» Потом подошел к мужику, хлопнул его по плечу: «Ну, будешь спасибать!» Легли спать, а утром будят нас, добрых молодцев, к чаю, на сковородке блины верещат. Хлопнул еще раз Артюха на прощанье мужика по плечу: «Будешь спасибать»...

Этот рассказ рассмешил всех. Во все горло смеялся Шарганчик, широко, заливисто хохотал Игнат... Даже Труба и тот потрясал избу густым гудящим хохотом.

Федька благодарными глазами смотрел на Николу. Все мрачные мысли его точно ветром сдуло.

— Вот что, ребята,— предложил он,— весело у нас, как в театре хорошем. А еще лучше было бы читальню устроить. Насобирали бы книг, картинок бы понавешали..

— Что ж, это дело хорошее,— поддержал Федьку Архип.— Смотришь то, другое, пято, десято,— все бы лишнее узнал. Ну, там газеты, законы всякие, декреты...

Поддержали и другие, а Игнат согласился пускать мужиков к себе в избу.

— Только с тем условием, чтобы ребятишек не пускать!

— Будь спокоен.

Еще веселее стало на душе у Федьки. Домой он ушел последним — и в первый раз за последнее время назвал жену Анютой, любовно посмотрел на спавшего Ваську.

10

На другой день Игнат велел жене убрать из избы лишнюю рухлядь, помыть пол.

— Перед чем это?— удивленно спросила та.

— Делай, что велят.

К вечеру Игнат притащил из сарая несколько старых

скамеек. Никола Конь, зашедший взглянуть, что у него творится, даже диву дался:

— Ого, да ты, брат, молодец!

Никола сбегал домой и вскоре явился с каким-то бумажным свертком под мышкой. Хитро подмигнув Игнату, он развернул сверток. Игнат даже зажмурился от удовольствия: прямо перед ним, как живой, сидел на коне серый человек с пикой — и не просто сидел, а стремительно несся куда-то, вперив острый взгляд вдаль.

— Чего написано-то?— спросил Игнат.

— «Про-ле-та-рий, на конь!»— по складам прочел Никола.— С двадцатого года берегу.

— Ну, дока...

На стене картина выглядела еще краше.

— Тут не все еще,— таинственно подмигивая, сказал Никола и развернул вторую картину.

— «Петроград в опасности!»— прочел он и прибил картину к стене.

Затем он достал третью. Лошаденка, изображенная на ней, походила скорей на голодную кошку, дровни — на игрушечные салазки, мужичок, сидевший в них,— на уродливую куклу.

— «Выполняйте натурналог!»— прочел Никола и пояснил:— Видишь, сидит на дровнях, везет налог.

Картина эта вышла по видимости из-под кисти местного художника, но все-таки придавала известный вид избе.

— Стой, парень!— как бы спохватившись, крикнул Игнат.— Ведь у меня, кажется, тоже кой-что имеется.

Он вытащил из клети большую коробью.

— Вот,— сказал он, доставая листок, испещренный крупными буквами.

— «Голосуйте за Учредительное собрание!»— прочитал Никола.

Оба задумались.

— Помню я... Ой, что было в то время,— тихо промолвил Игнат.

Они прибили лист к стене.

— Не то,— сказал Игнат.

— Да.

— А пускай висит, все не пустое место.

— Ладно.

«Да здравствует Временное правительство!»— гласила надпись на втором листе.

— Ну, это к черту!— воскликнул Никола.

Больше у Игната картин не оказалось. Зато нашлись книги.

— Клади на стол, после полочку устроим,— сказал Игнат, подавая Николе «Житие святого Тихона Задонского».

— Это не надо.

— А что?— удивился Игнат.

— Ну ее к богу.

— Хм... А вот эту?

— «Па-те-рик Ки-ев-ских У-го-дни-ков»... И эту не надо.

Много книг они перерыли, пока не нашли того, что показалось им подходящим. Тут были «Собака Треф», «Гора Афон», «Как обманывают народ большевики», «Мать-чудовище» и много других.

— Книг-то с лешова!— сказал Никола, не успевая даже прочитывать заглавия. А Игнат выкидывал из короба все новые и новые —«Джон Ральфс — гроза полиции», «Блуждания преподобной Феодоры», «Ник Картер», «Алексей, человек божий»...

— Ну, ну!— говорил Никола, улыбаясь во весь рот.— Конца не будет. Да эдак наша читальня будет не хуже, чем при вике!

Из коробья появились еще —«Кончина Александра III», «Христиания, бди», «Пещера Лихтвейса», «Наставления на каждый день»... Наконец Игнат вытащил книгу, которую оба долго рассматривали. Книга была толста, напечатано в ней было мелко. Называлась она «Средневековая инквизиция».

— Подумать даже не знаю, что это такое,— сказал Никола и прочитал еще раз:— Ин-кви-зи-ция... Вот сволочь!

— А ну ее,— сказал Игнат.— Может быть, что-нибудь такое, знаешь...

— Все может быть.

— Завтра велю в печку бросить.

— Хуже не будет.

Две большие стопки книг красовались на столе, и добросовестные труженики любовно посматривали на них.

— Ведь вот,— удовлетворенно вздохнул Никола,— нужно только взяться.

— Знамо дело.

Пришедший поглядеть на читальню Федька застал все уже законченным.

— Вот как, будто в нашем полковом клубе!— весело

крикнул он, но, посмотрев книги, те из них, на которых упоминались слова «христианин» или «святой»,— отбросил в сторону.

— На-тко!— немного обиженный, сказал Игнат.— А мы старались, подбирали.

— Буржуазные предрассудки и религиозный дурман,— отрезал Федька.— Да и это зря,— добавил он, указывая на плакат об Учредилке.

Вечером в читальне собрались мужики.

— Знаете что, ребята?—сказал Мишка Зайцев.— Попросить бы в библиотеке новых книг, а то тут все старые... Я этих и читать не стану.

Многим книги тоже показались неинтересными, но обновить читальню все-таки было нужно. Начали читать Джона Ральфса и просидели до вторых петухов. Тесно сомкнувшись вокруг стола, слушали мужики рассказ о похождениях ненастоящих людей, неслыханных злодеев и неслыханных благодетелей. И только одному Федьке казалось, что читать бы этого не следовало.

Прежде чем разойтись по домам, мужики сговаривались:

— Завтра надо бы пораньше собраться.

— Обязательно!

На следующий день Федька хмуро слушал историю смертей и воскресений Джона Ральфса и крепко вполголоса ругался.

— Ты чего ворчишь?— спросил его Никола.

— Сволочь!

— Кто сволочь?

— Все, кто пишет такие книги.

— Мели, Емеля,— равнодушно ответил Никола и низко склонился над столом, махнув Федьке рукой, чтобы не мешал слушать.

Несколько вечеров подряд томился Федька и наконец не вытерпел — сказал Шарганчику:

— Алеха, а ведь дело-то вовсе неладно. Читальня так читальня,—то, се... А тут какая польза? Совсем не по-настоящему.

— Сам придумал...

— Вот что... Приказываю тебе, как представитель власти, сходить завтра к Игнату и забрать у него «Пещеру» и другие протчие... запрещенные книги.

— Да рази они запрещены?

— На-ко, сейчас узнал!

— А раньше чего смотрел?

— Ладно, мало ли что... Сходи, скажи, бумага из исполкома есть.

— Так ведь надо написать бумагу-то.

Они пошли к Федьке и сели за работу. Для того чтобы вышло поважней, писали красными чернилами на синей бумаге:

«Лично. Срочно. Секретно.

Сельисполнителю дер. Красн. Стан Ф. Д. Жижину.

Предлагается в 24 часа убрать контрреволюционные книги в шкафу у гражданина той же деревни Игната Медведева...»

— А как они должны знать, чтó в шкафу-то?.. Это бы не надо.

— Ну, тогда напишем — в ящике, в коробье. Знают, что у мужиков есть коробья.

— Не у каждого... Пиши — в столе.

— Ну заплел! Это еще хуже: в столе только хлеб держат... Напишем просто: которые должны находиться у гражданина Медведева, в неизвестном месте скрытые.

— Нет, не годится — мы эдак всю Советскую власть подорвем. Что, скажут, везде заглянули?

— Тогда пиши сам, леший с тобой-то!

— Ну, ну, не сердись... По мне, пиши хоть и так: этой контрреволюционной литературы не должен держать ни один крестьянин, потому что в ней говорится против Советской власти и другое.

— Ну, куда хватил!

Федька задумался.

— Черт знает, что-то не пишется, только бумагу портим. Придумывай!

— В этих книгах говорится всякая ерунда и никакой пользы не предвидится, а только вред, пожалуй.

— К чему пожалуй-то, дура? Ведь мы строгую бумагу пишем.

— Опять сердишься!

— А ты, Алеха, со мной не спорь. Я все-таки писал побольше твоего.

— Ну, ну, ладно... Может, просто написать: предлагается взять эту литературу, без всяких объяснениев.

— Ну-у вот! А политика-то Советской власти какая, голова? Все объяснить должны.

Друзья задумались, молча поглядывая друг на друга.

— Гражданин Игнат Медведев держит такие книги и притом распространяет идеи,— предложил наконец Алеха.

— Чем и делает вред,— добавил Федька и невольно рассмеялся:— Вот глухая беда, напугается-то!

На новом лоскуте синей оберточной бумаги они переписали приказание начисто и, вместо печати, приложили пятак.

На вечеру другого дня оба пошли к Игнату. Старик сидел посреди пола на старых дровнях и долбил в полозе новую дыру.

— А ведь мы, дедко, пришли-то к тебе с большим делом,— начал Алеха.

— Ладно... Что за дело? Садитесь, я сейчас.

Он не торопясь кончил долбить, положил на стол долото, поднял с пола кучу крупных щепок и бросил их в печку.

— Убогая, надо бы печку затопить, что-то студено стало...

Убогая, как Игнат звал Улиту, выглянула из-за переборки.

— Ну, ну, какое дело?

Шарганчик достал из кармана бумагу и развернул ее перед Игнатом.

— Это чего?

— А вот тебе и чего!.. Будет тут нам всем, кажется.

Игнат забеспокоился:

— Да ты уж руби прямо. Ей-богу, ничего не знаю... И овцы ни одной не скрыл, не только нетелки, это врут все.

— О нетелке после, а ты вот слушай.

Старик со вздохом сел на лавку. Испуганная Улита, открывши рот, стояла у печки.

Когда Алеха прочитал бумагу, Игнат почесал голову, посмотрел на приятелей и сказал:

— Ей-богу, ребята, ничего не понимаю, вот хоть убей.

— Мы, признаться, и сами-то не совсем поняли,— ответил Алеха,— а только видно, что пахнет тут не шуткой.

— Что говорить, такими делами не шутят,— проговорил старик и, склонив голову, тихо спросил:— Меня, однако, никуда не увезут?

— Особенно-то бояться нечего,— ответил Алеха,— тут в бумаге вот в конце примечание есть: ежели гражданин

Медведев добровольно согласится отдать местной власти эти контрреволюционные книги или сам их сожжет в печке, то такая политика будет верна и ничего ему за это не будет.

— На-ко!— воскликнул обрадованно Игнат.— Да разве я против? Да гори они, леший с ними-то!

Открыв шкаф, он начал выбрасывать книги в печку.

— Пускай горят,— весело приговаривал он.— Только как же, ребята, без книг-то, чего читать-то будем?

— Никола поедет в исполком, напишу Андрею Ивановичу — пришлет.

— А пришлет, так и ладно,— сказал Игнат и, бросив в огонь последнюю книжку, сел на лавку курить.

Собравшиеся вечером мужики, узнав, что ни одной книжки не осталось, долго ворчали: чтение для них было уже чем-то вроде запоя. Успокоились только после того, как Федька объяснил, что из волости пришлют новых книг. Никола Конь, когда ему предложили съездить в вик, важно сказал:

— Не могли лучше делегата выбрать?

Однако в волость он отправился на следующий же день, чуть свет. Весть о том, что он привез с собой целый сверток книг, облетела всю деревню, и мужики собрались к Игнату раньше обыкновенного.

Никола, как назло, долго не шел. Решили послать за ним Кольку Игнатова.

— Ну что?— спрашивали мужики, когда Колька вернулся обратно.

— Жрет.

— Эка прорва.

Через некоторое время Колька сбегал еще раз и сообщил:

— Сел к столу, курит. Говорит, подождут — душа не выйдет.

— Вот дьявол гнилоногий! Унести бы, ребята, посылку — пускай сидит.

— Ну его к лешему! Зря время теряем,— сердито сказал Шарганчик.

И еще раз послали Кольку. Вернувшись, он сказал:

— Одевается.

Тогда пошел сам Федька.

Никола стоял под полатями и разговаривал с сыном Толькой. Рукой он придерживал большой узел.

— Прохвост!— крикнул Федька, вбегая в избу.

— Не торопись, владыко!— спокойно ответил Никола.

Он подошел к кадке и припал к ковшу с водой. Неторопливо относил ковш в сторону, вычищал языком крошки в зубах и опять пил.

— Тьфу! Я вот возьму скамью да скамьей-то тебя по макушке.

— Руки коротки,— спокойно ответил Никола, дотянулся к полке с пирогами и, отломив большой кусок яшника*, положил его в карман.

Федька схватил его в охапку и вытолкнул за дверь.

— Идут!— возбужденно крикнул Шарганчик, заслышав шаги в сенях.

Вошел Федька.

— Веду, дьявола...

— Где ведешь?

Федька оглянулся, за ним никого не было. Тогда встали Шарганчик и Мишка Зайцев. Никола исчез.

— Ей-богу, ребята, за мной шел!— оправдывался Федька.

— Не поблазнило ли тебе, плешивый?

— Никола!— позвал Зайцев.

— Чего надо-то?— спокойно отозвался из-за угла Конь.

— Сволочь!— сердито крикнул Шарганчик.

Никола неторопливо пошел вперед. Приказал открыть перед собой дверь в избу. Сердитый рев десятка голосов встретил его. Однако довольные тем, что Никола положил на стол большой узел, все стихли.

— По местам!— властно крикнул Никола.

Он достал из кармана бумажку и поднял свой бурый указательный палец кверху. Мужики почтительно расселись по местам.

Председателю дер. Красный Стан. Центральная изба-читальня присылает вам книг по сельскому хозяйству и других. Выберите человека, который бы следил за исправностью книг.

Избач М. Стасов.

— Славно!— сказал Игнат.— Хорош подарок, ерехавоха. Вот красностанцам честь какая.

Никола развязал серый женин платок, схватил верхнюю в яркой обложке книгу. Долго держал ее перед мужиками, ничего не говоря.

— Книжки-то книжками,— начал Игнат,— только что вот в этих книжках написано?

Никола, отстраняя любопытных, медленно начал перечитывать заглавия, и беспокойство Игната улеглось. Федька, посмеиваясь, сидел в стороне.

— Теперь надо старшину выбрать,— сказал Никола.

— Ты привез, ты и старшиной будешь. Дозирай их, бери на свою ответственность.

— Ой, что вы, ребята,— не в силах сдержать довольную улыбку, говорил Никола.— Разве я гожусь для этого дела?

— Не разговаривай. Хоть и промурыжил ты нас сегодня, да уж леший с тобой. Мишка вон у нас читать будет, коптинарнусом — ты, а Федька — за порядками следить.

— Ну, кляп с вами,— притворно сердито отрезал Никола и бережно придвинул книги поближе к себе.

11

Поступок Федьки — тогда, на сходе — пристыдил и в то же время еще пуще озлобил Гирю. Мучительно было сознавать, что вот был он в руках у Жиженка и тот, как милостыньку, бросил ему помилование.

Семен чувствовал себя осмеянным, униженным, и от этого с каждым днем все росла его ненависть. Хотелось отомстить — и за унижение, и за покос, и за поверстанную наново землю. Но, вспоминая Анюту, ее слезы, Семен успокаивался. Ему казалось теперь глупым бить рамы, бить самого Федьку. «Леший с тобой, ты меня землей, а я тебя бабой дойму»,— думал он и искал новой встречи с Анютой.

Поздним осенним вечером, когда Федька, как обычно, пропадал в читальне, Анюта, уложив Ваську спать, поджидала за прялкой Улиту.

Улита что-то долго не шла. В избе было тихо — только потрескивала лампа, мигала, и тень от глиняного умывальника в углу прыгала, шевелила длинными ушами, как большая человеческая голова без туловища... Вот упала с кожуха лучина, сдвинутая кошкой, и Анюта вздрогнула, откинула руки... Что это стала она за последнее время так пуглива? Все чего-то ждет, к чему-то прислушивается. Как преступница, за которой должны вот-вот прийти... И тут же вспоминается почему-то вчерашнее: вечером столкнулась она на улице

с Семеном. Поравнявшись с ней, Семен приподнял шапку, тронул ее рукой за плечо.

— Как живем, Михайловна?

— Уйди ты, чего пристал,— чуть слышно ответила баба.

А он наклонился к ней, в упор посмотрел бесстыжими глазами, усмехнулся:

— Завтра проведать тебя приду.

Плюнула Анюта, изругалась... И вспыхнула по-девичьи, украдкой посмотрела вслед ему — высокий, широкий, обеими руками не обхватишь...

Без конца тянется нитка, и тянутся вместе с ней Анютины мысли. Вспоминается молодость, отцовские помочи, гулянки, запахи луговых трав... Был тогда парень Федька Жижин хорош собой, проворен. Много светлых летних ночей провела она с ним, до зари просиживая где-нибудь под крыльцом, на меже в поле... Пахло от Федькиной рубахи новым нестираным ситцем, пахло от него дешевыми пятикопеечными папиросами, и молодая крутая сила чувствовалась в каждом движении его. Как давно это было! И как все изменилось... Оплешивел, высох, как ощепок, Федька, и нет уже у него той улыбки, какая была пятнадцать лет назад. Бывает он и ласков, и улыбается хорошо — но уж не светит эта улыбка, как прежде.

Остановила себя Анюта на этой мысли и удивилась. С чего это у нее? Почему не думалось об этом раньше? Прожила замужем пятнадцать лет, а вспомнила о ребячьих ласках... Федька хороший муж, заботится о ней, любит ее по-своему, как должен любить мужик бабу. Чего же ей еще надо?

И слышит Анюта шорох черемухи, густой, душистой, нарядной — пьянит ее этот давнишний шорох, кружит голову. Шумит, смеется черемуха, хлещет Анюту разукрашенной пышными цветами веткой, шепчет ей:

— Пролетит молодость, баба, не увидишь, не успеешь оглянуться, а уж и жить некогда.

Черна, безрадостна бабья жизнь, знает Анюта — опадет румянец с полных щек, поблекнут глаза, посекутся волосы... И вот жмется к ней черноглазый, кудрявый парень, пахнет от него дорогим мылом, новым бархатом от фуражки, и крепки, крепче Федькиных, его руки...

Скрыли годы эту ночь. Облетела черемуха, постарела — подсыхающие сучья громоздятся над грядами, мешают вес-

ной пахать, мешают расти овощам, скрывая солнце, и Федька безжалостно обрубает их.

— Господи,— шептала Анюта и вся дрожала от охватившей ее горечи воспоминаний. И уж не так стыдно было за недавнее, скрытое от мужа: прежние глаза у Семена, не растерял он в прошумевших годах и прежнюю улыбку свою!.. И не бывать Федьке на одну стать с ним, запаху луговых трав не заглушить запаха цветущей черемухи.

— Господи, с ума сошла!..

В окно постучали. Испуганная, вскочила Анюта на ноги, выбежала в сени.

— Кто, крещеные?

И еле успела открыть дверь, как чьи-то руки обхватили ее.

— Уйди! Закричу!— задыхаясь, шептала Анюта, и опять знала, что кричать она не будет, и, отталкивая его, невольно клонилась к нему.

— Разбойник, что делаешь... Пожалей... Не срами...

— Пожалею, да еще как пожалею!

Под крыльцом, куда он увел ее, было темно, большая куча хвои слабо потрескивала, шебаршила колючими иглами по одежде. И показалось Анюте, что Семен смеется каким-то чужим безжалостным смехом. Круто запахнув полушубок, по-молодецки повернулся он на месте и, не сказав ей ни слова, даже не посмотрев на нее, пошел прочь. Она растерянно проводила его глазами и беспомощно улыбнулась, не в силах даже заплакать.

12

Налетела, закружилась зима — по ночам выла у окошек, стучала оторвавшимися подпушками; прятала под сугробами снега забытую дугу, топор, лесные колодки... Как-то Анюта забыла на ночь прикрыть у прихлевка ворота и утром еле пробралась в хлев с пойлом. Федька ходил откидывать снег, бранился, но не зло — вечера у Игната поглотили его тоску.

Каждый день, еле успев прийти из лесу, наскоро поужинав, бежал Федька в читальню. Много книг прочитали мужики за это время, о многом переговорили, поспорили, и уже выходило так, что весной необходимо переходить на многополье. Перед зимним Николой уговорились собрать

всю деревенскую бедноту и решить этот вопрос окончательно.

Собраться хотели тайком, но трудно в деревне сделать что-нибудь так, чтобы не знали соседи. О собрании прослышала компания Куленка, и Носарю поручили пробраться на сход, послушать, о чем будут говорить мужики.

Носарь сумел сделать это незаметно. Когда Игнатова изба наполнилась людьми — он шмыгнул между стеной и печкой и притаился там, ловя каждое слово.

— Анютка,— послышался вдруг с печи детский голос

Носарь вздрогнул.

— Ну?— ответил другой голосок, такой же по-ребячьи тонкий.

— Ты, Анюта, не знаешь, зачем к нам мужики пришли, а я знаю...

Девочка не отвечала.

— Никола говорит, будем кулаков мылить.

— Перестань, мне спать хотца.

— Вот много мыла надо. Я мамке сказал, чтобы она серое мыло убрала, а то нечем будет мне и портки выстирать.

— Пускай водой моют, мы своего не дадим,— лениво сказала Анютка и замолчала.

— Так что, товарищи-граждане,— раздались слова Жиженка,— всем обществом встанем, всем огулом. На них смотреть нечего.

В это время Носарю захотелось кашлянуть. Он пыжился, зажимал рот рукой, но не выдержал и захрипел:

— Х-х-х-х...

— Анютка,— послышалось с печи,— слушай-ка, за печкой блазнушко...

— Ой, я боюсь... Я тяте скажу.

Носарь похолодел. Ребята молча прислушивались. Было слышно, как мальчишка завозился, должно быть убирая ноги. Вдруг, набравшись храбрости, он застучал поленом и подполз к краю печи.

— Пускай хоть и блазнушко, а я не боюсь. Кто там? Кто там, сказывайся?

— Стукни,— робко посоветовала Анютка.

— И стукну... На!

Полено полетело вниз. Раздался какой-то чавкнувший звук и стон.

В глазах у Носаря запрыгали разноцветные огоньки, и

он на мгновение потерял сознание. Очнувшись, он схватился за голову, и полено, задержавшееся было на коленях у него, загремело о пол.

— Кидается,— испуганно прошептал Колька.

— Может, он не в нас?

— Тятька!— вместо ответа крикнул Колька.— Иди вытащи его.

— Да кого вытащить-то, господи?— сердито отозвался Игнат.— Вот надавало сокровищ, минуты не посидят.

— Ей-богу, тятька, он за печкой...

— Да кто он-то?

— А я разве знаю.

Игнат прошел за печку.

— Ребята!— крикнул он оттуда.— Несите-ка огня, здесь и верно кто-то есть.

Подошли несколько человек. Зажженной лучиной осветили проход за печкой. Носарь сидел на полу, уткнувшись головой в колени, наглухо укрывшись шапкой.

— Вот видишь, я знала, что его вытащат,— говорила брату Анютка, смотря, как выволакивают на свободное место Носаря.

— Ты чего тут делал?— спросил Игнат.

— Спал...

— Ишь ты,— сказал Никола.— Каково спать-то было? Блохи не кусали? Там ведь их чертова пропасть.

— Нет...

— Вот как! Ты, видно, невкусен... А не приснилось ли чего?— донимал жертву Никола под общий хохот.

— Приснилось...

— Поди, не выспался? Не хошь ли еще поспать?

— Да отвяжись ты от него,— со смехом сказал Игнат,— пускай идет, досыпает.

Согнувшись в три погибели, Носарь шмыгнул в дверь.

Когда собрание окончилось и мужики, подписавшись к приговору о переходе на шестиполье, стали расходиться, Федька заторопился домой. Ему хотелось поговорить с Анютой, порадовать ее успехами, услышать, как и раньше, похвалу себе. Хотелось все забыть, простить Анюту, и опять мелькала надежда на то, что ничего не было, что он напрасно подозревает жену.

В деревне уже гасли огни. Молодежь расходилась с поседки. С Федькой весело здоровались, шутили, и это еще пуще веселило его

— Анюта, дура,— бормотал он,— никуда не делся твой Федька. Вот он весь, собственной персоной...

У крыльца Федька остановился. Ему показалось, что кто-то стоит рядом у стены.

— Кто тут?

— Я,— послышался слабый, робкий голос Анюты,— вышла тебя встретить...

Голос ее дрожал. У Федьки екнуло сердце.

— Гм... Что-то давно ты меня не встречала.

И вдруг он почувствовал, что под крыльцом они с Анютой не одни. Дрожащими руками достал спички

— Ой!— вскрикнула Анюта, схватила его за руку, но он бешено оттолкнул ее и чиркнул спичку. Вспыхнул слабый огонек, и сразу же бросились в глаза торчащие из-под хвои длинные расшитые валенки — такие носил в деревне один Семен Гиря.

Чувствуя, что его открыли, Семен быстро поднялся на ноги, в упор посмотрел на Федьку и рассмеялся наглым, рокочущим смешком. Спичка погасла.

— Ну, так,— тихо сказал Федька, прислушиваясь к шагам уходившего и уже не видного в темноте Гири,— что же теперь будем делать, жена дорогая?

Сказал и почувствовал, как в нем вмиг исчезло, оборвалось все, чем жил, на что надеялся, чем хотел жить в будущем.

13

Васька долго будил спавшего на конике отца — теребил его за редкую бороду, дергал за нос. Ему казалось, что отец не спит, а так, притворяется.

— Ужо погоди, я тебя!

Он почерпнул из кадки воды и, набрав полон рот, прыснул в согнутую спину Федора. Тот вздрогнул.

— Ну, чего пристал, отвяжись!

Васька всхлипнул.

— Я тебя только будил, а ты вон какой сердитый. Больше не стану будить... Не стану!

Подобрело у отца лицо.

— Ну, вот дурак, я на шутки, а ты и испугался.

Но Васька уж недоверчиво смотрел на него. Испуг и горе затаились в черных глазах.

Федька прикусил губу.

— Ты не сердись на меня, Васька, у меня голова болит, а ты будишь, вот тоже какой.

Завтракали молча. И опять это удивило Ваську.

— Мама, ты чего сердишься?— говорил он.— Неправда, что я у Никитиных окно разбил, это Колька Игнатов.

— Жри!— сердито крикнула мать.

— Потише,— прошипел Федька, и жена сразу сжалась, спрятала глаза.

После завтрака отправились за березовыми вершинками для веников. Снегу за последние дни прибавилось, иногда нога погружалась по колено. Снег был рыхлый, крупитчатый, как песок, хрустел и шелестел под валенками. Над пожнями серело невеселое небо. Редкие желтые листья, кое-где уцелевшие на березах, безжизненно и ненужно лепетали, иные из них отрывались от ветки и, сиротливо мелькнув в белом просторе, прятались куда-нибудь в яму, за пенек, за кочку, чтобы больше никогда не появиться на свет...

Васька бойко вышагивал рядом с отцом. Большая шапка лезла на глаза, и кончик покрасневшего носа служил ей подпоркой. Парень фыркал носом, откидывал шапку, но это не помогало.

— Ты бы мне, тятька, другую шапку купил. Эта мне не по голове. Вот когда подрасту — буду и эту носить.

И тут же, увидев на березе сороку, подпрыгнул, скинул шапку и замахал ею. Сорока полетела. Паренек, довольный, засмеялся.

Вскоре пришли на свою пожню. Жидкий рыжий березник опушил ее. Высокий покривившийся стог, похожий на сахарную голову, возвышался у кустов. Метали его перед дождем — торопились и как весело работали тогда...

Федька принялся рубить вершинки. У Васьки был маленький топорик, с которым отец ездил на пашню. Тонкие прутья он рубил обеими руками со всего плеча, старался, вспотел, но отец все браковал его работу.

— Ну вот, тятька, как же так, неужели я зря и старался?

— Видно, зря.

— А я все-таки стану...

Когда Васька, приподняв свою шапку, смотрел на отца, в глазах у него было что-то не детское, осмысленное, и искрились в них знакомые огоньки. Это было непереносно, и минутами Федькой овладевало дикое желание, стиснув зубы, схватить Ваську, хлестать его крепким жидким пру-

том только бы не смотрели на него эти глаза, не горели бы в них эти знакомые искры.

— Будет с топором шалить!— крикнул он злобно — Топор тебе не игрушка!

Васька остановился, испуганно посмотрел на отца, и на глазах его, ставших сразу по-детски простыми, проступили слезы.

— А вот.. вот .. тятька! Чего ты сегодня такой? Вот буду артистом, не приеду тебя проведать.

Васька опустил руки, выронил топор. Крупные слезы потекли по лицу, посыпались на худой, рваный пиджачишко, без счету раз кропанный, без счету раз перешивавшийся заново.

— Вася, Васенька,— пристыженно бормотал Федька,— я пошутил, ты не сердись, дружок. Видишь, сегодня твой тятька совсем нездоров... совсем.

Гибкие вершинки берез были красны, от них пахло сладковатым запахом бересты. У одного маленького деревца была в кольцо завязана верхушка — видно, кто-нибудь растил себе дубинку, и березка уже начинала так обрастать, маленькая и смешная, с кренделем на макушке Федька срезал деревцо, очистил от сучья и молча подал сыну

— Это чего?— спросил Васька, сразу переставши плакать.

— Это дубинка тебе... Видишь, кто-то завязал так, она и обросла.

— А она не разогнется?

— Нет, так и будет.

Обсохли слезы на глазах у Васьки. Проворно поднял он шапку, опять стал весел...

На обратном пути он быстро притомился. Придерживая одной рукой шапку, вприпрыжку еле поспевал он за тяжело нагруженным отцом.

— Ну, тятька, ты и ходишь скоро...

— У меня ноги длинные.

— Я тоже быстро бегаю, как лошадь. Я бы тебе показал, кабы не снег... да вот еще шапка мешает. Кто эдакую шапку купил, тятя?

— Это еще твой дедушка.

— Дедушка? А он был не плешивый?

— Нет.

— А вот ты плешивый. Говорят, плешивый Жиженок Это, тятька, тебе не брань?

— Нет.

Вечером Федька сидел у маленькой печки. В печке шумело и клокотало сердитое пламя, проворные угольки прыгали на пол, звеня как металлические. Анюта молча подбирала их, бросала в огонь.

Васька учил урок, вслух, звонким голосом читал о больших городах, о фабриках, заводах. Отрываясь от книги, задумчиво смотрел в одну точку, спрашивал:

— Тятя, а как каменные дома делают? У нас много каменья, вот бы у нас такой дом построить... Давай на весну устроим.

— Устроим,— не глядя на сына, ответил Федька,— ложился бы спать.

— Спать? А уроки как же?

— Тебе завтра рано вставать надо. Мы опять за вершинками пойдем.

— Ладно,— обрадованно сказал Васька.— Да я уже все и выучил.

Он забрался на полати и затих.

Печка прогорела. Пухлые угли оделись тонким кружевом пепла. Анюта молча села к столу за прялку. Федька достал папку с бумагами и газетами, попробовал читать, взялся за справочник крестьянина,— но вместо букв вырастала перед глазами нахальная Гирина рожа, слышался его смех.

Искоса он посматривал на Анюту, и жена казалась ему трусливой, тупой и ненасытной. Было обидно, что раньше не замечал он этого блудливого взгляда, этих круглых покорных плеч и рыхлых, безвольно открытых губ. Казалось, приди вот сейчас сильный мужчина, грубо крикни на нее, грубо охвати за плечи — и угодливо повалится к нему Анюта тут же, при муже...

Тишина давила обоих. Необходимо было что-то говорить, но было страшно начать, потому что за этим началом был конец всему.

— Так,— вполголоса сказал наконец Федька.

Анюта вздрогнула, но не подняла головы.

— Так... Когда думаешь к матери?

Анюта вскинула голову. В глазах ее застыл ужас.

— Сам знаешь... у меня нет матери,— пролепетала она чуть слышно.

— Ну, к отцу на родину. Не все ли равно.

Федька говорил и чувствовал, что стали они совсем чужими — будто никогда и не жили вместе.

— Советские законы знаешь? Слыхала?

Анюта всхлипнула.

— Возьму я себе какую-нибудь старушку. Ты тоже найдешь... тужить обоим не о чем. За сына своего алименты с отца получишь...

— Ой!— вскрикнула Анюта.— Ты и это знаешь?..

И завыла горько, безутешно, склонив на стол голову· «Будь проклят, будь проклят...»

— Может быть, еще замуж выйдешь,— безжалостно продолжал Федька,— еще кому подвалишь... А мне больше спасибо. Удружила, хватит.

И громко крикнул:

— Ну, к делу ближе! Собирай манатки, завтра на лошади отвезу! И выродка своего забирай,— добавил он тише, и около носа у него пролегли и дрогнули глубокие морщинки.

— Феденька!

— Десять раз повторять не буду. Не люб один муж — ищи другого, свет не клином сошелся... Вот только тестя мне жаль. Дружно мы с ним жили.

Анюта, захлебываясь в рыданиях, сжалась, как побитая собака. Грязная, огрубевшая от тяжелой работы рука ее беспомощно держалась за прялку, и казалось, даже в этих пальцах, неуклюжих и жестких, было дикое последнее отчаяние. На одном пальце тускло поблескивало дешевенькое медное кольцо. Года три назад Федька выколотил его из толстой проволоки, подарил Анюте — она говорила, что с таким колечком хорошо поить телят... Очень редко она его снимала, и колечко стало уже тонко и узко.

— Помогает?— спросил как-то Федька.

— Как еще и помогает-то,— весело ответила баба.— Телята стали что кули.

Оба смеялись тогда: Федька — оттого, что жена верит в чудесное, сделанное им колечко, а Анюта от гордости, что Федька у ней такой искусник.

«А вот теперь она и колечко бросит,— подумал Федька,— не станет и телят поить. Будет лежать колечко где-нибудь в коробке, начнет бусеть, распаяется»...

— Феденька, когда ты был на войне, я за тебя бога молила...

Он не отвечал, отвернувшись к стене.

— Ведь каждую ночь молила... чтобы... чтобы...

— Чтобы убили скорей? Ты бы на свободе осталась!

— Не-е-ет... Господи... Нет, Феденька!

— Знаю, бога молила, а с чужим мужиком спала ночи, чтобы легче думалось мужу на чужой стороне.

Анюта, откинув прялку, бросилась на колени. Но он брезгливо оттолкнул ее ногой, молча подвинулся в передний угол.

— Выслушай... Только выслушай, потом и гони...

Вся в слезах, растрепанная, она упала грудью на стол, говорила, ничего не утаивая... И вырастал за толщей лет перед Федькой кудрявый чернобровый парень, нахальный, хвастливый.

— Жиженок, бобыль!— говорил он часто о Федьке.

Слушали это ребята и девушки, добродушно подтрунивали над Жиженком — и невзлюбил он Семена еще с той поры. «Вот,— думалось ему,— этого девки будут любить, бобылем его звать не станут»...

И не уловил Федька в рассказе Анюты запаха черемухи... Когда кончила Анюта, еще больше потемнело его лицо, глубже врезались складки над переносьем.

— Все?— сурово спросил он.

Анюта, широко открыв глаза, смотрела на него. Всю душу свою она выложила перед ним, а он по-прежнему неумолимый, беспощадный... И она мысленно проклинала себя, не находя оправдания и не зная, как найти его.

— Феденька, я тебя больше всех любила... Сколько лет жила без тебя, ни о ком не думала... С кем грех не бывает, прости, Феденька... Делай со мной что хочешь, только прости!

— Не могу я...

Поднявшись, он злобно посмотрел на нее и скрипнул зубами.

— Сволочь! Всю жизнь испортила. Теперь не вернешь, не направишь... На самой лучшей ступеньке обрезала ты меня! Видно, уж больше не подняться...

И, горько поникнув головой, пошел к лежанке, лег...

14

У Васьки в сердце нарастало беспокойство, копилась обида. Отец все меньше и меньше говорил с ним; обманул, что пойдут за вершинками, и совсем уже не спрашивал его

об уроках. Васька тщетно старался припомнить, в чем он провинился, но ничего не находил.

Как-то, не выдержав, он подошел к отцу, положил на колени к нему руки, заглянул в глаза:

— Тятя, мы больше не пойдем за березками?

— Нет, не пойдем.

Хоть и ждал Васька этого ответа, но грубый голос больно задел его.

— Тятя, ты послушай, я читать буду,— с отчаянием сказал он.

— Ладно, я послушаю.

Но, вместо того чтобы читать, парень разревелся...

Крепкой стеной стоял теперь Васька между Федькой и Анютой. Всякий взгляд, брошенный в сторону мальчика, напоминал о большом, страшном, непоправимом.

Федька стыдил себя, напоминал самому себе в мыслях, что совсем забыл он общественное дело, стал неаккуратен и давно уже не бывал к мужикам. Он понимал, что так больше жить нельзя, что нужно найти какой-нибудь выход. Но какой?.. Что сделать? Примириться ли и теперь с Анютой, махнуть рукой на грехи ее и жить, чтобы хоть бы немножко было похоже на прежнее? Или прогнать и Анюту, и Ваську?..

Вместе с непереносной обидой на жену стал замечать Федька, как рыхла, неповоротлива она. Казалось, и делала она все не так, как добрые люди — ходила какой-то развалистой вялой походкой, говорила заискивающим голосом; лицо ее, пухлое, расплывшееся, было некрасиво и глупо... Даже сны виделись ей какие-то глупые, непохожие на сны других людей: то она видела себя подвешенной на вершине высокого дерева, то ей казалось, что на нее бредет вошь величиной с человека... Она вскрикивала, просыпалась и как бы кому-то постороннему рассказывала сны испуганным ноющим голосом... И не верилось Федьке, что это та самая Анюта, с которой прожита половина жизни.

Анюта же с каждым днем становилась тише, покорней, угодливей; виновато смотрела в глаза мужу, готова была выполнить все, что он прикажет, и в каждом слове, в каждом движении ее проглядывало горькое раскаяние... Но чем больше росли ее заботы о муже, тем суше и холодней был голос Федьки.

Как-то ночью, услышав, как тяжело ворочается и вздыхает он, Анюта робко придвинулась к нему, прошептала:

— Феденька, неужели не будет по-старому?

Он вздрогнул, не ответил, отвернулся к стене.

— Федя... ведь жить-то еще долго, мы не старые... Ведь мне это хуже, Федя, хуже... Бабу бей, да приласкай иногда.

Ни звука в ответ... Только вздыхать перестал Федька, лежит как каменный.

— Ты видишь, измучилась я... Упала бы в прорубь, руки бы на себя наложила, не видать бы мне свету белого... Тебя, Феденька, жалко... людей стыдно...

И не договорила она — быстро и зло прошептал Федька:

— А на полатях-то... на полатях-то куда денешь?

На другой день Федька не вытерпел — пошел к мужикам. Его встретили радостно.

— Не может, плешивый дьявол, с женой наобниматься,— кричал Конь,— вот, ребята, жадюга-то!

— Верно, братец мой, нехорошо,— добавил Игнат.— Говорят, взялся за гуж, так не говори, что не дюж. Как же это, отставать от компании...

И уж другим голосом, лукаво жмурясь, заговорил:

— А мы, парень, без тебя всю науку прошли!.. Это кому же, Федька, досуг писать такие книжки-то?

— Что такое за слово посфор?— прерывая его, вмешался в разговор Никола.— Вот загадка-то!

Мужики засмеялись.

— Фосфор, а не посфор,— пояснил Мишка Зайцев.

— Все равно, ни того, ни другого плешивому не угадать.

Федька растерянно глядел на мужиков, и в груди его нарастало какое-то неожиданное тепло.

— Ну, ну, не лямзай!— торопил Никола.

— Ей-богу, ребята, не ответить!— простодушно сознался Федька.— И много раз слышал, а не ответить, черт его знает.

Мужики смеялись и, перебивая один другого, принялись объяснять Федьке мудреное слово.

— Мы, брат, теперь страсть какие знающие,— говорил Игнат, самодовольно поглаживая бороду.

— Распланируй, как устроить шесть полей,— продолжал пытать Федьку Никола.

Затем читали книжку о травосеянии. Федька слушал и удивлялся, как он все-таки мало знает. Думалось ему, что и в газетах разбирается, и написать кое-что может, а вот тут, поди, и запнулся... Опять стало стыдно, и перед самим

собой, и перед мужиками. Радовало лишь то, что читальня, затеянная им, живет, да и живет, как видно, не худо.

15

Бойкая краснощекая девка Зина, сестра Анюты, неосторожно погуляла с парнем, и у ней родился ребенок. Парень был речистый, щеголь, плясун, и все вышло как-то просто, само собой.

Парень обманывал Зину целый год, все обещал жениться, а как вышел грех наружу, поймал парня однажды в поле Зинкин отец Епиша — схватил за шиворот:

— Выбирай одно из двух, или вот прикончу на месте, или срам прикрой!.. Алиментов не надо, ну их к лешему!

Старик в руках подкову сгибает, в молодости по восемнадцать пудов на спине носил...

— Чего молчишь? Другого ты от меня не дождешься.

И начал он сжимать у парня руку. Сначала было больно, а потом вовсе одеревенела рука, ничего не чувствует, будто отнялась.

— Отпусти,— взмолился парень,— эка лешова сила...

Усмехнулся Епиша, оглянул с ног до головы парня, как будто век его не видел: детина что надо, и ростом вышел, и дороден.

— Все равно от меня никуда не уйдешь. В дом приду.

Ругается парень:

— Какой ты старик, ты не старик, а родня черту...

— Ладно, ругайся...

На радостях старик приехал навестить старшую дочь с зятем.

Никому ничего не сказав, он выпряг лошадь, поставил ее на двор и, нагруженный упряжью, ввалился в избу — напустил морозу, наполнил дом шумом, суетливостью, той благодушной веселостью, какой веет от хозяйственного, довольного собой мужика.

— Здорово, детки!

Громко заговаривал, размахивал руками, хлопал Федьку по плечу. Все при нем ожили, захлопотали. Анюта быстро вскипятила самовар...

За чаем старик говорил без умолку.

— Мне теперь что — лежи на полатях, приказывай да по гостям ходи. Вот, дожил Епиша!

— Ты на полатях не улежишь,— сказал зять.

— Что говорить, работать люблю. И теперь вот, скажем, Советская власть, всякие другие порядки, то, се. Другой стонет — то неладно, того нет, другого нет.. А я старик — и тянусь, не обижаюсь...

— Ну, ты... Вон ты какой, крепче меня во много,— проговорил Федька, невольно залюбовавшись раскрасневшимся бородатым лицом, крепкими руками и молодым взглядом тестя.

— Верно, Федька, жидок ты, как худой моток. Лишнего жиру в тебе нет... Да и что это, я гляжу, ты, кажется, еще хуже стал?.. Что тебе, хлеб-то впрок нейдет? Али скупишься? Ты смотри, Анюту у меня не замори.

Старик погрозил Федьке пальцем. Отпил из блюдечка, улыбнулся и опять заговорил:

— Расскажу я тебе, парень, чудо... Говорят, понимаешь, у нас в деревне — в Нифанове «Заря» да «Заря». Что, думаю, такое?.. И вот иду я со станции прямой дорогой, слышу, на нифановском хуторе трещит чего-то, вроде как на железной дороге. Подошел поближе. Смотрю — гумно открыто, стоит вот эдакий парнишка на машине, держится за круглое колесо, а она что выделывает, господи!.. Мужики, бабы, девки, человек, поди, пятнадцать, что шальные бегают по гумну, таскают снопы, суют в машину, и будто в чертов омут — не могут натаскать! Понимаешь, ничего и не делают, только бегают да суют... Стою я, смотрю на них, оробел, даже спросить не смею. Только уж после рассмотрел: две бабы с одной стороны голую солому выкидывают, а с другой два мужика мешки завязывают. На моих глазах, не успел бы ты цигарки выкурить, три мешка к стенке приставили!.. Долго я стоял. Уж борода от пыли посерела, и в носу защекотало, а они все суют, все суют... Так и ушел, ничего спросить не посмел. С крыльца на цыпочках спустился, как мимо стеклянной посуды шел. У крыльца какая-то зеленая машина стоит, пальцем до ней дотронулся, думаю, как бы не запачкать... С полверсты шел как помешанный.

Он допил чашку, смущенным голосом продолжал:

— Как ты думаешь, чего я сделал? Не угадаешь!.. Ошалел, старый... Версты три отошел, ноги не несут, сам не знаю, чего со мной случилось. Сел на канаву, покурил, повздыхал... да и обратно. А на хуторе меня, видно, заметили — смотрят, улыбаются. Да смотреть-то им некогда — глотает и глотает машина. Подошел тут один с воли, весе-

лый такой. «Что, отец, хорошо?»— спрашивает. «Уж вот как хорошо... Ваша али из города на время дали?»—«Наша,— говорит,— собственная. Три года на машину копили, а все-таки завели». Шумит машина, пол дрожит... Пока работу не кончили, я и уйти не мог. И вот ей-богу, Федька, ни днем, ни ночью нет теперь покою, только и слышу, как шумит машина. Одно время даже с лица спал.

Старик взволнованно посмотрел на Федьку, ожидая, что скажет тот.

— Наша задача — коллективное хозяйство. Скоро все поймут.

— Понять бы и надо, парень. Дожить бы еще, когда в Приселках такая машина застучит, да и умереть можно. Не дожить, поди!— с грустью добавил он.

— Надо деревню тормошить.

— Э-эх, Федька. Жидки вы все. Кабы мне да ваши-то годы! Да я бы... У меня бы живо такая машина на гумне стояла. Сговорить не мог, так заставил бы! Всех бы заставил в одно сердце слиться... Знаешь, какой я был в молодые-то годы? Из кожи бы вылез, а стояла бы машина на гумне, слушал бы, как она шумит, окаянная...

Пришел с улицы Васька. Проворно подошел к деду, поздоровался.

— Э-э, вот кто у меня машину заведет,— ласково заговорил Епиша.— Ишь ты, какой цыган, ни в отца, ни в матку!

— Вот ребята говорят, я беззаконник,— отрезал Васька.

— Какой беззаконник?— со смехом спросил старик, не замечая, как побледнели зять и дочь.

— Беззаконник, говорят, добыток.

— Ну, а ты им что?

— Я говорю, скажу тятьке, так он вам задаст.

— Верно, молодец, Васька! Не уважай никому, я раньше тоже никому не уступал. Окаянный народец, ей-богу... Ребенок, он от больших слышит. Басен-то у вас в деревне тоже хватит.

Обмяк, опустился Федька. Как будто бил его кто, а только он ужимался, просил пощады. Стало понятно, что о случившемся рассказал сам Гиря.

Напрасно старался старик поддержать разговор. Зять отвечал вяло, неохотно. И потух сам Епиша, умолк.

— Вот что,— сказал он,— чтобы лишний раз за вами не

ездить, поедемте ко мне сразу. Анюта поможет к свадьбе готовиться, а мы с тобой пиво сварим...

— Неладно, тесть. То за беспорядки меня ругаешь, то сам хочешь беспорядки наводить. На кого дом доверишь?

— Это, конечно, так. А уж как бы хотелось мне с вами со всеми-то!

— Ваське тоже нельзя, в школу ходит... Против жены не возражаю, как хочет.

Анюта поломалась, но на другое утро поехала с отцом. Федька заметил, как, садясь в сани, утирала баба платком глаза.

— Вот уж не думал, что без тебя придется свадьбу играть,— говорил тесть.— Ну, как знаешь. Дело твое. Прощай уж, коли.

«Уехала бы, да не приехала, вот бы и дело с концом,— думал Федька, провожая их взглядом.— Стал бы Ваську держать как сына, говорите что знаете».

— В чем дело? Мы законы советские не хуже других знаем,— бормотал он, входя в избу.

16

В избе было тихо, какая-то особая пустота затаилась в каждом углу. Однообразно и мерно капала из рукомойника в лоханку вода. В печке шипели щи... Кошка, забравшись на лавку, сдвинула дощечку с крынки и не торопясь лакала молоко.

— У-у! Дьявол!— крикнул Федька и сбросил кошку на пол.

Он сел на лавку, выкурил подряд две папиросы, выпил ковш холодной воды, но от этого не стало легче... Раньше он любил, достав с половочника старые корки, рыться в бумагах, перечитывать их, но сегодня и это не доставило никакого удовольствия. Когда он начал перечитывать бумажку о слиянии кооперативов, бумажка показалась ему чуть ли не подвохом.

—«Ввиду»,— зло усмехаясь, прочитал Федька.— Сволочи. Целый год тянут. «Ввиду»! Вот дать бы за это «ввиду» ломку хорошую... Где это видно? Из чего? Ты сделай не «ввиду», а на самом деле, тогда и пиши... «Предполагающейся»... Либо дождик, либо снег, либо будет — либо нет... Они еще только предполагают, а ты уже деревню беспокой, ругань выслушивай...

Только дойдя до слова «просим», Федька немного смяг.

— Меня просить нечего,— пробормотал он,— я не барин, что могу — сделаю...

И все-таки бумажка не принесла успокоения. Сердито положив папку на место, Федька стал починять бадью, у которой кто-то оборвал железную дужку. «Вот бы узнать, кто это сделал, да бадьей-то!— подумал он, холодея от злобы.— И какой леший придумал эти деревянные бадьи? Укрепи теперь гвоздями попробуй»... Он бросил бадью и принялся делать новое топорище. Старое было сломано по самому обуху. Выколотить дерево было очень трудно, потому что оно еще не просохло как следует за ночь. «А вот взять печку затопить да бросить, гори, леший с тобой-то!» И, с сердцем бросив работу, Федька повалился на коник.

К обеду пришел из школы Васька. Они вместе достали из печки горшок, вместе собрали на стол. Васька без умолку рассказывал о своих школьных делах. Отец молча слушал его и думал: «Язык-то какой, как у батюшки. Хвастун будет... Погоди, лет через пяток что из него выльется! Всю жизнь будет о грехе напоминать... Да еще люди узнали»...

— Что вчера ребята тебе говорили?— спросил он угрюмо.

— Говорят, беззаконник, добыток...

Отец долго молчал, лицо у него было злое, нахмуренное, и мало-помалу в глазах у Васьки нарастал страх.

— Дураки все ребята твои,— вымолвил наконец Федька.

— Неправда?— обрадованно воскликнул Васька.

— Ну, а что, если бы и правда?

— Это как же, тятя... беззаконник-то?

— А вот ежели бы отец у тебя был не я, а кто-нибудь другой...

— Так ведь ты?

— Ну, а ежели бы не я?

— Так я бы и жил у отца. Как же так жить не у отца?

— Ладно. Все это я на шутки. А ребят ты не слушай.

— Не стану слушать. Только ты, тятя, не будь больше такой сердитый.

Стал Васька опять похож на худой большеголовый гриб, каким видел его Федька на пожне. Только не хватало большой, лезущей на глаза шапки, да была на нем вместо пиджака ветхая синяя рубашка... Когда плачет Васька, в глазах его нет ничего похожего на глаза Семена, только

горе проступает в них, как в зеркале... «Чем виноват ребенок?— думает Федька.— Любит он меня И вырастет — любить будет... А люди?.. А молва?..»

Стало страшно от мысли, что уже вся деревня знает об Анютином грехе. А может, и не одна только их деревня... Вот-вот покажет кто-нибудь на Ваську пальцем, посмеется...

И Федька стал наблюдать за тем, как смотрят на Ваську люди, не смеются ли над ним, и если ему казалось, что кто-нибудь дольше обычного останавливался на Ваське взглядом, бешенство охватывало его. Стало казаться, что Васька слишком часто бывает у соседей. И на третий день после отъезда Анюты он грубо сказал пришедшему с улицы сыну:

— Что ты дома не посидишь? Шляться-то нечего.

Таким голосом отец еще никогда не кричал на Ваську, даже в последнее время. Обычно, зная, что парень всегда хорошо учит уроки, он сам посылал его побегать.

— Вот, тятя,— сквозь слезы заговорил Васька,— говоришь, буду добрый, а сам все такой... Эдак я все дома буду сидеть, никуда не пойду. Пускай ребята бегают и на реке катаются. У меня и коньков нет, и пинжак студеный...

Опять заплакал Васька, и опять успокаивал его отец:

— Васька, ей-богу, я последний раз такой... Ты уж не сердись.

Слушая отца, Васька перестал плакать, но уже не верилось ему, что будут они когда-нибудь вместе читать книги, ходить за березками. Он сел в сторонке и задумался над книжкой. Ему казалось, что нет уже у него ни одного близкого человека, что он чужой всем. Вспоминалось прежнее время, когда не кричал на него отец, не сердилась, не хмурилась мать. Один, совсем один Васька! Кто же у него еще остался?

И вспомнил Васька, что есть у него дедушка, который всех больше его любит. Уйти бы к дедушке, рассказать бы ему о своем горе и не возвращаться уже к отцу с матерью. Пускай зовут, пускай просят, а он не пойдет к ним...

Думал Васька об этом и ночью, лежа на полатях. На улице сердилась погода, ветер гремел на крыше желобом. «Пускай зовут — не пойду!— думал парнишка.— А потом вырасту большой, заработаю много денег и приду к ним с деньгами:— Вот видите, какой я. Вы меня не любили, а я вам денег принес!» Дедушка добрый, обрадуется Ваське.

Пускай и мать там, все равно. Он пожалуется дедушке — тот не даст в обиду... Только вот как школа? Уроки останутся не выучены, и, наверно, на следующий год не переведут... Но ведь там у дедушки есть другая школа, все равно, он будет ходить туда.

И решил Васька встать пораньше утром и уйти... До слез было жаль оставлять дом, отца, товарищей... Бывал он у дедушки летом,— хорошо там, река рядом, лес, мельница ветряная на поле... А все-таки дома лучше.

Вот уж и не стало Васьки в деревне... Тятька с мамкой сидят за столом двое, вспоминают Ваську, жалеют, что нет его теперь с ними.

— Напрасно я ругал его тогда, парень был хороший,— говорит отец.— Вот он вздумает да и не придет больше к нам. Не с кем мне будет вечером книги читать.

Весь в слезах заснул Васька и спал тревожно — поминутно просыпался, смотрел, не светает ли за окнами, не пора ли собираться... И когда засинел на улице рассвет, он тихонько слез с полатей, по привычке плеснул на лицо водой из рукомойника, утерся, стал искать валенки.

Вчера он клал их на лежанку, но сейчас на лежанке спал отец,— видно, попали они на печку. Не уйти Ваське! Полезет он на печку, разбудит отца, опять будет кричать отец... «Надо попробовать, если проснется — скажу, хотел на двор сходить»,— подумал Васька. Пошевелился отец, когда Васька лез через него, но не проснулся. А вот и валенки. Какие они сухие да теплые!

И обратно слез Васька, не разбудив отца. А когда уже был он готов в дорогу — стало страшно. Может, не ходить, остаться? Может быть, и верно болен тятька, потому и злой, а поправится, и все будет по-старому?

Нет, не будет прежним тятька... Много раз обещал он, а все сердитый. Надо уходить.

Хотелось Ваське сказать что-нибудь отцу перед уходом. Достал он из сумки карандаш и бумагу, сел к столу, вывел:

«Ну вот, тятька, я ухожу. Не буду вам мешать больше».

Буква «в» вышла похожей на «о». Васька попробовал исправить ее, но ничего не вышло, только напачкал. Потом вспомнил Васька, что дорога до дедушки дальняя — восемь верст, идти лесом, дорогой никто не накормит. Тихонько достал он из стола кусок хлеба, посолил, сунул за пазуху...

Постоял среди избы, посмотрел в последний раз на тятьку и неслышно открыл дверь.

На улице было ветрено, мело. Почти по пояс увязая в пухлых сугробах, шел Васька по деревне. Вот и последняя изба, спит в ней Колька Игнатов под шубным одеялом — ему и горюшка мало, не знает он, что около его дома мерзнет Васька. Рот у него, наверно, открыт — он бормочет во сне, а по одеялу, по подушке, по лицу у него ползают тараканы — много тараканов у них.

За гумнами сильнее мело, еще холоднее был ветер. Придерживая одной рукой шапку, другой — кусок за пазухой, Васька черным клубком плыл в сугробах. Рукавицы у него были худые, руки сразу застыли, но парень утешал себя тем, что отогреется у дедушки. Дедушка сейчас, наверно, под хмельком, а когда он пьян — бывает он еще добрей и веселей. Вот рассядется Васька в теплой избе, будет говорить с дедушкой, есть белые пироги с рыбой...

Дороги почти не видно. И деревня скрылась позади — все спрятала от Васьки непогодушка. «Теперь уж я много прошел»,— думает Васька. Вот и лес. Будто сквозь тонкую бумагу видит его парень. В лес зашел — значит, три версты. Много! Шумит, гудит в лесу. Шатаются высокие елки, сыплется с них снег...

— Скоро к дедушке... Скоро,— бормочет Васька, но говорит он так тихо, что сам еле слышит: упрямо стали у него губы, еле ворочается язык.

Колька спит под теплым одеялом, никогда бы он не посмел идти один-одинешенек за восемь верст, да еще в такую метель. Худо передвигаются у Васьки ноги, устали они... И кажется парню, что не двигается он вовсе — все тот же лес, те же высокие елки, как сквозь тонкую бумагу, одинаковые... Все так же неровна дорога, и клонится она книзу, туда, где за много верст живет дедушка. Не идут Васькины ноги, ничего не чувствуют руки, висят как деревянные. Кусок из-за пазухи давно выпал — поднимал его Васька, но руки не держат, зарыл в сугробе по край дороги.

Под большой шапкой ушам горячо, точно опустили их в кипяток — и приятно, и немного больно. Горячо стало и носу. Виден кончик его из-под шапки, и кажется Ваське, что побелел его нос, как вот этот снег, от которого нет прохода.

И вот видит он веселого пьяного дедушку. Сидит дедуш-

ка за столом, в красной рубахе, большая борода его расчесана, и поет он свою любимую песню:

Меж крутых бережков..

Шатаются елки, звенит, поет ветер в горячих Васькиных ушах... Опустился Васька отдохнуть к большому сугробу, и сразу стало ему хорошо — не холодно ни рукам, ни ушам. Сами собой закрываются глаза. Слышит Васька дедушкин голос — только уж не за столом поет дедушка и не зимой, а солнечным летним днем, на широкой пожне, где Васька сей год поймал маленького заюшку.

Горит на солнышке красная рубаха деда, борода будто серебряная. Звенят, играют на солнышке косы, и опять разливается по лесу голос дедушки:

Меж крутых бережков..

— А Ваську мне жалко,— говорит отец.— Хорошо, кабы он снова к нам пришел...

17

Чем-то брызнуло на Ваську, что-то прошумело в ушах, и исчезли и дедушка, и отец с матерью. С трудом открыл Васька глаза, повернул голову: над ним нависла большая страшная лошадиная морда, опускалась, тыкала парня в плечо.

— Эка лешова погодка,— слышит Васька чей-то незнакомый голос, и кто-то широкий, весь обындевевший, с сосульками на бороде, звонко хлопая рукавицами, идет к Ваське.

— Славно! А ты чего тут делаешь?

Узнал Васька на этот раз по голосу Колькина отца Игната. Хотел сказать, что идет он к дедушке — да ничего не вышло, не двигаются у него губы.

— Славно,— говорит опять Игнат,— ну находка!

И не успел Васька опомниться, как схватил его старик за руки, начал вертеть и трясти. Не может понять Васька, что с ним делают. А старик все вертит его, все мнет.

— Ой... будет,— выговорил наконец парень,— мне больно.

— А вот так и надо, так и надо... Не ходи, шельмец, один в такую погоду.

— Отпусти, дедушка, меня еще тятька будет драть, как узнает.

Перестал Игнат трясти его. Подтащил, как котенка, к своим саням, бросил на сено, скинул свои большие шубные рукавицы, почерпнул рукой снегу.

— Ты чего со мной хочешь делать?— спросил испуганно Васька, но так тихо, что старик совсем не слышал.

— Я тебе покажу, как одному ходить!

«Ну, теперь совсем заморозит»,— подумал Васька, закрыв глаза, и сразу же почувствовал, что Игнат начал тереть лицо его снегом.

— Ой!— вскрикнул Васька.— Я тятьке нажалуюсь.

— А, ожил!— смеясь, ответил Игнат.— Я тебе, шельмецу, задам жару.

«Гибель,— думает Васька,— умру, так передай своему Кольке книгу «Серая уточка», она у нас на полавочнике лежит».

— А корочку он сам оторвал!— крикнул он изо всех сил.

— Ладно, лежи, лежи...

Горит Васькино лицо, горят руки, и не удержался парень, завыл. Не стал больше старик потешаться над ним, скинул с себя тулуп, завернул в него Ваську, как куклу, одну щелку для глаз оставил.

«Видно, боится, чтобы не убежал,— думает Васька.— А разве тут убежишь — на эдакой погоде и ноги-то не идут».

Дернулись сани, завизжали полозья.

— Жив?— кричит старик и ударяет тяжелой рукавицей по тулупу.

— Жив,— отвечает Васька.— Ты куда меня везешь-то?

Старик молчит. Может, и слышит, да притворяется.

Плывут перед Васькой елки, страшно качаются над дорогой их мохнатые лапы. Шумит в лесу, как летом в запруде.

— Ты куда шел?— спрашивает Игнат.

— На свадьбу, к дедушке.

— Куда?

— На свадьбу.

— Хм... Вот што.

Погода начинает стихать. Видно Ваське, как по край дороги прыгают снежные зайцы, гоняются друг за другом,

но уже перестают качаться елки. Хорошо Ваське! Шевелит он в валенках пальцами, дрыгает ногами, путаясь в длинной шерсти тулупа Видно, больше ничего не станет с ним делать старик. Передвигаются с боку на бок сани, качает Ваську, клонит ко сну.

— Что делаешь, шельмец!— кричит кто-то и хватает Ваську за руку

Васька открывает глаза. Перед ним веселое, все в сосульках лицо Игната.

— Жив?

— Жив,— отвечает Васька.

— Ну, жив, так вылезай... А вот мне без тулупа-то досталось.

Только тут увидел Васька знакомую дедову избу с резными наличниками, с коньком на крыше, в которого он прошлое лето попадал камнями. Из избы доносились переборы гармошки, топот, песни.

Вылезти он так и не успел. Хлопнули ворота, и, весь красный, веселый, в новой рубахе и хороших блестящих сапогах, вышел на улицу дедушка. За ним мать,— и кажется парню, что она не рада его приезду. Лицо у нее какое-то испуганное, и как будто плачет она. «Ругать станет»,— думает Васька и кричит:

— Мама, а ты не сердись!

Подошла мать, улыбнулась, поцеловала его, повела в избу.

Давно Васька не видал такого шума, такого веселья и столько людей!

В передней половине избы у стола, заставленного посудой, черномазый молодой парень, форсисто одетый, плясал на пару с теткой Зиной — ловко выколачивал ногами, быстро, козырем носился по кругу. Краснощекая грудастая Зина, ловко и плавно семеня ногами, помахивала белым платком, еле поспевала за ним.

Их пляской любовались все. Даже гармонист пригнулся к полу и не спускал с них глаз. Парень, должно быть в шутку, иногда останавливался и начинал передразнивать Зину, совсем как она семеня ногами. Зина, смеясь, ударяла его по спине, он дурашливо корчился, охал и неожиданно пускался вприсядку, высоко выбрасывая ноги.

Сквозь толпу, держа за руку Игната, пробрался дед, указывая на парня и Зину, сказал:

— Жить, мать их так, станут!.. А где у меня внук? Куда его спрятали?

— Я здесь, дедушка,— откликнулся Васька, выглядывая из-за переборки.

— Ладно... Ну, детки, новые гости прибыли, будет плясать, садитесь за компанию.

Наклоняясь к Игнату, дед спрашивает:

— Тебе с морозу-то того?..

— Пожалуй, давай стаканчик,— с улыбкой отвечает Игнат.

— Вот-вот...

Игнат, поздравив молодых, разом выпивает стакан.

— Ну, внук,— говорит дед,— иди сюда.

— Пускай парень прогреется,— отвечает мать.

— А вот мы его сейчас нагреем. Пива хочешь?

— Нет, не хочу.

— Ну, немного выпей. Этой вот гадости не надо, а пиво можно... Эко дело, Федьки-то нет.

Указывая на мать, Васька шепчет деду:

— Ей, может, не надо, чтобы я пришел, а я вот пришел. И тятька не знает. Я тайком... Тятька сердитый...

Слушает его дед и хмурится.

Шумит у Васьки в голове от выпитого пива, повеселел он, смелости прибавилось — хочется все рассказать деду.

— Дедушка,— говорит он,— я не пойду больше к тятьке. Стану у тебя жить. Ты меня пустишь?

— Ладно,— коротко произносит дед и, тряхнув головой, уже не слушая его, кричит гармонисту:

— А ну, Никита! Чтобы небу жарко было.

Ваське непонятно и обидно, почему не слушает его дед, но Никита играет так хорошо, что хочется Ваське позабыть все на свете. Сидит он рядом с дедом, ломает белые пироги с рыбой, и ни о чем не хочется ему больше думать.

Весело звенит гармошка. Шумит народ под полатями, кричит дед, угощая свадебщиков. Форсистый парень целует за столом тетку Зину...

Слышит Васька, рассказывает деду Игнат:

— Вот, говорю, шельмец, попал в руки!.. Испугался.

Понял Васька, что говорят про него, замахал руками:

— Неправда, дедушка! Ничего не было.

Тогда дед кладет свою тяжелую руку на Васькину голову и говорит:

— Молчи, не про тебя рассказывает.

А вечером, когда Васька уже спал и отдохнувшие гости снова сидели за столом, в избу вошел человек, весь занесенный снегом.

— Федька!— поднимаясь со стула, крикнул Епиша.

— Федька!— повторил все еще сидевший рядом с ним пьяный Игнат.— Да тебя, плешивого, только здесь и не хватало! Мы вот с тестем твоим целую коммуну за столом устроили.

— Нет?— вместо ответа спросил Федька.

— Чего нет-то?

— Васьки?

— Нет,— с усмешкой ответил Епиша, подошел к зятю, стащил с него шубу и бросил за переборку бабам.

— Да ты постой, скажи, есть ли Васька?..

— Давай, давай без разговоров,— говорил тесть, усаживая его за стол рядом с Игнатом и наливая стакан вина.

— Ведь знаешь, что я не пью,— сказал растерявшийся Федька.

— Где не пьешь, только не у меня.

— Не стану. Где Васька?

— Посмотрим... Годок,— обратился Епиша к Игнату,— держи его, плешивого.

Игнат стал держать Федьку, а захмелевший тесть, с каким-то диким весселием в глазах, под общий хохот поднес к Федькину рту стакан. Федька кричал, ругался, топал ногами, но все-таки пришлось пить. Когда стакан был пуст, он посмотрел на него и сердито плюнул.

— Старая сатана, ведь у меня обещание дано.

— Мало ли что,— лукаво улыбаясь, ответил тесть, наливая второй стакан.

Федька со страхом наблюдал за ним. Но тут черноглазый парень протянул к стакану руку.

Сощурился Епиша, посмотрел на зятя.

— Али самому захотелось?

— Нет, не то. Видишь, не может человек.

— Ин быть так... Счастлив ты, Федька, что рядом Черныш сидит, а хотелось мне спробовать твою силу.— И, наклонившись к самому Федькиному уху, добавил:— Хотелось мне узнать, такой ли ты в вине слабый, как с бабами.

Федька взглянул на тестя, но тот уже кричал:

— Никита, свое дело не забывай!

Все смешалось в голове у Федьки, широкая борода тестя, его рубаха, гармошка, песни...

А старики под шум вели беседу.

— Не я буду, коли не достану машины,— кончал Епиша,— силком заставлю в артель идти!.. Стану день и ночь работать, а своего добьюсь... Хочешь вместе, плешивый зять?

— Давно рад,— ответил совсем захмелевший Федька.

— По рукам!— крикнул Епиша и гулко ударил по Федькиной ладони.— У меня вот второй зять, Черныш, тоже не прочь. От меня ни на пядь!.. Правда, Гришка?

— Правда, правда,— ответил молодой зять.

— Эх, елки-палки! Плясать, ребята! Федька!

— Не стану я.

— Без разговоров!

— Ты што? Еще когда чего, а уж командуешь?..

Епиша молодецки повернулся на каблуках, подмигнул глазом какой-то молодой девке, стоявшей среди зрителей, и хлопнул ладонями по коленям. Девка вспыхнула. В публике одобрительно засмеялись.

— Гришук, иди!— позвал Епиша.

Зять послушно вылез из-за стола.

Плясал Епиша не хуже молодого — присвистывал, ухал, а когда пошел вприсядку, казалось, вся изба заходила ходуном.

Федька смотрел на пляску, любовался тестем, и самому ему не сиделось на месте.

— Федя,— услышал он вдруг голос Анюты,— кого дома-то оставил?

— Улиту,— ответил Федька и широко улыбнулся жене.

* * *

На следующий день, рано утром, когда все еще спали, Епиша разбудил зятя:

— Ну-ко, вставай, пойдем со мной.

— Куда?

— Там узнаешь.

Федька послушно поднялся и вслед за тестем вышел из избы.

Оба остановились на крыльце. После вчерашней метели все было занесено глубоким снегом, но небо прояснилось.

Солнце только что взошло, пряталось за крышами, и поперек улицы лежали длинные голубые тени от изб, от опушенных инеем ветел... Епиша, огромный, седобородый, с расстегнутым воротом рубахи, глубоко вдохнул свежий морозный воздух и, с шумом выдохнув его, строго спросил:

— Ну?

— Чего ну?

— Вот тебе и чего... Не можешь бабу содержать, мужик тоже... Да я бы в твои годы...

Он сердито насупил свои брови и продолжал вполголоса:

— Говорю тебе как своему — бабы не знаешь. Она...

Да ты сам все ли знаешь?— волнуясь, перебил его Федька.

— В первый же день рассказала. Да...

И, видимо сжалившись над зятем, старик улыбнулся, подмигнул:

— Больно-то не кисни!.. Эко дело, подумаешь. Я старик, да ни на что не смотрю. «Епиша такой-сякой, Епиша свадьбу без попа играет»,— а мне наплевать! Так-то, браток... И ты плюнь, взгляни повыше. Да и некогда этим заниматься — давай-ка лучше после свадьбы настоящее дело делать. За делом-то все забудется... Говорили вчера хоть и пьяные, а ладно. Понял?

Федька виновато кивнул головой, но сказать ничего не успел — взвигнула на морозе дверь, и вышла из избы Анюта. Удивленно взглянула она на отца, на мужа и, поняв, должно быть, что говорят о ней, потупилась, сбежала по ступенькам и бодро пошла по глубокому, еще не протоптанному снегу к колодцу. Ведра слабо покачивались на коромысле. Федька задумчиво смотрел ей вслед... Содрогаясь всем своим грузным телом, беззвучно смеялся Епиша... Солнце поднималось все выше, искрились, горели сугробы — и не было на душе у Федьки ни страха перед будущим, ни злобы.

1929

Отец

Глава первая

Первым приходит Манос. Еще на крыльце он расправляет грудь и, важный, как генерал на параде, открывает дверь. Не сгибаясь, он проходит в передний угол и подает мне два пальца.

— Что нового в политике?

Эту фразу, слышанную им от кого-то много лет назад, он говорит при каждой встрече с советским служащим: она звучит по-ученому и многих ошарашивает.

— О чем ты хочешь знать?

— Есть ли на рынке сахар альбо конфета?

— Есть.

Важный, он сидит со мной рядом и думает, о чем еще спросить.

Я смотрю на него сбоку. У него тонкий, прямой нос, аккуратно, «по-городскому», стриженная борода. Одет он в тяжелый парусиновый плащ, который не снимает даже в разгар лета, потому что в нем «похож на служащего». Фуражка с бархатным околышем, купленная лет двадцать назад у землемера, и старые сапоги с медными пряжками.

— А как там Англия?

Я говорю несколько общих фраз, и разговор на этом обрывается. Манос удовлетворил свое тщеславие. Он победоносно смотрит на моего отца, желая узнать, какое впечатление произвел на него этот «ученый разговор».

«Вот принесло»,— глазами говорит мне отец.

Только что поздоровавшись, мы хотели выплеснуть друг другу все тревоги и радости, накопившиеся за пять лет.

Отец мученически ждет, а Манос, беспокоя меня взглядом пустых мутно-серых глаз, требует, чтобы я занимался только им. У него такой вид, как будто два человека в мире — он да я знаем такое, чего не дано знать другим. Он всячески старается показать нашу с ним близость. Снисходительно выслушивает мои отрывистые разговоры с домашними, грубо сбрасывает с моих колен любимую кошку отца Мальку и, наконец, берет из моих рук записную книжку и неторопливо начинает ее листать. Он малограмотен и едва ли что может там разобрать. Это делается из желания показать, что такая вещь ему не в диковинку.

Отец хмурится. У меня состояние такое, как будто я голый.

Манос подносит книжку к глазам и медленно разбирает:

— «Письмо из деревни. Опять отец просит денег. Что я им — денежный?..»

Не давая дочитать, я беру книжку и прячу ее в карман. Лицо мое горит. Манос снисходительно смотрит на меня.

— Будем чай пить,— говорит отец, чтобы замять неловкость.

Я не отвечаю. Мне стыдно смотреть и на отца, и на всех домашних. В избе тихо. Сестра Даша, опустив глаза, собирает на стол посуду. Брат сидит у окна, тоже опустив голову. Только Манос, раздражающе прямой и важный, чучелом торчит в окне.

Опасения мои напрасны. Как только уходит Манос, радостно обступают меня родные. Я хожу по дому. Как дорога мне здесь каждая щепочка! За эти годы во мне что-то спало. Что-то было потушено во мне и забыто. И вот теперь разом все открылось и придавило меня.

Осторожно шаркая валенками, весь подобравшись и ссутулившись, двигается за мной отец.

Мы идем в другую половину избы. Я открываю дверь. У самого окна вспыхивают крупные кисти рябины. Голое, с тонкими, как проволока, сучьями дерево стоит широким огненным столбом.

В далеком холодном небе стынет скупое осеннее солнце. В щели окон струятся запахи гниющих трав и дыма. Высоко над нашим домом курлычут журавли. Все так же, как пять — десять лет назад!

Я поворачиваюсь к отцу Он смущенно кладет руку на мое плечо и легонько гладит его.

— Вот, вот хорошо! Приехал...

Я выше его на голову Руку ему приходится поднимать, смотрит он на меня снизу вверх. Иду к полке с нашими книгами. И опять отец следует за мной по пятам. Книги из корзин коробейников всего уезда, десятки лет оберегаемые, без счета раз прочитанные, книги, «направлявшие» мой ум, несказанно ему дороги. Он боится, как бы я не потерял уважения к ним. Бережно сдувая каждую пылинку с выцветших обложек, я складываю книги в стопку:

«Сказка о жестоком злодее Фаддее».

«Пантюшка, Сидорка и Филатка в Москве».

«Опера «Невидимка», или Личарда-волшебник».

«Храбрый и неустрашимый рыцарь Актар-бей».

«Ночь сумасброда, или Фантастические чудеса в явлениях».

Только мы с ним знаем, что скрывается за этими потемневшими обложками. Вот я открываю одну из них. С титульного листа сквозь неуклюжие надписи проступает подобие лошади. Ноги — четыре палочки, хвост широкий, веником, вместо головы — лохматая кепка.

Мы долго рассматриваем это произведение.

— А ты скупился мне бумаги купить,— с горечью говорю я.

В оправдание он тычет пальцем в другую страницу Между строк с ювелирной тщательностью вклеены мелкие буквы:

«Разные события».

«Никону на горох 3 р.».

«Когда я родился.

1864 г. Августа 17 Наречено имя «Павел».

«Мельнику старый долг 14 коп.».

«Когда я женился.

1889 г. Мая 29, бракосочетание совершено. А жену звать Аполлинария. С Чужги, крестьянина Никиты Косухина дочь».

«Первый сын родился Андрей. Марта 15-го 1900 г. в десять часов утра».

«Приезжал архиерей Паисий Десницкий, собирали весь приход».

«Куплено сыну на пальто чертовой кожи $1^1/_2$ аршина».

Я перебрасываю несколько страниц. На единственном чистом листе нетвердой рукой выведено:

«Августа 13-го 1925 г. в $^1/_2$ 7-го вечера — отошла ко господу. На нескончаемую жизнь жена моя Аполлинария».

— После почитаешь,— говорит мне отец и закрывает страницу.

С минуту мы молчим. Он собирает на полке какие-то бумаги и складывает их в уголок. Тихо. Широкий лист рябины ударяется в стекло черенком и, шелестя длинными крылышками, падает в огород.

Я беру первую попавшуюся под руку книгу. Знакомая надпись смотрит на меня с желтой обложки: «Раннее христианство».

Гэтч, Гарнак, Ренан встают передо мной. Я ощущаю перед ними прежний трепет. Греция и Рим оглушают меня своим великолепием. Колесницы, гладиаторы, дикие звери. Страшные и знакомые с детства имена: Диоклетиан, Константин, Август, Нерон...

...Долго и упорно мы с отцом осиливаем эту книгу. Сидим до часу, до двух ночи. Читает он хорошо, как-то по-особенному протягивая нравящиеся слова.

— «Эта страна так населена богами, что в ней легче встретить бога, чем человека».

В этом месте отец улыбается. Явный гиперболизм Петрония кажется ему святотатством.

С особенным благоговением он произносит места, которые ни он, ни я не понимаем. Здесь он понижает голос, как будто все это давно известно, однако нет-нет да и почешет бороду. Глянет на меня поверх очков, снова склонится и, уже откашлявшись, спросит:

— Ты чего-нибудь понимаешь?

— Ни капельки.

— Гм! И я тоже...

Начинает перечитывать необычайно громко, и в этих выкриках я слышу раздирающее его отчаяние.

—«Платон говорит: «Первоначально мир был только в потенциальном состоянии. Бог действует на него, как ремесленник на материал, который он обрабатывает...»

«Христианскую эксегетику» Гэтча мы читаем зимой ежедневно. Мне скучно. Хочется спать. Я с завистью посматриваю на постель, где видна русая голова сестренки Даши. Отец тоже изнемогает. Однако изредка он бывает

вознагражден местами из Библии, которые произносит, не смотря в книгу:

— «Благословляйте проклинающих вас, молитесь за врагов ваших».

Каждое воскресенье, ранним утром, отец поднимает меня в церковь. Я стою на клиросе за спинами отца и старого псаломщика Якова. Ноги мои нестерпимо ноют от устали. Хочется есть. Жарко.

— «Изведи из темницы душу мою»!—басит Яков.

Отец подпевает ему. Голос у него тонкий и сиплый. Иногда совсем срывается. Он смущенно кашляет и зажимает рот рукой.

Я тихонько опускаюсь на колени и молюсь. Потом, осмотревшись по сторонам, сажусь на ноги. Тело мое наливается истомой, губы сами собой раздвигаются в улыбку.

— «Яко ты еси...»—продолжает Яков и повертывается ко мне с табакеркой в руках,—«...еси бог...» Федорович, парень-то опять сидит. «...еси бог наш».

Отец толкает меня ногой. Я продолжаю сидеть.

— «И жизнь беско...» Федорович, нехорошо, подними парня-то. «...бесконе-е-ечная-ая...»

Отец берет меня за плечи и поднимает. Я встаю, морщась от яркого света. Прямо на меня сквозь решетки окна смотрит большое пышное солнце. От самой ограды идут спелые полосы ржи, и на межах я вижу ораву мальчишек — товарищей, спускающихся к реке.

Пахнет кислой шерстью и ладаном. От жары и духоты мигают лампадки. И давно осточертело мне рыканье Якова

Сейчас я перебираю книги, вдыхаю пыль и запах тлена Этот запах напоминает о росном ладане.

— Неважное воспитание дал ты мне, отец.

— Уж какое мог.

Вечером он говорит мне:

— А не пойти ли нам на печку?

Я улыбаюсь. На печке не бывал с тех пор, как перестал ездить в лес морозными ночами.

Мы спускаемся в подвальную избу и ложимся на печку лицами вверх. В избе никого нет. Темно. Тихо. Над нами шуршат тараканы. Из уважения друг к другу выжидаем. Первым начинает он:

— Да, только четверо осталось...

Отец не прибавляет одного слова: единоличников, но я уже знаю, о чем будет речь.

— Четверо из всей деревни?

— Да, четверо.

Он называет мне людей по прозвищам:

— Ермолай Прокопов, Манос да Вася Кисяй, Решетиха ночевать принимает Кисяя. От живой жены ходит — срам на всю деревню.

— Кто эта Решетиха?

— Марина Семенова.

— Марина...— повторяю я, и сердце мое учащенно бьется.— Что же ее так прозвали?

— Видишь ты, сынок,— не отвечая мне, продолжает отец,— как бы назад пятками не ходить. Мне семьдесят один год!

— Не пойдешь?

— Волосы-то у меня большие. А туда идти — все равно что волосы снять да среди бела дня по деревне пройти.

— Ну, не так уж страшно. Что тебя может держать?

— Держать-то... Гм! Все как будто на новый лад. А станешь разбираться,— нет, не все. Какая-то десятая доля мешает.

— Что это за десятая?

— А ты покопайся и у себя ее найдешь.

— У меня-то нет.

— Ну, нет, значит, твое счастье.

— А как ты на это смотришь?

— Я-то?.. Слушай, расскажу тебе историю. Ехали мы с Дашей из Полянки. Пахали. Мерин молодой, сумасшедший. Я держу его. «Исправь седелку!» Стала она исправлять седелку, а меня будто кто подтолкнул, говорю: «Да садись на него!» На лошади никто не бывал. Стала она садиться, как мерин уши навострил да задрожит-задрожит! Я ей кричу: «Вались!» Упала она, да поздно. Рванулся — мне два зуба вышиб, на воздух меня поднял. Ну, делать нечего, взял и отпустил. Он помчал.

Отпустил, сошники-то сразу в землю воткнулись, оглобли треснули, только пыль поднялась, а больше ничего не видно. Разве удержишь? Берегись! Так и тут. Уходи, видно, с дороги. А дорога та широкая, всю Россию приняла. Мы вот только кое-где на тропочках, как зайцы в кругу. Как ни ходишь, а все на старое место придешь.

— Скоро и тропочек не будет.

— Ну что же, один останусь. Стану жить, как Диоген в бочке.

Глава вторая

Отец легонько трогает меня за плечо, и мы останавливаемся. За кустами в оранжевом рассвете медленно идут по меже двое. Один — рыжебородый, в каком-то коричневом тряпье, в лаптях, без фуражки, волосы перетянуты веревочкой. Впереди него раскачивается длинный парень в синей рубахе, в синих штанах, босиком. На плече, как пика, деревянная мера.

Мы узнаем Васю Кисяя и шестнадцатилетнего его сына Пашку. От поры до времени они начинают говорить, но то ли им лень, то ли не могут найти контакта, замолкают.

— Да-а-а...— мечтательно произносит Пашка.

— Хм!— отвечает отец.— А все-таки...

И снова молчат. Кисяй смотрит в небо. В небе, далеком и холодном, исчезают звезды.

Теперь нам хорошо видны их лица. У Пашки синие глаза. Он курнос и губаст.

— В Сибири, чай, есть такие места, что хлеб без навоза растет,— говорит Кисяй.— Вот бы туда на простор жизни!

— Теперь, брат, везде одинаково.

— Ну? Ты думаешь, и там?

— Не знаю,— вяло отвечает Пашка.— Поди, и там то же самое.

Кисяй вздыхает.

— Ошалел совсем,— шепчет мне отец.— Оба и с сыном-то ничего не делают, только мотаются да спят.— И уже со страхом добавляет:— Вот так всю жизнь прожил.

Пашка снимает с плеча меру. Но прежде чем промерять, они начинают спорить: один говорит, что тут не больше шести с половиной, другой находит, что будет шесть и три четверти.

Не дождавшись, когда они кончат спорить, мы выходим из-за кустов. Оба удивленно смотрят на нас.

— Славно!— говорит Кисяй.— А мы думали, кроме нас, никого и в поле нет.

Он кивает на солнце, выглядывающее из-за леса.

В деревне поют петухи. Откуда-то приносит вчерашнюю теплоту и горечь овинов.

Кисяй делает Пашке вялый знак рукой. Пашка начинает мерить.

— А ты и единоличника не трожь,— говорит Кисяй.— Колхоз колхозом, а единоличник тоже жить хочет.

Мы с отцом молчим. Мне кажется, Кисяй говорит больше по привычке жаловаться. Ему даже сердиться-то лень. Вспоминаю Марину. Неужели опустилась до этого? Непонятно и страшно.

— Колхозу — земля, и единоличнику тоже земля,— продолжает Кисяй.— Ведь, кажется, такая идея-то спущена.

— Шесть с половиной!— радостно кричит Пашка, нашедший, что их полоса у́же на четверть. И смотрит на нас своими синими глазами.

Мы идем молча. Под ногой хрустит упругая отава.

По обе стороны плывет земля. Она кажется лиловой и пахнет яблоками.

Первым опять начинает отец:

— Это меня очень устрашает.

— А что, другие-то лучше?

— Другие-то? Скажем, Петрович. Работником был

Он озирается по сторонам.

— Идем низом?

Мы торопливо спускаемся в овраг. Здесь нас никто не видит. Журчит ручей. Сонными бабочками опадают листья ольхи.

Он откашливается и, не смотря на меня, говорит:

— Нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Это кто сказал, не помнишь?

— Гераклит.

— Мудрый человек!

Мы останавливаемся у свежевспаханной полосы. В бороздах блестят паутинки. Склон в этом месте крут и неровен. Кое-где громадными жабами разлеглись валуны. У другого конца стоит ветрянка с остановившимися крыльями. От нее, сгорбившись, бежит к реке изгородь.

— Вот, сынок, смотри, что осталось.

Он вытягивает над полосой руку.

— И ведь что сделали: борозды-то не в ту сторону пошли! Помнишь, как раньше было?

— Раньше у нас с тобой весенняя вода много земли крала. Вот они и повернули...

Полосой этой владели мы исстари. Очистил от леса и разодрал ее прадед Артемий. В семнадцатом отец поменялся с соседом, которому досталась эта полоса во время передела. Земля здесь тяжелая, с водорезом, сильно зарастает, сосед согласился охотно.

Рядом мельница стоит, изгородь, разноцветные кусты — все остается по-прежнему, а полосы нет.

— Все равно как ураган прошел,— тихо говорит отец.— Места не узнаешь. Все снесло, все сровняло.

И, желая вызвать во мне улыбку, легонько трогает меня теплой рукой и шепчет:

— Парнем-то ты, бывало, с гулянки да на полосу А один раз под утро задремал на конце. Уж я тебя не бранил, пожалел. Помнишь?

Двенадцатилетним подростком, едва возвышаясь над сохой, вприпрыжку, вприскочку вымерял я на этой полосе каждую пядь земли, знал на ней каждый камешек. В гору норовистый мерин бежит. Соху выталкивает, бросает из стороны в сторону. Руки мои ноют. От беспрерывного напряжения ломит спину и шею. Я скрежещу зубами, проклинаю полосу и плачу. Не оттого ли до двенадцати лет был я болезненным парнем?

— Да, я хорошо помню эту полосу,— говорю я и, отвернувшись, долго молчу.

Отец наклоняется и кривым бурым пальцем копает землю. Земля рыхла и податлива. Мне кажется, он разрывает громадный созревший плод, наполненный чудесными соками и запахами. Наш род прошел длинный трудовой путь. Эта земля любовно обрабатывалась и удобрялась, но была бесплодна, как злое сердце. Она только брала силы, почти ничего не давая взамен, она волновала величиной площади и каждый год обманывала. А вот теперь земля ожила. Может быть, еще прадед Артемий думал об этой глубокой канаве вокруг полосы, только не смел ее сделать. Было с ним такое.

Ладили дороги. Ехал проселком голова Казанского приказа Суслов Увидал участок прадеда, велел остановить лошадь

— Чья дача?

— Моя, Артемия Ивановича.

— Драть!

Дали двадцать пять розог. После Суслов спрашивает:

— Знаешь, за что драли?

— Нет, не знаю.

— За то, что хотел отличиться. Хотел всех умнее быть.

Так кончилось «ударничество» прадеда Артемия.

Отец находит зерно, долго его рассматривает и повертывается ко мне удивленный.

— Пшеница?

— Да, пшеница.

Я знал. Мы с Алешкой переписывались.

Он стоит, вытянув руки, как будто держит блюдо с горячей похлебкой.

Я не хочу говорить ему о том, что и семена пшеницы присланы мною, что пшеница для нас с председателем Алешкой предмет постоянных волнений и радостей. И, присылая ее, я заранее видел новые борозды и канавки, видел новую, плодоносящую землю, через пространства слышал ее запахи. Пшеница — редкий гость в нашей местности — будет золотиться на этой проклятой земле.

Он кладет зерно на зуб и медленно шевелит старыми челюстями.

— Не взойдет.

Я быстро склоняюсь к полосе и начинаю рыться. Зерно попадает пухлое, липкое, как червячок. Несколько секунд мы молчим. Я не смею посмотреть ему в глаза.

— Климат,— говорит он.— Наше северное солнце скупо.

Нахожу второе погибшее зерно. Не разгибаясь, мну его в пальцах. Обоняние мое улавливает кислый запах. Отец стоит надо мной, внимательный и неподвижный. Может быть, он улыбается. Мне все равно. Рою конец полосы, как крот. Около меня крохотные горки и пирамиды. Нахожу несколько здоровых зерен и даю ему. Да, они хороши, только этого мало. Мы перебрали около десятка зерен.

— А что будет, если она не взойдет?— спрашиваю я.

— Это я у тебя хотел спросить.

— Я тебе скажу.

Высоко подняв брови, он смотрит на меня во все глаза.

— Тогда мы достанем новых семян.

Сделав несколько шагов по полосе, я снова рою землю. Одно, второе, третье — как на подбор.

— Все в порядке, отец!

— Так, так,— говорит он и, как за подаянием, протягивает руку.

Свое торжество я стараюсь делать незаметным. Я дам ему волю через два дня, когда взойдет пшеница.

— Ну, а где же теперь твоя полоса?

Он показывает в другой конец поля.

— По белому свету хуже той земли нет. Идем-ка, идем.

Тихонько посмеиваясь, я шагаю рядом. Что с ним поделаешь? Если встретится кто из колхозников, будет стыдно.

Вдали, на меже, маячит Кисяй с сыном. Вот тоже вышли два пугала.

Впереди нас желтый колхозный двор. Березы окружают его, как факелы. Слышится ржание лошадей, звенит колодезная цепь. Проскользнуть незамеченными нам не удается. От двора идет бригадир, он же — председатель колхоза, Алешка Воробьев. Еще издали он улыбается мне, сверкая широкими зубами.

— Вот хорошо, что сам догадался! Да еще со стариком!

Он высок ростом, жилист. Лицо у него скуластое, смуглое.

Мы крепко пожимаем друг другу руки.

— Ну, пошли!

Я легонько подталкиваю отца в спину. Он смущенно кашляет. Семенит рядом, как подросток.

Наклоняясь ко мне, Алешка, как о чем-то особенном, сообщает:

— Нет у меня арифметики. Она меня вконец измучила. В тоску ударило. Летом во сне хожу, копны считаю, с бабами ругаюсь.

Сердито плюет в сторону.

— Уж какое дело: счетоводу меня учить приходится. Как я после этого за ним досмотрю? А главное...

Он снова наклоняется ко мне и шепчет:

— Главное, Андрюша, эти десятые да сотые. И будь они прокляты!

В голосе Алешки отчаяние, большие черные глаза широко открыты.

— Ничего, вместе одолеем.

— Ведь так-то я ее, окаянную, знаю. А как считать, так каждый раз вспотеешь. Мне везде цифра кажется. Позавчера сидел, считал-считал, — голова закружилась. Пошел к кадке с водой, тянусь ковшиком, а там цифра сорок девять!

Из боковых ворот выглядывает круглая белотелая жен-

щина, в желтой кофте, с вилами в руках. Поставив к воротам вилы и поправив на голове платок, она идет вдоль стены и из-под платка разглядывает меня. Я узнаю Анну Прокопову, сноху отцовского приятеля Ермолая Петровича.

Мы здороваемся.

— А я вот конюхом,— говорит Анна и по-девичьи вспыхивает.

— Она, брат, молодец!— говорит Алешка.— Считать станет, так те дам!— И, желая ошарашить меня, выкрикивает:— Делить и умножать умеет!

Удивительного я тут ничего не нахожу, но сочувственно киваю головой.

Анна водит нас по конюшне. Слежу за отцом. Он рассматривает все с какой-то особенной настороженностью Вот у этой кобылы натерты спина и плечи. Она суха, как изгородь.

Алешка останавливается и смотрит на отца.

— Никак не можем выправить.

— Хм!— отвечает отец.— И у Шалтыка она была не лучше.

Во дворе светло и чисто. Под ногами у лошадей золото свежей соломы.

Иногда отец что-то тихонько выспрашивает у Анны. Стоит, откинув голову назад, и сквозь очки осматривает двор Потом, разом охладев ко всему, устало говорит мне:

— Пойдем.

Мы уходим. Алешка провожает нас до тропки.

— Знаешь что, Федорович,— говорит он отцу на проща ние,— сделал бы ты мне кадочку? Вот так нужна!

Он проводит по горлу ребром ладони.

Помолчав немного, отец качает головой:

— Нет. Себе-то с грехом пополам.— И торопливо добавляет: — Я ведь на продажу не делаю.

— Я знаю, знаю,— смеясь и подмигивая мне, говорит Алешка.— На продажу ты не делаешь, а мне сделай.

Отец разводит руками:

— Да если я не делаю, так как же я тебе сделаю?

— Ну-ну, не сердись.

Лицо Алешки становится грустным,— кадочка, видимо, очень нужна.

— Нашли мастера,— ворчит отец.— Мне семьдесят один год.

Мне неловко и жаль Алешку, но что станешь делать с человеком, которому больше семидесяти?

Алешка уходит. Мы стоим на тропке. Солнце уже поднялось над кустами. В бороздах ослепительно сверкают белые, омытые водой камешки.

— Как тебе понравилось?— спрашиваю я у отца.

Он отвечает не сразу, повздыхав и почесав подбородок:

— Оно конечно, у них все под руками. Как яйцо в скорлупе. Ну, как теперь быть-то: на полосу аль домой, работать?

Мы работаем в подвальной избе. Утро нарядное и радостное. Под окном, над грядами редьки, еще млеет парок. Рябина стоит в розовом тумане.

Обложившись сухими бондарными досками, отец сидит на полу, как в снежном сугробе. Доски пахнут серой и дымом.

Я за верстаком. Мастерю рамы для будущей нашей избы. Начав неуверенно, работаю четко и быстро. Дерево взвизгивает под рубанком и нагревается. И самому мне жарко и весело. Вокруг меня родные, волнующие запахи.

Отец любуется моей работой. Изредка подходит ко мне, встает плечо к плечу и взглядами, кивками, еле уловимыми прикосновениями к блестящей поверхности дерева дает почувствовать, что оба мы одинаково искусные мастера. Я ничего не забыл. И по-прежнему, как пять — десять лет назад, работаем вместе.

— Хорошо,— говорит он.— Этого дня я давно ждал Ты мне часто снился за верстаком. Проснусь, гляжу в передний угол: нет, пусто, только стружки белеют.

Тихонько жалуется мне:

— А вот что я тебе скажу, сынок. Николай с Дашей почитать меня худо стали. Согрешил с ними. Не слушают.— Он вытягивает передо мной руку.— Ну, разве это хорошо?

— Никуда не годится.

Я замечаю, что у сестры и брата создалась привычка смотреть на него полунасмешливо. Так относятся к человеку, с годами слабеющему разумом. Это для меня ново и тяжело. Правда, он бывает смешон. Вчера вниз, к себе на печку, утащил три подушки и пришел за четвертой. А потом удивлялся, откуда у него столько подушек. Я смотрю, как брат смеется над стариком, обнажая розовые десны, и мне

хочется ударить брата в красивое нагловатое лицо. Сестра смеется тихонько, с явным сочувствием, как над подростком. Она краснеет, прикрывает серые глаза, оставляя только узкие щелочки.

— Ведь все-таки я вас всех вырастил и воспитал.

— Подожди, я с ними поговорю.

— Вот-вот, поговори.

Он отходит как будто успокоенный, но на лице его еще долго держатся скорбные складочки. Я вижу: мысли его сейчас там, в поле, около исчезнувших борозд, и здесь, у расколотой границы, в нашем старом, прокопченном доме. Но я не знаю, что еще сказать. Я с детства привык говорить ему правду. Ничего не придумав, весело начинаю любимую песенку матери «Рябинушка». И, вероятно, впервые за всю жизнь мне удается обмануть отца. Он улыбается в усы. Изба настораживается всеми своими черными углами и щелями. И кажется в тишине, столяры и бондари целого столетия, русые, бородатые, с мускулистыми руками, поднимаются все разом и ревниво слушают эту песню. Они стоят за спиной отца суровой ратью.

Я иду за печку взять материал. Сухие бруски дерева лежат на двух перекладинах у самого потолка. Это место отец зовет «пирамидой». Когда я достаю материал, один брусок падает. Внизу гудит что-то, прикрытое мешками. Я скидываю мешки и как бы открываю жар-птицу. За печкой становится светлей от сверкания золотистой кадочки и двух шаек. На каждой из них щепочка с надписью: «Петру Тюкавину 7 р. 10 к.», «Шалтыкову 2 р. 15 к.», «Калябе Ефиму 2 р. 8 к.». Переложив щепочку с фамилией Тюкавина на печной приступок, я осторожно поднимаю кадочку Она весело гудит крепкими боками. Хороша. В ней чувствуется мастерство нескольких поколений. Так же поставив ее на место, беру материал и иду к верстаку.

Ничего не подозревая, отец фугует доски. Выровняв края, он рассматривает их на свет, держа как пистолет, и тихонько посвистывает. Потом он берет кушак, делает из него большую петлю и держит ее, растянув обеими руками, над полом.

— Ну-ка, помоги!

Я иду к нему и ставлю доски в петлю.

— Кому это?

— Киренок просит. Не мог отвязаться.

Круг замыкается. Я ставлю последнюю доску и, просу-

нув под кушак палку, закручиваю его. Щели между досками прячутся.

Выстругав скоблем верхние края досок, отец набивает на них обруч. Свежеободранный чистенький обруч кажется большим золотым кольцом.

— А почему ты для Алешки не хочешь сделать?

Молоток застывает в его руке на полувзлете.

— Для Алешки-то... Хм! Тут, братец мой, одна закавычка. Членом сельсовета состоит. Хорошо, есть совесть — скажет правду, нет совести — припишет то, чего я и не в силах сработать.

— Да ведь ты его с колыбели знаешь?

— В обличье знаю, а что у него на душе, и ты не знаешь.

— Я-то знаю.

— Ну, значит, ты больше награжден разумением,— уже раздраженно произносит он.

— Узнает Алешка, обоим будет неловко. Он хотел прийти ко мне.

— Пускай приходит. Пять рублей в неделю зарабатываю. Эка важность!

Однако кладет молоток и тревожно посматривает за печку.

— Там у тебя что?

— Тоже пристали! Не мог отвязаться.

Я молчу.

Он идет за печку и через минуту выносит оттуда дном вперед яркую, как солнце, кадку. Долго соображает, куда бы ее поставить. Кладет на полати и прикрывает тряпьем. Снова идет за печку и выносит шайки, держа их как пузатых младенцев. Прячет их и, вздыхая, берет молоток:

— Ободрались и оттоптались все. Сам видишь.

Да, я вижу, как он бьется. Сегодня ради моего приезда спал вверху. Далеко за полночь ворочался на постели. Проснувшись под утро, я увидел его стоящим в переднем углу. В одном белье, непричесанный, он молился:

— «Ты еси утверждение притекающих к тебе, господи, ты еси свет омраченных, и поет тя дух мой...»

Светало, на розовом фоне окна он, маленький, съежившийся в комочек, казался особенно жалок.

В моих мыслях он двоится. Мне жаль в нем того первого, безгранично простого, доброго, и меня злит этот второй — жадный, упрямый, во всем сомневающийся.

Однажды в споре со мной о происхождении мира он ни за что не хотел согласиться с тем, что наука знает, из чего состоит солнце. О спектральном анализе он не раз читал и слышал от меня. Даже как будто соглашался со мной. А теперь делает вид, что ничего не знает. Я объясняю ему до отупения, более часу. Он пристально смотрит на меня сквозь очки и, выждав, когда я кончу, начинает цитировать на память место из какого-то забытого мной византийского писателя о непознаваемости небесных светил.

В это время я почти ненавижу его. Беру карандаш и рисую на бумаге призму.

— Вспомнил,— говорит он, следя за моей рукой.

И вдруг лицо его становится простым и печальным. Он со страхом, торопливо добавляет:

— А спорить больше не будем. Нет, нет — не будем.

И опять мне становится жаль его. Но я все-таки говорю:

— А солнце, может быть, и не нужно? Ведь бог сделал его «на третий день после того, как появился свет». Или, может быть, в «Книге бытия» ошибка?

Он долго с укоризной смотрит на меня и, не найдя что ответить, принимается быстро наколачивать второй обруч. В кадке мечется гулкое эхо.

Глава третья

Да, мы решили устроить бунт. Переговоры ни к чему не повели. Угол наш бесповоротно расколот на два мира. Надо действовать. Вырабатываем тактический план. Сидим как заговорщики: я — у окна, на отцовском месте; брат — рядом со мной; сестра Даша — на стуле, как хозяйка.

Внизу с глухим визгом и стоном носится рубанок. Неостывшая радость управляет руками отца: в кои-то годы дождался — вся семья в сборе. Он ничего не подозревает.

Можно начинать выступление. Но к отцу пришел дед Ермолай Прокопов, отец бросил рубанок, и мы не можем дождаться, когда они кончат разговаривать. Дружба их трогательна. Не видясь несколько дней, старики справляются друг о друге. По вечерам они читают «Жития святых». Иногда в качестве поблажки Ермолаю допускается чтение «Князя Серебряного», «Брынского леса» или «Повести о том, как львица воспитала царского сына».

Раньше на эти вечера приходил старый молчун Игнат

Долото. Смяв на груди бороду, дремал, покачивался и сыпал на пол табак из незавернутой цигарки. Приходил широкий, с бородой во всю грудь, солдат турецкой кампании Никита Орестов. Он так рыкал, здороваясь, что огонь в лампе на мгновение приседал и вздрагивал. Незваный, непрошеный, заглядывал на огонек Манос и сидел чучелом на лавке.

Один за другим умерли Долото и Орестов. Остались, по словам отца, они с Ермолаем «одни на всем белом свете», да по-прежнему непрошеный врывается Манос и тянется, как на параде.

За последние годы Ермолай, будучи стариком вообще шутливым, стал чаще и чаще ошарашивать отца кощунственными комментариями к прочитанному:

— Тут, Федорович, без бутылки не разберешь.

Отец долго смотрит на него в упор, не зная, что сказать от смущения.

Иногда, в момент сильнейших страданий какого-либо мученика, в тот момент, когда голос отца торжественно-приподнят, Ермолай вдруг, ни к селу ни к городу, начинает гмыкать.

— Ты что?

— Как его, бедного! А? Кверху ногами!

Ничего особенного не сказано, однако в избе незримо появляется смех. Смех в шелесте желтых страниц, в уютной теплоте огонька, в блеске прокопченных бревен на потолке, в самом воздухе, пропитанном запахами кислой овчины и нюхательного табаку.

Отец начинает протирать очки. Ермолай сидит уже строго вытянувшись. В глазах жестокий, как у мученика, блеск. Сидит долго без движения. И гром проходит, не разразившись. Вздохнув, отец надевает очки. Минуту-две Ермолай слушает, не моргнув. Затем начинает озираться по сторонам. Зевает, протяжно и сладко охая. Или, набрав большую щепоть табаку, начинает втягивать его широкими ноздрями с таким необыкновенным храпом и свистом, что кошка, сидящая с ним рядом, опрометью бросается под стол.

— Потише!— говорит отец, не отрываясь от книги и не видя полных смеха глаз Ермолая.— Нечего носом хвастаться!

Снова тишина и монотонный голос отца. Тихонько гудит ветер в трубе. Привалившись к косяку рамы, Ермолай сладко и прочно засыпает.

Сегодня разговоры их особенно многословны. Мы уже теряем надежду. Брат хочет просто пойти и позвать отца, но тогда наш замысел едва ли увенчается успехом.

Мы слышим хлопание двери внизу и веселый говор. Отец открывает дверь, и оба, борода к бороде, шагают на меня.

Даша перевязывает голубую ленту на косе. (Так удобней ни на кого не смотреть.)

— Скажи,— обращается ко мне отец,— насколько поднимался стратостат «СССР»?

Я говорю. Старики, успокоенные, садятся на лавку, теребя бороды, мирно беседуют.

Даша собирает на стол. Рассеянная — вместо сахарницы сахар кладет в блюдце. Хмурюсь: «Подведут ребята». За столом делаю условный знак, поднимаю указательный палец. Даша начинает торопиться и проливает чашку.

Отец сам бежит за тряпкой.

— Ай-ай, не обварилась?

— Нет.

Это происшествие окончательно побеждает Дашу. Она сидит, не поднимая глаз. «Измена»,— мигает мне брат и сердито сует сестре пустую чашку.

Я предупреждаю его легким толчком в ногу и громко говорю:

— Значит, решил?

— Да, решил.

Старики вдруг смолкают. Блюдечки застывают у них на ладонях.

— А ты, Даша?— обращаюсь я к сестре.

Она думает.

— Да ведь только что говорили,— сердясь, выдаю я ее.

— А как же он один?— кричит она, выдавая нас обоих.

Старики давно перестали улыбаться. Блюдечко в руке отца дрожит. Он ставит его на стол и начинает поглаживать грудь. Ермолай достает табакерку, сует ее обратно в карман, снова достает и, набив табаком нос, смешно двигает челюстями, собираясь чихнуть.

Я чувствую на себе упорный взгляд отца, слышу его покашливание. Это означает: «Что угодно, только не говори больше этого при нем».

Они пытаются разговаривать:

— Приходи, Петрович, вечерком.

— Приду. Что почитаем?

— Найдем что-нибудь.

Петрович встает. Никто его не удерживает.

— Хорошо, что приехал,— пробуя улыбнуться, говорит он мне на прощание.— А мы тебя уж так ждали!

Отец сидит, сложив на коленях худые маленькие руки, и смотрит куда-то в угол.

Мы долго молчим.

Приходит из школы младший брат. Он лезет за стол, достает тетрадку и читает нам изложение на заданную тему.

— Хорошо,— говорю я ему и закрываю тетрадь.— Пейка лучше чай.— Потом я поворачиваюсь к отцу.— Мы решили...

— Знаю, знаю!— кричит он.

— Так что ж теперь делать, отец?

— Делиться надо,— еле слышно произносит он.

— А разве ты не с нами?

Он молчит.

— Хорошо,— уже сухо говорю я.— Будем делиться.

Щеки отца сереют. Он выглядит совсем старым.

— Ты все это создавал. Бери себе что хочешь.

Он укоризненно смотрит на меня.

— Для колхоза отдай лошадь.

Он отворачивается.

— Жить будешь с нами. Если у тебя будет из чего, Даша испечет тебе и сварит.

— Ты не издевайся,— горько произносит он.

Я еле сдерживаю смех. Брат тоже улыбается. Только Даша, видя, что я снова пытаюсь оторвать ее от отца, недоуменно смотрит из-за самовара.

— Какое же тут издевательство? Мы для тебя сделаем все. Одного не оставим.

— Я самовар согрею,— говорит младший брат сквозь слезы. (У них с отцом особенная дружба.)

Отец усмехается. Дело тут, конечно, не в самоваре.

— У тебя, отец, останется корова. Молоко будет. Даша тебе ее подоит.

— Подою,— смущенно смеясь, говорит Даша.

Для него все это необычно. Он не знает, что ответить. Да и нам всем неловко. Конечно же каждый из нас поделится с ним последним куском. Дележ выходит только на словах.

Меня снова охватывает раздражение. «Надо показать ему, что у нас две семьи».

— Хорошо, отец,— строго говорю я,— с сегодняшнего

дня мы живем отдельно. Ты — единоличник, все будешь делать так, как тебе нравится. У нас же руководители, мы будем зависеть от коллектива.

— Ну-ну!— испуганно бормочет он.— Ну-ну, давайте, делите. Вас больше. Мне — что останется.

Он снова начинает растирать грудь. Сейчас он должен бы пожаловаться на грудную боль. Но жаловаться, выходит, некому.

Бережно придерживая, я веду его в подвальную избу. Он вздыхает и дрожит всем худым маленьким телом.

— У тебя грудь болит?

— Да.

— Согреешься на печке, все пройдет.

В сенях темно. Но мы идем уверенно, нам знаком каждый вершок пола. Все воскресает под нашими ногами, и маленький, тысячу раз повторенный раньше, скрип половицы кажется живым голосом.

Лежа на печке, он как бы про себя говорит:

— Я буду жить в этой избе. Завтра побелить печку надо.

— Хорошо, живи. Мы постараемся тебя не беспокоить.

Смеркается. В переднем углу, как конь в морской пене, темнеет верстак. Пахнет смолой и клеем. Инструменты у отца раскиданы. Спеша обрадовать Петровича беседой со мной, он не успел их подобрать.

— Значит, с сегодняшнего дня и будем так жить?— полувопросом говорит он.

— Конечно.

Он хочет еще что-то сказать, но я иду. Меня душит горький смех.

Глава четвертая

Я вывожу со двора мерина. Он идет неохотно, отфыркиваясь и вздрагивая крутыми боками; из-под широких копыт брызжет золотистая жижа. Сестра гонит корову. Не переставая жевать, корова покорно вздыхает. Отец стоит на крыльце в одной рубашке, в лаптях на босу ногу и поглядывает то на меня, то на брата, как бы ничего не понимая.

— Отец, что же ты?

Он покорно семенит в сарай и выносит оттуда широченную дугу, с которой, вероятно, ездил еще мой прадед. Мы с братом рассматриваем дугу и смеемся.

От соседнего дома слышится сдержанный смех Маноса. Манос стоит у крыльца, скрестив на груди руки. Во рту у него потухшая папироска. Сейчас он без плаща, в сиреневого цвета майке. Майка настолько короткая, что еле прикрывает грудь. Рукава майки обрезаны по локоть.

— Конструкция,— говорит к чему-то Манос и плюет в сторону.

Отец, несколько смущенный, убирает дугу и выносит из сарая другую — малиновую, с медным кольцом, с разными елочками и ромашками. С внутренней стороны дуги красная надпись: «Сделал мастер Михайло Веденин в 1889 году».

Подав дугу мне, он отходит к изгороди и, опершись на нее локтями, смотрит в небо. Небо — без единого облачка. Мы быстро запрягаем.

— Садись, отец!

Он садится на телегу, держится за ее края обеими руками.

Я иду сзади.

С грохотом въезжаем в гумно. Нас окружают густые запахи хлеба. Мерин весело фыркает и, с силой оттолкнув брата, хватает из скирды овсяной сноп. Заполняя все шумом и шелестом, он треплет сноп, крупные тяжелые зерна летят во все стороны. Мерин наступает на него копытом, вытаскивает пучки, снова поднимает и трясет в зубах.

Брат смотрит на меня, я — на отца.

— Пускай,— говорит отец.

И вдруг всем троим становится понятно, что случилось необычное. Тогда брат молча поворачивает мерина, смотрит на громадную кучу овса и тихо говорит:

— Ничего, тут еще много!

Отец лезет на кучу. Весело летит первый сноп.

— Кому?— спрашиваю я.

— Клади мне.

Сноп очень широк и тяжел. Я кладу его к левой стене. Летит второй сноп. Третий, четвертый разом. Складываем их к правой стене. С пятым снопом отец возится долго.

— Что, развязался?— спрашиваю я.

Он молчит. На кучу лезет брат.

— Пусти, я скорее.

Теперь снопы летят сплошным шумным потоком. Отец бросается то на один, то на другой. Я успеваю сложить в свою кучу три, а он все еще возится с первым.

Когда все разделено и воз готов, отец берет грабли, сгребает все, что насорилось, и, подняв с пола, смотрит на меня.

— Бросай к себе!— говорю я.

Он бросает на свою кучу.

— Трогай!

Брат подходит к мерину, мерин круто берет с места, и огромный шумный воз ныряет в ворота.

Отец, вытянув руки, зачем-то бежит по гумну, останавливается у ворот и произносит:

— С богом!

Над крышей соседнего хлева я вижу длинную бородатую голову. Забравшись с другой стороны на поленницу, Манос наблюдает за нами.

С нашего крыльца видна ветряная мельница. Расправив широкие крылья, она летит и не может улететь вот уже несколько десятилетий. Внутри у нее что-то хрипит и скрипит, крылья вращаются с кряхтением и шумом.

Отец стоит на крыльце и смотрит в поле. Мельница машет крыльями. Она рвется, как всегда, за ветром, за воздушными паутинками, пролетающими мимо.

Издали похоже, будто мельница качает громадной непричесанной головой и приподнимается. Ветер сегодня крепкий. Он обрывает на рябине крупные кисти ягод, и они окровавленной картечью летят на гряды. Над князьком Маносовой избы качается причелина, вырезанная наподобие лиры. Кисяй выходит, смотрит на крышу и, почесавшись, возвращается в избу.

А мельница трещит и гудит все сильней. Это такая крепкая зацепка для того, чтобы смотреть в поле. Отныне все происходящее на этой части земли будет регистрироваться только с крыльца: из окна подвальной избы не видно, идти в поле неловко. Вот какой-то человек шатается на конце полосы. Он двигается, пригнувшись от ветра, размахивая длинными руками.

Это старик Тюкавин, наш постоянный колхозный оратор, явился проверять пшеницу. Сегодня — четвертые сутки. Срок, близкий к тому, когда пашня покроется нежными красноватыми перышками, неподвижными, как на рисунке. А там, через день-два, под смешными, неуклюжими крыльями мельницы перышки будут трепетать и шептаться на черной земле.

Нет, конечно, не мельница привлекает внимание отца, и

не от взмаха ее крыльев сереет у него лицо. Может быть, он хотел бы пойти вместе со мной. (Мы молотим, приходили обедать.) Но сделать это — значит выдать свое смятение. Он молча повертывается и шагает во двор. Я подхожу к воротам и смотрю в щелку. Он стоит среди двора с опущенными руками.

— Отец!— не выдерживаю я.

Не торопясь он отыскивает меня взглядом. Спрашиваю его:

— Ты что тут?

— Вот куда-то пошел, забыл. Стою, не могу вспомнить.

— А ведь ты хотел у мерина перегородки ломать.

— Да, верно, хотел.

Приносит топор и начинает ломать конскую стайку. В крохотное окно двора, как в подземелье, проникает свет, освещает его и бугристую поверхность стайки, сбитую мерином. Разрубленные кольца изгороди лежат около него звеньями тяжелой цепи.

Приходит Кисяй. Отец не оглядывается на него, продолжая работать.

— Колхоз,— ворчит Кисяй, желая обратить на себя внимание.— Один-то я куда захочу, туда и поворочу.

Отец хмурится. Не было единомышленника, но и с этим не по пути. Он знает о частых и жестоких голодовках Кисяя, и вот то, что Кисяй сейчас сказал, звучит насмешкой.

— Тебе чего?— сурово спрашивает он.

— Мне бы самовара,— сразу притихает Кисяй.

Мы возвращаемся голодные, с черными от пыли губами. Отец стоит на крыльце. Как он узнает о нашем приходе? Однажды я замечаю выглядывающую из-за спины фигуру младшего братишки. Лазутчик, узнав, что его открыли, смущен и напуган.

Было еще так. Я ехал к себе в гумно на самой плохой колхозной лошади. Откуда ни возьмись из-за бани выкатил отец, в одной рубашке, в валенках, с непокрытой головой. Сзади него, стараясь казаться невидимым, трусил лазутчик. Подошли молча.

Отец смотрел на лошадь, как, вероятно, смотрели троянцы на чудесного деревянного коня греков, разродившегося воинами. Но с этим (конем) ничего не произошло. Отвесив губу рукавицей, он стоял, тощий и неподвижный, как в музее. Отец еле коснулся его гривы и вынес клок сена, величиной в шапку.

— На, ешь! — сказал он.

Половину времени братишка проводит с нами. Остальное — с отцом. Отец стоит у верстака, он где-нибудь поблизости учит уроки. Иногда его голову можно принять за ворох стружек.

— Ты, Миша, тоже в единоличный сектор переходишь? — говорит ему второй брат.

Лазутчик испуган и удивлен.

Отец с величайшим вниманием встречает каждый день жизни, но делает вид, что все для него безразлично.

Я читаю газету. Он делает вид, что занят разговором с братишкой.

— «Лучшему ударнику колхоза «Луч» Михаилу Веденину шестьдесят восемь лет».

Он медленно поднимает голову. Глаз его не видно. На месте глаз два ослепительных пучка света. Видимо, этот свет мешает ему. Он снимает очки.

— Из какой деревни этот Веденин?

— Завражье. Да ты его знаешь. Он дуги гнет.

— А-а!

И больше ни движения в мою сторону, ни вопроса. Сидит, сложив на груди руки. А потом уходит к себе и начинает жадно просматривать газеты и книги, которые я привез из города.

Чай пьем вместе. Кто-нибудь из нас стучит в пол ухватом. Отец отвечает стуком в потолок. Иногда в огород забегает братишка и кричит:

— Мы идем!

Они приходят, садятся рядом. У отца своя коробочка с чаем и сахаром. Все молчим. Братишка, воровато озираясь, отламывает от своей лепешки кусочек, тихонько подкладывает отцу и дергает его за рукав. Тот, видно по рассеянности, наклоняется к нему и спрашивает:

— Что?

— Вот... — весь красный, шепчет братишка, указывая на лепешку.

— А... Ну-ну, хорошо!

И, глянув на нас, отец смеется, ставит блюдце, гладит бороду. К окну подходит Ефим Каляба и кричит мне:

— Павлович, можно, что ли, взять кресла?

«Кресла» — это приспособление на телеге для возки снопов и сена, — квадрат, сбитый из четырех колышков. Они стоят у стены.

Отец поворачивается к окну.

— А тебе для чего?— спрашивает он у Ефима.

— За сеном еду. Так я беру их.

— Берешь? Хм! А кто же тебе разрешит брать?

— Как — кто? Да ведь телега-то ваша в колхозе?

— Ну и пускай в колхозе, а кресла трогать не надо.

Ефим держит кресла, не зная, что с ними делать.

— Это уж смешно!— говорю я отцу.

— А сделай сам, тогда и давай!— не глядя на меня, кричит он.

Младший братишка готов заплакать. Ефим все стоит. Я выглядываю в окно и мигаю ему. Он понимающе склоняет голову и быстро уносит кресла. Отец догадывается, что произошло за его спиной.

— Придется жить одному. К вам не касаться.

Отец начинает собирать одежду, сапоги, валенки, старые часы и тащит все это вниз.

Когда дело доходит до книг, я иду к полкам помочь отцу. Он торопится. Бестолково перебрасывает книги, чего раньше с ним никогда не бывало. Наконец вытаскивает пачку конвертов, которые я подарил ему лет пять назад. Не глядя, сует мне.

Мы таскаем книги. Дышим запахом тлена. Позади меня что-то стучит. Оборачиваюсь. У него упала книга и развернулась на титульном листке: «Раннее христианство». Я наклоняюсь и поднимаю ее.

«Какой разумный человек допустит, чтобы в первый второй и третий день творения вечер сменял утро без солнца, луны и звезд?»

Я подгибаю уголок страницы и закрываю книгу. Отец видит это, но ничего мне не говорит.

Глава пятая

В темноте огни плывут к центру поля, как золотые рыбки. Столкнувшись, они гоняются друг за другом, ныряют, описывая круги, падают и лежат, полуприкрытые отавой, как водорослями. Слышится девичья песня. Тихая, не совсем уверенная, спросонок. (Даша начинает волноваться «Бедняжка,— шепчет брат,— все без тебя пропоют...»)

Сегодня мы подходим к току раньше других Гумно движется на нас из темноты, как кит.

Алешка сидит на пороге в глубокой задумчивости. У его ноги фонарь Много у Алешки забот Ветхие единоличные

гумна распирает хлебом, а ночи черны, как деготь. Стоят по гумнам машины. Пить-есть не просят, а из-за них лето жили впроголодь. Размахнулись, в один год хотелось приобрести все. Да разве только это?

Алешка встает. Фонарь, подпрыгивая и раскачиваясь, рвется к нам навстречу. Громадная Алешкина тень прячет рыхлую голову под крышей. В открытых воротах смутно вырисовываются скирды. Мнится: сидит на них старый гуменушко и жует хлеб. На середине гумна, как громадное насекомое, молотильный привод.

Лица у Алешки не видно. Кажется, он не хочет показывать его нам. Неуверенно протягивает мне руку.

— Сейчас ходил: смотрел. Ничего нет.

— Ну, с фонарем разве рассмотришь? Ш-ш! Без паники!

Из-за угла появляется веселая, с фонарем в руках Анна Прокопова.

— Здравствуйте! — звонко кричит она.— А я решила вам помочь!

На ней темная с желтыми цветами юбка. Цветистый платок. Движения ее размашисты и уверенны.

— Хочешь понравиться? — шучу я.

Смеясь, она подходит ко мне и, как девушка наедине с парнем, тихо начинает говорить. Рассказывает о своем житье-бытье, о своем бабьем одиночестве. Что-то долго нет писем от мужа из Красной Армии. Она все одна да одна. Ну, понятно, вся отдается работе.

— А как твой старик? — спрашиваю я.— Он что-то давно у нас не был.

— Со стариком неладно.

— Тоскует?

— Да нет, не тоскует, а все бегает.

— Куда?

— В огород.

И хотя нас никто не слушает, Анна шепчет мне:

— Кажется, проверяет нашу пшеницу.

Огоньки качаются ближе и ближе. Они окружают нас кольцом. Слышится шелест травы, говор.

Широко размахивая «летучей мышью», подходит Тюкавин. За ним, с коптилкой, сделанной из чернильницы, появляется маленький, колючий Ефим Каляба. Подходят девчата. (Теперь брат начинает волноваться. «Да нету ее, нету»,— смеясь, шепчет ему сестра.)

Для меня самый волнующий момент, когда все сойдемся вместе. Мужчины под уютный дымок махорки начнут добродушно подшучивать друг над другом и так незаметно перейдут к работе. Крики, смех, короткие на ходу рассказы. Тюкавин любит вспомянуть покойного хозяина гумна, старика Карабана:

— Косит, земля воет. Босой, без шапки, волосы как у беса. Брюхо большое, круглое. По две четверти молока выпивал.

Песню девчат никто не слушает. Никто не думает о том, хороша ли она, плоха ли. Верещат, и пускай верещат. А если бы они замолчали, нам бы чего-то не хватало.

В темноте храпят лошади, гудит молотилка.

Я вспоминаю отца. Он в подвальной избе. Мигает коптилка. По углам колышутся тени. Горы серебряных стружек. Металлический звон сухих досок. Он сидит на полу, как Садко на дне моря.

Нас всегда провожает до крыльца. Осматривая ночное небо, вздыхает:

— Работают-то как?

— Хорошо работают.

— Хм!

Довольный, Алешка расхаживает по току. Говорит с молодежью. (Даша как начала голосить, так и не передохнет. Брат около Рубиновой Зинки. Зинка делает вид, что занята только граблями и соломой.) Говорит с парнишкой, приехавшим за мешками. Потом становится рядом со мной подавать на скирд солому.

Край большого багрового солнца показывается в воротах. Лужи около гумна становятся огненными. Бледнеет «летучая мышь» Тюкавина. Он подходит к фонарю, поднимает стекло и дует на пламя. Крепче пахнет свежим хлебом и высохшими травами. Девичья песня становится звончей и нарядней. (Никогда я не думал, что у Даши такой чистый, широкий голос. Брат и Зинка, работая рука об руку, посматривают на нее. Зинке самой хочется запеть, да и поговорить хочется.)

Алешка опускает вилы и зовет меня покурить. Отходим к сторонке. Курим не торопясь. Густо дышим дымом и паром. Оба стоим как в густом тумане. Махорочный запах на восходе особенно крепок и приятен.

— Идем,— говорит Алешка, кивая в сторону полосы.

— Идем.

Неподвижная мельница тоскует за кустами. Сейчас ее верх напоминает циферблат с навсегда остановившимися стрелками.

Мы выходим из кустов, и перед нами открывается черная дымящаяся земля. Мельница торчит на крохотном желтом островке. Вдали, на пригорке, зеленеют ржаные всходы. Возле изгороди, согнувшись, торопливо уходит к деревне маленький человек в синем. Узнаю отца. Он удирает от полосы, заслышав нас.

Алешка подходит к полосе, как к медвежьей берлоге. На концах останавливаемся. Совершенно голая земля лежит перед нами от мельницы до самого оврага.

Мы не хотим тревожить людей. Но уже Тюкавин и Ефим Каляба поджидают нас. Тюкавин протирает глаза, вытряхивает из бороды соломинки. Нас окружают. На минуту смолкает гудение молотилки.

— Она всходит позднее ржи. Опасного ничего нет,— говорю я.

Все неохотно расходятся. Со мной остается один Тюкавин. Он стоит вытянувшись. Высокий, нескладный, ладони наравне с коленями.

— Тебе чего, старина? Иди, иди, все будет ладно.

Не зная, чем прикрыть свою тревогу, он идет и ворчит:

— Ну я же говорил, что после!

Дома я собираю все сельскохозяйственные брошюры и просматриваю их. Не Алешкина ли тут вина? Почему он не опробовал семян? Как теперь узнать? Вспоминаю рассказ Анны об опытах ее старика. Бегу к ним. Петрович в палисаде. В одной рубашке, без шапки, роет около стены канаву. Увидев меня, бросает работу.

— Вот в кой-то веки припожаловал!

Поздоровавшись, он достает свою медную табакерку и, подмигивая мне, как когда-то в детстве, шутливо предлагает понюхать.

Я наклоняюсь к нему, как в детстве, когда хотелось сообщить что-нибудь интересное, и он доверчиво повертывает ко мне левое ухо.

— Покажи пшеницу!

Он быстро выпрямляется. Хочет нахмурить брови, хочет сделать обиженный вид, но только отворачивается.

— А тебе кто сказал?

— В твоем доме сидит предатель. Тебя выдали с головой.

— Плутовка! Настоящая плутовка! Ну что с тобой делать? Пойдем!

На ходу он продолжает нюхать табак и ворчит, ворчит на меня, на Анну, на весь белый свет, населенный такими мошенниками.

В уголке огорода — старый рассадник. В нем, по краю, прикрытая оконной рамой зелень. Петрович откидывает раму. В несколько ровных рядков, сильные, с широкими перьями, стоят ростки пшеницы.

Земля около них любовно взрыхлена и расчищена. На ней ни соринки, ни камешка. Вокруг крохотный частокол из палочек.

— Погибло два. Взошло на седьмой день,— говорит Петрович.

Мы долго еще рассматриваем его крохотный мирок на рассаднике, и Петрович кажется мне, как никогда, родным и близким. Я говорю ему:

— Вечером приходи,— утешу.

— А что есть?

— О войне.

Он стоит, задумавшись. Батальные сцены всегда его волнуют.

— И ты будешь читать?

— Я буду.

— Что с тобой делать? Надо прийти.

Я иду к отцу. У него строгое, чужое лицо. В такие минуты с ним трудно спорить. Придирчив. Ядовит Особенно накаляемся мы в споре о боге.

Глядя на меня в упор, он сталкивает между собой отцов церкви, как давнишних приятелей. На моих глазах воздвигает красивое мифологическое здание и любуется им. В заключение говорит, что созерцать бога можно во множестве видов. Пророчица Приска узрела Христа даже в женском образе.

Манос, как только я сажусь между ним и Петровичем, склоняется ко мне и шепчет:

— Предрика опять выступал.

— А! Он часто выступает.

Манос выпрямляется и гордо раздувает ноздри Теперь наклоняется ко мне Петрович:

— Сам-то лют сегодня.

В глазах его смех и просьба. Он делает руками движе-

ние, как бы раскрывает книгу. Я грожу ему пальцем, и оба тихонько смеемся.

— Слушай,— шепчет мне Петрович.—«Назарий помолился, и идолы рассыпались в прах».

Желтые страницы бесшумно ложатся друг на друга. Щекоча меня мягкими кудрями полушубка, Петрович беспокойно двигается на лавке.

— Вчера,— опасливо озираясь на отца, шепчет Манос,— читали пьесы мстительные или трогательные, комические.

— А! Ну и что же?

— Было интересно.

Он зевает и, выпрямившись, прижимается затылком к стене.

«Когда палач отрубил ему голову, святой поднял ее и отнес на то место, где нужно было его зарыть».

— Те-те-те! — произносит Петрович.

— Да, действительно! — говорю я.

Тут уж мы не можем удержаться.

Отец обрывает чтение.

— «И тогда многие язычники крестились во имя господне...»

Петрович облегченно вздыхает и тихонько постукивает зеркальной крышкой табакерки. Я вынимаю из кармана новую книгу и даю ему. Дрожащими руками Петрович достает очки. Наблюдаю за отцом. Да, сегодня он готов для схватки. Что будет в центре нашего спора? Может быть, расплывчатый Логос, в определении которого столько разногласий между отцами церкви? Или учение Оригена о теле как о темнице?

Сегодня я буду особенно настойчив и потребую от него, как софист Евбулид, прямого: «Да или нет?» Целых пять лет мы не спорили по этим вопросам! Вчера я попросил у него Библию. Он удивленно глянул на меня и переспросил.

— Да, Библию,— повторил я.

С испугом и радостью он подал мне Библию.

Петрович настолько увлекся, что не замечает вдруг наступившей тишины. (Губы отца плотно сжаты.) Я дергаю Петровича за рукав, но поздно. Не поднимая головы, он смотрит в сторону, смотрит в другую,— спасения нет.

— Ну, брат, попал!

Отец молчит. Он знает, что виновник нарушения порядка я.

Что делать? Промолчать? Закрыть книгу и уйти на печку?

— Что, Федорович, устал? — заискивает Петрович.

— Устал, не устал — все равно ты не заменишь. Тебе бы что-нибудь о ворах прочитать, вот было бы дело!

— Всему свое время.

— А ты,— повышает голос отец,— круглые сутки готов сказки читать. Разбуди среди ночи, скажи,— за десять верст босиком прибежишь.

— Ну уж это напрасно! Будет сердиться-то, читай!

— Вчерашнюю, трогательную,— добавляет Манос.— По образцу злободневных.— И думая, что сказал умно и кстати, с достоинством смотрит на меня.

В это время мягко хлопает книга. Как бы откуда-то издалека мы слышим вздох, голос:

— А ты, брат, все равно как мумия: какую книгу ни читай, тебе одинаково.

Мудреное слово так ошарашивает Маноса, что с полминуты он сидит молча. Потом достает из кармана сложенный вчетверо платок и, не развертывая его, подносит к лицу, как пуховку с пудрой. (Этот жест он подсмотрел у какого-то горожанина.)

Сейчас стоит мне вмешаться, закипит спор. Но я остаюсь в стороне. Убеждать здесь, кроме отца, некого. Здание упало раньше, чем я к нему притронулся.

Отец наклоняется к книге. Тягостная тишина.

Проходит полчаса. Петрович, грустный, поднимается и уходит. Отец недвижим. Мы с Маносом тоже встаем. Открываем двери и шагаем во тьму. С поля дует холодный ветер. Приносит запах дыма и печеной картошки. Кто-то ужинает в теплине. Небо проглядывает из-за туч. Сыро. Неуютно. Где-то, совсем невидимые, бьются об изгородь последние листья рябины. За полем бойко стучит мельница. Около нее плавают огни. То вспыхивают, то гаснут. Это мужики с большими пучками лучины ходят в мельничный амбар.

— Артюха, лодку-у-у! доносится с реки.

Вот тоже, вздумал ехать через плотину ночью! Кажется, я слышу всплеск воды и бас неведомого мне Артюхи.

— Ситуация! — к чему-то говорит Манос и скрывается от меня во мраке, как в омуте.

Глава шестая

Мельница стоит спокойно, но он смотрит в поле. По-праздничному одет. На нем драповое пальто пятидесятилетней давности, жирно смазанные дегтем сапоги и моя красноармейская фуражка.

Увидев меня, отводит свой взор к лесу. Розовый восток лежит на синих елках. Ясно. Небо кажется выкованным из одного гулкого листа. По меже гонят колхозное стадо. Сбоку равнодушно вышагивает бывшая наша пеструха.

— Хорошая осень! — говорит он и смотрит на ближайший участок поля.

Старое наше гумно стоит без крыши, как человек без головы. Косые ворота открыты жадно и страшно, как изуродованный рот. А внутри пыль, обвевавшая еще лапти прадеда Артемия, поднимается из каждого угла. Ветер гонит ее вместе с запахами предков, и над черными стенами она качается подобно желтому дыму.

— Да-а-а,— произносит он и повертывается к деревне.

Мягко постукивая колесами, едет несколько подвод с хлебом. Это колхозники из соседней деревни. Все они знают отца. Здороваются с ним. Спрашивают, как живет, в колхозе ли он.

— Да нет.

— Что ж ты отстаешь?

— Заезжай обратно чаю пить,— как бы не расслышав, кричит отец. А когда подвода скрывается за углом, он, сразу помрачнев, наглухо застегивает пальто.

— Скоро тебе никуда выйти нельзя будет,— смеюсь я.

— Посижу и дома.

Однако идет в соседнюю деревню. Видимо, хочет навестить приятеля своего Платона Демидовича, поговорить о том, как все перепуталось на свете.

Он возвращается от Платона что-то очень скоро. Застает в доме непривычный шум и толкотню. Среди избы стоит Тюкавин и на громадной ладони своей держит крохотный кустик взошедшей пшеницы. Около него Алешка, Анна, несколько парней. Тюкавин саженными шагами идет к двери, подносит озимь к самому его лицу и кричит:

— Вот она!

Не замечая его растерянности, Тюкавин требует от него радости и удивления. Так, вероятно, в юности он прибегал к нему с первым кисетом, сшитым любимой девушкой.

— Хорошо,— говорит отец и отходит.

Но Тюкавин разгадал его и грохотом своих тяжелых сапог старается показать торжество. Он сует пшеницу то одному, то другому. Мы кричим, спорим и совсем забываем про отца, сжавшегося в углу.

Отец сидит среди избы на корточках, а перед ним, смешной и тощий, разодранный в кровь, вертится петух. Он, видимо, только что вернулся с баталии. Перья у него торчат во все стороны. Гребень поцарапан и сбит на сторону; окровавленная шея, толщиной в палец, совсем гола. Отец любит этого неудачника.

Сейчас между ними происходит такой диалог:

— Опять?

— Ко-ко.

— Маносов?

— Ко-ко.

Он сочувственно качает головой и гладит Петьку по спине.

— Здорово?

— Ко-ко.

— А вот что мы сделаем. Привяжем тебе на лапу железный коготь. Заманим противника в ловушку. Ноги-то я ему свяжу, повалю на пол, вот ты тогда попразднуешь!

— Ко-ко-ко!

Отец достает из шкапа ящик с железными обрезками и начинает делать коготь. Петька стоит рядом.

Коготь готов. Он привязывает его к лапе петуха. Петух смешно откидывает ногу, идет к двери. Следом за ним идет отец.

Несколько дней мы не разговариваем. Он почти не показывается к нам. Утром, уходя на работу, слышим взвизгивание доски под рубанком. Слышен его глухой кашель.

Даша, подоив корову, идет к нему с подойником. В переднем углу мерцает коптилка. Он пьет чай. Рядом с ним на лавке мурлычет кошка. На полу в стружках роется петух.

Даша не знает, улыбнуться ли ей или что-нибудь сказать. Ничего не придумав, молча идет к посудным полкам.

Он наливает ей чашку и, отколов щипчиками кусочек сахару, величиной с пшеничное зерно, кладет рядом с чашкой.

— Садись,— чашку чаю.

Даша садится за стол, с трудом отыскивает сахар и тихонько смеется.

Пьют молча. Мигает коптилка. Перья в хвосте у петуха горят червонным золотом. За окном редкий сумрак рассвета.

— Молотить много? — спрашивает он.

— Дня на два.

— Все трое молотите?

— Все трое.

После минутного молчания он снова спрашивает:

— Вечером-то дома или куда уходит?

Даша знает о нашей размолвке.

— Все больше на собраниях. А то придут мужики, сидит с ними до полночи.

— Кто приходит-то?

Даша называет нескольких молодых колхозников, Анну с конюшни и ровесника отца — Тюкавина.

— А Тюкавин что, тоже до полночи сидит?

— Сидит.

Разговор обрывается. Даша ставит чашку и уходит. На другое утро она, расцедив молоко, хочет принести ему на стол кринку, но он машет рукой:

— Не надо! Не надо! Пятьдесят копеек литр!

И не приглашает Дашу к чаю.

Глава седьмая

Петрович не приходит. По вечерам и ранними утрами светится в окошке его избы огонь. На рассвете виден дым из трубы. Когда становится совсем светло, выступает крыльцо, выкрашенное в красную краску. Сноха выходит на родник по воду. Сын колет под окном дрова. Ребятишки бегают. Все по-прежнему, а его не видно.

Отец начинает чаще заходить к нам. Прислушивается к разговорам. Наконец, как бы о чем-то незначительном, замечает:

— Ермолай, должно быть, куда-то уехал?

Даша успокаивает его, как подростка:

— Приедет. Никуда твой Петрович не денется. Немного вас и осталось-то.

— Вот, пожалуй, Петрович.

— Манос.

— Манос,— неохотно соглашается он.

Однако Петрович не появляется Встречаясь со мной, он намеками старается узнать об отце

— Вечерами сидите? Что-нибудь новое есть?

— Много новых книг. Сидим, читаем. Приходи теперь не к отцу, а к нам.

Они сидят вдвоем с Маносом. Манос, желая показать свое внимание, снимает плащ и лезет за стол. Отец косится на его голые локти, на зеленую жилетку, надетую поверх майки, и вздыхает.

Скрипит калитка. Должно быть, ветер.

— Читай,— говорит Манос.— Все равно не придет сегодня.

Целую неделю — ветры и дожди. По деревне ни пройти ни проехать. На лугах потопило льны. Скотина приходит вечерами по брюхо вымокшая. У самого поля медведь повалил запоздавшую корову. Слышали из деревни рев.

В западной стороне неба всю ночь не прекращаются сполохи. Иногда страшно застучит желоб на крыше. Упадет в грязь приставленный к стене кол. Заскрипит в огороде старая изгородь. Так хоронит осень желтое бабье лето.

Молчание надоедает Маносу. Склонившись и прикрыв живот полами жилетки, как зелеными крыльями, он говорит:

— Декрет вышел. О политическом вопросе международного характера. По животноводству вообще. Алеша Воробьев на собрании объявил. Твой старший пояснение дал.

— Хм!

Манос думает.

— Вчера прихожу к нему, сидит личность.

— К кому?

— К Ермолаю.

— А-а!

Снова молчание. Кошка трется о локоть отца и мурлычет. Петух, благоговейно вытянув шею, рассматривает жилетку Маноса.

— На кого полает, кого укусит.

— Кто?

— Этот, что сидел у Петровича, секретарь. Да он и к вашим ходит.

— Ну, пускай ходит, места не просидит.

Скрипит калитка. Кто-то быстро шагает по рябиновым листьям. Шорох у темного окна. Манос движется в простенок.

— Хочет попугать,— шепчет он.

Отец вытягивается. Тишина.

— Может быть, ребятишки? Шалить пришли? — гово-

рит Манос. Надевает плащ, берет с печи ощепанное березовое полено и двигается к выходу.

Отец следует за ним.

В темных сенях они с полминуты стоят, прислушиваясь, потом Манос быстро распахивает ворота и поднимает ощепок.

— Я вам...

Он не успевает договорить,— в темноте мимо них что-то пролетает громадным клубком и ударяет в калитку.

— Сатана! — вырывается у Маноса.— Шалтыков кобель!

Обозленный, он бросает ощепок наугад в темноту. Кобель жалобно визжит.

Мы с братом идем в лес. В то время, когда уже топор за поясом, а под мышкой у меня звенит пила, снизу прибегает лазутчик и, отмахнув дверь, кричит:

— Подождите! Подождите! Мы идем с вами.

От сильного волнения у него выступил на лбу пот.

Через несколько минут, подпрыгивая на одной ноге, братишка несется по сеням, а за ним, не торопясь, смотря себе под ноги, шагает отец.

— Поздно собрались! — говорит он.— Надо бы раньше.

Дорогой он просит меня немного приотстать от ребят. Что-то обдумывает.

— Понятно, трость у Иоанна Златоуста — иносказание.

— Да, орудие несовершенное. Но там ясно сказано: «Тростью измерил вселенную».

— Хм!

И до самого леса идем молча.

Лес встречает нас шумом сосен. Синие провалы между ними волнуют глубиной и таинственностью. Находим громадную сухую ель. Я принимаюсь подрубать ее. Щепки взлетают вокруг нас желтыми птицами. Дерево дрожит. Роняет сухие шишки.

Потом мы с братом подпиливаем дерево с другого бока. Отец смотрит на вершину.

— Отходи! — кричит он.

Внутри дерева короткий треск. Мы выхватываем пилу. Ель медленно клонится от нас и с легким шумом расправляет вершину. На мгновение она останавливается, вздрагивает и, подогнув сучья орлиными крыльями, как бы разрывает синеву неба. Со стоном ломаются мелкие деревья.

Сучки, белый мох, шишки летят ураганом. Гул — глухой и мрачный. Вспыхивает короткое эхо. Около нас долго еще покачивают голыми лапками искалеченные березы. Меньшой братишка визжит от восторга.

— Хороша! — деловито замечает отец.

Всей гурьбой оцепляем дерево. Рубим сучья, ворочаем толстые кряжи. Все кругом наполняется гулом, говором, звоном. Сучья братишка стаскивает в большую кучу и со спичками наготове стоит перед ней.

Я не могу налюбоваться работой брата. Топор в его руках проливает сплошную серебряную струю. Там, где нельзя рубить с правой, он перебрасывает топор в левую руку и, почти не глядя, опускает его на сук. Сук, будто наспех приклеенный, отваливается.

Сегодня все Ферапонтово в лесу. Со всех сторон грохот падающих деревьев.

Потом мы сидим на дровах у толстой осины. С тихим шорохом падают листья. За оранжевую тучу садится солнце. Оно не греет.

Братишке дается разрешение поджечь сучья. Пламя розовым фонтаном взвивается до половины осины. Стволы сосен становятся медно-красными. Несколько вспугнутых ворон поднимаются над вершинами. В костре слышатся гул и шипение. Небо выцветает. Словно расплавленное нашим костром, исчезает оранжевое облако.

Петрович появляется перед костром, как леший, весь обмотанный древесным мхом и лишаями. Видимо, продирался сквозь чащу.

Узнает нас, уже подходя к самому костру.

— Эдакий огнище завели!

Увидев отца, чешет затылок.

— Кажется, и Федорович тут?

И стоит около меня, не зная, что делать.

— Попал? — смеется брат.

— То-то, парень, попал!

Отец сидит, не дрогнув. Петрович, кряхтя, подходит к нему. Здороваясь, они не смотрят друг на друга. Петрович опускается рядом с отцом на дрова и достает табакерку.

— Там работает Шалтык с сыном. Там Маланья с девками. Вот тут Алешка Воробьев,— говорит Петрович, чтобы что-нибудь сказать.

Отец гмыкает.

— Что-то плохо слышать стал,— снова говорит Петро-

вич. — Другой раз уши так завалит, что пень пнем.

Быстро надвигаются жадные осенние сумерки. Слышатся призывные голоса.

— Кондра-а-аха, домо-о-ой!

— Маланья, пошли-и-и!

И совсем рядом гремит голос Маноса, ругающего жену.

Между стволами сосен — черные экраны. На них гоняются друг за другом искры.

— Навсегда?

— Навсегда, Федорович. И весь скот там.

С минуту они молчат.

— Юлиан Отступник сжег свои корабли. И ты подобно ему...

— Сжег...— не совсем понимая, ворчит Петрович.— Что же это за корабли? А может быть, и не сжег? Кто его знает?

Глава восьмая

Рябина осыпается на желтые листья. В тихие ночи слышен легкий стук падающих ягод.

Зимой, промерзая на чердаке, она становится для ребятишек лакомством. Матовая, перемешанная с коричневыми листьями, в избе она начинает дымиться и хорошо, остро пахнет. Ее отрывают с кисти прямо зубами. Она жжет зубы и язык.

Мы идем в огород. Младший братишка сильно взволнован. Руки и даже губы у него в чернилах (только что писал сочинение на свободную тему «Смерть теленка»).

Я взбираюсь на самую вершину. Стою, весь обвешанный красными кистями. Даша, приставив к рябине лестницу, копошится внизу. Освоившись с обстановкой, она сразу же принимается петь частушки. Открыв рот и стараясь поймать каждую кисть на лету, братишка бегает по грядам.

Рябина оголяется, как бы тает Корзины полны. Куча ягод лежит на земле.

Сверху мне хорошо видна деревня, неровная и острая, как гребенка старой гармошки. Желтизна новых крыш рвется из грязной оправы. У часовни, приплюснутая столетием, расселась изба Васи Кисяя. Около нее собираются женщины. В их толпе непонятное движение. Из ворот выходит Вася Кисяй. Перед ним расступаются. Он поворачивается к дому лицом, снимает шапку и кланяется до самой земли Потом что-то говорит женщинам и идет на до-

рогу. Рядом с ним шагает высокая, худая жена его Аксинья. Они идут молча. Женщины смотрят им вслед. Поравнявшись с нашим домом, Кисяй останавливается.

— А что, Павлович, проехать-то до Сибири можно?

— Можно,— отвечаю я.

— Вот я и говорю, что можно. А денег на дорогу я заработаю. Так до свидания, Павлович! Буду на месте, сообщу, что и как. Вот ее и сына тоже бы туда выписать надо, да что-то не радеют. Ну, бог с ними!..

Сняв шапку и поклонившись мне, он идет под гору. А рядом, пришибленная, безмолвная, шагает Аксинья.

В тот же день Фекла и Пашка пришли проситься в колхоз. На собрании много спорили, но решили принять их. Куда их денешь? Кроме того, прибывали два новых работника. А люди были очень нужны. Рубили новый коровник. Шла подготовка к перевыборной. Надвигалась кампания лесозаготовок. Всю молодежь отправляли мы в лес на всю зиму. Каждый вечер собрания. На собраниях всегда был кто-нибудь из сельсовета, даже из района: уполномоченные по скупке кожевенного сырья, учителя, вербовщики рабочей силы на железную дорогу.

Я занят перевыборной. Весь день бегаю по деревням. Иногда не ночую дома. Все это время как-то некогда было подумать об отце. По-прежнему вечерами они сидят вдвоем с Маносом.

Но вынужденная дружба не пускает корней, как цветок в стакане. Не сказав друг другу десяти слов, они просиживают вечер за вечером. Иногда отец провожает его до крыльца. Стоят, смотрят в звездное небо.

— Одни мы с тобой остались,— печально говорит отец.

— Последнее время у меня что-то возбуждение нервов,— жалуется Манос.

Создается видимость дружбы.

Урывками Даша рассказывает мне о нем. Старик совсем не появляется наверху. Картошку ест, не очищая от корок, хлеб черствеет и сохнет в шкапу.

Иногда забегаю к нему на минутку. Говорит неохотно. Обижен. Забыт.

Однажды в правление, где сидели мы с Алешкой, прибегает младший братишка. От волнения не может говорить. С трудом понимаю: надо немедленно бежать к отцу в избу. Готовый ко всему, лечу домой. Отец стоит у окна. Подхожу,

смотрю в конец огорода. У самой изгороди вижу кучу окровавленных желтых перьев, и тогда мне становится понятно.

Петька весело поет в сенях. Хмурясь, отец впускает его.

— Ку-ка-реку!

— Дурак! Какой черт велел тебе этак-то!

Дрожащими руками, торопясь, он начинает снимать у него коготь и безнадежно говорит мне:

— Беда! Осрамит. Он ведь и раньше не был крепкого-то ума. Что теперь делать?

Я выхожу, оглядываясь. В окнах Маносовой избы — никого. Быстро шагаю к месту побоища. Убитый лежит вытянувшись. На открытом глазу матовая пленка. Я беру его за теплые лапы и, еще раз оглянувшись, бросаю в глубину хмельника.

День проходит в тревоге. Вернувшись с работы, бегу к отцу. Как по команде, подходим к окну. Окровавленный, с остатками перьев, петух стоит на крыльце Маносовой избы. Мы переглядываемся, ничего не понимаем.

Однако Маносов петух начинает чахнуть. О причине его недуга каким-то путем узнает Манос. Он выскакивает на крыльцо в одной майке и на всю деревню кричит о беззаконии, совершенном отцом. Увидев меня, скрывается в дом и продолжает бушевать там.

Я иду к нему. Он чаевничает. Перед ним каравай черного хлеба и высокая красивая подставка для лампы, которая служит ему сахарницей.

Увидев меня, Манос перестает ругаться и мягко говорит:

— Оботри, Авдотья, стол. Неловко так-то.

Авдотья обтирает стол.

Манос придвигает мне стакан чаю и достает ножик, чтобы отрезать хлеба.

— Не надо,— говорю я.— Мне некогда.

Он не выпускает ножика, но я вижу, что отказом моим доволен.

— Что у тебя с моим стариком вышло?

Он кладет ножик. Ноздри его раздуваются.

— А тебе-то, Павлович, стыдно бы об этом спрашивать. Сам знаешь, петух изувечен.

Горько усмехнувшись, он поднимается.

— Иди-ка посмотри, что сделано. Уму непостижимо! Не петух, а одна скорбь!

Он ведет меня в сарай, где сидят куры.

Как ни щекотливо мое положение, но при виде петуха я не могу удержаться от смеха. Более паршивого я ничего не видывал.

— Все равно не жилец. Всю нормальность отшибли.

— Вот что,— говорю я,— возьми ты, сколько он стоил, да помирись с отцом-то!

— Мне дорог принцип!

— Полно, не тянись. Хочешь, сейчас деньги выдам?

— Хорошо,— после некоторого раздумья соглашается он.— Только уж ты меня, Павлович, извини: после этого зверства я потерял в твоем отце личное качество.

— Ну-ну, поладите! Он сам раскаивается, нехорошо, нехорошо!

— У меня все от сердца отпало. Сейчас я тебе покажу.

Мы снова идем в избу. Он снимает с полавочника деревянную шкатулку, украшенную синими кружками и завитушками, и достает оттуда исписанный лист бумаги. Отходит к сторонке и наблюдает за мной. Я читаю:

В ПРАВЛЕНИЕ ФЕРАПОНТОВСКОГО КОЛХОЗА «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Вследствие осуществления социалистического сектора — прошу принять. Количество членов семьи два. Я середняк, а потому классового признака не имею. Причем заявляю: с уставом сельскохозяйственной артели знаком полностью. Не хочу оставаться на положении других прочих, пачкающих руки в крови животных.

Бывший единоличник
Прокопий Сергеевич Колыбин.

Думая, что я обижен последними строками, он выпрямляется, готовясь дать вежливый отпор. За стеклом, на уровне его плеча, я вижу тисненный золотом корешок «Свода законов», неизвестно как и для чего сюда попавший.

— Ты написал «бывший», а разве тебя уже приняли? — спрашиваю я.

Не ожидая такого вопроса, он смущается.

— Да ведь как же, я стремлюсь по идее!

— Ну, раз по идее, так это хорошо!

Я отдаю ему за петуха деньги. Он идет со мной в сени и останавливает меня у порога.

— Ты послушай-ка, Павлович, при бабе я не хотел, а

сейчас скажу. Истинный господь, невмоготу! Почитай, и так последний. Я же передовая сила революционной деревни В семнадцатом с красной нашивкой на рукаве ходил. Ты уж, в случае чего, закинь словечко. А если надо, давай насчет отца-то зачеркаю. Только я к нему больше не пойду Оскорбительно мне это.

Глава девятая

Отец вставляет в избе вторые рамы. На месте разбитых стекол приколачивает дощечки. Дыры в полу затыкает и к воротам приделывает толстую задвижку. Теперь звуки внешнего мира не проникают к нему. Он смотрит из своего убежища, как из платоновской пещеры, видит только подобие вещей и фактов.

Утром его будит петух. При свете коптилки он разогревает самовар, садится на лавку и прислушивается ко всем шорохам дома. Шуршат под ногами петуха стружки. Рядом с ним на лавке мурлычет кошка.

К концу дня он долго роется в бумагах, что-то пишет в книжке, прячет ее и снова принимается за работу.

Увидев меня, кладет скобель, сгребает стружки в кучку и идет к столу.

— Ночью что-то стучало. Думал, корова. Вышел — нет, корова стоит спокойно.

Начинает рассказывать мне о своих ночных страхах. Обрывает рассказ и с минуту сидит задумавшись.

— Понятно, и тут иносказание. Когда бы ни созданы небесные светила, да созданы богом.

— Хорошо! Но как же без солнца могла происходить смена дня и ночи?

Помолчав и не ответив на мой вопрос, он принимается растирать грудь.

— В эти дни что-то грудь болит. Вот сейчас и работать не могу.

— А ты полежи. Я за тебя сделаю. У нас сегодня отдых. Хочешь, принесем дров, растопим маленькую печку, картошки сварим?

Не дожидаясь ответа, я несу охапку только что расколотых поленьев и затапливаю печку. Изба наполняется веселым гудением и треском. Рыжий отсвет пламени пляшет на сером полу.

Я мою в красноармейском котелке картошку, наполняю котелок чистой водой и ставлю в самое пекло. Пламя охватывает черную жесть со всех сторон, заглядывает внутрь котелка, шипит.

— Что делать-то?

— Алешке, председателю. Больно просит. Кадочку-то надо сделать.

— Хорошо. Я буду делать. Ляг, отдохни. А то возьми книжку, почитай! И я послушаю. Только не вчерашнюю.

Он добреет. Достает из шкапа «Актар-бея» и садится за стол.

— Хорошо. Эту почитаем?

— Хорошо, хорошо!

С глазами, полными смеха, я беру топор, подхожу к звонкой куче досок и опускаюсь на коленки.

Вдруг он отодвигает книжку и снимает очки.

— Устал?

— Да, устал.

Начинает перечислять, что у него устает. Оказывается — все. Даже шея.

Я угадываю его смятение.

— Тебе надо успокоиться, отец.

— Я давно спокоен. Мне теперь ничего не боязно. Жизнь моя явственно гаснет.

Говорит о том, что никогда не вернуть прежней остроты чувствам, прежней силы мускулам. Так, один древний хотел быть вечно молодым и сильным, как греческие боги, и за это был наказан.

— Что мне нужно? — задает он как бы сам себе вопрос.— Заботы у меня нет. Приятелей нет. Семьи тоже нет. И никому до меня дела нет.

Он жалуется мне. Переходит на шепот. Касается рукой моего плеча.

— Что-то покойница матка твоя стала сниться. И в доме все стучит, гремит.

— Ты много думаешь. Надо чаще на людях бывать.

Весь сжавшись и смотря на меня с отчаянием, он шепчет:

— Это не конь. Это — огненная колесница. Она сожжет, спалит все. Ничего не оставит!

— Ты на льдине,— подсказываю я.

— Да, да, на льдине. Как челюскинцы. Нет, хуже! Эта льдинка расколется, некому вытащить будет!

— Так что же теперь делать, отец?

Насторожившись, темная и тихая изба сжимает нас своими углами, как мягкими ладонями. Черный потолок опускается ниже. Громадная печь движется к нам. На полу, на лавках, в ворохах стружек копошится невидимая жизнь. С полатей, из-под печки смотрят невидимые глаза, прислушиваются невидимые уши. Прадед Артемий через столетие протягивает жилистые руки. Дед Федор, высокий, негнущийся, как столб, хмурит седые брови. Их братья, их люди, их приятели отовсюду выставляют бороды и слушают нас

Но мой вопрос остается без ответа.

Вечером к нам наверх, как всегда, собираются посидеть. И совсем неожиданно дверь открывает Петрович.

— Мир беседе вашей!

Запах мятных капель, доброе лицо Петровича, его такой знакомый кудрявый полушубок вносят в наш кружок уютную простоту и милую недоговоренность.

— Звал? — шепчет он мне.

— Звал.

На полминуты отводит глаза.

— Что же, Павлович, начнем?

Все сдвигаются к нам. Длинный Тюкавин садится на пол и приваливается спиной к лавке. Над столом торчит одна его голова. Остальные сидят вокруг стола на скамейках

Петрович постукивает зеркальной крышкой табакерки Тюкавин гладит широкую бороду. Алешка толкает меня локтем: «В азарт вошли!» Он и сам смотрит веселее. (В последние дни ходил хмурый, досталось на отчетном собрании.)

Много радости в шелесте страниц еще не разрезанной хорошей книги. Без волнения невозможно ощущать ее тяжесть и холодок бумаги. Я люблю помучить слушателей ожиданием. Не спеша перелистываю книгу, рассматриваю гравюры и дышу, не могу надышаться запахами свежих красок и пространства. Она прошла бесчисленное множество полей и перелесков, вокзалов, городов, селений. Под звон колокольчика лежала не на одной почтовой телеге и вот теперь светится за столом и собирает улыбки.

— Ну, брат, будет ломаться-то! Читай! — ворчит Тюкавин.

Сегодня у меня нет желания томить слушателей. Тут

действует другая причина, о которой догадывается один Петрович. Он поворачивается к темному окну и с минуту сидит неподвижно. Слышны переборы гармоники и песня ребят. (Узнаю голос брата.)

Я разрезаю книгу и провожу по странице ладонью. Слышится как бы тихий шепот бумаги.

В это время на крыльце кто-то гремит сапогами. Петрович настораживается, но сразу смекает: не может он так сильно стучать сапогами.

Дверь широко раскрывается, и важно, не спеша в избу шагает Манос.

— Добрый вечер! — говорит он и, подобрав полы плаща, садится на лавку.

Я начинаю читать. Перед нами красный партизанский отряд, окруженный белогвардейцами. С первой же главы все захвачены книгой. Петрович смотрит на меня во все глаза. Он не смеет пошевелиться, передвинуть уставший локоть. Табакерка торчит в левой руке открытой. (Вот когда дорвался!) Даже Манос придвигается к столу и перестает тянуться.

Белыми крыльями ложатся одна на другую страницы. Проходит полчаса, час...

Внизу хлопает дверь. Щелкает задвижка. Не отклоняясь от книги, я замолкаю. В огороде слышится кашель. Шуршит лист рябины. Проходит минута. Вторая. Все напряженно ждем.

1935

Анна из деревни Грехи

Глава первая

По утрам Никита подходил к сараю соседа и тихонько стучал в ворота:

— Дядя Трофим, пошли!

Сегодня в ворота до половины высунулась незнакомая девушка в белой рубахе, смуглая, глазастая и с головы до ног осмотрела Никиту. Никита был невиден корпусом, узкоплеч, немного коряв, на верхней губе у него топорщились редкие светлые усы. Костюм его напоминал те отдаленные времена, когда люди возвращались в родные края, пропахши порохом. Сыромятный ремень стягивал живот Никиты В широких грудных карманах гимнастерки лежали памятные книжки, несколько карандашей, сложенный желтый метр и карманные часы.

Девушка сощурила глаза и улыбнулась. Конечно, она не слыхала грохота гражданской войны и никогда не носила гимнастерки.

— На покос бужу,— пояснил немного растерянный Никита и, помолчав, спросил: — Ты чья будешь?

— Теперь ваша.

Никита безмолвно пошевелил губами и осмотрелся Поля лежали в туманах. Гумна на пригорке толпились в розовом пламени. На темной, примятой его ногами траве медленно выпрямлялись желтые цветы. Трава дымилась Становилось свежо.

Странное дело — Никита чувствовал себя смущенным

— Скоро солнце взойдет,— сказала девушка, зябко поежившись.

— Значит, сегодня помогать придешь? — улыбнулся Никита и, хлопая широкими голенищами, пошел от повети.

Ему казалось, что острый, насмешливый взгляд преследует его. Обернулся. Дверь чернела пустым безмолвным прямоугольником.

«Шельма»,— подумал он и невольно представил себе, как Егор ласкает молодую жену.

Он сел у часовни на канаве и в ожидании, пока все соберутся, достал свою памятную книжку. Он перебирал страницы, сдувал с них соринки, взвешивал книжку на руке.

Книжка была тяжела. Корочки ее блестели, как лакированные. Учет работы и людей, наряды. Каждая цифра, каждый значок были полны для Никиты сигналов к действию. Какая-нибудь «птичка» или крестик в уголке страницы перебрасывали его к черным развороченным полосам, где тракторист сломал стойки, к логу около кузницы, потравленному конями. И он начинал слышать запахи обнаженной земли, видеть красные головки клевера, втоптанные широкими копытами. Книжка хранила всю житейскую мудрость Никиты, накопленную им за два года работы в бригаде. Здесь были отделы: «Выступления ораторов и отчасти краткая запись произнесенных речей», «Фактические выписки из Нового Устава и из газет», «Отчасти сокращенная политграмота», «Объяснитель непонятных слов и всяких плоскостей жизни».

И, наконец, был отдел, к которому прибегал Никита очень редко,—«Обращение к власти в категорической форме».

Он положил книжку в карман и достал часы. Было ровно три. За гумнами ворочалось огромное солнце. Потом, как бы оборвав путы, солнце выглянуло, и все вокруг задрожало. В овраге стремительно заметались тени. Над побелевшими ржаными склонами ветер золотой метелью поднял цветочную пыль. Земля задышала теплом и радостью. Повеяло сытым ароматом ржи и меда.

Никиту ослепило. Он приставил руку к глазам, глянул на розовые капельки в пыли, на загоревшийся стебель вдовца-репея при дороге, улыбнулся, набрал в грудь воздуха и выпрямился навстречу тетке Татьяне.

— Здорово.
— С погожим днем тебя, Никита Михайлович.

На пожне ждут прихода молодой. Никто не знает, откуда она. Парень ходил в лес на подвесную дорогу и вот привел ее. От этого все немножко напряжены. Что принесет она в бригаду?

Женщины перешептываются, посматривают в сторону деревни.

— Матрене отдых...

— Неизвестно. Может быть, расстрел в самое сердце.

Молчание. Хрустит трава. Кто-то вздыхает. У Никиты болит сердце. Он хочет поговорить с Трофимом о сыне, о невестке, но Трофим мрачен.

— Дядя Трофим!

Трофим быстро обертывается, и у Никиты пропадает смелость.

— К обеду вон до той березы надо скосить.

Оба смотрят на березу. Она стоит в середине пожни, обезображенная лыкодерами, пестрая, как верстовой столб.

Ночью, придя от соседа, Трофим полез на поветь. Там, где он всегда спал, сидела рослая девушка в белом и заплетала себе косу. Коса у нее была длинная, тяжелая. Егор лежал на сене, закинув за голову руки. Широкоплечий, длинный, с сильными ногами. Под боком у него красные помочи, желтые ботинки, желтая сатиновая рубаха. В сарае пахло дымом дорогих папирос.

— Делитесь взаимоотношением, отец.

Трофим молчал.

Девушка быстро поднялась, достала из узла белую рубаху; улыбнувшись, протянула ему.

Трофим глянул на нее и не улыбнулся, а только шевельнул губами. Рубаха была новая, тонкая, должно быть, дорогая. Она приятно шуршала в руке невестки. Густой ряд пуговиц блестел заманчиво и важно. Трофим взял рубаху, стал спускаться по лестнице и все думал о том, ладно ли сделал. Не решив, положил рубаху в шкаф и полез на полати.

«Слопает,— заключил он.— Обязательно слопает. Больно остры у нее глаза...»

И осталась у него на душе от этой ночи какая-то муть.

— Сегодня пришел будить, а тебя и след простыл,— говорит Никита.

— Холодно. На полатях спал.

Солнышко высоко. В воздухе носятся белые лучистые пушинки. Появляются овода

— Не сказался?

— Нет Взял да привел.

Никита вспоминает бойкие глаза девушки, ее улыбку, рассыпавшиеся по плечам волосы и снова чувствует смятение. «Что такое? — мелькает в мозгу Никиты,— я совсем не о том думаю...» Он хочет представить себе эту девушку там, у себя на родине, в колхозе, на работе и видит, как она, смеясь, запахивает полотном рубашки открытую грудь. Рассерженный, Никита отходит на свое место и взмахивает косой. Трава, не успевая падать, ложится влево от него тугими смятыми рядами. Она пахнет водой и черной смородиной.

«Надо спросить, как ее звать, из какой она деревни, а там все выяснится»,— думает Никита.

Молодые пришли не из кустов, как их ждали, а от реки Но их сразу все заметили и притихли. Они шли рука об руку, по колено в траве, оба нарядные и веселые. Из грудного кармана Егоровой рубахи свисала цепка от часов, на конце которой болтался значок ворошиловского стрелка В правой руке у него были цветы. Он размахивал ими, подносил к лицу, нюхал, хлестал себя по коленям. Молодая издали рассматривала бригаду. На голове у нее был белый платок. В правой руке она держала зеленую кофту.

Когда они подошли ближе, все увидели, что Егор в сапогах с калошами, а молодая босиком.

— Здравствуйте! — бойко произнесла молодая и всем поклонилась.

— Как звать-то? — торопливо спросил у молодой Никита.

Увидев знакомое лицо, она быстро подошла к бригадиру, достала из-за пазухи какую-то бумажку и подала ему

Потом сразу отвернулась и стала знакомиться с женщинами.

— Анисья? Так я и буду звать — Анисья. Тетка Татьяна? Ой, тетка Татьяна, какая у тебя рубаха хорошая!

Не переставая разговаривать, она переходила от одного к другому и через две минуты знала, кого как зовут, кто где живет. У подростка Степки заметила на рукаве дырку,

шутливо протянула руку, хотела поиграть в «крючки» У Татьяны заметила на рубахе красные ластовицы. Сказала, что такой рубахи не нашивала и не знает, как ее шить, как делать вырез на груди. Полюбовалась мелкой ручной строчкой, потрогала широкие, кувшинами, рукава.

Татьяна подробно все ей рассказала. Потом наклонила к молодой подобревшее лицо и шепнула:

— Раньше я сама была такая. А сейчас, матушка, все потерялось.

— Все?

— Все, матушка. Совсем погасла...

Она помолчала и снова обратилась к Анне:

— Места-то наши как? Я первое время думала — не привыкну. И лес не такой, и поля не такие, и люди, да и от матери далеко... Ничего, обживешься.

— Да мне и сейчас хорошо,— улыбнулась Анна.

Татьяна недоверчиво глянула на нее. В глазах молодки не было ни страха, ни печали. «Может быть, это и хорошо»,— подумала Татьяна, повернулась к Егору и шепнула:

— Как заработок?

Егор курил дорогую папиросу и снисходительно наблюдал за женой.

— Заработок — лучше и желать не надо,— ответил он и сплюнул в сторону.— Пришлось раньше срока уехать. Моральное самочувствие упало.

Татьяна погрозила ему пальцем и, хитро сощурившись, кивнула в сторону Анны.

— Ну-ну,— добродушно улыбнулся Егор.— Уж эти бабы!

Между тем Никита два раза прочитал бумажку. Это была справка Лукьяновского сельсовета о том, что Анна Флегонова из деревни Грехи отпущена в лес на подвесную дорогу.

Никита сложил справку вчетверо и долго рассматривал затасканную с коричневыми жилками бумагу. За ней он видел катища, светлую просеку и всю ту великую массу людей, среди которых незаметно прошла Анна. Он ставил ее рядом с теми мужественными северными девушками, юность которых прошла в лесу, слышал их бодрые голоса, их песни, и Анна, совершенно ему незнакомая, стала понятней и ближе.

Анна подошла к нему и попросила отмерить участок ей и мужу.

— У нас индивидуальная сдельщина,— сказал Никита.— Придется вам косить отдельно. Не боишься?

— Стану отставать, муж поможет,— улыбнулась Анна.

Никита одобрительно кивнул головой, достал «памятную книжку» и, не торопясь, крупно вписал в нее фамилию Анны. Потом он разбил надвое полосу травы, остающейся на краю пожни, и молодые встали на свои места. Анне достался участок рядом со свекром. Егору — от изгороди. Егор победоносно осмотрел бригаду, подбросил недокуренную папиросу, снова поймал ее, не глядя, протянул отцу и стал разуваться. Анна скинула с головы платок. Крупные стеклянные бусы засверкали у нее на шее. Крепко поставив босые розовые ноги, Анна сделала широкий мужской взмах. Коса нырнула в траву, как большая рыба. Остро запахло скошенной мятой.

Женщины торопливо полезли в свои берестяные ножны. Доставали узкие лопаточки, облепленные слоем мелкого песку, и наставляли косы. Исподтишка следили за молодой.

Дышала Анна легко и ровно. Косу откидывала, как бы играя. Издали казалось, что она стоит на месте. Однако за ее ногами быстро вырастали две ровные канавки, и Егор, приготовившийся помогать жене, еле держался с ней вровень. Ему мешали пеньки и кочки, подпорки от изгороди. Он под корень срезал мелкую ольховую поросль, выхватывал черные клочья земли, несколько раз налетал на камни.

Бригада насторожилась. Кое-где слышался сдержанный смех.

Молодая не спеша обтерла косу травой, наставила ее и снова пошла легко и ровно. Егор сжимал ручку косы до боли в суставах. Ворошиловский значок у него на груди готов был оторваться. Он расстегнул ворот рубашки, засучил рукава. И вдруг Анна отделилась от него. Тогда смолкли смешки, разговоры, во всей бригаде участился беспорядочный хруст травы, и на молодых больше уже никто не смотрел. Анна ушла от мужа и, больше не останавливаясь, начала закидывать косу быстрее и быстрее. Трофим оглянулся на молодку, подтянул пояс, откашлялся и напряг все мускулы. Он сразу вспотел. Почему-то начали дрожать колени. Никита, видя это, ухмылялся. Но и сам не без тревоги посматривал назад. Однако он-то впереди всех! Вот отстали Татьяна, Фенька... Лишь трое девчат с другого края пожни тянулись почти вровень с ним.

Пожня вся разом двигается к реке, как бы сгорая.

Только у изгороди хвост, и на конце его, будто привязанный, вертится одуревший Егор. Никита видит, что он косит худо, но сказать об этом сейчас — значит совсем пришибить парня, да и некогда. «После тихонько укажу»,— думает Никита. Дыхание невестки обжигает спину Трофима. Руки его немеют. Начинает гудеть в голове. Но сейчас он — как худой коренник, окруженный бешеными пристяжными: надо бы остановиться и отдохнуть — остановиться не может. Правый край участка снохи забегает вперед. Трофим, наконец, останавливается, и Анна, быстро выровняв участок, уходит. Он смотрит на нее с удивлением и радостью.

Первым приходит к березе Никита. За ним Анна. Трофим, кое-как докосив, садится на кочку. Кончают все, кроме Егора, и уставшие собираются в кучу. Егор, облокотившись на косу, смотрит издали. Все понимают его и тихонько посмеиваются. Егор идет к березе.

— Свою косу вчера не отбил, а с этой результаты плакучие,— говорит он, ни на кого не глядя.

В обед Анна ломала с молодыми бабами веники. Толстая коротконогая Фенька упала с березы. К ней бросились все. Она не разбилась, только порвала юбку. Мигом починили прореху. Посмеялись. Начали шалить. Гонялись друг за другом. Одной положили за рубашку сверчка, и она визжала, как под ножом. Егор и Никита, сидевшие у огня перед большим чайником, зажимали уши. Они не заметили, как Анна о чем-то шепталась с бабами. Еле сдерживая смех, бабы подошли к огню. Егор и Никита начали подозрительно оглядываться.

— Пульсы играют? — сказал Егор.

В это время его кто-то сильно дернул сзади, и он упал навзничь. Никита завертелся на месте, но его тоже повалили и потащили за ноги. Из карманов Никиты посыпались карандаши, книжки. Он после этого и кричал, и плевался, и бегал за бабами, но поймать ни одной не мог. Потом, когда все, насмеявшись, сели в кружок, Никита схватил Анну сзади и опрокинул в траву. Обессиленная от смеха, она толкала его, пыталась укусить руку.

— Пусти, медвѐдь...

Сверху на Никиту навалились. Его лицо оказалось у самого лица Анны. Он почувствовал на своей щеке ее дыхание, увидел ее смеющиеся глаза, и ему страшно захотелось наклониться к ней еще ближе. Никита опомнился и, роняя

оцепивших баб, встал. Он отошел в сторону и стал поправлять рубашку.

Бабьему веселью не было удержу. Они схватили подростка Степку, притащили от огня Егора, снова оцепили Никиту, и снова он совсем близко увидел лицо Анны. Никита поднялся с земли, красный, всклокоченный, с переломанными карандашами, и покосился на Анну. Анна смотрела на него открыто и ясно.

Долго все смеялись и вспоминали, кто как лежал.

Егор вытирал рукавом рубашки расцарапанную щеку и тихонько поругивал баб. Анна подошла к мужу, поправила у него ворот рубашки, отряхнула с плеча траву и села рядом. Никита все это видел. Он отвернулся, чтоб не мешать им.

Когда шли домой, Анна взяла мужа за руку. Они шагали в сторонке, о чем-то вполголоса разговаривая и смеясь. Иногда Егор отмахивался от жены, как от чего-то надоевшего, гордо задирал голову. Опять Никита заметил это, и ему стало больно видеть счастливое Егорово лицо.

Он вспомнил, что скоро исполнится три года со дня смерти жены, что он ее никогда не любил, и жили они тихо. Жена проходила рядом с ним подобно тени, и он даже не помнит, какие у нее были руки. Один раз, встретив его на станции, бросилась на шею. Без умолку говорила, рассматривала его шинель. Никита шел с ней к телеге, и все в нем трепетало и пело. Но это было не надолго. Снова тихие ступеньки дней, и она, как тень, рядом, и взгляды вполглаза, и ласки по привычке. Когда ее не стало, Никита погоревал, а потом весь ушел в работу и забывал о том, что можно жить по-иному.

Глава вторая

С этого началось. Никита пришел домой, и ему показалось, что изба пуста, неуютна, а вещи как бы сдвинулись со своих мест и встали перед ним в неожиданной убогости и безобразии. Он увидел, что окна малы и слепы. Изба пугала серыми тенями, нежилыми запахами и тишиной.

Никита разогрел самовар и сел на лавку. Самовар закипел как-то мрачно, озлобленно. В дырявую трубу ринулся поток пламени, крупные красные искры. В недрах печи загудело, застонало. Никита достал счеты, памятную книж-

ку, но работать не мог. Он собрал разбросанные у шестка поленья, подмел пол, но все чего-то не хватало, и карандаш валился из рук. Он, не торопясь, вслух стал перечитывать речи районных ораторов. Часто останавливался, думал, чесал голову и, когда ему попадались трудные или неверно, наспех записанные выражения, Никита прислушивался, как они звучат, стараясь уловить скрытую мудрость слова. Так, в одном месте он нашел фразу: «Общее состояние духа отсутствовало», перечитал ее несколько раз с воодушевлением и радостью, ничего не понимая, но угадывая, что это как раз то, что ему надо. Она определяла его состояние. Он пробежал заново всю страницу. Несколько минут сидел и обдумывал. Потом разом слова потускнели, погасли, как лампочки, и Никита увидел, что ни то, ни другое не помогает. Опять все загорело у него внутри, заныло от какой-то большой, не совсем еще понятной печали. Впервые показалась Никите книжка простой, серой стопкой бумаги, неуклюжей и убогой, как все, что его окружало. Он отодвинул ее, прикрыл самовар и стал ходить по дому, сам не зная, что ему надо. Он брался за топор, за пилу и сразу же клал их обратно. Он пошел в сарай, но и здесь были те же тихие стены и запахи, и вещи, казалось, не обогреты человеческими руками.

Во все щели и дыры пробивалась заря. Было похоже, что сарай кто-то поджег снаружи, и черные, полуистлевшие на крыше желоба казались громадными головнями. Никита переставил с места на место кадку. Потрогал старые кросна,— на них лежала паутина, и незаконченная работа матери была покрыта слоем пыли. В этой полутьме и неподвижности Никита почувствовал себя странно чужим и одиноким. Как будто вся его жизнь прошла вне этих стен, вне этих уродливых, холостых вещей.

Он захлопнул ворота и приставил к ним коромысло. «Раскис,— решил он,— а в книжках за декаду не вписаны трудодни. Бригада на втором месте...» Круто повернувшись, Никита зашагал в избу.

Мать пришла с поля и сидела за чаем. Она раскрыла окно. Изба была полна запахами берез и хмеля. Из соседнего сарая слышались два голоса. Молодые еще не спали.

Никита, не взглянув на мать, прошел к столу и сел на свое место.

— Поругались? — спросила мать.

— Нет. Что-то голова болит. Это пройдет. Как работали?

Мать принялась рассказывать о работе. Потом перешла на новости дня. Стоит ли Егор этой девки? Понятно, парень хорош собой. Не дурак. Бывал в людях... Чья она? Кто ее родители?

Мать замолчала. Не сболтнула ли чего лишнего? Никита не любит бабьего многословия.

— Болит? — посочувствовала она.

— Блажь какая-то. Вот посмотри, как после чаю буду работать.

— Ночью-то?

— Лампа большая, свету хватит! — кивнул Никита на зарю, уклоняясь от прямого ответа.

Никита работал всю ночь и, не ложась спать, вышел на пожню.

С первым шуршаньем травы к нему подошла Анна. Не отклоняясь, он полуобернулся к ней:

— Что?

— Наточи косу.

— А... — начал было Никита, посмотрел на Егора, на нее и, ничего не сказав, сел на кочку.

Егор косил, далеко отбрасывая траву, и напевал себе под нос. Ему хотелось кричать от обиды, а не мурлыкать. Все видели это. Девчата фыркали.

Жил на свете мужичок,
Маленький горбатенький,—

пел Егор и насвистывал дрожащими губами.

«Шельма,— подумал Никита.— Не шипит, а жалит...» Он стал перевертывать косу и мельком взглянул на Анну. Глаза Анны смеялись. Никита тоже улыбнулся.

«А вечером за эту обиду возьмет и пожалеет...»— мелькнуло у него.

Коса брала хорошо. Однако больше к нему Анна не подошла, а подала ее точить мужу. Никита сделал вид, что не замечает. Все начали переглядываться.

Егор перестал петь.

— Ведь тебе сам бригадир точил, чего ты ко мне,— с горечью сказал он.

Все-таки косу взял. Точил долго, старательно. Потом сидел на кочке, курил, отплевывался и смотрел на проле-

тающих мимо чаек. Изредка поворачивал к Анне притворно равнодушное лицо, зевал.

Анна подняла косу и стала ее рассматривать.

Егор выпрямился, исподлобья осмотрел бригаду.

— Что? — тихонько спросил он.

— Завалил все острие с одной стороны.

Егор густо покраснел. Бросил папироску, поднялся.

— Тебе сам Калинин не уладит! — крикнул он.

Анна пошла к свекру. Трофим гмыкнул.

— А ну, как и меня забракуешь?

Бабы смеялись.

Трофим обтер косу травой, взял молоток, подколотил клинышки — коса держалась крепко.

— Сушь стоит, вот она немножко и разбежалась.

Он приставил косу к плечу, чуть согнулся.

— Тебе не высоко?

— Как будто нет.

Не торопясь наточив косу, он подал ее Анне и сказал ласково:

— Крепко не сжимай, рука заболит.

Коса шла, как в воду. Смеясь и поглядывая на бригадира, Анна предложила, чтобы все несли точить и править косы только к Трофиму. Бабы сначала шутками потянулись к нему. Пошли девчата. Пошел Степка.

Трофим вопросительно поглядывал на бригадира.

— Придется,— сказал Никита.— Мы тебе за это десять соток запишем. Все согласны?

Все были согласны.

Никита полушутя сам подал Трофиму косу. На него одобрительно посмотрели.

Держался один Егор.

— Егор! — обратился к нему Никита.— Раз бригада поставила, надо подчиняться.

Егор ответил не сразу, с раздражением:

— У меня является стремление точить самому.

— А ты это стремление под пяту!

— Он заваливает.

— Кто, отец-то? Будет дурака валять. Смотри, и так все смеются.

Егор нехотя пошел к отцу.

Трофим выбивал, точил и правил косы. Каждая коса, прежде чем пойти в работу, проходила через его контроль. Он издали замечал, у кого что неладно.

— Фенька, ты что траву оставляешь? Э, да у тебя пята отогнулась. Давай-ка ее сюда!

И Фенька несла косу.

Скосили больше, чем в другие дни.

— Кажется, так просто, а вот не могли раньше догадаться,— мужественно сознался Никита.

К концу недели бригада встала на первое место. Радость Никиты была неполной. Что бы он ни делал, куда бы ни шел, неотступно следовал за ним бес. Видел он всюду счастливое Егорово лицо и Анну, поправляющую ему рубашку. Он старался не встречаться с Анной с глазу на глаз, но всегда почему-то выходило так, что она оказывалась рядом у стога, у копны, у сенного сарая. Он узнавал ее по шагам. Забранные ею охапки сена видел издали. Он старался не прислушиваться к ее разговорам и слышал каждое ее слово. Однажды, помогая ей слезать с законченного стога, протянул руки, и она сползла прямо на него. Навалилась на грудь крепким телом и смеялась. Потом, быстро прыгнув на землю, отбежала и стала отряхивать приставшее к платью сено. Никита ушел на другую сторону стога.

Перепадали дожди. С утра небо начинало хмуриться. Выходили на пожню озабоченные. Однажды замочили сено. Третьей бригаде повезло: у них в этот день не было уборки — косили. Вставали до солнышка и уходили после заката. Перед последней пожней быстро стали нагонять Никиту. Все решал один день. Никита скосил последнюю пожню, третья бригада не успела. Если завтра вёдро, Никита успеет закончить все. Если помешает дождь, третья бригада выйдет вместе с ним.

Солнышко село в облака.

— Бывает, что и разнесет,— неуверенно говорил Трофим и смотрел на запад.

Возвращались ночью. Шли через овраги, кустарники.

Степка играл на гармошке. Он только учился. Еле тянул. Гармонь была старая, разбитая. Егор шел в толпе под руку с Анной и пел новые частушки.

Никита оставался поправить изгородь. Он догнал Татьяну. Татьяна шагала тяжело, сутулилась и покачивалась на ходу. Он давно присматривался к ней. Иногда в разгар работы тихонько подходил, шептал: «Сядь, посиди»— мягко отбирал косу.

— Завтра тебе ходить не надо. Без тебя закончим,—

сказал он, поравнявшись с Татьяной, и, видя, что она нахмурилась, вздохнул: — Сердце у тебя молодое, а руки старые. Что с тобой делать?

Анна обернулась и, увидев Никиту, задержалась, стала что-то поправлять у своей обуви. Никита обрадовался и испугался. Невольно замедлил шаг. Она пошла с Татьяной, наклонилась к ней, что-то тихонько спрашивала.

— А с мужем, матушка, жила худо...— услышал Никита голос Татьяны.— Бабы во мне давно нет. Осталась одна форма...

Дальше Никита не слышал.

— Так и прожили всю жизнь? — спросила Анна.

— Так, мое солнышко, и прожила. Уйти? А куда уйдешь?

Зашли в поле. Ветряная мельница на пригорке, вскинув крылья, как бы падала в мягкую холодную тень. Тихонько шелестели травы. Анна взяла Татьяну за руку, приласкала. Потом обернулась и кивнула Никите:

— Иди с нами!

Никита встал с ней рядом и, стараясь угадать в ногу, сбивался, делая маленькие шаги. Анна смеялась.

— Тебе завидую,— обронила Татьяна.

Анна ничего не ответила. Она неожиданно притихла, сжала губы.

— На курсы меня отпустишь? — помолчав, спросила она у Никиты.

— Помоги выжать...

Подошли к гумнам. Толпа стала редеть. Егор остановился, поджидая жену.

Анна наклонилась к Никите и сказала так тихо, что он скорее угадал по губам, чем услышал:

— Ты меня боишься?..

И тихонько дернула его за рукав.

От кустов бежит ветер. Он поднимает зеленые клочья сена, обнажает кочки, как плешивые головы, и гонит впереди себя пересохшую ветку шиповника. Никита подхватывает ее зубом граблей и, ловко бросив в куст, смотрит на небо. Задирает бороду и Трофим. Так они стоят с полминуты. Переговариваются поспешно и отрывисто.

— Прижмет, Никита.

— Может, краем?

— Нет, в точку.

— Беда. Три стога...

Туча плывет над самой рекой. Оранжевые края ее пылают. Она все ниже и ниже. Скрывает солнце. Кажется, сейчас всей своей тяжестью осядет в темную реку, и вода, раскаленная ее огненным дыханием, зашипит и заклубится. Ошалело кричат вороны. Кулик-канюк давно просит «пить». Становится трудно дышать.

— Нажимай! — кричит Никита и, весь содрогаясь от напряжения, закидывает грабли.

Охапки сена, как бы подхваченные вихрем, взлетают над головами, плывут и падают. Взволнованный шум и шелест, учащенные вздохи. Копна за копной движутся к середине пожни, и около трех высоких стожаров вырастают целые зеленые деревни.

Девчата давно прекратили песни. Но Никите все кажется, что работают они вяло, перешептываются, а Егор качается на одном месте, еле шевеля руками. Свои грабли кажутся Никите малы и легки. Они мелькают с шумом, скрипят, кряхтят. Пузатые зеленые сверчки рассыпаются от него во все стороны. В лицо ему летят семена пересохших трав. Никите хочется стать великаном, подняться над пожней и разом смахнуть ее всю огромными граблями.

Поблизости от него работает Анна. Она раскраснелась. Глаза блестят. Сено под ее граблями прессуется, как в машине. Тут же Егор. Снисходительно улыбаясь, он смотрит на работу жены. Здесь-то, конечно, его верх. Он забирает охапку, как копну. Почва у него под ногами дрожит. Он на ходу опускает левую руку, охапку держит на плече только граблями. Все перед ним расступаются. Он идет ровно, прямой, сильный, красивый. Сверкает белыми зубами. Смотрит на девчат, на Никиту, на жену. Анна не замечает. Тогда он кричит:

— Даем количество и качество!

Анна не повертывает головы.

Он начинает притворно кряхтеть, как бы от непомерной тяжести. Никита видит на лице Анны досаду. Ему хочется крикнуть, чтобы Егор не отвлекал людей. Однако на Егора уже никто не смотрит; в кустах запутался ветер, обрывает листья, трясет вершинами.

Вдруг охапка на плече Егора расползается, и сено водопадом летит под ноги. Егор нелепо взмахивает руками, стараясь удержать хоть немного, и потом долго

стоит с вытянутыми руками. Лицо Никиты темнеет.

— Будет шалить, дура!!

Все косятся на бригадира. Такой злобы в его голосе еще никто не слыхал.

— Ну-ну,— примиряюще говорит Егор и, быстро собрав сено, идет на прежнее место.

— Ветер подхватил, вырвал...

Он хочет что-то тихонько сообщить Анне, но она быстро отворачивается и, забирая охапку, прячет лицо в сено. Егор стоит с раскрытым ртом.

— Ты вот что, Егор,— уже без злобы говорит Никита.— Бабы тут без нас доделают, пойдем! Дядя Трофим, я думаю, можно начинать?

— Можно,— отвечает Трофим.

И все трое быстро идут к стожарам.

Трофим и Егор опередили Никиту. Он работал со Степкой. Степка, как назло, путался в сене, перемешивал пласты. Начинало накрапывать. Никита сердился, покрикивал. От этого парень еще более терялся. Никита махнул рукой и последние пласты подавал уже молча.

Хлынул дождь. Степка с Никитой и все, кто им помогал, перемокли до нитки. С визгом разбежались и попрятались девчата. Из кустов, волоча за собой подпоры, выбежал Егор и упал под ближайший стог.

Никита принял на руки Степку и осмотрелся. Рядом с ним стояла Анна, и больше никого не было видно.

— Ты...— начал Никита и, не договорив, толкнул ее под стог.

Там уже сидела Татьяна.

Анна прижалась в углубление. Никита сел рядом.

— Постарше-то подогадливее,— шутила, глядя на него, Татьяна.

— Старый конь борозды не испортит,— ответил Никита и прикрыл колени Анны своим пиджаком.

— Холодно?

— Нет, ничего.

Никите хотелось смеяться.

Она не спряталась вместе с другими? Бегала за кофтой. Но ведь кофта все равно промокла!

Он наклонился к Анне и шепнул:

— Мужа-то как срезала!..

— На лесопункте он,— сказала Анна.— Выступал на со-

брании: «Товарищи, мы должны стать героями лесного фронта». После говорит мне: «И тебя подтягивать буду».

— Подтянул?

— Как же! Сговорились они с одним парнем. А десятник был знакомый. Ну, сказали ему: «Пять кубометров». Он поверил, не ходил смотреть, так и принял. А там и трех нет. Я узнала. «Так подтягиваешь?» Он туда-сюда. Пошла, сказала десятнику. Ходит, на меня косится. Я говорю: «Что так шибко рассердился?» Сама смеюсь. Он хмурится: «Худо, скучно, прямо — беда».—«Чего скучно-то?»—«Вот это грустное положение». Тут нашу бригаду девушек премировали. Он отзывает меня к сторонке: «Я даже не считаю себя достойным стоять перед тобой на ногах». Мне опять смешно. «Ты бы меньше мудрил, а больше старался». Ну, вот с этого я его называю героем. Не нравится...

Оба весело рассмеялись.

Вода стекала со стога прозрачной занавеской. Сразу заблестели лужи. На другом берегу, между ржаных полос, бежали к гумнам девчата. Когда гремел гром, они закрывали головы руками, приседали и, вероятно, вскрикивали, но ничего не было слышно. Казалось, шумит и плывет куда-то вся земля. И под этот шум Татьяна задремала.

Анна чуть подвинулась к Никите. Он почувствовал теплоту ее плеча и немного отстранился.

— Ты мне не мешаешь,— шепнула Анна.— Двинься. Я не кусаюсь...

Все пять отделов памятной книжки Никиты не объяснят, почему он, передовой колхозник, бригадир, сидел под стогом и не сердился на дождь, когда в других бригадах, может быть, замочили сено... И Никита мысленно вписывал в книжку новый отдел: «Обстоятельства, из ряда вон происходящие по существу».

Над лесом, как из большого голубого окна, выглядывает солнце. Дождь постепенно стихает. В кустах лепечут листья. Где-то журчит вода. Над пожней поднимается широкая яркая радуга. Горизонт становится ясней, и за далекими ржаными склонами, как после большого пожара, широко дымится земля. Сразу становится тепло. Над кустами взлетают вороны и, отряхивая перемокшие крылья, орут радостно и глупо.

Со всех сторон выползает бригада. Хохочут, толкаются, сорят сено. Никита стоит у стога, смотрит на них и тоже смеется.

— Где же ты изволила пропадать, дорогая жена? — дурашливо кричит Егор и, подойдя к Анне, обнимает ее

Анна делает резкое движение, но сразу же прижимается к нему мокрым плечом и стоит покорная.

— С победой! — говорит Никита.

Все замолкают. Но он больше ничего не говорит, берет у Степки из рук гармонь и садится на кочку. Все обступают его, как на празднике.

У Никиты плотно сжаты губы. Пальцы взволнованно пляшут на клавишах. Степка не узнает свою гармонь.

— В полной форме наворачивает,— тоном знатока произносит Егор.

Девчата принимаются голосить частушки.

Всем легко, радостно и немножко жаль, что завтра Никита будет уже не с ними.

Вечером после чаю Никита выходит в огород. За двором под старой березой у него скамейка. Здесь он иногда отдыхает, читает газеты. Он садится на скамейку и расстегивает ворот рубашки.

День уходит ясно и торжественно. Вот сияет на пригорке рожь. Тускнеет, как опаленная. В конце поля горит новая изгородь. Открывается берег. Безмолвные пожни и стога — памятники человеческому труду. Тысячи раз виданное, исхоженное вдоль и поперек — неизменно одно и то же. Но сегодня особенная тишина, и тени, и запахи, и как-то по-особенному кукует в лесу кукушка. Никита сидит, не двигаясь, прислушиваясь к биению своего сердца, и стараясь объяснить, что с ним происходит.

В соседнем огороде Анна. Она идет туда, где сидит Никита, и, навалившись грудью на изгородь, разглядывает его. Никита поднимается, снова садится.

— Полезай сюда! — в шутку говорит он.

Анна осматривается по сторонам и вдруг быстро лезет через изгородь. Он вскакивает, хочет помочь ей.

— Отстань. Увидят...

Согнувшись, она бежит под ветвями и встает к стволу березы. Глаза у нее блестят. Она босиком, без платка.

Никита стоит перед ней, растрепанный и смешной...

Потом он идет по какой-то меже, запинаясь босыми ногами за камни, и не чувствует боли. Долго путается в овраге, в кустах, смотрит на ручей, на глинистые обнажения высоких берегов, сам не зная, как здесь оказался. В холод-

ном ручье он мочит ноги и неподвижно сидит на камне. Из деревни слабо доносится пение петуха. Никита вскакивает, выпрямляется и кричит. Он смутно видит, как из кустов к нему идет какой-то маленький белый человек. Останавливается в двух шагах и смотрит на него. Это Степка.

Никита пытается сделать озабоченное лицо.

— Овцу ищу...

Степка осматривается по сторонам и хмурит светлые брови.

Никита берет Степку за плечо и, непонятно улыбаясь, тащит к деревне. Вырваться Степка не смеет. Он озирается. Под кустами тишина и страшноватый полумрак.

— Чудное дело, куда запропала овца,— еле сдерживая смех, говорит Никита.

Степка хочет сказать, что чью-то серую овцу с красным лоскутом в ухе он видел за кустами у дегтярного завода, но боится, что Никита поведет его туда. И тогда спрашивает:

— А она серая?

— Серая.

— С кустиком?

— С кустиком.

— Ну, тогда не видал...

Никита не переспрашивает. Он, кажется, забыл об овце. Молчание смущает Степку. Он старается найти тему для разговора. Шагает в ногу. Иногда сбивается. Переступает на месте и в это время хочет узнать, станет ли Никита держать его. Никита крепко держит.

— А я в ручье головастиков ловил. Для аквариума в школу.

Никита молчит. Больше Степка ничего не может придумать. Они заходят в деревню. Степка думает, что он сейчас будет свободен. Нет, Никита держит и идет, идет с ним. Вот и часовня. Вот и дом Степки. Мать сидит на крыльце. Никита подводит Степку к матери, легонько толкает его.

— На, да береги парня.

Степкина мать смотрит непонимающе. Хочет спросить у Степки, что случилось. Степка принимает вид взрослого. Отвечает равнодушно. Искали овцу. Но он чувствует, что с Никитой случилось что-то такое, о чем он не должен рассказывать ни матери, ни кому другому. Что? Степка еще не знает.

Глава третья

Жали рожь. Она вызрела дружно и от околицы до самой реки стояла густая, гривастая, с темно-голубыми разборами. Она затопила все поле, по обочинам разрывала кусты, скрыла камни и межи, попрятала дороги. Часть людей пришлось перебросить с незаконченного покоса в поле. Оставались ближние лога да одна небольшая пожня. С этим могли справиться старики. Склоны запестрели. Всюду шагали головастые суслоны. Скрипели тяжело нагруженные телеги. Попахивало овинами и свежим хлебом.

Никита приходил в первую бригаду жниц, шатаясь от радости и утомления. И если ему удавалось перекинуться с Анной двумя словами, всюду его сопровождала удача.

Получив газету, в которой сообщалось, что колхоз «Победа» по уборке стоит на первом месте, Никита смеялся. Он шел по полю, держа газету в руке, как знамя, и за ним двигалась шумная колонна мальчишек. На полосе они с Анной не взглянули друг на друга. Никита ткнул пальцем в список колхозов, Анна удивленно открыла глаза, потянулась через его плечо и полусогнутой рукой тихонько прижала Никиту к себе. Он стал вслух читать сводку и все путал названия колхозов.

Никита первый заговорил о посеве озимой пшеницы. Дело незнакомое — собрание проходило вяло. У самого Никиты не было крепкой уверенности. Украдкой он посмотрел на Анну. Анна чуть заметно улыбнулась ему и кивнула. Никита поднялся и сказал такую речь, что все с ним согласились.

Вечером, когда пустели поля, Никита был еще полон желания бежать, делать, покрикивать. Он просыпался с улыбкой, как в младенчестве, и сразу перед ним все расцветало, и каждый угол темной и тесной избы готовил для него какие-то радости. Одна мысль о том, что впереди целый день тяжелого труда, хлопот, беготни и встреч, приводила его в восторг. Он вскакивал с постели, умывался в сенях холодной водой и стоял у порога, потягиваясь. Потом он шел босиком по мокрой траве, осматривал каждую сжатую вчера полосу, каждый наспех поставленный суслон и, не торопясь, подбирал опавшие колосья. У жнейки он проверял все винты и гайки, осматривал «пальцы» и, удовлетворенный, садился тут же курить.

Иногда его разыскивает Трофим. Босиком, с расстегну-

тым воротом, весь в дыму, он осторожно пробирается во ржи и покашливает. Нужно бы подняться к нему навстречу Никита поворачивается и прячет глаза.

— Две меры с суслона,— говорит Трофим и, хотя Никита сидит кругом в колосьях, протягивает ему ладонь, полную крупного зерна.

Они перебирают зерна, выдувают пыль, нюхают, кладут их на зуб и, неторопливо шевеля челюстями и языком улавливают тончайшие оттенки вкуса.

— На всех, даже за оврагом! — говорит Трофим

— Удивительно. Я думал, там ничего не будет.

Дальше они понимают друг друга по движениям головы, по взглядам на ту или другую полосу. Конечно, по их настоянию поле засеяно до единого клочка. Но ведь в этом нет ничего особенного — так должен сделать каждый!

— На бугре тоже?

— Не проползешь...

Они курят Никита ковыряет большим пальцем ноги рыхлую землю. У Трофима на повети поет петух.

— Обживутся,— неожиданно произносит Трофим.

— Брань?..

— Да нет Так какое-то...— Не договорив, Трофим машет рукой и ждет, что скажет Никита.

Никита смотрит на руку и молчит. Лица его не видно Трофим немножко удивлен. Он начинает жалеть, что так просто все выложил соседу. Но ведь Никита тоже ничего от него не скрывал. Он старается вспомнить, чем обидел Никиту, но в память ничего не приходит. Тогда он решает, что высказал это преждевременно и некстати, и хмурится

Рожь отряхивается и выпрямляется. Скоро можно будет выходить с серпом.

Никита встает.

— Видишь ты,— говорит он, не глядя на Трофима,— в таком деле советовать трудно

— Это так.

Они идут в деревню плечо к плечу и снова говорят об урожае.

Дома Трофим лезет на поветь и останавливается у постели молодых. Анна спит, отвернувшись от мужа...

Днем Трофим колол у овина дрова и, натолкав полную теплину розовых ольховых поленьев, сидел на земле перед печью. В печи были щели. Все утро он возился, замазывая

их глиной. Делал это внимательно и любовно, как несколько лет назад в своем овине. Когда приезжал со снопами Степка, Трофим заставлял его лезть в холодную печь, подавал пучок зажженной лучины и каждую щелку просматривал на свет. Теперь, круглая, похожая на громадную голову, печь была в заплатках, как в ранах, но не пускала ни одной искры. Тепло равномерно поднималось к черным блестящим пазухам, и было слышно, как шуршат и потрескивают сохнущие снопы.

Каждый раз он помогал Степке складывать воз и все смотрел в поле на разноцветные платки жниц. Слышались песни, смех. Стрекотала жнейка, и впереди нее две черные лошади как бы плыли по желтой вспененной реке.

Перед обедом заглянул на гумно Никита. Трофим обрадовался, хотел поговорить. Никита спешил и только на минуту остановился перед сушилом.

— Ничего?

— Больше не подкидываю.

Никита наклонился, подобрал с полу грабли, приставил их к стене, зачем-то отшвырнул ногой веник и хотел идти.

— Печь совсем пропала,— сказал Трофим.

Они не любили хвастаться и никогда не выражали друг другу одобрения прямо; это достигалось намеками, казалось бы, не относящимися к делу замечаниями: «Ведь сделать можно всяко». Или: «Тимошинцы хороши дровни делают. Из рук катятся». Затем следовали гмыкание и довольная улыбка. И всегда один проверял работу другого, как бы случайно. Но это всегда. Разница возрастов стиралась. Они были просто люди, хорошо умеющие делать.

Никита остановился, безмолвно пошевелил губами.

— Да ты починил?

— Починил.

— Вот и хорошо.

Не посмотрев в глаза Трофиму, Никита снова повернулся. Трофим немножко побледнел.

— У меня глаза фальшивят. Может, что не так.

— Я на тебя надеюсь! — уже на ходу крикнул Никита.

Трофим плюнул и пошел в теплину. Понятно, сейчас и некогда. Но ведь раньше они всегда находили время!

Трофиму нравилось в ней все. И то, что через нее и сына он видел непоколебимую крепость потомства, и то, что она просто, уверенно и, казалось, навсегда вошла в

жизнь колхоза. В поле она делала за день столько, сколько давали вместе Татьяна и Фенька. Он знал ее по работе на покосе, но все-таки не утерпел: ходил ставить суслоны для того, чтобы посмотреть, как она жнет.

Серп она закидывала не часто, но брала решительно, по-мужски,— сразу полгорсти. Завязывая, она быстро опускалась на одно колено, ударяла ладонью левой руки по комлям, потом выбрасывала правую руку вперед, левую к себе — неуловимое движение, и сноп готов. Этот сноп можно было узнать из десятка: ровный, чистый, с гладким жестким комлем. За ней нечего было подбирать, и каким-то чудом жатвина не была помята ее ногами, как будто полосу сняли одним взмахом. Сначала он отметил только быстроту и четкость ее движения, другой разницы между работой ее и работой Феньки не нашел. Стал наблюдать за Фенькой внимательнее. Вот она завязывает сноп. Выравнивает комли. Раз, два... Четыре раза ударяет по ним ладонью. Она затягивает его. Солома скрипит, топорщится, голова у снопа получается большая и неуклюжая. На земле валяются колосья. Фенька ходит от борозды к борозде, собирает их, мнет жнитво. Жнитво прижимается к земле, как будто по нему катались кони. Когда Трофим понял все это, он не мог уже без волнения смотреть на невестку, все искал случая сказать ей ласковое слово и уходил с великой печалью о сыне, о семье, о том, что не может разгадать, что произошло между ними.

Взглянуть на ее работу пришли девчата из другого колхоза, и с ними пришел незнакомый человек в очках. Он долго разговаривал с Анной, потом фотографировал ее и что-то писал к себе в книжку.

Потом Трофим видел в газете портрет невестки и заметки о ней. Ее называли «лучшей ударницей» по сельсовету. Стоила ли она этого? Да, стоила. Соседи говорили о ней без зависти. Анной гордились.

Но чем выше ставили люди невестку, тем острее была у Трофима боль. Он вспомнил деда, бабку, родителей и всех ровесников, с которыми прожил жизнь, горе и радости которых знал, как свои. В его время баба принимала мужа таким, каким он был, покорно и безропотно, и если это не был вор или пьяница, жизнь проходила, похожая на сотни и тысячи других — никому не заметная и большая. Такая, как Анна, не может любить лодыря, хулигана или тронутого разумом. Но ведь за Егором ничего этого не было! В бане

или на реке во время купанья он любовался складным и сильным телом сына. Он не без гордости наблюдал, как на собраниях Егор бойко читал газету. Все слушали почтительно, а девки, облокотившись на стол, заглядывались на густые Егоровы брови.

И все-таки загадка росла, и по утрам, заглядывая на поветь, Трофим видел, что невестка спит, отвернувшись от мужа.

И, сам того стыдясь, Трофим следит за каждым ее шагом.

Анна идет в огород и что-то долго не возвращается. Он, прикрыв дворовые ворота, смотрит в щелку. Вечереет. Цветы картофельной ботвы кажутся белыми бабочками. Он видит ее склонившейся над рассадником. Кругом — ни души. В полумраке оголенных лугов трещит коростель. Шумит река. На рассаднике Анна что-то посадила и бегает сюда каждый день. Но что делает тут целых полчаса? Трофим бесшумно открывает ворота. За углом слышится шорох. Весь подобравшись, он крадется туда. Вытянув шею, перед ним стоит сын. Они смотрят друг на друга, онемев от стыда и удивления. Трофим наклоняется, берет с земли щепку и бросает ее в поленницу. Потом оба, осторожно ступая, двигаются к избе. Егор берется за скобу.

— Матери ничего не говори,— шепчет Трофим.

— Да и говорить нечего.

— Понятно, нечего. Все ладно...

За ужином неловкое молчание. Ужин тянется без конца. Приходит Татьяна, Трофим начинает разговаривать с ней, с невесткой, и от этого кажется, что в семье все ладно.

В день урожая Трофим решает устроить пирушку. Пригласить замужнюю дочь, зятя, тетку и Никиту. За столом, в тесном кругу, сын и дочь развеселятся, и обо всем будет переговорено и все улажено. Он хочет сделать так, чтобы на празднике ни в чем не было недостатка. Покупает вина, белой муки и колет молодого барана. Вечерами он идет на реку и закидывает перемет. Заранее извещает Никиту. Никита рад. Он греет для соседа самовар, несет на стол пирогов, молока. Последнее время они видятся только издали. Никита с утра до ночи в поле. Он одобряет замысел Трофима. Столько хлеба никогда еще не снимали. План хлебоскупа выполнен. За все лето не было ни одного дня отдыха. Трофим еще больше светлеет лицом. Он склоняется к Никите и, хотя в избе никого нет, шепчет:

— А ты приди пораньше. У нас с тобой дела особые...

Никита молчит.

— И в этот день занят? — с сожалением спрашивает Трофим.

— Да. Пленум сельсовета.

Трофим смотрит на него недоверчиво, и ему кажется, что Никита, как тогда в поле, прячет глаза. Он быстро поднимается с лавки и кричит:

— Да что это, все с ума сошли или я помешался!

И идет к двери, запинаясь.

Утром он снимает с перемета несколько плотичек, бросает их в ведро с водой и возвращается в деревню. Солнце поднимается поздно и лениво. Не скошенная в кустарнике трава безобразно желтеет и хрустит под ногой. Где-то на склонах, как всадники, толпятся суслоны, но отовсюду уже веет пустотой и увяданьем. Во всем поле остается один клин овса. Жницы гуськом идут по тропе. Позади всех Никита и Анна. Трофим знает, что все они бросятся смотреть его рыбу, а рыбы мало, и он не хочет показывать. Останавливается за кустом и ждет, пока они пройдут. Никита и Анна отстали. Они шагают не спеша, разговаривают.

Анна все в той же зеленой кофте, без платка, бусы сверкают у нее на шее. Он слышит ее смех, видит, как она долго и внимательно смотрит на Никиту. Никита неузнаваем. Он кажется выше и шире в плечах, и лицо у него озарено какой-то особенной теплотой и решимостью. Так в первый год женитьбы, весной, шел Трофим с Матреной к теще в гости.

Они у самых кустов. Трофим слышит их дыхание, видит их касающиеся друг друга руки. Никита наклоняется к Анне, Анна вся тянется к нему. Трофим стоит неподвижно, пока слышатся их шаги. Потом бросает ведро, и рыбы серебряными скобами летят в траву. Земля шуршит, впитывая воду, и желтые верхушки трав шевелятся, как живые. На тропе никого не видно. Пустое холодное поле смотрит на него со всех сторон, и вправо на пригорке чадят овины. Он собирает рыбу в ведро и, согнувшись, шагает к деревне.

Глава четвертая

Когда Никита зашел в теплину, Трофим молча пропустил его к боковой стене, плотно закрыл дверь и припер ее толстым поленом. В теплине стало глухо и мрачно, как на дне глубокой ямы. Трофим опустился к устью печи и за-

городил собой весь проход. В печи гудело. Поленья, обгорая, ворочались в пламени, как туловища. Со звоном летели угли и, остывая на земле, шевелились и хрустели. По черным стенам что-то шуршало, в углу скреблись мыши. В маленькое отверстие над дверьми Никита увидал голубую звезду и клочок неба.

Трофим молчал. В колеблющейся полосе света Никита видел его длинные ноги и жилистые пальцы рук, обхвативших колени. Другая половина его тела во мраке. Он сидел, как бы разделенный надвое, большой и страшный в своей неподвижности. Никита старался услышать его дыхание, но все заглушал грохот обгоревших, падающих поленьев.

Никита потихоньку вытянул ноги и острыми краями каблуков разорвал землю, как тяжелую ткань. Трофим не шевельнулся.

— Волки появились,— сказал Никита.

Трофим молчал.

Тогда Никите показалось, что деревня недосягаемо далеко отсюда, что весь мир непробудно спит, и только они двое, настороженные и сразу ставшие друг другу чужими, сидят тут в тишине перед пламенем. Не слышно ни гармошки, ни говора, не слышно даже собак. Никита представил себе избу, ласкающий полумрак ее углов. Ярко освещенный стол, потрескивание фитиля, свою работу, разложенную около лампы. Никита посмотрел на Трофимовы руки. Они были по-прежнему неподвижны, и он почувствовал, что Трофим смотрит на него из темноты.

За стеной кто-то прошел, стуча тяжелыми сапогами. Никита встал, протиснулся к двери и дрожащими руками стал ее открывать. Трофим не двинулся с места. Потом, когда Никита был уже на улице, вышел за ним, и оба долго смотрели на звезды. Во тьме у деревни еще гудела под чьими-то тяжелыми сапогами земля, и далеко за кустами стучала мельница. Никита сделал несколько шагов, остановился и строго сказал:

— Не дело задумал...

Трофим стоял босиком, с открытой грудью и прислушивался к затихающим шагам. Хлопнула калитка Никитиной избы, и в поле опять стало тихо, как в пустом погребе. Трофим ушел в теплину, сел на лежанку, где только что сидел Никита, и сразу обмяк, посерел. У него заболела голова и вспотели плечи. Он нагреб кучу теплой золы, положил в нее ноги и сжался у стены.

Перед тем как уходить домой, он стал подбавлять в печь дрова и на большом березовом полене увидал буквы: *Е. Т. Д.*

Они были вырезаны глубоко, с большим упорством и любовью. Края их хорошо сглажены острым ножом и чем-то до блеска притерты. В углублениях тоже все хорошо вычищено и приглажено. Такая работа требовала не меньше часа времени. Трофим злобно выругался и бросил полено в огонь.

Он шел, не разбирая луж и грязи. Злоба на Никиту потухла, остался жгучий стыд. Он открыл дверь и сразу увидал вытянутую, зевающую фигуру сына. Егор стоял среди избы, закинув руки за голову, гнулся, и широкие плечи его трещали. Он занял собой весь проход под полатями и заслонил свет. И это раздражало Трофима. Он стал вешать на гвоздь фуражку, в темноте нащупал что-то мягкое, снял, повернул к свету — желтая Егорова рубаха с какими-то блестящими пуговицами. На левом грудном кармане тонкими голубыми нитками вышита девушка с зеркалом, на правом — охотник с собакой. Все это похоже на настоящее, но даже вышивки почему-то раздражали Трофима. Он повесил рубаху, глянул на невестку и сразу понял, что между ней и Егором что-то сейчас произошло. Анна сидела за столом неподвижно и, кажется, только смотрела в газету, ничего в ней не видя.

«Началось»,— подумал Трофим и смутно почувствовал, что разгадку ко всему этому он найдет теперь сам.

Он стал сравнивать и проверять все, что делали сын и невестка, и на каждом шагу открывал новое. Он стал горяч и криклив. Все, что раньше проходило для него незамеченным, вызывало в нем злобу и раздражение против сына.

В сарае несколько лет лежал обрубок ели с широким обтесанным корнем. Егор сделал из него матери прялку. Работа могла бы казаться хорошей, но он так перестрогал и загладил длинный стебель прялки, что на второй же день она сломалась. Мать стала поднимать с полу отлетевшую часть и заплакала. Трофим подошел, сразу увидел в чем дело и прочитал на обломке надпись:

«За решительность дела и качество работы вселюбезнейшей матери от дорогого сына. *Е. Т. Д.*»

В другое время Трофим или бы проворчал, или бы просто усмехнулся, прочитав подпись, сейчас он насупился, плотно сжал губы и отошел, ничего не сказав.

Он заметил, что Анна читала как бы украдкой, за шкафом около свекрови, в углу и за столом, когда стол ничем не занят. Она совсем не заботилась о том, смотрят на нее или нет.

Егор, собираясь читать, звал мужиков. Надевал сатиновую рубаху, в грудной карман клал часы и свешивал цепочку так, что ворошиловский значок на конце ее все время лез на бумагу и мешал ему.

Он всегда делал объяснения, вставлял что-нибудь от себя. Иногда его понимали, иногда он сам не понимал прочитанного, однако, не смущаясь, продолжал:

— Это насыщено сильным содержанием материала, так что вам не совсем понятно.

Иногда замечал Трофим, что после таких объяснений наступала тишина. Мужики вздыхали, посматривали друг на друга, гмыкали, а то начинали говорить совсем о другом.

Однако парень делал свое дело. Его можно было разбудить в полночь и заставить читать на собрании. Но как только Егор оставался один, он никогда не брал в руки ни газет, ни книг. И Трофим с удивлением подумал, что так было всегда.

Однажды Егор стал объяснять что-то слушателям и, как всегда, не к месту ввернул о своей ударной работе в лесу. Трофим дал ему кончить и в тишине ровно сказал:

— Пустой колос высоко стоит.

Егор притих. Мужики начали говорить об урожае, о погоде. И, немного посидев, ушли.

Точно — минута в минуту Трофим встает по утрам и идет смотреть погоду. С повети, быстрая и приветливая, спускается к нему невестка. В полутьме Трофим видит, как она кутает плечи шерстяным платком и зевает. Иногда что-нибудь поет или, сделав губы трубочкой, насвистывает, как парень.

Утро сегодня слепое. Мелкий дождь. Туманы.

— Молотить? — спрашивает Трофим.

— Нет. Я еду.

Только теперь он замечает в ее руке большой белый узел.

— Так...

И вспоминает шумное собрание. Анна, раскрасневшаяся, счастливая, сидит за столом рядом с председателем сель-

ского Совета. «Как, товарищи, пошлем?»—«Пускай едет, Москву посмотрит!»

Вчера Никита передал ей какую-то бумажку. Ночью молодые долго разговаривали. Когда же Трофим вышел из избы, на повети все стихло. Он знал, что невестка уйдет из его дома, но когда увидал в ее руках узел, почувствовал, что совсем к этому не подготовлен и не знает, что ей сказать.

— В Москву на совещание,— радостно и виновато говорит Анна.

Из узла торчат носки ботинок, кофта, платок. Она забирает с собой все пожитки. Может быть, так лучше. С неделю соседи ничего не будут знать...

— Так,— повторяет он.— Хорошее дело...

Анна, притихшая, стоит рядом.

Он кивает ей на дверь.

— Иди оденься. Холодно.

И поднимается на поветь будить сына.

Гремят ступеньки лестницы, качаются жидкие перила, петух на жердочке испуганно бормочет и жмется в угол.

К полудню выглянуло солнце, и через полчаса дорога вспыхнула белым песком. Она натянулась, загудела, разом все осветила и отодвинула горизонт.

Трофим прикатил к своему дому телегу и стал мазать колеса. На соседнем крыльце показался Никита. Осмотрел небо, просохшую дорогу, сделал несколько шагов к Трофиму и остановился. Трофим продолжал работать, как бы не замечая его.

— К утреннему поспеют,— не выдержал Никита.

— Чего же не поспеть. Дорога хорошая,— просто ответил Трофим.

На проводы собрался весь колхоз.

В суматохе Никита хотел еще раз повторить Анне свои наказы. Он не спал ночь и заготовил шпаргалку. Это была длинная полоса бумаги, сплошь залепленная цифрами и крупными надписями. Анна взяла ее и, смеясь, развернула, как гармонь, на всю ширину плеч. Никита обиделся.

— Ты с этим не шути. Это дело государственной важности.

Анна перестала смеяться, бережно свернула бумагу и спрятала ее за пазуху.

— Все передам,— сказала она.— У меня память креп-

кая.— И шепотом добавила: — Провожать не ходи. Мне сейчас неловко...

Подвода была готова. Трофим поправил на телеге сено, подвязал к дуге повод и кивнул возчику Степке. Степка взобрался по оглобле на лошадь.

Трофим подождал, пока телега выедет на дорогу, и пошел сзади всех. Анна шагала в толпе женщин.

Татьяна решила, что молодые сейчас должны идти рядом. Она взяла Анну за руку. Анна догадалась, осторожно толкнула ее локтем, и удивленная Татьяна осталась стоять с протянутой рукой. Потом она участливо обратилась к Егору:

— Что же ты, Егорушка, с женой-то как...

— Это личные счеты,— не глядя на нее, ответил Егор.

У околицы Степка остановил лошадь, и все стали. Так делали всегда при встречах, при расставании. Десятки поколений оставляли здесь свои радости, песни и слезы. Дальше начиналась власть пространства, надежд и неизвестности.

Никита стал открывать отвод. Отвод двигался неохотно, кряхтел, скрипел и хлопал привязанной внизу доской. Наконец совсем не пошел. В это время подоспел Трофим. Вместе они приподняли отвод и отнесли его к канаве. Обтертые, расшатанные тысячами колес, столбы склонились над дорогой, как два дряхлых стража.

Анна взобралась на телегу.

— Трогай,— сказал Никита.

Степка дернул лошадь, под колесами загрохотала дорога, и столбы проплыли мимо Анны.

Анна всем поклонилась и поправила на голове платок. Москва... Какая она? И как она встретит?

1936



Подруги

Глава первая

О себе? Что обо мне сказать? Тут отец ошибся. Я плечистая да речистая. Маленько у него не хватило, была бы чистый мужик. Да не обо мне. Лучше расскажу о моей подруге Татьяне.

У нас с Татьяной получилось так. Когда счастье-то раздавали, мы и прозевали. Ну и не попали под дележ. Вот так и ходим...

Гуляли мы с ней в одном табуне. У нас были платья, юбки, а сверху до колен кофта длинная с пуговицами, дюжины две, в два ряда, под цвет, стеклянные. В талию. Оборка — плиссировка. По шестнадцать аршин на платье шло. В пять полос юбка, да оборка, а то две. Кумач был в моде. Ну, я его и любила. Мне ситцевое нравилось, вроде кубовый цвет был. Очень сшитый был хорошо, сидел красиво. По кубовому полю белые цветочки пропрядывали. Отросточки. А то еще гладкое было, цвет лиловый, и синее в полоску. Ежели человек побольше мыша с крыши — и то много надо, а я была бабушкина гвардия, роста высокого,— разорение. И Татьяна тоже. Да все-то нас двенадцать подруг, как по одной нитке отстегнуты. Задумаем парня отколотить — отлупим. Бывало, к зеркалу подойдешь: «Ну хоть бы мне немножко похворать, поваляться». И сегодня, и завтра — как зарево. Пудрой засыпали. Хоть не особенно хорошо, а модно. И у всех голоса выносливые. Как соберемся, гаркнем — шибче ворон. Тогда еще были тальянки.

Нет, они не узкие, только на тонкий мотив, басу-то мало было. И бубны были. Трензели — такие стальные скованные треугольнички и палочка к нему. Из гроба встанешь да топнешь. А бубен-то подлаживает-подлаживает под гармошку да пальцем обведет — у-у-ух! Да потом опять подлаживает-подлаживает да по головам-то им. Не больно, а гулко. Ну и разойдутся.

Пойдут плясать.

Эх, топнула я
И не топнула я.
Съела каши два горшка
И не лопнула я.

Это я смеюсь. Так не пели. Песня была протяжная, с переливом. Это теперь поют «рязанку» да «страдание». А как женятся: сегодня просватались, завтра расписались да сундук на салазки. Не знаю, как тебе сказать. Не то хорошо, что хорошо, а то хорошо, что кому нравится. Ты этих глупостей не записывай, пей чай!

Бывало, за хороводом постоять не дадут. Ну вот и начнем:

Из-под двух белых берез
Вода протекает.

Это вот мотив такой:

Из-по-о-д дву-ух белы-ых-их...

Вот тут перелив должен быть, а у меня голос короток, без перелива красиво не выходит. Да еще без музыки. Отчего в театре: артистке музыки нет — она петь не станет Им помогает музыка, когда нужно вздохнуть, она, музыка, брынкнет. А если у меня в это время помощника нет, я должна оборвать голос.

А то еще другая есть:

Голова ли ты, моя головушка,
Гулять хочется, а волюшки нет

Эта поется на такой мотив:

Го-о-оло-ова-а-а ты,
мо-о-я голо-о-ову-у-ушка-а-а а..

Ведь песня, она хороша тогда, когда бы ее пели хором. Ну, если мотив не слишком вытяжной, я, пожалуй, и сейчас спою. Я их все помню. Ужо как-нибудь под веселый час.

Мы с Татьяной в почете. Нам по пятнадцать лет, а вместе с большими девками в село на рынки ходили. У Татьяны платок фаевый в пять рублей. Углы, вышитые большими цветами, остальное мельком. По шелку да шелком.

Для девок, конечно, базар — сласти. Чего там нет! Пряники и мятные, и вяземские, и баранки, и жамки, и орехи разных сортов. Ну, придешь, встанешь в толпе, а тебя в хоровод и возьмут.

Один идол мраморный, вот он росточком-то такой будет — не больше, и нос утиный, а рыло мокрое. Татьяна его на глаза не пускает, а он все ходит за ней и везде встречается. Станет танцевать и каждый раз ее возьмет, а тут чужие пришли, бог знает какие хорошие! (К чужим-то у нас больше магниту было.) Уж она его ка́лит, калит: «Дух нечистый, хоть бы тебя вовсе не было». Дуется, а он не замечает.

С гребнем ходили на поседку. Я тут пряду, а рядом парень подсядет, коли я ему нравлюсь. Ну, ты поплясать-то встанешь, он тебе на гребень-то и сядет. Вот кончишь, подойдешь: выкупи. А к Татьяне все этот. «Уходи, брылястый черт!» — «Не уйду». — «Вытирай рыло». Вытрет, поцелует и уйдет. Ну, своему-то все скажешь сначала: уходи. А другого, не брылястого, сразу поцелуешь. Пойдем гулять в Ярнево. Ревность берет наших ребят. Они и попихают с дороги. Ну, целые валенки снегу у девок. Босиком на дороге и вытрясают. Письма? Это дело секретное. Девки грамоте не знали. Кто читать-то будет? Тут вся деревня ходила, дядя Татьяне будет — за два яйца прочитает, за два и напишет.

Пришел как-то из Ярнева парень, Михайлой звали.

И ростом, и лицом вышел, и характер ласкательный, да с ним гармонь-утеха. Понравился. Она этого идола от себя гонит да на Михайлу посматривает. Я говорю: «Егор!» — «Что?» — «Домой надо сходить, проводи, волков боюсь». — «Ну, ты сама медведица». — «Как не стыдно, а еще кавалер». Ну, пошли. Только из ворот — я остановилась. «Ты что?» — «Уж не знаю, идти ли, может, так обойдусь». Да смеяться. А он рассердился: «Чего обманываешь?» — «А ты что за Танькой ходишь? Все равно не видать тебе

ее, как свинье неба». Зашли в избу, а Михайла рядом с ней сидит.

Купил отец Татьяне драповую кофту. Мода была такая плечи высокие и сзади заслонки. В спасов день пошли на рынки, она эту кофту надела да кумачник. Пришли. Девок да ребят всяких много, а Михайлы нету. Татьяна стоит, вертится, в хоровод нейдет. «Ты что?»—«Да так что-то» Ну я и не переспрашиваю. Побыли немного, она говорит: «Надо бы домой идти».—«Для этого приходить не стоило».—«Как не стоило, народ посмотрели, и ладно». Тут объявляется Егор. Жамками угощает. Пристал, увел ее в хоровод. Только встала, Михайла подходит. Ее в краску. Ну, так и не пришлось поговорить с Михайлой. Пошли домой, а этот все с ней да все рядом. Потом тихонько ей в руку письмо сует.

— Это что?

— Так, после...

— Не хочу после, хочу сейчас.

При всех конверт разорвала, а там карточка, рука руку жмет. С другой стороны написано. Она карточку другому парню. Тот читает:

«Со мной вы себе отраду получите».

А подпись, говорит, разобрать не могу, какие-то все витенечки. Егор карточку вырывает, а парень ее Татьяне Она спрятала да говорит:

— Вот принесу на сход, миром-то и помогут разобрать.

Все хохочут. Так дорогу-то и чудили. После узнали, он писарю полтинник дал, тот карточку нашел и слова придумал.

Мы этому парню заставили ответ написать: «Вот письмо, только не тебе — писарю». И внизу петушка вывели. С этого навалилась на него тоска. Вечером подглядели — к Наталье пошел. Была у нас такая старуха, травы знала и наговоры умела делать. Говорят, могла лешего вызвать из раздвоенной сосны. Ну, как тебе сказать — леший не леший, а напугай, так все кто-нибудь и покажется. Я сама не видела. Мне он не нужен. У меня свой леший был, не знала, как с плеч стрясть. Вот мы тихонько к ней в сени и у дверей слушаем. В щелку все видно. Он на лавке у стола сидит, перед ним груда пряников, а Наталья на них шепчет: «Как красное солнышко припекает мхи, болота, черные грязи, так бы присохла раба Татьяна к рабу Григорию, очи в очи,

сердце в сердце, мысли в мысли; спать она не спала, гулять бы не гуляла, обо мне, рабе Григорье, сохнула бы, вянула бы, как я о ней сохну...»

Татьяна рот зажимает, хохочет, а я ей под бок: «Дура, дай послушать, больно жалостно...»

Старуха другую молитву.

«Не пади, моя тоска, моя сухота, ни на землю, ни на воду, ни на листвень зеленую, ни на шелковые травы, ни в ракитовы кусты, а пади, моя тоска, пади, моя сухота, прямо тебе, рабе Татьяне, в сердце, в печень, в легкие, в ясные очи, в черные брови, в семьдесят семь жил, в семьдесят семь суставов...»

Мы трясемся. Вышли в огород, пали на траву. Никогда такого не видали. Потом он на зады, а мы ему из поля навстречу. Покраснел, и глаза бараньи. Татьяна к нему, за карман: «Егор, дай пряничка». Он завертелся, фуражку надвинул — да ходу.

Дальше-то? Дальше рассказывать нечего. Хорошего не уродилось, а плохое вспоминать не желаю.

Михайла? Михайла на службу ушел, да так мы его тогда и не дождались.

Глава вторая

Мир к вам, и я к вам! Опять чай? Пей да пей — копыта слезут. Мне скоро домой надо. Поеду весну встречать. Тут у вас в городе на камнях хлеб не растет, ее не увидишь. Все лежишь? Давай хворь-то мне в карман, я где-нибудь брошу по дороге. Банки? Давай банки. Для других у меня рука легкая.

Оказывается, эта песня летает по воле. Я думала, только у нас поют. Ну, на мотивные песни у меня слух есть. Ишь, выносит, глянь в окно: это каменщик, кирпичи кладет. Говоришь, школа будет? Все строят. Лежи плотно, не двигайся!

Взяло-о! Не больно? Лафитник, он лучше льнет, у банок края толстые.

Отец у меня был хороший, но такая нация — запоем пил. И закрутит, зачертит по дороге и заровняет бугорки.

Уж он только того не делает, чего не видит. Дом срубить в лапу, в крюк, в полукрюк или в простой уголь и совсем его обделать А дома сундуки мастерит. Доски выстругива-

ет, пробьет стамеской, клеем смажет да в замок и деревянными гвоздями схватит. Поет сундук. Ну, погладит, вделает личину, а она со звоном. Мы с Татьяной еще малые были, ну и вертимся тут. Он, ничего не говоря, посадит обеих в сундук, да и запрет. Ну, это не помогает. Выпустит — мы опять то же. Он доски фуговать, а мы на верстак лезем. Стружки-то, они вон какие — вьюнышком, белые, сосновые. Мы их трясем, перебираем, а ему работать нельзя. Он снимает нас, а мы снова. Гнать жалко. Возьмет гвоздь да и прибьет нас обеих за платьишко к верстаку. А платье холщовое. Мы оглядываемся, а он молчит да делает. Со стороны хохочут: «Вот так и будете сидеть навсегда». Ну, визг на всю избу. Возьмет клещи, гвоздь вытащит, только и всего. Потом от верстака подальше, будь хоть золотые стружки вьюнышком. Сказки сказывал. Вот Елена Прекрасная, вот Жар-птица...

Одевайся, мой парень, и выздоравливай. Вишь, какие рубцы. Будешь ты теперь меченый.

Что прошло, считаю, как бы не было. Забыла... Ну вот нас двое: Александра с Гор да Татьяна с Гор. И попали в одну деревню. Наперед Татьяна. До шестнадцати-то лет. Вышла не к свекру со свекровью, вышла к снохе да к деверю. Старик-то был мотыга, скряга устрашающий. Женщина одна жила, работница. Потерялось полтора рубля, ее заподозрили. Жердочки в избах. Подвязал за ноги к жердочке и стегал вицей. «Отдай полтора рубля». И так не мог добиться,— не сказала. А потом нашлись — за божницей засунуты. Ну, эта женщина мало пожила. Перепугало* ее. Жил раньше-то деверь на железной дороге, и попались деньги ему золотые. Кто его знает, как попались,— может, кого придушил. Вот у него четвертная в углу стоит. Яйца наваренные — и никто не тронь. А жена, когда он домой придет, на постель к нему не ложись, стой всю ночь около. «Раз ты жена, ты подножье ног моих». Вот приезжает он раз в село на ярмарку, понравилась одна. Он ей серьги купил, шубку справил. Полюбезничал, домой приехал. Год прошел. Приезжает опять, и подвалилась, да и женила его на весь товарчик. Очень на лицо была удивительная. Повертела его, да и вышла за дружка. На другой год, реки вскрылись, он на ярмарку опять. Она с мужем к нему навстречу. С того еще пуще запил. Задолжал тверскому купцу под вексель полторы тысячи. Потом жена видит, дело неладно, вывеску переменила на себя: «Подойницына

Марья». Шильца, зеркальца. А он говорит, если дела не поправятся, на Афон богу молиться уйду. Потом она сама на ярмарку едет. «Не запьешь без меня?»—«Духу не выношу». Покуда ездила — все спустил. Ну, на Афон и уехал. Она пожила немного да померла. Осталась одна старуха, ее свекровь, да два сына. Ну, вот один женился. И другого женить надо. Тот, постарше-то, как бы за отца, утром до свету напялил дубленый полушубок, красным кушаком подпоясался, палку в руки, да и пошел торговать теленка.

Вот так и к Татьяне зашел. Сел к светцу, стал говорить с отцом, с матерью, да все косится на Татьяну. А Татьяна по воду одевалась. Пошли в хлев. Мать дверь открывает, а он стоит под навесом, на небо смотрит, говорит, скоро мороз хватит, и все прислушивается, как Татьяна черпает воду на колодце. Бадью она опускает ровно, не колыхнет, не заденет, в ушат льет — ни одну каплю на снег не расплещет. Прикатила она воду, а Никон взял у матери фонарь и светит им. Татьяна сует в ушат толстую палку, матери большой конец, себе маленький. И сзади стала. Никон поставил фонарь, да и говорит матери:

— Пойдем разговаривать. Товар я видел.

Ну, в избе они быстро поладили — теленок пошел в полтора рубля. А через два дня сватов прислал. Засватали. А я была у другой подруги в подневестницах.

Завтрашний день свадьба, ну, собрались гости и выбирают поезд. Ей и пришлось плакать. Вот села на долгую лавку да и стала выводить: «Мой родимый батюшка и моя ты родимая матушка...» Прочитала трогательно, голос-то звонкий, всех и прослезила. Много-то не плачут — уймут. Приехали на осьмнадцати лошадях. Видно, была тяжелее колокола. С колокольцами, с бубенцами, лошади в наборной сбруе. У самого-то сани проездные, с бархатом. Навез орехов, всяких сладостей, два бочонка вина. Изба-то подмыта, украшена. С полавочников полотенцы висят, красные ленты висят. Он под образа на поповскую щель. На нем жилетка суконная, рубаха кашемирова, на груди серебряная цепка, голова смазана маслом, волосы с затылка снятые. Потом он должен выкликать: «Татьяна Ильинична, подите сюда, сами покажитесь и меня посмотрите».

Будто не видала такого соловья, вышла.

А наутро понаехало еще больше. Деверь-то — ерш. У него глаза как у вора на ярмарке. Сноха-то — земляная лягушка. Шеи-то нет, сама-то коротенькая. А у старухи

руки до полу. Татьяне опять выть. Сначала к отцу с матерью, потом к снохе:

Ты скажи-ка, невестка милая,
Хорошо ли жить в чужих людях?..

Ну, сноха за словом не постоит:

Уж ты вой, моя голубушка,
Уж ты вой не отставаючи,
Горьких слез не отираючи.
У тебя личико не бумажное,
Горючи слезы не жемчужные.

Ну, только куда они пойдут, эти песни-то! Сколько дашь, я брошу... Дружка попал язычник. Он длинноликий да длинноносый, голова-то вострая — тычина тычиной. Сваха в клети подарки разбирает, а он с блюдом в руках жениХов дом хает (на блюде орехи да пряники):

Во светлой светлице все углы светятся,
На печи-то сугроб, а на полатях заиндевело.

Бабы да девки хохочут, а он-то ходит да им подмигивает, да все с наговором. Свах дарит и сватов дарит:

Сватушки тороватые.
Вы люди богатые,
Бороды широкие,
Карманы глубокие,
Орешки примите,
Молодого зятя любите.

Ну, расселись за столом, а под полатями стоит Егор и Татьяне платком знак делает. Провались, идол нечесаный! А вспомнила, как насмеялись, и жалко стало. Кто знает, как за этим будет? И деревня-то невеселая. И народ-то не нравится. А говорят-то так: «Аноша, умоленой, здравствуй», «Авдотья, малец-то жанился».—«Жанился, да уж и у мальца-то малец родился». Да все чавокают, чавокают. «Господи, как понимать-то буду!» — сидит за столом и думает. А тут девки да бабы песни поют, деньги выпевают. Жениху спели, он кошелек вынул да им три полтины дал. Ну, мало. Девки шептаться, а Татьяна тужить. Скуп, дух нечистый. Они дружке песню. Он с кошельком замешкался, а емv повторили:

Слышь, Никита, мы песню поем,
Тебе честь воздаем.

Ну и вся. Такая коротышка. Пели и свахам, и гостям. А всех больше жениху да дружке. Дружка-то на языке держится, а этого в пот бросает. Восемнадцать рублей девки набрали.

Спали на светелке. У нас, какая бы я ни была, никто ни гугу. Этих безобразиев не было, позоров, глупостев. Под утро выбежала из светелки да в сарай, в угол, да плакать. Где ни взялся — Никон. Постоял, постоял над ней, да и говорит:

— С браком попал теленок. Барыша не будет.

Как и где сплошала Татьяна — дело закрытое. Только с этого вся канитель и пошла.

Три дня за столом под шалью сидела. Потом по деревне народ скликать поехали. Парень в передок сел. Красные вожжи в руки, другой ряженый к нему задом да с метлой. Едут, по окнам шарят, приглашают невесту раскрывать. А по бокам идут ряженые. Ну, шаль сняли, положили белый хлеб на голову, унесли покрышку. А потом, в каких нарядах была, дружка повел за дровами. Положили три полена на руки — неси. Потом на реку по воду. А ушат-то четыре ведра. Да все в гору. Первый раз до пригорка донесла — вылили. Второй раз вылили. Ну и третий тоже. Кончилась эта процензурия, народ, кой был, разошелся, вот и поехали кататься. Муж-то пьян, он вожжи у извозчика взял, коней нечередом подтыкивает да все норовит в ухабы. Приехали в село, гостинцев накупил всяких, с молодой женой ни слова. А потом в поле ей узел в руки подал, велел выйти, лошадей хлестнул. Она бежать, а он-то хохочет. С Татьяны пот катится, а он лошадей гонит. Татьяна остановится, он остановится. Татьяне бы только в сани сесть — он гонит. Ну, так пять верст и бежала. Дома разделась, да посидеть бы, а у снохи дела по дому. Ну, вот и стали жить...

Свет моя волюшка, воля девичья,
Свет моя коса, коса русая,
Навеки волюшка доставалася,
Во единый час девичья миновалася.

Сноха — хозяйка, она про Татьяну все знает, ей все позволено. Деверь-то — балалайка бесструнная. Муж черствый, несочувственный да пьяница огорчающий. Он Татьяну бить, а деверь подзадоривает: «Ты бы в рожу: сначала справа, потом слева». Делал он Татьяне всевозможное худо. И на всякие мотивы мог говорить, только все больше с подковыркой. А совета от него никакого. У него какие-то

все выжимки. Как все равно вьюрок какой. И очень он восхищен был, когда у Семена с женой неладно. С детства они приучены из рукава есть. Под дерюгу гамазулю мяса и хлеба берет, он там и тискает и ужинать не встает. «Не хочет, спать лег. Не тревожьте его, у него сердце больное». Надо на работу идти, а он опять лежит. «Что такое?» — «У него кости ломает». Он ни с кем не считается. Стоит кринка молока, он берет и жрет стоя. И отец был такой издеватель. Блюдо на стол, половину съели, а он к себе тащит: «У меня,— говорит,— тоже такой аппетит предстоит». Он хохочет, и она хохочет. А Семен молчит: заспорь — отделят. С худой женой по миру находишься.

А старуха в отдельном блюде ела. Она к столу идет и ничего не замечает. Руки назади носила. Вся сведенная, горбатая. Деньги у нее были припрятанные. Она их куда ни уберет — все найдут. Найдут, обменяют, вместо десятоі тройчатки, пятерки положат, лишь бы счет был. Цифры не знала. Считала, сколько бумажек есть. Ерш и над ней подшучивал. Любила старуха выпить. Вот повез он ее в Тургиново. Там купила четверть вина. В задок ее поставила. Приехали домой. Она хвать-похвать — четверти в задке нет.

— Где четвертная?

— А ее, бабушка, не было. В бору ехали, и там такая сила, она вино оттягивает, вытягивает и уносит. Через которое время вино выпьет и на трубу, на крышу посудину пустую ставит.

И старуха ему поверила. Лет под восемьдесят ей было. Ну и все ходит, на трубу смотрит, а четверти не видно. А он пьянствует эти дни. Потом пьяный-то вечером штаны снял, сел на помело, вокруг избы бегает и ухает. Старуха вышла в сени, увидала это да свалилась. А он все ездит, из себя колдуна доказывает. Старуха очнулась, смотрит — морда знакомая, а узнать не может. Потом молитву прочитала да говорит:

— Никон, ты?

— Я, бабушка.

— Что с тобой?

— А вот эта сила шла за тобой, да попал я, ну и расплачиваюсь. Никак не пущает. А мне холодно.

Тут народ собрался. Помело у него вырвали, одели, в избу завели. А старуха слегла. Вот они за ней ходят.

— Бабушка ты родная, уж как мы тебя любим. Не оставь сироточков, подпиши деньги.

Ну, подцепили бумагу, да есть ей и перестали давать. Она им уж и лишняя. Сама-то очень брезговала. Бывало, старухин платок или что, так она руками не возьмет, а все кочергой. Белья-то ей не выстирают, все Татьяна. Так старуху и уходили.

С деньгами он из себя выходит. «У меня природа отцовская. Ежели я погляжу на человека — вижу в нутре что. У меня сапоги — накатной товар. Жена моя Пелагея Трофимовна гулять пошла — небо красивое — выбирай фасон платья». Он на свои деньги новый дом построил. Он живописца из города достал. Живописец на стенах березы, елки разводил. Раньше чуйки носили, одежда была такая. Сюртуки длинные по пятам карманами били. В чуйке живописец ходил. Волосы черные по плечам. Ерш говорит:

— Можете вы с меня и с моей супруги портрет снять?

— Могу.

Вот оба разоделись. Палаша с ребенком. Пока самовар кипел, он портрет на стену сделал. В клети четвертная вина стояла. Раньше к четвертной кружечку давали. Живописец за красками туда часто ходил. Раз Палаша пришла, в четвертной пусто. Она Ершу. Ерш на Семена-пьяницу: «Я,— говорит,— хотел и твой портрет на стену за свои деньги заказать, а ты вон что делаешь». Начали ругаться. Живописец говорит:

— Хозяева, не ищите вора. Вор тут, рядом с вами сидит. Это я выпил. Пойду краску разводить, а у меня сердце не терпит.

Хмурый такой был. Девицу он обманул, она страдала. И самого, видно, совесть мучила.

Ершу это удивительно.

— Что,— говорит,— ты за человек: сам взял и сам сознаешься. Я тебя никак не пойму.

— Вы на меня не пеняйте. Я вам деньги выдам. Вот, пожалуйста.

Ерш деньги спрятал и больше о четверти ни слова. И о портрете брата с женой не вспоминает. Так все стены живописец и развел деревцами разными.

Семен все молчит, боится, что отделят. Работать идут украдкой. Вот и догадывайся, куда ушли. Он в пожню, она в другую. Люди скажут, найдет, да уж поздно. Детки родились. Умирали. При этой при жизни не плакала.

Мы очень с ней в лес любили ходить. Как бы ни измучились, как бы ни устали, в лес зашли — отдых. Ходим и

думушку думаем, плануем. Ведь у нас как! И елка с сосной, и осинка, и черемушка, и береза, и волчужник, чего-чего нет. Грузди — лохматые краюшки, подосиновики — красные головы, подберезовики — темная шапочка, дуплянки синие, сыроежка лиловая, красная, которая синяя. А в бор зашел — там моховик. Во мху возле сосенки стоит. А то за ягодами пойдешь — ступить некуда. Клюква — крупная, челночком, клюква — плоская, колесиком, и земляника, и черника, и брусника всякого сословия. Ходим мы по лесу и по пожням за волнушками и к реке уйдем. И вот как всякая трава по-своему пахнет, не ушел бы!

Пришла осень. Стал лист на березке падать, стали рыжики родиться, а она голову под крыло. Забил ее кашель. Вышла раз вечером за ворота, хрипит, платком закрывается. Идет бабушка и спрашивает:

— Кашляешь?

— Кашляю.

— Попей травы трефоли. И мокроту отбивать будет, и грудь обмягчит.

— Где ее взять-то?

— Приходи ко мне.

И указала деревню. Она к ней украдкой пришла. Старуха ей дала травы четыре сорта. Вот этой трефоли — три рогатки такие растут на болоте, три листа. Потом трава — мать-мачеха. Эта по реке растет, по бережку. Потом трава — иван-да-марья. Потом можжевельные ягоды. И вот эти четыре сорта от всех болезней. Знала она много. Говорят, умела питье приготовлять из сорока трав от всех болезней и усталости... Дала и велела три раза в день пить. Татьяна ей заплатить хочет, а она не берет.

— Это я тебя жалеючи.

— А разве ты меня знаешь?

— Я, матушка, все знаю. У меня три ангела: один слышит, другой видит, третий все мне скажет.— И смеется: — Как же не знать — в одном приходе! Я знаю, о чем ты и думаешь.

Татьяна испугалась:

— О чем?

— Тебе из семьи уйти хочется.

— Тебе как известно?

Старуха ей тихонько руку на плечо:

— Для этого ума на грош не надо. А я тебе помочь могу. Есть у меня в Твери один знакомый человек, покло-

нюсь ему, он тебя устроит. В номерах прислугой будешь.

Татьяна ей спасибо. А старуха задумалась.

— Подожди радоваться, как уедешь.

Вот пришла она домой, к мужу с поклоном:

— Отпусти, дай паспорт.

— Ты меня бросишь.

— Нет, не брошу, только отпусти. Денег заработаю, и отделиться не страшно.

— Подожди до весны, дай подумать.

И стала ждать весны.

Ну вот, это действие все. Иду. А этот парень строит да все поет, на тебя похож. Такой же сутулый и губастый, только на лицо покруглее.

Глава третья

Все пишет, что сделаешь! Приезжай лучше сам. Всего насмотришься. У меня в огороде всю красоту увидишь. Калина зацветет, черемуха. Тут, глядишь, одуванчик назначается, там ревень кудрявится, там мать-мачеха пошла, ромашки гибель целая, хоть косой коси. Одолень-траву мы с тобой найдем,— эту, говорят, для счастья иметь надо... Увидишь, как и яблонька одевается. Она, как коленкором покрытая, все белым, все белым. Ну прямо живой, живой цветок неописанный. Все-то я тебе покажу. И мужиков наших увидишь, этих котов-мурлыков...

У нас вешнего Егорья празднуют. «Батюшка отец, покропи моих овец». Егорья носят на высоком шесте, с конца деревни видно. Вот народ к часовне собрался. Семен видит Егорья, а она не видит. Да и замешкалась со скотиной, с людьми не успела выгнать. Схватил в сарае, стал волочить. Вырвалась, заметалась да в дыру на лестницу. Ну, понятно, руку сломала, грудь повредила. Привел в чувство, запряг лошадь да в больницу. До больницы десять верст. Мостики да овраги. Ее трясло. Все стонала. В лес заехали, ему потребовалось выйти. Стал потихоньку слезать с телеги. Татьяна смотрит на него, потом на дорогу, да задрожала и шепчет:

— Ты подальше. В сторону отвези. Никто не узнает...

Он догадался, шапку снял, начал креститься, да, не слезая с телеги, и погнал дальше.

Доктор-то Михайло Петрович Бороздин, молодой, голосистый, в костях широкий. Все покрикивает, а лицо у него доброе и взгляд хороший. И с ним все хожалка. Голову на-

бок, как пристяжная. Семен на его халат смотрит, а в глаза посмотреть не смеет.

— Вот привез. Стало быть, ледащая. Все хворает...

Доктор все на Татьяну да торопит ее нести. Он оператор и по этому делу очень горазд был. Семен из кабинета шмыг. Ну, потом ему передают, чтобы ехал домой.

В палате еще две бабы. И почему-то у доктора взгляды на Татьяну другие, чем к этим двум. Вот придет вечером в обход, сядет к ней и смотрит.

— Муж-то бьет?

— А то нет?

— Часто?

— Нет, не часто, когда раз в день, когда и не одного.

Он помолчит и снова:

— Тебе сколько возрасту?

— Ну, двадцать семь.

— Ты совсем молодая...

А вечером ей хуже. Тут и к сорока. Тут и сорок. От тяжелого страдания у ней уста запеклись. Чулком с губ кожа лезет. Он опять к ней и сидит. Татьяна глаза откроет, а он:

— Здравствуй. Узнала?

— Узнала...

А потом пришла хожалка, она ее не узнала. Думает, Палаша, сноха, эта земляная лягушка.

Она говорит:

— Доктор, я умру?

— А тебе не хочется?

— Да уж все равно. Если бы как в девках. Сейчас меня не интересует ничего. Как идет день, как идет ночь — все отпало.

— Ничего, ты поправишься.

— Может, поправлюсь, только когда же лучше будет?

— Этого я не знаю...

Да с тем и из палаты пошел. На другой день опять идет. Руку берет, пульс проверяет.

— А глаза у тебя, Татьяна, хорошо смотрят.

— Нет, не хорошо, хуже. Умру. Смотри на лицо: пятно белое, пятно красное, а нос синий.

— Это ничего, ты поправишься.

А дышала усиленно. Не по череду стала дышать, а с отрывом. И сознание теряла. Потом как-то очнулась, приоткрыла глаза — он стоит и еще другой в халате. Тому другому:

— У нас в России баба вымирает. Веку ей совсем нет...

Видят, что очнулась, да к ней. А Татьяна говорит:

— Михайло Петрович, я нервничаю, не могу с собой совладать.

— Что с тобой, Корсакова?

— А я слышала, как вы обо мне говорили.

— Нет, это мы не о тебе.

С тем другим переглянулся.

— Это мы о других. А ты встанешь. У тебя глаза хорошо смотрят.

По глазам определил. Встала. В честь благодарности ему полотенце вышила: береза лежала поперек, а вокруг березы дуб обвился, тоже сваленный, с желудями. На мылах был рисунок взят. С обертки. Рисунки раньше на мыле печатали, который хороший, бумажку эту обдерешь, а то бросишь. И вышивала Татьяна хорошо. Ну, вот поправилась. Пришел опять.

— Прощай, Корсакова. Будь здорова. А я тебя,— говорит,— запомню.

— И я запомню. За всю бабью жизнь свет увидела впервые в больнице.

Тут у нас случились события. Тот Татьянин дядя, Менцифей, что письма писал, соцким ходил. Вот он рестанта вел. Руки у рестанта напереди скованные. Он этими руками размахнулся да дядю по уху. Тот пал.

Сначала просил:

— Отпусти в лес!

— А там чего, в лесу-то?

— Птичков хочу послушать, пташечков.

Дядя-то рот открыл, а он ему и заехал.

Мы с Татьяной по ягоды ходили. Были тут у нас в лесу,— кто его знает, с кех пор: с литовского разоренья иль как ямы нарытые,— и стоял как бы памятник белого камня. У этого камня мы все отдыхали. Вот пришли, сели, он и выходит из леса. Мы бежать, а он кричит:

— Не трону. Дайте поесть.

Мы остановились, смотрим, и он смотрит. Совсем молодой, из себя тончавый и в плечах узкий. По личности и обряду из мужиков. На одной руке цепь висит, а на другой нету. Рубаха на нем ситцевая, и пуговицы суровыми нитками пришитые.

— Чего боитесь? Я вам вреда не сделаю.

И к нам. Сел на корень, руки опустил и нам рядом по-

казывает. Сели и мы. По куску пирога отломили. Ягод давали, да не берет. Татьяна спрашивает:

— Ты за что взятый? Убил кого аль ограбил, аль еще как?

— Нет, никого не убил и не ограбил. Я за землю страдаю.

Мы больше спрашивать не смеем. Он ест, торопится и по сторонам смотрит.

— В деревне расскажете?

Мы с Татьяной переглядываемся.

— Если расскажете, меня поймают и повесят.

Татьяна к нему:

— Ты скажи, что с землей-то сделал?

— Ничего не сделал. Как земля лежала, так она и лежит. Только я подбил своих мужиков отнять ее у барина.

— Как так можно? Ведь это его!

— Нет, земля не его, богова, и никто ее купить не может.

Мы с Татьяной не понимаем, а он торопится:

— Меня искать будут.

А потом к нам:

— Расскажете?

— Нет, не расскажем, иди с богом.

Он нам руку подал, поклонился и в лес пошел. Мы все стоим. Не то приснилось, не то въявь видели. Пошли домой, да все молчим и рестантика вспоминаем. Не убил и не ограбил, а покою ему нигде нет. Тут Татьянин сосед Филимон навстречу.

— Что носы повесили? Аль кого видели?

— Нет, никого не видели...

— Политический в лес сбежал, вы разом не на него ли попали?

Нас обоих в краску. Филимон домекнул. Пристал, грозить начал. Ну, мы и сказали. Пошли всей деревней, а к вечеру его и ведут. Вот приехал урядник, с ним два стражника. У старосты в избе сидели. И беглый тут. Дядя сидит завязанный. Урядник-то по столу стучит, его спрашивает. Ну, он одно:

— Затмение пало и упустил...

Потом за нами пришли. Рестантик на нас из угла смотрит, лицо туманное. Потом урядник подозвал нас к столу:

— Спасибо...

Не помним, как из избы вышли. В угол так и не взглянули. Вот сойдемся после:

— Рестантика-то повесят?

— Повесят.

И все-то этот рестантик. И нам покою от него нет.

— Душа-то его плачет, Татьяна. Иди к знакомой бабке.

Она к бабке. Со слезами: «Бабушка, рестантика-то не повесят?»—«Не знаю, солнышко, может, и повесят. А тебе жаль?»—«Жаль».—«А ты не тужи. Ему там, может быть, лучше будет. Ему бог все грехи простит». Нет, она все плачет. «Что делать, бабушка?»—«Сходи к заутрени. Свечку поставь. Помолись».—«Я не знаю, как его и звали. За кого молиться-то?» Бабушка подумала, да и говорит: «Как ни помолишься, все равно бог услышит». Мы с Татьяной к заутрени. Две свечки купили. Поклоны бьем. «Спаси и сохрани рестантика, дай ему на том свете светлое место». А все легче нет. Долго мы о нем думали. И даже во сне снился. Сидит на коне, наши пироги ест, а лицо синее...

Прошло так с полгода. Ходит по деревне нищая старушонка. Ну, ходит и ходит. У Татьяны в избе на коник села, ночевать просится. Изба большая, отказать неловко. Снохи дома нет. И мужа Татьянина нет. Один Ерш на печке лежит, брюхо греет. «Да ты чья будешь-то?»—«Я, матушка, дальняя, из Подолов». Татьяна к ней: «Не знаешь ли там такого-то?» Рассказала, какой из себя. Старуха молчит. «Знаешь, чего не сказываешь?» Старуха шепотом: «Он сосланный».—«Да жив?»—«Нет, не жив. Говорят, повешен. Об этом говорить, матушка, не полагается, ведь он политик». А Ерш-то не спал. Все слышал. Слез с печи, на старуху покосился, прошел к столу. «Ты, бабушка, кто ее знает из каких, шла бы в другую избу. С тобой греха наживешь». Старуха говорит: «И на том спасибо». Оделась, да и из избы вон. Татьяна за переборку, да коровай в подол. Догнала старуху, насильно ей в котомку сунула. Старуха не понимает, смотрит. Татьяна котомку поправляет да, ничего не сказав, пошла. С тех пор она Ерша отравить готова. А виду не показывает. Сердись, не сердись — жить-то в семье надо. Сойдемся вместе, погорюем. «Ехать надо, Александра».— «Просись у своего ворона...» Вот она снова к Семену: «Отпусти».— «Нет, не пущу, ты меня забудешь». И больше говорить не стал.

Ты как там написал? Он напишет — в Архангельской губернии событья были. Нет, в Тверской. Село можно назвать Переслегино. У вас таких и названьев нет. Что ж, я тоже требую своего. Говорила-говорила, и нашу деревню

не упомянут! По-теперешнему в Калининской области, а район Тургиновский. Так и пиши, а то не поверят.

Глава четвертая

Есть душица-трава, под кустиком растет. Она курчавая, на ней цвет коричневый, а будылки, на чем растет,— тоненькие. Когда родишь, она нужна. В кувшинец воды нальешь, былочки три положишь, оттопишь, она темная, она душистая. Когда она не созрела, она все равно как серенькая, а будет стареть, на ней цвет темный-темный, коричневый. Не один цвет, а много, цветы рассыпные, вроде зонта. Все отросточками, отросточками. Она без листьев. Может, они осыпаются, может, такой природы. Расцветает поздно. Бывало, идем на поле, увидишь — душица стоит, нарвешь. Ущипочками, урывочками идешь и рвешь на ходу, а он тихо едет...

Стану я тебе о травах, о всяких цветах рассказывать — хошь — слушай, хошь — нет... У меня сегодня настроение такое. Вот череда-трава, невысокая ростом, на макушечке цветок желтый. И все листики, листики, на одной былочке. Вот полынь горькая, душу затыкает, лезет в рот. Есть трава-цыганка. Она — мягкая, суковитая, толстая, в палец, будылка. Макушечка лохматенькая, потрешь — зернышки и черные, и красненькие, на макушечке махончики, зеленые лохматки... У каждой травы цвет к петрову дню. Ландушки, незабудки — те к троице. Каждая трава, каждая былочка где-нибудь из земли„ из-под камня, из-под стены, где она сможет,— там и выйдет. Цыпленок выводится, отсидит, проклюется и тикает, уж голосок подает. Почка на дереве, придет время, скорлупка лопнет, одной минуты лишней не будет сидеть, и уж листик развернулся, как цыпленок. Так и всякий цветок.

Вот они копны носили. Татьяна душицу подбирает да да на кочки складывает. И все молча, молча работает. Семен увидал, глядит на нее и хмурится. Пошли домой, он говорит: «Что не сказала?»—«А разве этим поможешь?» Легли спать, ей не спится. Трое как-нибудь, а этот еще в утробе нежеланный. Будет с пеленок немил, станет ходить грязный, неумытый, чужой, привыкнет смотреть исподлобья, может, будет проклинать ее за то, что его родила. А может быть, он будет и хорош, и умен, и всю природу их прославит, будет с ним много радости. Вспоминает, как те росли.

«Мама, я сам вырос?»—«Сам. Знать, на лозинке. Был ветерок сильный, ты и скатился с ветки». Вспоминает, как они хворали. Так не вырастишь. Ребенок, как утренняя роса — то ничего, то заболеет, то опять ничего. Лучше бы самой так-то, чем видеть, как мечется дите, как оно страдает.

Вот как она все это подумала — и реветь. На другой день воскресенье, бабы ходят наряженные, столько песен, а она больна. Поговорить ей не с кем. Пошла на другой день в пожню, стали копны носить, она и встала наперед. «Чего ты?»—«Так надо». Сказал бы еще одно слово, не взялась, промолчал, она копну подняла, охнула, да тут и повалилась...

Горьки родины, да забывчивы, а этого никогда не забыть.

Ведь на бабьи слезы не смотрели. У каждой такое свое было. Первые детки — соколятки, последние — воронятки.

Лето было сухое, везде горели леса. По деревне дым стоит. Хлеб на корню сохнет. Все от него отпадает, какая-то ржавчина нападет на него. Ни зерна, ни соломы. Бывало, полеток хороший, сноп-то не подымешь. Набористый. Амбар полнехонек набьешь битым, все равно как водой нальешь. Овес — зерно под зерно. А просо — ни соринки, ничего нету. Она ведь какая, кисть-то. Отвисла до самой земли. Чистая, ядреная, как золото, как ожерелье. Хоть на иголку нижи. Кистистая, тяжелая, весистая. Так и нагнулась. Из одной кисти намолотишь пригоршню — не нарадуешься. А тут одна трава уродилась. Зерна — как маковинки. Рожь, бывало, буйная. Начнешь косить — не прорежешь. Стеной стоит, матушка. А тут маленькие бы́лочки на полосе, зернышко вот такоечко. Подсыхает лен, конопель, нет ничему ходу. От сухого, пыльного сена скотина стала болеть. Кони худо едят, у них в горле червяки завелись. У коровы язык точит ящур. Все беды и невзгоды. Стали люди замечать, колдун Тимоха Холодок по полосам ходит. Колоски, былочки в кулак перевязывает, а перевязывает со словом. Ходит по загонам и в елочку, в горсть берет. В этом хлебе, говорят, не будет спорости.

Собирались мужики караулить его дворами, да, говорят, нешто укараулишь? И будто бы видят его по ночам, в двенадцать часов, в самый спень. Едет тройка, лошади рыжие, и из-под копыт огонь. Вот поужинают, все запрут, лягут. Утром просыпаются — все открыто, на улице стол перевернут. А видели, будто бы собака выбегала из окна. Перемет-

чица... Теперь-то и мне смешно, а тогда не до смеху. У нас была вдова Алена Махова, такая чудесница, хохотунья. Вот после троицы, в русалочью неделю, пошли мы с Аленой просо полоть, видим — мужик едет. Алена на лозинку влезла и качается. Виски распустила, юбку под кустом оставила. Мужик увидал, видно, вспомнил, что русалочья неделя,— как по лошади трепанет! Мы прямо обезживотели.

Ну, ребята шли вечером, им Холодкова дочь Маша навстречу. Они остановились. Один раз в нее пырнули камнем, другой. «Вы зачем?»—«А ты кто?»—«Разве не видите?» И охает. «Вы со мной что сделали? Вы мне ногу повредили». Стоит и охает, на одну ногу клонится. Они ничего, не верят. «Ты,— говорят,— колдунья, тебе ничего не сделается, иди в трубу, кличь».

Вот так ее невзлюбили. А девушка была наглядная, и роста высокого, и на лицо хороша. Иной раз пойдет на рынок, а ребята на нее. Вот она все сторонкой и из-под бровей смотрит. Так у этой девушки вся молодость прошла не в радость. Вот она тот раз отцу пожаловалась на ребят. Он на сходку пришел. «Вы мою дочь обижаете, меня сердите. Если б вы со мной добром, я бы всю скотину вылечил». Мужики молчат. Ерш говорит: «Как ты будешь моего коня лечить?» Тот вместо ответа: «Зови двух мужиков».

Ерш мужиков привел. Коня обротали, вывели, втроем держат. Вот он сделал из хвоста щеточку на палочке и этот мазок окунул в чистом дегте. Мужики лошади рот разевают. Один за ноздри, другой за салазки. Доктор тоже будто бы так делал, а этот Холодок усмотрел и сам себя проявил. Он туда, в горло, со щеточкой. Лошадь фырчит, не дается. Полез он туда, мерин прыгнул, завертелся. Он больше не полез, видно, сдогадался, что горло проткнул. Лошадь на дыбы взмахнула, мужиков подняла, так и откинула. Встала в угол и все фырчит, и под санками у ней стало пухнуть. А Холодок сказал: «Обойдется»,— да и ушел.

Часа четыре конь стоял. Его опух задавил. Татьяна подойдет, он ей голову на плечо и вытягивает шею. Овса дала, схватил с жадностью, а проглотить не проглотил, так все ссыпалось обратно. На перекладину голову клал, подойдет опять к ней, на плечо. Потом на дыбы — и как стал на забор махать! Она — кричать. Все сбежались. Он раз за разом на забор взмахнул, да на четвертый отшибло его от забора на спину. Грохнулся, зубы оскалил и стал биться

ногами. Потом вытянул ноги и затих. Лошадь была тысячная.

Семена дома не было. Он пришел, Ерш говорит: «Ты на меня не сердись, такой, видно, коню конец пришел». А Семен: «Ты его погубил, пускай на твою долю и ляжет».—«Нет, я на это не согласен, лошадь была на мои деньги купленная».

Семен говорит: «Давай делиться».—«Как делиться-то будем? Вашего ничего тут нет. Новую избу я тебе не дам, сам построил. Клеть осталась после бабушки, бери, переселяйся. Жеребенка еще дам».—«Давай, все равно». Так и поделилась. «Мил тебе сосед?»—«Мил».—«А не мил, так и сменил...»

Поставили избушку в одно оконышко и стали жить на другом месте.

Тут война подошла. По деревне стон стоит. Ребят на фронт гонят и мужиков гонят. Дошло дело до моего. Дошло и до Семена. Ершу удача, он как-то отвернулся.

На поезд... И вот как бабы ревут, и собаки лают. На поле-то мужики поглядят, поля-то ржавые, и все-то горит, все гибнет.

Возле ручку* идут жены молодые,
Во слезах пути-дороженьки они не видят,
В возрыданьицах словечушка да не промолвят,
Не смочить вам сырой земли да слезами,
Не напоить сине море горючими...

Откуда он одинокой солдатке, хлеб-то, пришел? Ветром прикатило? Придешь темно-претемно. Тюрею закусишь, да и ляжешь на жнивье. Солому объест лошадь за день, эти отруски-то постелишь и кувыркнешь. В головешке кулак, а под бок так. За вечер запотеешь — и косишь, и вяжешь, рубаха на тебе от пота и грязи станет как кожаная. Пот-то соленый. Ляжешь, кровь остывает, прикроешься дерюжкой, одежку возьмешь против невзгоды. Руки и ноги гудут, сколько щеп из рук выкопаешь. И на небо взглянешь, уснешь, как умрешь, только утром встанешь и видишь, что звезды не померкли. Как чуточку зорька размахивается, перепел закричит, встанешь, чтобы холодной воды напиться, а то днем-то вода теплая, ее пьешь, а она обратно лезет. Руки все исколотые, лапти не завяжешь, сучишь, крутишь, берешь с собой ветошечек, ниток, обвяжешь палец, который нарывает...

Довольно на сегодня. Пойду, пока солнце греет...

Глава пятая

Ладно ли, неладно ли, все точечки ставь. Это «б», что ли, вывел? У меня «а» не выходит настоящее. Кружок, отступя, палку поставлю. После пришивать приходится. Я сегодня нарядная, все равно как молодая. Не похожа? Ну, зато у меня языку девятнадцатый годок.

Я, бывало, корову погоню, народ глазеет. Убиралась хорошо, подоткнусь статно. И вот, чтобы я по всей слободе-то в наряде пробежала, мне: «Гони до пастуха». Хочется всем посмотреть молодайку, ну, вместе с народом и гонишь. Наряд-то свадебный носила я недели две. Убранная, наряженная, как не посмотреть! Домой приходишь, скорей все снимаешь, надеваешь одежду расхоженькую и принимаешься за черную работу.

Без коровы бабе житья нет. Деньги с Ерша она присудила. Деньги — они с крылышками. Они скоро разлетаются. Мы с ней на базар пошли. Вот на базаре стоит коровка, к телеге за рога привязанная. Статная, красивая. А рога у ней гладкие. У других сколько теленков, столько рубцов. Один рубец у ней родовой, как она сама на свет вышла, а эти как теленочек — так рубчик, так прямо по рядочкам. «Почему в ней рога такие гладкие? Что-нибудь есть?» Которая продает, говорит: «Она первым теленком. А эти рубчики, говорит, не всегда бывают».

Вот мы ее берем. Она не идет, брухается. Народ подошел. Кто говорит — умыть ее надо, кто говорит — свой платок положить на крестцы, кто — веревкой спутать. Вот мы веревку ей на рога намотали, кое-как привели, на двор пустили.

У ворот ей прямо хлебушка посолили, дали. Так полагается.

— Пойдем, Александра, пообедаем.

Обедать собрались, она опять говорит:

— Ну-ка, дай гляну на корову.

Как открыла дверь во двор, а она во всю закутку цокает, сама себя сосет. Под ней лужа молочная и на губах пена. Она не успевает глотать, шапка шапкой пена, пузырями.

— Купили самодойку, Александра.

— Зато статна, тебе понравилась.

Корова на дворе, а вода на столе. Потом погнала она ее в стадо, привязала голову к коленке,— все сосет. И как

мы над ней не хитрили! Лубок-фанеру согнули, надели на шею, чтобы через него не достала. Пастух:

— Опять твоя корова балует.

Мы в эту фанеру набили гвоздей. Всю шею исковыряла в кровь, а все сама себя доила. Дорогой эту фанеру порвет, как пьяная баба растрепется. Все на ней перервато, все на ней мотается.

— Глядите, наша барыня идет, наша невеста. В ожерельях идет, в ленточках...

Смотреть страшно. Она любую веревку порвет на себе, а свое сделает. И продавать нельзя — вся-вся шея в струпьях, гвоздями исковырянная. Оставит ее дома, привяжет к столбу, подлечит. Она за ночь раз пять пососется. Голову подогнет, ноги поднимет и цокает на весь двор. Она вокруг столба виляет, доиться не дает, себе оставляет. Одна и не доила. Я приду, заткну ей два пальца в ноздри, тогда смирнеет и стоит. Знать, ей неудобно дыхать.

У нас большая дорога. Много людей мимо нас идет

Мы с Татьяной любили пускать нищих. Но только не мужиков, а женщин пускали. Покормишь, дашь старую рубашку, помоется — снимет с себя всю скорбь. А тут ходил побирушка, старый старичок. Она его пустила. И вот он все за ней примечает:

— Горюешь?

— Горюю, дедушка, жизни мне совсем нет. Одна у меня коровка на дворе, и та такая-то неладная.

Вот она ему жалуется. Старичок подумал и говорит·

— Я твоему горю пособить могу.

— Что надо возьми, дедушка, только помоги.

— Нет, мне ничего не надо. Возьми ей вымя дегтем помажь. Да и не один раз, почаще, почаще.

— А как же, дедушка, ведь молоко будет порченое?

— Это ничего. Молоко ты будешь на землю выдаивать, такого убытку не жалей, после вернешь. А если так не сделаешь, молока совсем не увидишь.

Вот она сразу сбежала на двор да ей все соски, все-все густо намазала и спать легла. Утром корова ревет, по двору мечется. А стала проверять, ничего не тронула. Старичок спрашивает:

— Правду говорил? — И посмеивается.— Ничего, потоскует да привыкнет.

Вот она стала так делать и корову выправила. Людям это удивительно. Она все шутками:

— Я колдовать умею. Я как Холодок: помогаю травами, заговариваю и составы составляю.

— Помоги мне, меня чего-то посередке схватило.

Ну, посмеются, да и разойдутся. Никто ничего не знает, а она не сказывает. Случись молоко сдавать, узнают, такого-то, пожалуй, не примут...

Через дом от Татьяны Тявка жил. Мужик чудной, хрипучий какой-то. Лохматый. Детей у него целая куча: Ванька, Сашка, Никитка, Колька, да еще похоронил столько. Бывало, встретится:

— Здравствуй, душа моя.

— Здравствуй, Михей.

Чудно мог сказать. Пошутить любил и работать любил.

Одолел Тявку нарыв. Да злой, страшный, его ничем не возьмешь. Он придет с работы и все не спит, все охает. Жена у него Татьяне смеялась:

— Можешь нарыв на спине вылечить?

— Могу.

— Да ты как?

— Как Холодок, так и я: наговорю, серебром обведу или ножичком, вот и пройдет.

Сама смеется.

— А ты правду возьмись.

— Ладно. Неси вина. Только смотри, от моего леченья сладко будет.

Тявка говорит:

— Хуже этого не будет, я сна лишился.

Вот она тряпку в вине намочила да ему туда пришлепнула. И жене наказала строго-настрого за ним следить, чтобы он никуда не ходил, не двигался и не стонал, а то все дело испортит. Жена, как наказано, выполняет. Тявка говорит ей:

— Ты хоть посидеть мне дай.

— Нет, нельзя, не велено.

У него рвет, терпенья нет, а стонать не велено, так он рот откроет и, как собака в жару, головой покачивает.

Тявка день лежит и второй лежит.

— Сходи за Татьяной, больше не могу.

— Нет, лежи.

Она ему еще вином смочила. Лежит Тявка еще ночь, а утром его жена прибегает к Татьяне.

— Встал, воскрес!

Вот они обе посмеялись. Тявка после ее встретил и тоже смеется.

— То-то,— говорит,— настоящие колдуньи так не делают. А сколько я мученья принял!

Татьяна один раз пришла на сходку, да все и рассказала. И про корову, и про Тявку. Все хохотали, а Тявка всех больше. Татьяна говорит:

— Не станете меня больше колдуньей звать?

— Нет, не станем, ты нас потешила.

А тут один мужик, бобыль, наружностью вроде цыгана, его все Копченым звали. Он выступает и говорит:

— Ты бойкая, к тебе эта кличка не пристанет. Я, бедное горе, всю жизнь за Копченым хожу. Православные, даю пять рублей на водку, не зовите меня Копченым, зовите Беловым.

Мужики смеются:

— Вы что смеетесь? Я по чужим людям много ходил, у меня руки золотые.

— Да что ты умеешь делать?

— Я две специальности знаю. Первая специальность — могу кирпич обжигать. Вторая специальность — могу горшки делать, и цветошники, и кроликовые плошки.

— Это,— говорят,— хорошо. Надо выпить за твое здоровье.

Водку у него выпили, а Копченым все иногда звали. Вот мы после того встретим Белова и все подшучиваем. И он с нами.

В петров день пришли на ярмарку. Белов увидал нас, спрашивает:

— Что не покупаете пряников?

— Да не на што.

— Я вам по гривеннику, а вы меня по разку поцелуйте...

— Ладно.

Дал по гривеннику, пряников купил, пошли домой, смеемся.

Вечером она с меньшой девчонкой дома. Больше никого нет. Смотрит в поле, от гумен человек идет. Идет и все на ее окна посматривает. Андреян Белов. К дому воротит. Она ворота на запор. Подошел, дернул да к окну.

— Ты зачем, Адреян Егорович?

— А помнишь, посулила-то?

— Тебе не стыдно? Сгинь с глаз, я не такая.

— Все равно еще приду...

Дело под осень. Сидит вечером за прялкой, ребятишки спят. На улице дождь. Все дороги стопило. Кто-то стучит. Зажгла фонарь, вышла.

— Пусти обсушиться. Огонек увидал, зашел.

Голос незнакомый.

— Да ты кто такой? Я одна баба дома, пустить не смею.

— Я странник. Из Иерусалима. Богу молиться ходил.

А ведь у нас с Татьяной в то время кресты были большие, молитвы толстые. Дверь открыла — Андреян.

— Будь ты проклят!

Сама к двери идет.

Зашли в избу, он сел на лавку.

— За посуленным пришел. Что станем делать?

— Не знаю, что станем делать. У меня теперь желание отпало. Не под час пришел...

— Не смейся. Ты у меня всем довольная будешь.

Достает из кармана горсть пряников, достает другую да и третью.

Она испугалась.

— Убери!

— Нет, не уберу. Ты не бойся. Я тебе не за это. У меня о тебе душа болит...

Под скатерть что-то сунул и из избы вышел. Она сидит перед пряниками, не знает, куда их деть. Руку под скатерть, а там три рубля.

Встречается с ним.

— Андреян Егорович, три рубля унеси, и пряники нетронутые.

— Нет, не возьму и тебя больше тревожить не буду...

Так и не бывал.

Разве мало для солдатки искушеньев!

Тут один раз приходит сосед Филимон.

— Живешь-то худо?

— Да худо. Ничего нет.

— Завтра у меня два мешка ржи увези.

— А это за что мне рожь-то?

— Да так.

— Так? Так-то, поди, неладно будет.

— А чего неладно, у меня много.

Да деньги на стол.

— А это зачем?

— Это тоже так. Сапоги надо — кожи понеси. А то готовые бери.

Потом стал закуривать, к окну отвернулся да говорит:

— Давай будем жить вместе. У тебя все будет. Я свою жену век не любил.

— Как жить-то станем? Ты пожилой, я молодая, дело-то не выйдет.

— Ты не думай, я еще в силах.

— Нет, я не о том. Что люди-то скажут?

— А тебе зачем люди? Ты будешь жить хорошо.

— А вдруг у меня муж придет?

— Муж придет, знать не будет.

— Нет, я не могу решиться. Дай подумать.

И ушел. Немного времени прошло, опять приходит. Восьмушку чаю приносит, сахару, кренделей.

— Надумала?

— Нет, я еще не надумала.

Так и идет время. Он все ходит, все носит, а она все не надумала. Мне рассказывает. Смеемся. Один раз пришел, я на печке у нее лежала. Избу осмотрел, ребятишек отправил играть на улицу и ей говорит:

— Тут в сенях, за кадкой, я кожу бросил. Вырежь сапоги. Для себя делал. Может быть, надумаешь...

Она мне:

— Слушай, Александра, какой добрый человек нашелся. Проси и ты, и тебе на сапоги даст.

Я с печки:

— Давно знала, что он солдаток жалеет. А хороших сапог мне поносить охота.

Тогда он:

— Пожалуйста, можно и тебе вырезать. Когда-нибудь расплатитесь.

Я с печки спрыгнула, кожу в избу затащила. Он по сапожному делу смыслил. Живо Татьяне вырезал, мне вырезал да кожу под пазуху — и ушел. Вот уж мы тогда посмеялись. А сапоги сшили праздничные, кожа мягкая, как юфть.

Глава шестая

Нет, уж ты меня как ни унимай, а я отправлюсь. Иду весну встречать. Ведь у нас как! Деревня вся на восток, на речку. И как солнце всходит — в окна. Раньше по дерев-

не были березы, против каждого дома. А у нас под окном, эн, тополь какой вырос. Ветки были в обхват. Уж до того он был курчавый, до того курчавый. И береза была. Когда деревня сгорела, они все и засохли. А разве мало пожаров было! Будто бы одна баба, летом дело было, самовар в сенях грела, да уголек прянул. Все занялось. Сорок домов сгорело. Народ на покосе был. Прибежали — одни угольки. Ерш бабу поймал в поле да к народу подвел. «С нее началось. Она дома была». Он ее к огню подвел, да туда и пихнул. Ну, после выяснилось, ребятишки подожгли, не она. Где-то спички достали, на задворках печку устроили. А с ребятишками что сделаешь? И бабу не воротишь. И у всех горя край. Кое-как справились.

Эти ребятишки одни остались, ходят из рук в руки. Доходит очередь до Татьяны. Вот она думает, куда бы этих ребят приспособить? Сидит с ними и плачет. Я прихожу. И обе ничего не знаем. В приют — надо в городе свою руку иметь. Ерш в это время горшечную заводил. Решили к нему обратиться. Старшего, Сережку, он на побегушки берет.

Надо еще маленького устроить. Она к своему дяде Менцифею:

— Напиши прошение.

— Нет, не могу. У меня такой статьи нет.

— Это ничего, что статьи нет. Я тебе все расскажу.

Тот написал. В городе знакомая рука нашлась. Мы прошение присяжному поверенному Лызлову отослали. Был такой добрый человек и устроил парнишку в приют.

Дни зимой — все равно как воробей пролетит. От зорьки к зорьке свежеет. Мороз от морозу как загвоздит! За нос цепляется, за руки хватается. И уж росту никому нет. Лес, листья опадут, стоит голый. Только дуб с листьями зимует. Он только желтым станет, с дуба листья не падают. Настоящий снег мягкий, теплый, морозец легонький. Мороз ударит, и снег скрип-скрип, хруп-хруп. Зима так не проскочит, как вести. Придет, моя матушка, будет тянуться, не знаешь, когда растает, не дождешься.

Вот приходит к Татьяне этот сирота Сережка. Обрядка на нем плохая, рубаха длинная, рукава мотаются. Приходит, встает к печке. Руки у него синие, губы синие. «Холодно?»—«Холодно».—«Ты у хозяина теплое проси».—«Нет, он ничего не дает».—«Кормит-то как?»—«Я по избам хожу, мне подают». Пошла она к старосте. Рассказала. Староста

подумал-подумал, да и говорит: «Хорошо, хоть так держит, а держать не станет, куда мы с ним?» Так и ушла. Поговорили мы с ней и решили снова хлопотать. Она утром раненько поднялась, да и пошла в город.

Снег шел тихий, а такой спорый, все сыпет, сыпет. Тихо, а снег сыпет, и тепло. Она идет да все на дорогу смотрит. Зашла в лес, за поверткой кто-то кричит мужским голосом. Она встала, стоит и ждет. Немного погодя выходит к ней навстречу в шинели, в папахе, крест на груди, борода русая — Михайла.

— Ты?

— Я...

И стоят друг против друга.

— Чего кричал?

— Так, в родные места зашел. Поцелуемся, давно не видались.

— Нет, целоваться не стану, а руку подам. Здравствуй, Михайла.

Подала руку, на него глянула и плачет. Стал расспрашивать, как да что.

— Наша бабья жизнь известная. Плохо не жила, а сердце на веревочке висело.

— Я о тебе в окопах думал.

— Напрасно. Думал бы о своей жене да о детях.

— Нет, у меня к тебе сердце рвалось, я к тебе в гости приду.

— Не надо. Ты мне чужой, и я тебе чужая. А в баловстве мало радости...

Постояли, да и разошлись. Это прошло. Забыла.

Весной дорога насыхать стала, она на мельницу идет. Дело под вечер. По сторонам оглядывается. На берегу мелкий парусник. Листья появляются. Идет, посматривает. Опять Михайла навстречу. Она хочет мимо пройти.

— Постой. Ты несочувственная.

— Что мне на свою шею сочувствовать?

— Я тебя жалею.

— Что мне от твоей жалости? Смотри, скоро борода будет седая. И я не девушка. Наша с тобой жалость под серым камнем.

— Нет, мне тебя до гробовой доски не забыть...

На больное сердце все ложится. С этого стала она о нем думать. Сидит дома, его ждет. Куда пойдет, ищет встречи. А то снится ей, отгибает Михайла одеяло, к ней

лезет. «Ты куда?»—«Душа о тебе изныла...» Проснется, да плакать, да его клясть.

Этим не кончилось. Летом в пожне одна работала. Пожня дальняя, лесная. Пришел Михайла. Отдохнуть ее приглашает.

— Захочу, сама сяду. Ты что заботишься?

Да помолчала и идет к нему.

— Я тебя, Татьяна, во сне вижу...

— Нет, я тебя не вижу. У меня о тебе и в уме нет

Он к кустам идет, и она за ним.

— Провались от меня, дух нечистый.

А сама к нему идет...

— Тебе что жена скажет? Ты ее обманываешь..

Руки его оторвала, вскочила да на середину пожни После мне рассказывает, хохочет. А я не знаю — не то ругаться, не то хохотать самой.

Люди домой идут. Пришел Егор Брылястый. Шинель на нем новая, фуражка с кокардой, сапоги с ленточками

— Не видал наших?

— Нет, не видал.

А вроде взгляд у него ненастоящий, и веки открываются невольно. Он по деревне ходит, со всеми говорит, и все это замечать стали. И вот всё его куда-то гонит По дороге в один край уйдет, версты за три — постоит, подумает, назад идет. В другой край ударится, постоит, подумает, назад вернется.

— Ты куда, Егорушка?

— Да вот все посылают. Иди, иди, а придешь — ничего нет!

В лес сходит, принесет кол, жердь, а что с ними делать — не знает.

Люди идут и идут, а наших не видно. Тут весть получаю: «Ваш муж в таком-то месте, тогда-то был насмерть ранен». Как ни жили, а когда это узнала, все поплакала. Ну и со вторым мне не особая удача, а этот тюлень не под годы попал. Пришла весть и Татьяне. Товарищ пишет: «Корсаков загряз в немецком плену». Вот и все. Эта история самая печальная, потому что бабе одной, без мужика, жить тяжко...

Глава седьмая

У тебя все праздник. Сколько дней я тут живу, а он ничего не делает, только мои сказки слушает. Это что же та-

кое? Это удар господень! Мне уж и то невмоготу. К праздникам-то я не привыкла. У мужиков, бывало, землю сдают, дороги ладят — все праздник, все пьянствуют. У баб один праздник — пристрижь. Это после троицы овец стрижем, руны снимаем. Снимаешь волну — не потеряй ни одного волоса. С одной овцы прямо одевайся, как тулуп. Тянешь вот так, и она не разрывается. Ножки овце свяжешь. Начинаешь с головы, прямо с затылочка, с шейки и прямо идешь кругом. Пустишь, стеганешь оборочкой какой, ножки связаны были, и так это, шутя, скажешь: «Иди, милая, сама друга».

А ведь их сначала мыть надо. Дрянь всякая в шерсти, и ножницы не идут. Погонишь на реку, всю дорогу с песнями, с присказками. Наряженные все. Юбки хорошие, подрубашные. И все больше красные, пунцовые, плисом обнесены, широко, на четверть. Рубаха и так, и так вышитая. Рубахи белые, как кипенные, как искра лежит. Фартук розовый. Пояса широкие.

Теперь бабы свою моду бросили. Идешь, бывало, как атаман. Юбка в шесть полотнищ. А длина какая! А тягость в ней какая! А теперь три метра, и готово платье...

Вот мы раз так-то овец моем, проезжает из города наш Белов, останавливает на берегу лошадь и говорит: «Бабы, я вам новость скажу». Мы говорим: «Да какую?»—«Слышал я, будто бы Корсаков Семен из плена вернулся и находится в городе Твери. Только я его сыскать не мог». Татьяна, как это услышит, платьишко накинула, мне на руки овец сдала да домой бегом. Вымыла пол, самовар почистила, принарядилась. Ну, дело к темноте, а его все нет.

Тут рядом мужик был. «Чиновником» звали. Он, маленький, лбом к лампе приложился, болячка на лбу вроде кокарды. С тех пор и Чиновник. Этому Чиновнику захотелось посмеяться. Нарядился в шинель, набил большую сумку, постучался в окно. Отперла, да и бросилась ему на шею. Целовала, целовала. Этот, значит, фальшивый сосед с тем и в избу ее втащил. Ну, он отпихнул ее от себя немножко, подходит к старшей девочке, с той поцеловался, подходит ко второй, с той поцеловался, подходит к парнишке и с тем хотел, а парнишка:

— Мама, я с ним не буду целоваться. Это дядя Михей!

Этот Михей от смеха повалился на пол. Они все набросились на него. Верхом. Колотить.

— Окаянный, и что ты наделал!

А соседи смотрят в окно, что у них происходит, да тоже хохочут. Ну, с тем и дело кончилось. А потом через недельку времени пришел и муж, да уж остыла Татьяна и с ним-то целовалась похладнокровнее.

Понятно, был, не был раньше грешок, только дело получилось неладное. Спит и видит Семен Михея, а ее на глаз не пущает. И все-то ему Михей. В поле пойдут — Михей. В лес пойдут — Михей.

— Ты на Чиновника сердца не имей. Он обманом подошел и жизнь нашу расстроил.

Нет, ему все неймется, и все Михей перед ним стоит. Бить ее не бьет, а прямо не смотрит.

Хоть был и злой, и бойкий, а все что-то нет-нет да ляжет и лежит.

— Что такое?

— Дыхание спирает...

Она ему припарки на грудь. Она с ним в больницу. Он валяется. Никуда не ходит. Одна во все края.

Один раз она у печки стоит, он подошел сзади да ей шею щекочет.

— Что?

— Ничего. Тепленькая.

Ей это удивительно. Сколько времени от него ласки не видала. Ушли ночью в клеть. Он на сундук сел, голову руками захватил и сидит.

— Чего ты?

— Так, что-то наскучило...

Тут получилась революция. Едут в деревню всякие ораторы. Вот прибыл один, собрал народ, спрашивает: «Ну, как?»—«Да, говорят, ничего». Держал речь. Здорово говорил, только никто ничего не понял. Потом стал номерки давать*: большая цифра 2. Этот наш Ерш говорит: «Два, нам это не подходит, тут больше показывали, до шести. Четыре разницы». Понятно, никто ничего не знает, а Ерш опять: «Два — цифра маленькая». А номерки оставил. Ерш этих номерков набрал да горшечную заклеил, и потолок, и стены, везде двойки. Мужики придут, да все и смотрят на эти двойки и читают. Филимон пальцем надпись показывает: «Домовладельцы и землевладельцы». «Это,— говорит,— хорошо. Люди состоятельные». Я смотрю: «Лызлов, присяжной поверенный». «Вот,— говорю,— тут Лызлов есть, он человек хороший». А Белов ко мне: «Почему ты думаешь?»—«Он обоих Марфиных ребят в приют устроил».—

«Это ничего. По ихнему, по ученому положению так и полагается. А только он четыре дома имеет и фабрику». Филимон говорит: «Это хорошо, что четыре дома. Не вертопрах». Ну, никто ничего не знает.

Дело к осени. Все люди с войны идут, и ораторы к нам едут. Тут много понимать стали. Ночи сидят на сходах. Филимон да Ерш красные ленточки на грудях носят. Выступают: «Товарищи, свобода». Ерш двух работников в горшечную нанял. Вывеску повесил во всю стену: «Свободный гончар, мастер Никон Корсаков». А мастер такой — счет есть, а по горшку мочалкой не проведешь, взъерошенный. Филимон все кричит о земле: «Правительство нам отдает все земли, леса и недра!» И все ждет помещичьих земель. «Нам,— говорит,— своей недостаточно. Наши запашки — смех, а не земля». Вот он людей нанял, бревен навозил, дом себе ладит крестовой. Ерш горшечную расширил. На крыше большую трубу поставил, как фабрика, и красный флаг на шесте повесил.

Все ездят ораторы. Тут является один. Собирает деревню. Так встал перед народом на бревнах. В шинели. Значок на груди. Хоть в бороде и постарше, а мы с Татьяной сразу узнали — тот лесной рестантик. «Он, Александра?» — «Он».—«Не повесили?»—«Нет, видно, не повесили».

И обрадовались, и страшно. Что он теперь с нами сделает?.. Он говорит. Землю делить приказывает. Тут все зашумели. Он, этот приезжий, отошел к сторонке. Мы с Татьяной к нему. Смотрит, не узнает. Татьяна говорит:

— А нам что будет?

— Вам? Вам тоже наделят.— Потом усмехнулся: — Это вы меня пирогами в лесу кормили?

— Мы.

Обе божимся: выдавать не хотели. Он рукой машет:

— С вас взять нечего. А за пироги спасибо.

Мужики все шумят. Ерш на бревна встал, откашлялся, руки протянул:

— Видите руки! Мозоли-то на них кровяные.

— Ну, хорошо. Дальше что же?

— А дальше, я очень нервен работать. На полу ногами топчу, с полу на лавку, потом руками. Потом обратно на пол.

Этот наш рестантик на людей поглядывает, не понимает. Ему кричат:

— Он о своей горшечной рассказывает, как глину мнет.

— А! Ты что предлагаешь, гражданин?

— Тут у нас номерки давали, от двух и выше. Почему в этих номерках фамилии незнакомые? Почему в них ни одного трудового гончара нет?

— Этих номерков давно нет. А выбирать людей в комитет* вы сами будете.

Белов Ерша с бревна утянул. Приезжий осмотрел всех

— Народу много. Сейчас можно в комитет выбирать. Я по этому делу к вам и приехал.

Филимон кричит:

— Мы быстро выберем. Такой народ у нас есть.

И вот оба с Ершом наперед лезут. Приезжий подождал

Как они остались в кругу одни, говорит:

— Только запомните, богачей в комитет не надо.

Ерш да Филимон в толпу ушли. Вокруг себя партию подбирают.

Я кричу:

— Белова в комитет. Он на все руки мастер!

Белов стоит, голова опущенная. Видать, любо. Ерш да Филимон кричат:

— Не надо!

Их не слушают. Голосовать стали. Белов попал в комитет. Выбрали еще двух, которые победнее. Потом приезжий к собранию обращается:

— Вы должны женщин выбирать!

— А,— говорят,— из женщин, так у нас кроме Татьяны да Александры некого.

Мы на крик кричим, а нас выбирают. Обе чуть не в слезы: «Что мы там делать-то будем? У нас и грамоты нет!» Тогда приезжий с нами отошел в сторонку:

«Ваше дело на собраниях и в комитете правду говорить, бедноту в обиду не давайте».—«А еще что?»—«Вот это и будет ваша работа». Нам непонятно. «Что это за работа?» Приезжий снова: «Вот землю будете делить, вы смотрите. Кулаки могут на обман взять».—«Ладно, что сможем — сделаем». А обеих страх берет. «Я,— говорит,— у вас в волостном комитете буду служить, вы ко мне заходите почаще, беседовать будем». Он попрощался с нами, уходит и шепчет: «А все-таки землю-то делят...» И смеется.

Хлопот, беготни — печь топить некогда. Придет, наскоро ребятишек покормит да опять на сход. Делать не делаем, а наши голоса везде услышишь.

Семен обижается, брошен совсем. У него рана откры-

лась, гноиться стала. И травы, и лекарства, а все толку никакого. Высох. Одни кости. И ничего не ест серьезного: яички, молочко. В бане попариться хочет. Туда сбредет, а оттуда ног не подставляет. Потом совсем не может, а все в баню надо. Взяла на руки, понесла. Вот сидит он в бане на лавочке, руки у него трясутся.

Налила воды, взяла мочалку.

— Так вот скажи, за что всю жизнь терпела?

— Ни за что. Прости меня...

— Простить не прощу, а вымыть вымою.

Три раза прощения просил, а она ему все:

— Простить не прощу, а вымыть вымою.

И второй раз в баню носила. Опять прощения просил, опять мыла. Вечером, после бани, ребята спят, одна с ним. В изголовье сидела.

— Корнячиха, подойди сюда!

— Да ведь я не Корнячиха, а жена твоя, Татьяна.

— Нет, ты Корнячиха.

Все не верит. Потом:

— Дай руку-то.

Подала.

— Что руку-то жмешь?

Всю ночь не спала, у него сидела. Утром печь затопляю, он:

— Пить, пить, пить...

Подбежала.

— Посади меня.

Посадила, испил.

— Ой, вали, вали, вали...

Повалила. Пока чугун в печку ставила, умер...

Глава восьмая

Гуси по-своему летят, наугольником. Глаголем. Вожак первый, а за ним две веревки. Вот когда молотишь, они — га-га-га, в один звук, беспрестанно. И собираются они не один день. Неделю собираются. А потом, у них есть станции — где горох, где овес, чтоб от строения было дальше. И дежурные у них есть. Наверно, тоже смена бывает. Под крыльями набьют вот какие мозоли. Не знаю, куда летят. Наверно, тоже расселяются по разным местам. Не стаями. Ведь кормиться-то надо... И вот как на меня в эти дни тоска нападает, места нигде не найду. На поле-то ничего нет. Трава-то вся скошенная. И лист осыпается. Вот мы с Тать-

яной часто у нее в огороде сидим, кручинимся. Кажется, весь мир во зле лежит. Все с ума посходили. Соберемся на сход, всю ночь крики, а толку никакого. В поле выйдем. У полосы остановимся. Начнем с этой. Постоим, постоим. Нет, пойдем к той. А половины народу уж и в слухах нет. Так день за днем и идет.

Нашему Ершу свобода уж надоела. Он ни в комитете, он нигде. «Свободу сделали только кошкам. Обещали сокровища, а на деле нет ничего. Как была у меня одна горшечная, так ничего и не прибавилось». Рассердился. Вывеску снял, флаг снял. И из горшечной не выходит. Кто-то сказал, что будут ходить по домам и номерки отыскивать. Вот его перепугало, он эти номерки отдирает да в горшечной стены строжит*.

Крик, ругань. На десятки разбились — Филимон да Ерш. Ну и все: кум, либо сват, либо дальняя родня — которые побогаче. Весь день по полю ходили, а меры с плеча так и не могли снять. Вот вечером этот Филимонов десяток собрался. До утра сидели. Кто чужой зайдет — в карты играют, сказки рассказывают. Утром надо в поле идти, они на деревне всех раньше. И на диво: все как один решают землю делить. Какой десяток добровольно на худое место пойдет? Как ни спорь, надо жребий бросать. Ерш кидает на землю две синие рукавички: «У кого белые есть, давайте!» Вот эти рукавички в ряд разложили. Все смотрят: «Такая-то земля идет на синий цвет, такая-то на белый. Как решат жеребьевщики. Согласны?» — «Согласны»,— говорят. Выделили по человеку из десятка. Они между собой сговариваются, а остальные тянуть будут. От них Филимон пошел. От нашего пошла Аленка Махова. Вот они сговорились. Подходят. Все вокруг рукавичек встали. А Филимон-то мужик какой видный. Он бороду разгладил, губы обтер, крякнул и всех осматривает.

— Покойная,— говорит,— моя матушка хорошо умела верховой квас делать. И вот если тебе дать выпить, так ничего бы другого не стал пить, ни чаев, ни кофеев. Стаканчик опрокинул, ну, и с лавки не встать. Вот сейчас,— говорит,— как перед этим квасом — стой и думай, да губы обтирай, да бороду разглаживай.

Все хохочут. А он ухмыльнулся да свое:

— И кто ее знает, чего только покойница не клала в этот квас. И мятной травы, и ромашков, и хмелю свежего бросит. Вот квас был! А сейчас что — не квас, а синяя во-

дичка. Дробина да дробина прополосканная, а у нее свежий солод шел!

— Солод-то,— говорят,— это хорошо, а насчет трав ты пригибаешь.

Жеребьевщики отошли и отвернулись: тяните. У наших мужиков поджилки трясутся. На полосы-то посмотрят, друг-то на друга посмотрят. Разве не страшно? Поле краем оврага хватило, краем кустов, а середина стоит муравейниками. В толпе говорят: «Пускай начинают бабы». Татьяна подошла и взяла белую рукавичку. За ней Ерш. Глаза большие сделал, крестится. Все хохочут. Берет синюю. На синюю лучшие полосы. И как ни тянут, все Филимонову десятку лучше. Ерш ходит как взнузданный. Нам с Татьяной: «Бабьего счастья на земле нет». Уходит и уходит земля к кулакам. Мы в комитет соберемся. Думаем, гадаем, а придумать ничего не можем. Татьяна говорит: «У меня одна догадка есть, выберите меня завтра жеребьевщиком». Пошли на третий день, выбрали ее жеребьевщиком. Ерш подтрунивает: «На белый цвет бабам везет. Только не в рукавицах, а в платьях. Как белое платье надела, так и помолодела».—«Ладно, смейся!» Отошли к сторонке, она Белова толкнула и шепчет: «Сегодня белый...»

С этого времени, как ни делить, все Филимонову десятку плохие полосы. Филимон молчит, а Ерш скачет. Всем смешно.

Вечером Ерш к Татьяне заходит. К маленькой девчонке подошел, ее по плечу похлопал. «Ах ты, бирюзовые твои глазки. Смотри, вынут да в сережки вставят, бирюзовые твои глазки». К другой подошел: «Ах ты, желтая травка. Ишь, какая выросла. Целая невеста стала. И мягкая, как налимчик». К парнишке подошел, тот книгу читает: «Понимаешь?»—«Понимаю».—«Учись, учись. Фельдшером будешь». И по головке его гладит.

Татьяна смотрит: неспроста. «Вы мне родные. Хоть иной раз погорячишься, а сердце у меня мягкое — как к своим, так и к вам». И ушел. На другой день Палаша ее корову ко двору гонит. «Смотрю, корова твоя, небось ребятишки ворота не заперли, она и вышла». Потом в поле пошли, Ерш встал рядом с ней. О том, о сем. И тут: «Переходи-ка, невестушка, к нам в десяток».—«А это зачем?»—«Тебе у нас лучше будет».—«Ты это сам придумал аль тебя кто научил?» Ерш отошел. Пришли на полосу, она все мужикам и рассказала. Белов в волостной комитет. Оттуда этот при-

езжий, звали его Николай Игнатьевич Колобов. Он прибыл да всех от мала до велика собрал, инструкцию зачитывает. Переделить. Вот пошел тут каждый день грех. Слабости, распущение, и никакого нет окороту. Все-таки разделили... Вот это все. Ключ в воду, замок в рот... Да ведь что прошло, то на гвоздик не вешала, все тебе рассказала. Ты, знаю, сам эти времена-то помнишь. Смотри, написал целую библию, и все ему мало. Все пишет, все меня ловит. Разве можно всю жизнь на бумагу уложить! Одно беспокойство и утомление. Вот рассержусь — порву все твои тетради, раскидаю, разметаю. Только у меня сердца нету: вспыхну, и вся тут, и гасить нечего.

Тут пошли реквизиции.

К Филимону придем:

— Открывай амбар!

Берет ключ, отомкнет амбар и стоит на крылечке. Обыщем в клетях, в сараях — пусто.

— Что нашли — все ваше. На вас, видно, столько выросло...

Ой, разве все упомнишь. Из города едут, из комитета едут. Пошли всякие взбудоражки. Попы и те с ума посходили. И откуда этих попов столько лезло? Мамушка моя покойная говорила такую присказку. Шел мужик по дороге, видит навозную кучу. Он палкой коп, выскочил поп, немного еще покопал, на дьякона попал, ткнул тырчком, выскочил пономарь с дьячком. Тут он всю кучу собрал вместе, свесил — пуд, и староста церковный тут. И вот как повалило этих попов!

Наш-то поп большой, худощавый. Над ним удар был, и он левую ногу все движком, движком таскает. Волос был русый, а тут оседел. Служит неявственно, мурлычет глухо, совсем не поймешь. И вот приехал пьянюга. В нем весу пудов восемь. А голос! Оглушит. Я таких сроду не слыхала. Говорили: красный, красный, по новой власти. Он ходит по собраниям. Станет служить — как гром гремит. За голос ему цены нет. Закатистый. А что ростом, что толщиной, прямо страсти великие. Думаю, его на тройке не увезть. А туша! Благо риза широкая, на всякого годится. А где же он такое пузо нагрыз? Это из монастыря, глядя по такому жиру. В монастырях рыбка, она в сале плавает. А мало в монастыри денег посылали на помин? Нужно питать душу-то!

Зима прошла, и весна прошла. В этом году град прямо из рук у нас хлеб взял. Тявку тогда громом убило. Удар

ударил. Ударил в другой раз. В третий раз ударил. Прямо так в макушечку ему, как буравцем. Насмерть. Ударит, так все равно рассыпается, как мир надвое расколет. У нас никакой нет приспособленности от небесного огня. Не спрячешься, не сгородишься, хоть в каменную стену сядь. Градом выбило всю, в постель, рожь. Смешало все-все в прах. Как шел по ржи град и дождь вместе и так все смешал, все смахнул, все убил. Конопель была как синее море, одной былочки не осталось. И огурцы, хоть бы один корешок, все в прах, и незаметно, где они сидели. Земля вся щелями. Дождь обливной, все сровняло, и нет ничего. Выдачку тогда давали, семена и кормиться. Списали, сколько у кого убило. И обсеваться давали, и на кушанье. Да ведь это разве скоро! Пока-то из города привезут, пока что-то есть надо. Вот мы с Татьяной сговорились и поехали на Горы к моей тетке. «Не кончилось, видно, наше горе, подружка?»—«Нет, видно, ему конца не будет». Запрягли лошадь, мешки на телегу кинули, едем. Ночь лунная. И все-то видно, все видно. И все места знакомы. Река. Мельница. В девках сюда гулять ходили. С одного бока крутая гора, с другого — плотина. На горе камушник (каменья копали). И вот как в этих местах ягод растет! Земляника, бывало, годами сильная, по осиннику, по древу, и клубника по срубу. Вот я вспомнила, как мы тут вместе с ребятами по ягоды ходили, как Михайлу у мельницы в реку столкнули... «Одни мы с тобой, Татьяна».—«Одни». Она сидит, ноги наперед свесила. Я сзади, спиной к ней прислонилась, и затянули песню.

Вот в поле на канаве сидит прохожий человек. Сапоги у него новые, пиджак домотканый, новый. Сидит и нашу песню слушает. Он в бороде, лицо гладкое, и смотрит умильно. Мы песню оборвали, он рукой машет: «Пойте, пойте. Хорошо спелись, только больно жалостно. У меня,— говорит,— в нутре все перевернулось». Татьяна ему: «Песня такая. Такой мотив угрюмый».—«Хорошо, хорошо». И все на нас смотрит. «У меня,— говорит,— к песне любовь большая, вы мне еще веселую спойте». Татьяна опять: «Для веселой песни расположение надо, а у нас его нету».—«Почему так?»—«Да мы вторые сутки не евши, и дома крошки нет».—«Тогда,— говорит,— верно, вам веселой не осилить». И сидит, думает, на деревню смотрит. В левом конце, на усторонке, большой голубой дом стоит. Наличники белые. «А вы чьи будете?»—«Из Переслегина». Он опять думает, на деревню смотрит. «Что вы можете за

хлеб дать?» Мы котомки развязываем, кажем ему свои девичьи наряды. Он их щупает, на свет смотрит. Ткнул в Татьянину шаль: «Этого дерма у меня много. Оставь себе. Пальто, пожалуй, возьму. Деньги тоже не надо, эти тысячи-перетысячи». И у меня осмотрел. «Можно,—говорит,— кое-что подходящее есть. Видите голубой дом? Я вперед пойду, а вы на задворках лошадь оставьте». Сам вперед ушел. Солнышко всходит, мы в деревню въезжаем. Все спят. Татьяна с лошадью у амбаров осталась, я приданое захватила да в голубой дом. Он у ворот дожидается. «Никто не видел?»—«Нет, никто». Зашли в избу. Меня усадил в простенок. «Много у вас не возьму. Пуд овса на двоих дать можно». Сторговались. Ушел. Несет в узле. «На ваше счастье, попало пуд десять».—«Хорошо. Весь до двух». Подумал-подумал, посмотрел на наши наряды, ушел и снова несет пуд десять фунтов. Тут до трех недалеко. Носил да носил, два мешка и насыпал.

Опять едем. Друг на дружку посмотрим и засмеемся. Тут опять песня. Только уж веселая. Да в полный голос. Кто слышал, подумал: бабы с ума сошли. А нам се нипочем. «Ой, Татьяна, жизнь-то прошла!»—«Прошла, матушка, жизнь». При таких песнях все это вспоминается. В деревню заехали гоголем. Белов навстречу: «Вы пели?»—«Мы».— «Что, пьяные?»—«Пьяные, веселые. У нас сегодня праздник...»

Глава девятая

Сегодня я тебе буду песни петь. Сил моих больше нет рассказывать. Я сегодня сердита. Тут у нас во дворе все частушки лаяли — ихохошки да ихохошки. Оглушили. Хорошего ничего нет. А настоящую песню они взять не могут. У нас было — красота-то какая!

У голубки позолоченная...
У голубя у сизого золотая голова.

Без начала-то нельзя, она не сойдется. Должно быть ладно да складно. Давай я тебе одну величальную скажу. Возьмем хоть тебя.

Выходил Александр-сударь
Из ворот на улицу.
Красных девок обманывал...

Вот песня. Разве этим коротышкам чета! Видишь, склад какой. Тут дальше пойдут и реки медовые, и ручейки сахарные, все на белом свете обещает. Не хошь, да пойдешь. Нет,

на деле так не было. Теперь до свадьбы полгода знакомятся, а вот мне шести минут с ним не пришлось. Вот так и вышло. Как Татьяне, так и мне. Отцу да матери тогда как говорили: «Вам хорош — и мне хорош». Положила я три поклона: богу, отцу-матери, брату; потом всем подружкам. Все на голос голосила, прямо так вытягиваешь, неужели слезы не потекут? Матери так: «Благослови меня, родимая матушка, от сердца, от желания, в божий суд идти».

Сперва-то ласковый муж, в первую-то ночь. Ты хоть умри, а он свое возьмет, разве пожалеет. Уж детки большие были, углов стыдно, а от него не отвертишься.

Что ты, что ты, и это записываешь! Ну, смотри, проверю. У нас, бывало, Аленка Махова получила от дружка письмо, а она неграмотная. Идет Татьянин дядя, Менцифей, она к нему: «Прочитай». Он письмо раскрывает — и сразу читает: «Посторонним не читать». И говорит: «Я читать этого письма не буду».—«Почему?»—«Не велено. Запрещено в письме»... Так и ждала неделю, все показать боялась. Пока сам к ней не пришел. Вот люди были. Ужо летом приедешь, всех увидишь. И Ерша насмотришься. Все такой же сопатый. Горшечную у него отняли. Ведь фабриканты-то теперь не в моде. Он было упрашивать:

— Оставьте в родном заводе мастером. Я вам по новой форме кроликовые плошки буду делать. Производство-то без меня погибнет. Вы преступление против власти делаете.

Тут Белов наш вмешался:

— Не беспокойся. Мы кое-что и без тебя знаем.

— Коли так, давай: кто лучше сделает, тот и мастером будет. Как, мужики?

Мужики на это согласны. Вот и решили — в выходной день, в этот день ярмарка бывает, около троицы. Ладно, все готовятся. Интересно — кто кого. Ерш носится.

— Мы искусство покажем, приходите в горшечную. У меня уже сын смыслит.

В этот день всей деревней идут в горшечную. Белов помалкивает, а Ерш дверь распахнул, калабашку на круг и в одной рубахе старается.

— Как рукава засучил, меня уж трясет. Энергия такая является. Руки золотые, и все двенадцать винтиков тут. В лоб себя тычет.

— Покажем, как руками действовать. Смотрите. Вот за глину взялся, а нога уж у тебя и работает. Она тебя не

спрашивает. Я и зажмурюсь. И без огня, мне все равно. Песню могу петь. И все горшки один к одному, хоть бери ватерпас или циркуль.

К сыну-то повернется:

— Не упади, сынок, а то ткнешься рылом, перепачкаешься.— И на народ-то смотрит.— Наше искусство — никакой формы нет, а даем форму пальцем. Я вам все покажу. Руками не попробуешь, не поверишь. Как ухватился за горшок — на жилах держишься. Пальцем ткнул не так, горшок с круга летит. Зря ногой не бьешь, а то подметок не хватит. Только в коленке боль стоит после работы. Как болтами, чувствуешь, прижат к лавке. А глина! Я ее к вечеру накрою барахлом, она позавянет. Киснуть будет и для качества станет выше. У меня все как на фабрике. И ногтей у меня нет, а то бороздят, царапают. Вот горшок. Будет ссыхаться, будет поуже, сядет на свое место. Ведь он живой совсем — красота. Вот уж и ребрышко делается. Вот пальцем кайму сделаем. Рисунок наложим, как венчик, будет больше и лучше оказывать. Извольте. Это не простой горшок, а художественный.

Вот он этот художественный горшок всем кажет. И все молчат. И вправду быстро и хорошо.

— Пожалуйста, наглядитесь досыта.

Ну, тут и крыть нечем. Жду. Вот Белов выдвигается.

— Покажи обожженный горшок.

Ерш несет обожженный. Все притихли. Белов этот обожженный горшок на руке вертит и глаза щурит.

— Ну,— говорят,— попал.

Только Ерш что-то заметил, улыбаться перестал. А Белов все смотрит, и Ерш все мрачнее.

— Я,— говорит,— и другого сорта покажу.

Белов все смотрит. Мужики ему:

— Долго ли, Белов? Вконец замучил. Сдавайся.

Белов горшок поднял и говорит:

— Горшок у него мертвый.

— Как так мертвый?

— Он сырыми березовыми дровами обжиг производит. Кислоты из них не выйдет, и горшок получается...

— Копченый?

Белов краснеет.

— Да,— говорит,— не чистый. От этих кислот.

И смеются, и интересно.

— Сначала огня немного кладется, а под конец дают

жар — подойти страшно. Он делает не так, и горшок у него получается мертвый.

Все видим, у Ерша руки дрожат, а Белов говорит:

— Дай плошку с глазурью.

Ерш порылся, несет плошку. Белов опять смотрит. А мы ждем. Белов говорит:

— Глазурь слабая, и слой неровный. Это ненадежно.

У него спрашивают:

— Как лучше-то сделать?

— Надо так: поварешку глазури бултыхнешь и дунешь,— смотри, какой слой ложится. Мало — еще разок, еще дунешь. Пальцем обмакнешь, и к горшку она липнет. Тут я вижу слой. Довольно. Мало положить, то глянцу не имеет, виду нет. Много — тоже не годится: сыроват горшок, его раздерет или, просто сказать, расщепает, и слипнется и к краю пристанет во время обжига. Вот и выверяешь. Обольешь и опять смотришь. Густо — воды подбавляешь. Так и следишь. А на этом горшке глазурь ненадежна.

Ерш кричит:

— Ты ничего не знаешь. Ты меня сжить хочешь!

Мужики говорят:

— А пускай нам Белов делом докажет. Ежели он все это смыслит, мы его мастером сделаем. Ежели нет, в наказание за обман опять Копченым звать будем.

Белов тоже рассердился. Пиджак долой, рукава засучил. Надел фартук. Калабушку раскатал, бадейку воды на верстак поставил и спрашивает:

— Чего сделать?

Кто говорит — горшок, кто — цветошник, кто — плошку.

— А не хотите, я вам длинногорлый кувшин сделаю и двойным узором кромку украшу?

Некоторые не верят: хвастает.

— Хотите?

— Ты хоть горшок сделай.

— Нет, как сказал, так и будет.

Отвернулся, ногу куда следует положил, руки сомкнул. И пальцы наставляет так и этак — изнутри и снаружи. Будто из круга вытащил длинногорлый кувшин. Палец повернул — на кромке узор сделал, еще раз повернул, другой сделал. К кувшину ручку поставил, руки обтер и закуривает. Все дивуются.

— Раз,— говорят,— ты так быстро можешь кувшин сде-

лать, ты и по глазури знаток. И быть тебе с сегодняшнего дня мастером от колхоза.

Приказали Ершу ключи выдать, а Белов сразу горшечную на замок. Так Белов всех тогда удивил, только о нем весь праздник и говорили. И Ерш напился и около горшечной на карачках ползает.

— Горшечки-кашнички...

Тут и спать лег.

Стал Белов в горшечной работать. Дело поставил хорошо. Его горшки широко известны. И тут заказал в городе живописцу большую вывеску: «Переслегинская с.-х. артель». «Вот,— говорит,— мужики, сейчас вывеска к месту». А Белов помолодел. Он везде все знает, он везде слышен и виден. «Раньше,— говорит,— мне никак воли не было. Я бобыль, а бобылю, как одинокой бабе, везде пусто». Да стал похаживать Белов к Татьяне. А осенью как первый яблок появился, он ей несет. Придет и сидит. О горшечной, о том, о сем. А то: «Помнишь, как в комитете-то работали? Жаль, у меня хорошей грамоты нет, я бы пошел далеко».— «Да, верно, ты бы пошел». А один раз она пошутила: «Ты-то помнишь, как ко мне за посуленным приходил?» Он глаза прячет. «Что,— говорит,— приходил. Да, может, это беспокойство во мне и сейчас осталось!»—«С ума сошел!»— «Нет, я говорю тебе правду».—«Да ведь за нас с тобой теперь в базарный день трех копеек не дадут».—«Все равно,— говорит,— хоть и не дадут, а я о тебе думал и думаю». Она не знает — смеяться, не знает — сердиться. «Я тебя, как тогда, из избы погоню».—«Прогонишь, опять приду. А то и вовсе не уйду. Вот сяду за стол и буду сидеть».— «Ох ты, вихорь ты мой, навязался на мою шею».—«Ты меня на постой прими. Моя пустая изба разваливается, а для одного и строить неохота».—«У меня тесно».—«Не подеремся». Взяла да и пустила. А недели через две он ее в исполком зовет. «Да ведь я со стыда сгорю. У меня сын в городе учится».—«Все равно, хоть и учится». Взяла да и пошла с ним в исполком. Так и стали жить вместе.

Тут стали кулаков выселять. Филимона угнали. Еще четверых угнали. А у Ерша лишнего не оказалось. Да и повел он себя тихо. Трусить стал. Не тронули. Дочка у него в рике служила. Зоя — воображалочка. Маленькая, широкая, как просвирка. Верно, помощь оказала. И все-то детки у него — ой! Сын по отцу кинулся, в воровстве утвердился. На собрании стыдили...

Тут снова колхозы пошли. Татьяна за свиней взялась. Вот она за ними ходит. Откормит — они как селезни. Они курносые, светлые. Она их горячей водой вымоет — они красные, от них дым, пар, они теплые, они наглядные. А маленькие — как мышата. Они еще падают, как за соску берутся. Белые, как миткалевые белые. У них шеи нет, плеч нет. За ножки возьмет, его не удержишь. Есть станут — мало дашь, так они ей подол оборвут. А матка от них как плетень останется. Она их откармливает. Так и пошел наш завод.

Встречает она как-то Михайлу. Поздоровались. «Любовь да совет, Татьяна».—«Спасибо».—«Опять наши дороги разошлись».—«Дорога-то кончилась. Начинается стопинка. Нам с тобой надо было позже родиться».—«Нет, это ты неверно. Сейчас для женщины дорога широкая».—«Да я не к тому. Жить-то осталось как в море капля...»

Растревожил ты меня совсем. Домой пойду, всю дорогу думать буду. Задумала домой-то, темны ноченьки не спятся.

Моя жизнь? Моя жизнь — долгая песня. Как и у Татьяны, прошла в корячении да в печали. Вот ты ко мне приезжай. Под счастливую руку попадешь — начнем все сначала. Только смотри, чтобы слово твое крепко было. Я своего тюленя встречать тебя пошлю. Дорога у нас мягкая. Есть ложочки, овраги — здесь мост сделали. Есть сверточек, чтобы поближе. Полем пробьют дорогу, в сторону с большака — сверточки называются. Речка наша все по ключам, по желтому песочку. Не знаю, есть ли где лучше нашей речки. Там в верхах болото. И идет эта речка из этого болота и от большого белого камня. Белый большой камень лежит, и возле стоит береза, огромная, большая, и вот из-под нее и из-под камня бьет вода. Моя сноха Ирина с того места, где выбивает этот ключ, воду брала. Прошла она, эта речка, от камня по родникам — пройдет шагов пять-десять,— и опять родник бьет. И пала она в большую реку Шошу. Так по речке и пойдете. Там тоже есть пучины и трясины, из которых поднимаются ключи. И лесом пройдете, и берегом, и полями, и фабрику ковровую увидишь.

Ну прости, если в чем. Понадоела я вам довольно. Поминайте как звали тетю Сашу вашу!

1936

Крупный зверь

Глава первая

В юности Манос работал учеником на конфетной фабрике, но «образования», по его словам, не закончил,— родители вытребовали домой и женили. С тех пор осталась у Маноса страсть во всем походить на служащего. Он не расставался со своим парусиновым плащом. На голове у него всегда была суконная фуражка, позеленевшая от времени, над светлым козырьком темнело пятно: след какого-то знака.

В деревне Манос старался все время быть на виду. Любил руководить. Весной ему предложили стать агентом Охотсоюза. Манос так обрадовался, что в тот же день поехал в район заказывать себе штамп. Потом он не расставался с ним: то и дело прикладывал к бумаге и расписывался.

Когда потребовалось выбрать в Старом селе колхозного охотника, Манос сам обошел всех и на лужок среди деревни вынес стол, стулья — для себя и председателя. На стол положил он зачем-то канцелярские книги, счеты, свой штамп и попросил председателя колхоза Макара Ивановича сказать вступительное слово. Макар Иванович добродушно улыбнулся и, весело осматривая собравшихся, сказал несколько слов. Потом он дал слово Маносу. Манос поднялся за столом прямой, величественный, разгладил рукой широкую русую бороду, достал из кармана платок

и помахал им перед своим лицом, как это делал один районный оратор.

Все с любопытством наблюдали за ним. Женщины тихонько посмеивались.

Манос, наконец, овладел собой, взял в правую руку очки, не надевая, поднес их к глазам и стал рассматривать какую-то бумажку.

— В списке четверо граждан: я, председатель Макар Иванович и вот эти два старца...

Он показал на старейших охотников Лавера и Онисима.

Несколько смущенные торжественностью обстановки, старики сидели на канаве и нюхали табак из одной табакерки.

— Короче сказать, я себя снимаю,— заключил Манос свою речь.

— А мне в лес ходить будет совсем некогда,— сказал Макар Иванович.— Остаются Лавер и Онисим. Которого из них выберем?

Стало тихо. Собранию было трудно решить, которому из стариков надо оказать честь.

В это время Манос, снова просматривавший свою бумажку, вспомнил, что не сказал такого, без чего доклад не мог считаться законченным, быстро поднялся и проговорил:

— Ну, какие у вас будут ко мне вопросы?

— Все ясно,— улыбнулся Макар Иванович.— Давайте голосовать.

Лавер и Онисим, как бы ничего не замечая, осматривали небо.

Лето наступило жестокое. Начинались лесные пожары. К ночи вместе с туманами опускался на деревню густой синий дым, росы пахли гарью. Иногда луна стояла в вышине зловеще красная, подобно затухающему солнцу, а солнце вставало незнакомо лохматое, и в тусклом свете расплывались очертания полей и деревни. Тускнели белые северные ночи. В лесах, не созрев, высыхала дымчато-синяя черника.

— К Данислову озеру ходят лоси,— не глядя на ровесника, сказал Онисим.

— Да, воды нигде нет...

Собрание зашумело. Макар Иванович покрикивал, стараясь навести порядок.

Сквозь шум Онисим услышал осторожный голос Маноса:

— Этот вопрос очень трогательный. Если бы я хотел, да меня не выбрали, так я бы сна лишился, а то заболел... Как же, обществом обракован!..

Онисим настороженно повернул голову. Манос умолк, не досказав. Шурин Маноса Гришка, стоявший рядом с ним, сразу отошел от стола. Онисим посмотрел на ровесника. Губы Лавера были плотно сжаты, подстриженные седеющие усы торчали сердито. Лавер больше не тянулся к раскрытой табакерке соседа. Онисим с возрастающим беспокойством стал ждать конца собрания и ни на кого не смотрел.

— Значит, Онисим! — крикнул Макар Иванович.— Ну вот и с этим закончили.

Собрание расходилось. Старики тоже поднялись и медленно зашагали по дороге...

Онисим испытывал чувство вины. Это чувство вырастало в нем стремительно и неудержимо и заслоняло все другие мысли.

Лавер тоже думал о чем-то своем, как казалось Онисиму — печальном: так думали мужики двадцать, пятьдесят лет тому назад, когда им в чем-либо отказывал мир...

После собрания Онисим отыскивает Лыска. Быстрый и ласковый кобель бежит к нему с поля.

Онисим разбирает свою «ижевку» и части ее прячет под пиджак. Потом он берет сумку с кротоловками и выходит в поле. Лыско бежит за ним.

На пригорке, около маслодельного завода, шумно. Сегодня выходной перед началом покоса. Бригады собрались потолковать. На целых две недели люди разбредутся по далеким лесным урочищам, по рекам. Часть отправится к озеру Воже косить осоку. Кто-то напевает. Нефедова молодуха Таисия пляшет «под сухую». Крики, смех.

Полная красивая молодка Александра Мурышиха высмеивает Маносова шурина Гришку:

— Вот, матушки, и выходит ко мне навстречу: «Я тебя не пропущу».—«А что такое, что не пропустишь? Так вот и будем стоять на дороге?» Он ко мне. «Опомнись, Григорий батюшко». Опамятовался, стоит. «Ради бога, никому не сказывай. Я как твои глаза вспомню, так мне покою нет».—«Так что же, мне их замазать?»

Все смеются.

Гришка в стороне, смущенно отмахивается:

— Не слушайте ее, болтушку.

Гришке всего шестнадцать, но он высок ростом, плечист, руки у него длинные, мускулистые, движения неуклюжи.

— Ты, Гриша, утвердись,— советует ему Манос.— Раз получается любовный обрыв, значит, делать нечего.

И сам смеется.

— Бабы,— кричит Мурышиха,— вы чего хохочете? Мне его сейчас, может, и от правды жаль...

— Так в чем дело? — говорит пожилая Устинья Белова.— Вот пойдем косить — кустиков-то много...

Мурышиха с достоинством поворачивается в кругу.

— Ой, бабы, разве мне такой нужен. Этот и захватить как следует не умеет...

Опять все смеются.

Гришка отходит к заводу и садится на камень.

Онисим пробирается сторонкой. Он сжимает под пиджаком части ружья и с опаской посматривает на Макара Ивановича. Остается шагов десять до гумна. За гумном уже никто не остановит...

— Решил сходить? — кричит из толпы Макар Иванович и делает к Онисиму несколько шагов.

Онисим останавливается.

— Да вот с кротоловками.

И не дожидаясь, поспешно идет.

— Ну-ну, сходи,— добродушно говорит ему вслед Макар Иванович.

В лесу Онисим отдыхает от всех забот и горестей. Здесь его волнует все: неожиданно вспыхнувшая на солнце лиловым пламенем верхушка ели, клыхтание тетерки, свежий след медведя, заросшая лесная река с древними холодинами, со светлой зеленью молодой рябины.

Онисим внимательно смотрит под ноги и в каждую кротовую кучу зарывает капканчик. Лыско бежит стороной, неся морду по земле, как настоящая собака...

Летом прошлого года Онисим принес в избу корзину с пятью маленькими слепыми щенками, поставил среди избы стул и выклал на него один за другим всех щенков. Щенки попискивали, тыкались друг в друга смешными, голыми мордами и падали на пол. Падающих Онисим бросал обратно в корзину. Вскоре на стуле остались только два щенка: белая с черными пятнами сучка и черный кобелек.

Они долго ползали по стулу. Наконец, сучка упала, угадав прямо на голову, и заскулила. Кобелек остался на стуле один. Он несколько раз подползал к краю плоскости и уже заносил над пропастью лапу, вытягивал шею, но каждый раз, попискивая, отползал обратно. Вот он выполз на острый угол стула, опустил книзу морду и на несколько секунд остался неподвижен. Потом резко дернулся назад.

Дрожащими от волнения руками Онисим взял его за шиворот и опустил на пол. Потом он поднял корзину с четырьмя щенками, наказал снохе Ирине, чтобы она не выпускала ребятишек, взял в сенях заступ и ушел к овинам. Вернулся он с пустой корзиной и, как разделся, сразу подошел к черному кобельку. Он взял его к себе на колени, открыл рот, ощупал у него нёбо, ощупал за ушами, осмотрел лапы, грудь и остался доволен. Он велел восьмилетней Катьке отвязать в сарае тоскующую Найду. Найда вошла, худая и жадная, и прямо с порога бросилась к сыну. Она принялась его лизать и тихонько повизгивала. Ребятишки сидели вокруг них на корточках и наблюдали, как единственный из пяти сосал мать.

Онисим назвал кобелька Лыском и с величайшей заботой следил за тем, как для Лыска мало-помалу открывался широкий сложный мир сенного сарая, бурьяна около рябины и избы.

У Лыска скоро прорезались глаза. Об этом ребята узнали неожиданно, хотя с пеленок привыкли к собакам. Первой узнала Катька и вынесла щенка на пыльную улицу. Широкий, неуклюжий Лыско смешно прыгал, почти не отделяясь от земли, вилял хвостом и пытался лаять. Потом он бегал за Катькой, по брюхо утопая в мелком песке, и, запутавшись, падал через голову. С крыльца он скатывался кубарем. Ребятишки от души хохотали.

Через неделю Лыско уже сам мог взбираться по ступенькам крыльца, не падая и не скуля. У него появилась удивительная смелость. Он один выходил на большую дорогу и тявкал на пробегавших мимо взрослых собак. Он шел с ребятами в поле, на реку, купался вместе с ними.

Так постепенно Лыско превратился в молодую собаку, Онисим ждал этого с нетерпением. Он наблюдал за первой схваткой Лыска с кобелем Макара Ивановича — Шариком. Шарик был старше и сильнее Лыска и, если бы их не разнять, загрыз бы его совсем, но Лыско не сдавался: окровавленный, с порванным ухом, он рвался из рук Онисима. Они

сим стал еще пристальнее следить за Лыском и ясно видел, что такой хорошей собаки у него за всю жизнь не бывало...

Вот она и белка: маленький, совсем еще рыжий комочек на сосне. Ее выдает шишка, гулко упавшая на дорогу. Онисим подзывает Лыска и показывает ему на белку. Лыско видит зверька. Он удивленно застывает на месте.

— Полай, собачка. Пола-а-ай...

Лыско пищит. Белка насмешливо посматривает на него и шевелит пушистым хвостом. Лыско тявкает. У Онисима начинает сильно биться сердце.

— Давай, давай...

Лыско тявкает снова, царапает ствол лапами и вдруг отрывисто, неуверенно, с оглядкой на хозяина принимается лаять.

Онисим снимает фуражку и вытирает с головы пот.

Лыско лает громко, беспрерывно, с волнующим повизгиванием и бегает вокруг сосны.

Онисим достает части ружья, собирает их и вставляет патрон с бекасинником. Потом он несколько отходит от сосны и уже спокойно, привычным движением поднимает ружье.

Это нехорошо, еще лето, но белка должна быть убита: собака учится находить.

Онисим ровно касается пальцем спуска. От грохота Лыско подпрыгивает, но, мгновенно сообразив, в чем дело, принимает белку на зубы.

— Не тронь! — кричит Онисим.

Но белка еще жива. Перехваченная посредине острыми сверкающими зубами Лыска, она царапает когтями сухой мох и пищит. Большие яркие глаза ее полны смертельного ужаса.

— Хватит! Отпусти.

Онисим вырывает у Лыска белку. Теперь она уже не двигается, повисла на руке приятно тяжелая и теплая.

Лыско прыгает и визжит от радости. Потом, как сумасшедший, бросается в лес. Онисим слышит шуршание задеваемых им сучьев.

— Так, так,— говорит Онисим,— побегай, пока глуп.

Он отсекает по суставам передние беличьи лапки и, подозвав Лыска, бросает ему. Лыско подхватывает их на лету и ест жадно и быстро, не роняя изо рта, сильно встряхивая головой, и урчит.

Онисим любуется им.

Потом Онисим натаскивает Лыско разыскивать белку по следу и поднимает ее с земли на дерево.

Поставив все капканы, Онисим разбирает ружье, снова прячет части его под пиджак и возвращается в деревню.

Дома, не раздеваясь, он идет к Лаверу и рассказывает о собаке.

Лавер молчит, полуобернувшись к нему. Он в одной рубахе, в старых валенках, на руках холщовые рукавицы: собрался в хмельник исправлять колья. Сердито торчат его усы.

— Да, собака,— несколько потускнев, говорит Онисим.— Для нас собака — это все...

Лавер проходит в хмельник, ничего не ответив.

Опечаленный Онисим возвращается домой. Его снова мучит чувство неловкости, и это пугает его. Он начинает следить за соседом и каждый раз открывает в нем что-нибудь такое, чего раньше не замечал. Так, например, Лавер, здороваясь, не подает руки. Если нужно занять табаку, он присылает внучку Наташку.

Тревога не утихает. Онисим прислушивается к разговорам и однажды узнает, что о размолвке их догадываются многие.

Но теперь он мало видит людей. Каждый день в лесу. Уходя из дому, он привязывает Лыска в сарае и велит Катьке отвязать его через час. Он запутывает свои следы в огородах, за гумнами, делает по полю большой крюк и направляется в лес не через Сарьин поток, где всегда ходит, а через Дедово. Вот и биржа. Три больших сосны встречают его еле уловимым шумом. В прохладной тени свистят синицы. Онисим облегченно вздыхает, еще раз осматривается и влево у ольхового куста видит Лыска. Кобель падает на брюхо и ползет к Онисиму. Онисим поднимает ногу, Лыско ужимается и закрывает глаза. Не ударив его, Онисим опускает ногу. Ошалев от радости, Лыско прыгает, катается по траве, потом вскакивает и стремительно бежит в лес. Онисим идет за ним и не может сдержать улыбки.

Впереди звенят косы. Лыско начинает лаять. На тропу выходит Макар Иванович. От него веет хозяйственностью. На нем вышитая полотняная рубашка, витой лиловый пояс с большими кистями. На поясе позванивают ключи.

— Три стога сворочали. Сено, как гарус! — весело говорит Макар Иванович и, заметив Лыска, кивает на него Онисиму: — Не мог спрятаться?

— Не мог. Разыскал,— улыбается Онисим.

— Да, пока он в лесу лишний. В избушке-то не был?

— Нет.

— Ох, сейчас у озера хорошо...— вздыхает Макар Иванович.

Стоят молча. Онисим спешит: к обеду надо выбраться на старую лесную дорогу и осмотреть все кротоловки. Макар Иванович не уходит.

С пожни слышится голос Александры Мурышихи:

— Смотрю, матушки, и вправду Игнашонок. Борода широкая, черная. Пьяный. «Ты что, Платон?»—«Да вот странствую...»—«Из колхоза вычистили?»—«Вычистили, так их, растак».—«А ты бы меньше пил да работал». Молчит. Глаза красные...

Редкие тени под елками неподвижны. Пахнет далеким лесным пожаром.

— Что это у вас с Лавером? — не глядя на Онисима, говорит Макар Иванович.

Онисим мрачнеет:

— Нет, нет, что ты!

— Вам, старикам, надо жить дружно,— не слушая его, продолжает Макар Иванович.— Что это вы на самом-то деле!

Онисим смотрит в сторону. Ему кажется, что дело у них с Лавером зашло слишком далеко.

— Нет, нет, ничего,— повторяет он и уходит.

Лавер тоже ловил кротов. Иногда старики вместе отправлялись из деревни и до самого леса шли молча. В разное время оба они навестили свои лесные избушки и путики[1]. Тропы Онисима шли через древние урочища и болота — Красная ледина, Сосновец, Великие мхи. Изба его стояла на реке Шивде, близ озера Данислова.

Лавер обитал километрах в двух от него, за лощиной, на берегу речушки Укмы. Тропы его шли через Высокую гриву, Борки, Толоконные горы. Пути их пересекались на

[1] Охотничьи тропы со всеми охотничьими приметами и ловушками на птицу и мелкого зверя.

берегу Шивды, у старой вырубки. В этом месте был переход за реку: две жидких лавинки, тонкая жердь с берега на берег — перила. К перилам они приставляли колышек. Иногда один из них выходил на ночлег раньше. Тогда он, как было условлено, ронял колышек на землю. Другой, идя после, поднимал колышек и снова приставлял к перилам, как бы запирал вход в глубину острова.

Онисим пришел к озеру и увидел, что поляна перед его избушкой густо заросла травой. Трава скрыла все щепки, наполовину спрятала черный овал пожога. У самой стены избушки поднялись и опушились кусты волчьих ягод, сильно подрос можжевельник. Он сейчас цвел, и когда Онисим, проходя мимо, задел его, весь покрылся голубой пылью.

Изба стояла все так же насупясь: крохотная, черная, без окон, с маленьким квадратом двери, с черным очагом, сохранившим еще белизну прошлогоднего пепла. На полу остались неубранными сосновые дранки, дрова. Кто-то был в избушке после него глухой осенью.

Онисим поправил крышу, приделал к двери новую деревянную ручку и пошел по берегу озера отыскивать плот. Попутно он осматривал все заливы, бухты, мысы, поросшие осокой: все было так же, как он оставил. Только в одном месте в воду упала подгнившая ель и загородила дорогу. Онисим разрубил ее и сухой кряж отнес к избушке на дрова. Плот нашел на противоположной стороне. Он был причален в устье безымянной речушки, теперь совершенно высохшей. Онисим связал плот свежими черемуховыми вицами и перегнал на другую сторону, потом нашел в стороне сосновую валежину, отрубил от нее несколько кряжей, принес их к избушке, разрубил на чурки и нащепал громадный ворох лучины. Он связал сырую, кисло пахнущую лучину в большие пучки и поднял на потолок избы. Весь темный угол под крышей он забил лучиной.

Удовлетворенный, долго сидел на пороге. Теперь все было готово к осени.

Перед уходом домой он подмел в избушке пол. Взял с полки деревянное корытце, ложку, вымыл их на озере и завернул в старую газету. Потом собрал на нарах сухую траву и нарвал свежей.

Он не утерпел и прошел в верховья Шивды к старой вырубке. Колышек у перил стоял нетронутым, хотя Онисим знал, что сосед прошел впереди него. Впервые за целые

десятилетия была нарушена условность. Теперь сомнения не было: Лавер сердился.

Онисим думал об этом с болью и чувствовал желание видеть его. Он вспоминал всю их долгую трудовую жизнь в лесу, бесчисленные встречи у костра на дожде под елкой, иногда во тьме осенней ночи, на тихой тропе, когда, запаздывая, спешили они в избушки к теплу и свету, в мир бесконечно милых вещей и привычек.

— Да, да, я еще тогда подумал, что из тебя выйдет охотник,— запинаясь и нащупывая в темноте палкой, говорил Онисим.

— Ничего, я был цепок...— отвечал Лавер.

Они проходили местами, где впервые узнали друг друга: развилка старых дорог, край Федорова болота, иногда останавливались, садились на колодину и курили...

...Глухой осенью, больше сорока лет тому назад, Онисим встретил здесь широкоплечего парня с большой пестрой собакой. Собака лаяла в высокий осиновый пень, а парень стоял поодаль, курил и, видимо, не знал что делать. Онисим внимательно осмотрел пень. Около средины его темнели три отверстия, внутри была пустота. Больше дыр на пне не было. На земле около него виднелся порон: старый мох, сухие сучки, трухлявая сердцевина дерева.

— Давай пополам? — сказал Онисим.

— Давай,— нерешительно ответил парень.

— Да ты стрелять-то умеешь?

— Стреляю.

Онисим осмотрел шомполку парня и нашел, что в ствол ее могли пройти два пальца. «Эдакая страсть,— подумал Онисим.— Уж лучше бы обойтись без выстрела».

— Вставай вон туда,— приказал он.

Парень встал на указанное место и взвел курок.

Онисим принялся срубать пень. Собаки смотрели вверх и повизгивали. Дерево не гудело под топором. Дряблый, короткий звук угасал тут же в оранжевой зарубе. Онисим норовил свалить пень между толстой березой и сухой елью: здесь было гладко, замерзшая трава полегла и сжалась, кое-где торчали темные кисти багульника, блестел ледок. Пень упал. Онисим быстро заткнул мохом все дыры на пне, осмотрел его и про себя сказал:

— Тут.

С вершины Онисим заткнул дупло рукавицей и сквозь нее стал совать суком.

— У тебя котомка-то хорошая,— обратился он к парню,— выклади из нее все да подай сюда.

Парень освободил котомку. Онисим надел ее на вершину пня.

— Держи.

Парень стал держать котомку, а Онисим принялся тыкать суком с другого конца.

— Ой! — крикнул парень.— В котомке кто-то есть.

Онисим подскочил к нему, сжал котомку.

— Ну, сейчас хоть живую понесем.

Парень все еще не понимал.

Онисим поднял котомку, сильно ударил ею в этот же пень и вытряхнул на землю большую куницу.

— Ну вот,— проговорил он уже с улыбкой,— сейчас скажи: чей ты?

— Из самого Пабережья. Никиты Сержантова сын — Лавер.

— Внук Исака?

Исак был знаменитым охотником Пабережья. Место в лесу, где он проживал осенями, до сих пор звали Исаковой тлилью.

— А я из Старого села,— продолжал Онисим.— Трубиченка слыхал? Вот я самый и есть Трубиченок.

Парень почтительно посмотрел на него.

Онисим был небольшого роста, крепкий, складный, носил пушистые русые усы, голубые глаза смотрели доверчиво и внимательно. С виду ему было года двадцать два, не больше.

— Так меня прозывают.

Они курили и беседовали. Парень не отличался говорливостью. Он только отвечал, ничего не спрашивая.

«Бушуй,— подумал Онисим.— В деда: тот, говорят, людей из своей избушки гонял».

Он мельком осмотрел худое скуластое лицо парня, его громадные руки, плечи и решил: «Как дед, пойдет на крупного зверя».

Онисим поднял куницу. Она была еще теплая и перегибалась в руке. Гладкая шерсть ее сияла.

— Видишь ли,— сказал Онисим,— если мне унести куницу, ты обидишься. Возьми. Будет совесть — поделишься, не будет — как хочешь.

Парень унес куницу, вскоре продал ее за тринадцать рублей и выслал Онисиму шесть с полтиной.

Так они познакомились.

Потом Лавер пришел в Старое село примаком к соседке Онисима, молодой вдове Агафье. С тех пор охотники стали неразлучны.

Однажды, после совместной охоты на медведя, Онисим подумал о своем товарище: «Он ловок и смел, как дед». И высказал Лаверу свою затаенную мысль:

— Хочу поселиться в лесу.

— В лесу? — удивился Лавер.— А ведь я тоже об этом думал...

Они прошли свои путики, как землемеры. Наделали на деревьях затесков, кое-где поставили свои охотничьи знаки. Онисим вырубал две сходящиеся под тупым углом линии наподобие расправленных крыльев. Лавер ставил две параллельные линии и в средине крупную точку, что означало капкан,— большую угрозу крупному зверю.

Просек в лесу не было. Люди, приходившие сюда на охоту или за морошкой, за клюквой, пользовались тропами Онисима и Лавера.

Как только поспевала рябина, Онисим и Лавер отправлялись в лес и начинали поднимать жердки на рябчиков, ставили слопцы[1] и петли на крупную птицу. Лавер завел себе собаку-медвежатницу. Онисимова лайка находила и птицу, и белку, и земляного зверька, но медведя боялась смертельно и жалась к ногам хозяина, если ей приходилось провожать его к капкану, в котором сидел зверь.

Онисим не ошибся. С годами его сосед становился более и более похож на своего сурового деда. Он неделями мог не видеть людей. Он даже домой в баню не ходил. Жарко топил в избушке каменку, грел воду, забирался на полок и протирал тело еловой хвоей. Охотникам, приходившим к нему на ночлег, Лавер рассказывал небылицы о своей избушке: поставлена на лешевой тропе, часто ходит хозяин, вышибает трубу, хохочет по ночам за темной стеной...

Онисим вспоминал случаи, когда ему хотелось поговорить, а сосед уходил или молчал. Это злило Онисима, он давал себе слово не встречаться с ним и на следующий день делал лишний крюк по лесу для того, чтобы его увидеть. Теперь он тоже не мог не думать о нем. И все-таки каждый новый день отодвигал друг от друга дальше и дальше.

---

[1] Охотничьи ловушки на птицу (косача, глухаря и пр.) и мелкого зверя.

Глава вторая

Расставив кротоловки, Онисим иногда ночевал в лесу. Теперь он часто встречал здесь людей. Вторая бригада перебралась косить к Данислову в урочище «Еремин наволок».

Один раз, проходя мимо «Еремина наволока», Онисим выглянул из леса. Косцы обедали. Девчата и молодые бабы сидели кружком отдельно от мужчин.

Онисима заметили и закричали, чтобы он подошел к ним. Пришлось идти. У шалаша, склонившись над чашкой, сидел Лавер.

Онисим кивнул всем вообще.

— Садись ближе,— сказала Александра.— Давай сюда рядом с молодыми-то!

— Что вам от меня толку! — отшучивался Онисим.— Ты норови вон из того кружка.

— Правда, дед,— вмешался Манос.— Ей надо такого, который бы сумел ответить на вопрос жизни.

Женщины смеялись. Вышучивали друг друга.

Потом все заметили, что старики не слушают, заняты чем-то своим. Женщины переглядывались, толкали друг друга локтями.

В тишине Манос принялся рассказывать:

— В сельсовет какой-то чин приехал. Будет изучать состояние.

Его никто не слушал.

— Какое-то высокое лицо, — продолжал Манос. — С дамкой. Дамку под руку взял, стул поставил и в этот стул посадил. Встала, опять повел под руку.

Видя, что на него не обращают внимания, он тоже притих.

Скоро все разошлись. Зазвенели косы. Устинья Белова и Мурышиха запели старинную песню:

Все люди живут,
Как цветы цветут,
Моя голова
Вянет, как трава.

Лавер и Онисим остались одни у шалаша. Лавер достал табакерку, открыл ее, и Онисим услышал запах мятных капель. Ему захотелось протянуть к табакерке руку. Табакерка сияла яркой медью и слегка покачивалась в руке

Лавера. В это время полагалось что-нибудь сказать, но Онисим не сказал, а только подумал о том, что хотел сказать: «Да, леса горят и горят»; потом нужно было, запустив в табакерку два пальца, крепко сжать их и встряхнуть. «А почем знать! Может быть, кто нарочно поджигает. Спичку брось — и больше ничего не надо». Другая сторона молчит, но табакерка услужливо открыта. «Не то стареем оба, не то уж не пойму, чего это за последнее время все врозь». Онисим уже повернулся к соседу. Табакерка была открыта, но сам Лавер сидел отвернувшись, как будто рядом с ним никого не было. Онисим торопливо поднялся и ушел, не обертываясь.

Лыско был совсем готов к работе. За лето он сильно окреп. Грудь у него раздалась, лапы стали еще более упруги. Онисим с трепетом ждал открытия сезона. На озеро садилось много пролетных уток. Они не жили здесь, только останавливались позавтракать и пополоскать запыленные крылья. Каждое утро, просыпаясь, Онисим слышал кряканье и всплески воды.

Лыско прибегал из деревни один. От него невозможно было скрыться. Когда его привязывали в сарае, кобель визжал и скулил беспрерывно. Снохе надоедало это, и она отпускала его на волю.

Один раз, обходя кротоловки, Онисим заметил, как Лыско хрипит. Остановится, склонит голову и хрипит. Онисим присматривался к нему с беспокойством и удивлением. Чумиться сейчас кобель не должен. Что же это такое?

Так прошел день.

Утром Лыско был невесел. Исчезла его резвость. Тело потеряло быстроту и упругость. Правда, он шел стороной, но лениво и ничего не замечал. Онисим вышел в деревню, думая, что дома Лыско поправится, но Лыско худел день ото дня. Теперь он лежал в сарае, и когда Онисим приходил туда, вяло стучал хвостом, но не поднимался. На мгновение в глубине его глаз появлялась радость, но сразу же угасала, сменяясь робостью, иногда непонятной злобой. Лыско урчал и был в это время страшен. Онисим стоял, не спуская с него глаз, пока кобель не уползал в дальний угол.

Однажды на рассвете Онисим заглянул в сарай и нашел его пустым. Найда спала в канаве у большой дороги, Лыска не было. Онисим стал свистеть и кликать его, но напрасно. Он принялся обшаривать все углы, разрывал сено. Потом обошел сарай кругом, заглянул в крапиву, на

ее стеблях увидел шерсть, вскоре нашел обмятое место. Отсюда по росистой траве шел след: сплошная темная полоса. След вел в поле, пропадал во ржи, снова появлялся на берегу оврага, затем уходил к реке и здесь исчезал. Онисим перешел реку на перекате, но на другом берегу следа не нашел. Утонуть Лыско не мог, он просто старался скрыть свои следы.

Дома Онисим, никому ничего не сказав, накинул на плечи холщовый пиджак, взял топор и без ружья, без сумки ушел в лес. Сутки он бродил по лесу, ничего не ел, не пил. Он не помнит, где за это время побывал, что делал. Вернулся домой на рассвете, сильно похудевший; как ни в чем не бывало наколол дров, принес в избу, потом сел плести лапти. За завтраком он хорошо поел, выпил ковш квасу, и сноха подумала, что старик скоро все забудет.

В этот день он косил с бригадой полевую траву, правил косы. Все знали о его горе, относились к Онисиму с большой осторожностью, никто не обмолвился о собаке. Макар Иванович даже своего неуклюжего лохматого кобеля Грома отогнал, чтобы тот не мозолил глаза.

Манос сообщал новости.

— Этот чин опять прибыл в сельсовет. На этот раз без дамки. Сидит за столом, чего-то пишет. Чемодан у него большой, жабьего цвета...

Онисим все это слышал смутно и к разговору не пристал. Он вдруг вспомнил, как однажды Лыско выбежал из Лаверовых сеней, повизгивая и все время озираясь назад. В этом не было ничего особенного, собак за кражу всегда били. Онисим нахмурился, стараясь забыть об этом факте, но забыть никак не мог. Он даже остановился, опустил косу.

«А ты,— спрашивает,— со своей женой разве дрался?»— продолжал рассказывать Манос. «Да ведь как, небольшие перетычки бывали. Без этого наш брат раньше не мог».— «А теперь как?»—«А теперь,— говорю,— она сама меня разматросит...»

Онисим отошел подальше к кустам, чтобы никого не слышать, и принялся снова со всеми мельчайшими подробностями восстанавливать в памяти то, как выбегал Лыско из Лаверовых сеней.

Целую неделю Онисим ходил по кротоловкам.

Кончают покос. Поле пестреет первыми суслонами. В деревне слышен аромат свежесжатой соломы и

трав. Утрами, пока еще не обсохла роса, бабы ходят в лес за ягодами. Иногда пробираются к Онисимовой избе. Рассказывают: у озера опять появились лоси. А сколько в этом году глухарей. Из-под ног, прямо как курицы...

Онисим отмалчивается. Притворяется равнодушным Ездит с молодыми ребятами убирать снопы, вяжет метлы, веет зерно. В лес? Будет время, пойдем в лес. Вот еще недельки полторы...

Остается несколько дней до открытия сезона. Насушив сухариков, Лавер отправляется в лес. Широкий, неуклюжий, он идет мимо Онисимова дома, раскачиваясь и выворачивая ступни наружу. Онисим стоит в огороде. Жара. В канавах никнет серая от пыли трава. Кое-где на березах раньше времени желтеют листья. Охота будет трудная: белка любит серые дни.

У изгороди останавливается Манос. На нем короткая безрукавка, ноги босы. Ходил купаться.

— Побрел? — говорит он Онисиму, кивая на Лавера.

Онисим не отвечает

Манос с завистью смотрит вслед старому охотнику

— А вот у тебя собака...— снова начинает он.

Онисим настораживается.

— Можно что-нибудь подкинуть в хлебе, и животное будет страдать...

— Не болтай,— строго говорит Онисим и идет от него.

Весь день он злится на Маноса, но страшная мысль не оставляет его. Потом он привыкает к этой мысли и не удивляется, когда приходит решение: собаку погубил Лавер. Всю жизнь этот челвек был завистлив и мстителен. Больше сорока лет он что-то таил в себе. Всю жизнь Онисим вымаливал у него внимания, встреч, бесед, как подачки...

Онисим видит широкую фигуру соседа, его сухое лицо, колючие усы, и ему кажется ненавистно в Лавере все: его качающаяся походка, его манера говорить редко и отрывисто, его изба, его тропы, собака Гроза, которая служит ему четыре года.

На другой день Онисим невесело собирает котомку, берет капканчики, рыболовные принадлежности и кличет Найду.

— Старики отправились,— говорят в деревне.— Скоро придет настоящая осень.

В первый же выход Онисиму кажется, что Найда стара и ленива. У нее притупилось чутье. Она смотрит виновато и не всегда идет в сторону. За весь день она подлаивает одну тетерку. Онисим бродит без цели. Птица выпархивает у него из-под ног. Он заглядывает в березовые рощи, пересекает болота, ходит всюду, где был с Лыском. В густом осиннике, на берегу Шивды, он собирает красные хрустящие подосиновики и впервые за всю жизнь чувствует, что лес пуст и мрачен. Милые места и дороги потеряли свое очарование. Он встречается с людьми, говорит о том, о другом, а думает о собаке.

Ночью он просыпается потому, что опять видит его, Лыска. Иногда ему кажется, что кто-то скулит за дверью избушки. Он вскакивает, открывает дверь и в свете луны видит на земле свернувшуюся клубком Найду. Он долго стоит у двери босой, в одном белье и прислушивается. На берегу Шивды тихонько шумят сосны. Вот из березовой рощи, кем-то вспугнутый, срывается глухарь и, задевая за сучья, проносится, тяжелый, стремительный и недовольный. Усаживаясь где-то во мраке, долго хлопает крыльями.

Опять все тихо. Как невесело в лесу!..

Он смотрит на звезды. Собака стоит рядом с ним и вздыхает.

Какой охотник после него будет так же стоять у избушки и рассматривать звездное небо? Он будет видеть следы Онисимовых костров по лесу, переходы через ручьи и реки, все эти вещи в избушке и около нее. Онисим старается представить себе этого человека и заранее не любит его. С его приходом охота — источник силы и радости — утратит свой истинный характер, строгость, чистоту. Он осквернит Онисимовы тропы, срубит на деревьях затески, уничтожит его охотничьи знаки. Он сделает это потому, что в нем не будет дара понимать и чувствовать лес так, как понимал и чувствовал его Онисим, и еще потому, что в нем не будет уважения к делам другого...

Онисим останавливает себя на этой мысли. Почему он предполагает в этом охотнике все самое худшее? А Макар Иванович? Онисиму становится стыдно. Злоба мешает видеть людей, которые ценят и любят его. Она заслоняет от него все; он думает только о своих обидах. Виноват во всем вот кто!

За лощиной слышится хлопанье двери. Лавер тоже не

спит. Вскоре начинает гудеть под топором сухое дерево: колет дрова.

Сосны шумят яснее. Скоро покажется заря...

Онисим заходит в избушку и зажигает лучину. Потом разводит в очаге огонь, навешивает котелок и сидит перед пламенем с табакеркой в руках.

Тихо и пусто. Близится нерадостный рассвет.

— Мир на стану, дедушка Онисим! Мы пришли тебя проведать.

Бойкая, веселая Александра Мурышиха с подругой своей Устиньей стоят перед Онисимом.

Он растерян, не знает, что им сказать. Стоит с ружьем за плечом и ждет.

Бабы пришли за брусникой. В руках у них новые серебристые корзины из сосновых дранок.

Александра садится на пенек и достает пироги. В пирогах еще чувствуется тепло жаркой печи, они пахнут луком и конопляным маслом. Женщины закусывают и угощают Онисима.

— Смотри, какие пироги, белы, как солнышко...

Он ест вместе с ними. Да, зерно в этом году чисто. Пироги хороши.

— Ну, что в деревне?

— Молотим. Макар Иванович уехал в район покупать грузовик.

Александра начинает стрекотать, как сорока. Тот, что приехал в сельсовет, собирается сюда, к озеру. Пустили в ход льномялку. А вчера над деревней пролетел самолет.

Потом Александра подметает у него в избушке пол, перемывает посуду, и обе уходят в лес.

На второй день он опять видит их и светлеет лицом. Постепенно он привыкает к ним. С их приходом оживает. Возвращаясь с охоты, издали смотрит, нет ли кого у избушки, и если никого нет, становится невесел.

Изредка в лес приходил Манос. Однажды пришел шурин Маноса — Гришка. Он только что купил ружье. Охотничье искусство давалось ему с трудом. Бабы-ягодницы над ним смеялись.

— Мой золотой пришел,— говорила, указывая на него, Александра.

— Сегодня охота была неудачная,— смущенно отвечал Гришка.— Почитай полета не видел.

— Тетерочку-то подстрелил? — спросила Устинья и хитро переглянулась с подругами.

— Нет, тетерки нету. Два рябчика.

— Рябчики — что. Ты бы вот тетерку-то... Та покрупнее...

— Нет, не мог,— простодушно сознавался Гришка.

— Видно, не больно боек,— донимала Устинья.— Тетерку, говорят, не всякий может.

Женщины тихонько смеялись.

— Ну, бабы, что они понимают в охоте,— вступилась за Гришку Александра.— Ты, Гришенька, не слушай, мы, пожалуй, наврем...

Они уходили, весело разговаривая. Гришка стоял на тропе и смотрел на них тоскующими глазами.

— Гриша! — кричала издали Устинья.— Заднюю-то хватай тут, в лесочке...

Задней шла Александра. Она обертывалась к нему и со смехом грозила:

— Попробуй...

Онисим следил за всем этим и осуждал Александру. Один раз она, завидев Гришку, пропела:

Все не мило, все постыло,
Лишь страдаю по тебе...

Гришка стоял и слушал ее. Сейчас он даже не скрывал своей печали.

Женщины, тихонько напевая, удалялись. Они шли, пригнувшись к земле, и быстро работали руками.

— Наберут,— сказал Гришка, увидев Онисима, и Онисим понял, что сказал он это только для виду. Он почувствовал, что горе Гришки неизмеримо и тяжко.

Онисим с сожалением посмотрел на парня.

— Вот,— сказал он,— дичи в этом году мало. Погоды нет. Сушь...

Гришка глянул на него невидящими глазами, помолчал и с трудом вымолвил:

— На Гординой дороге Игнашонка видел. Второй раз попал навстречу.

— Что ему надо?

— Не знаю,— равнодушно ответил Гришка, прислушиваясь к голосам женщин.

«Вот как она его»,— подумал Онисим и на следующий раз отнесся к Александре еще строже.

— Здравствуй, дедушка Онисим!

— Поди-ка...

— А у нас, дедушка, сейчас своя машина.

— Хорошо.

Она садится на порог и принимается болтать. Потом приносит ему из озера свежей воды.

Онисим хмурится. Отвечает коротко.

С болота слышатся крики женщин. Она не уходит. Онисим берет ружье, сумку: еще рано, можно походить в лесу.

— Дедушка,— вкрадчиво спрашивает она.— Вы зачем поругались с Лавером?

Онисим быстро поворачивается к ней и кричит:

— А тебе какое дело? Иди! Иди!

И, резко вскинув ружье, уходит.

Александра стоит у избушки, испуганная и удивленная.

Он ходит по лесу, и снова лес кажется ему пустым и мрачным.

Глава третья

В субботу приходят охотники и вместе с ними незнакомый человек в длинных кожаных сапогах, в кожаной тужурке. За плечами у него новенький вещевой мешок и двустволка. Он крепкого телосложения. У него свежее, молодое лицо, остроконечная бородка, карие глаза смотрят открыто и пристально.

При нем Манос тянется больше, чем всегда. Он даже ходит по-особенному: почти не сгибая ног, чуть откинув набок голову, и всячески старается показать, что беседа с таким человеком, как этот приезжий, для него не в диковинку

— Дедушка мой был, вроде вас, административное лицо. Правда, чином пониже,— говорит он так, чтобы все слышали.

Он помогает приезжему снять мешок, двустволку, вешает все это на спицы, вбитые в ель, и только после этого здоровается с Онисимом.

Приезжего звать Андрей Петрович Шмотяков. Он ученый: охотовед.

Онисим с любопытством смотрит на Шмотякова, но спросить ничего не смеет.

— У Андрея Петровича интересная жизнь,— объясняет ему Манос,— он подкидыш!

Пока поспевает чай, Шмотяков рассматривает карту-десятиверстку.

Манос, перегнувшись через его плечо, читает вслух названия мест на карте. В некоторых кварталах стоят крестики и стрелки. Кружочком отмечена Трифонова курья[1] на реке Нименьге. Рядом мелкая надпись: «Место обитания ондатры».

— Нет,— говорит Манос,— на Нименьге этой крысы мало. А вот в Модлони ее — провороту нет.

С этими словами он берет карту с коленей Шмотякова и тычет пальцем в то место, где должна быть река Модлонь. Шмотяков несколько смущен этой бесцеремонностью, но ничего не говорит.

— Я изучаю ондатру в условиях наших северных рек,— поясняет он и высматривает место, где бы прилечь отдохнуть. Идти в избушку он не хочет, лучше на свежем воздухе.

Манос хватает топор и бежит на берег озера. Недалеко от устья Шивды, у густых березовых кустов, он быстро расчищает мелкую поросль, втыкает колышки и устраивает шалаш. Крышу он покрывает свежей еловой корой, которую тут же сдирает с дерева. Внутрь шалаша он стелет толстый слой мха. Когда все готово, Манос делает Шмотякову под козырек:

— Квартира готова!

Шмотяков заходит в шалаш. Свежая белая крыша густо пахнет серой. Она вся усеяна золотистыми капельками и сосульками. Прямо перед Шмотяковым — озеро, сжатое со всех сторон лесом, справа — кусты, позади и влево — заросшая травой полянка, сосны, тихое журчание Шивды.

Шмотяков заходит в шалаш, постилает газету и с оглядкой садится. Потом берет клок моху и обтирает над головой серу. Сера не отстает, а мох прилипает к коре грязными линиями.

Манос снисходительно посмеивается над приезжим и в порыве усердия предлагает:

— Племянник Михайла хорошо эту ондатру постиг. Служит в районном центре. Напишу — отпуск возьмет, приедет. По должности он большая фигура — землемер!

— Нет, нет, не делай этого,— отмахивается Шмотяков.— Зачем человека отрывать от дела?

---

[1] Залив в реке.

— Ничего, приедет. Для него самого это как бы забава.

И, не слушая больше, Манос отходит от шалаша.

Немного отдохнув, Шмотяков встает бодрый. Охотники уже успели надрать березовых лык, плетут лапти, корзины.

Душно. Из-за леса надвигаются синие тучи. Дождь собирается давно. Иногда слышится отдаленный гром, земля, приготовившись, затихает: сонно чирикают дрозды, над болотом поднимается канюк, но все оказываются обманутыми — дождь обходит стороной.

Сейчас охотники с надеждой посматривают на небо. Смотрит и Шмотяков. Тяжело дышать. Сильно пахнет дымом.

— Беда,— говорит Макар Иванович.— Как посмотришь, сколько добра в огне гибнет. Горят самые лучшие массивы.

— А что охрана? — спрашивает Шмотяков.

— Охрана! На пятьсот километров сплошные леса, угляди. Лесник сегодня здесь, а я пошел в Пустое Раменье и бросил там спичку...

— А лесником кто? — вмешивается Манос.— Изверг. Игнашонок.

Шмотяков вопросительно смотрит на Макара Ивановича.

— Тут был у нас один,— неохотно отвечает Макар Иванович.— Так. Пьянюшка. Да его давно уволили...

Садятся пить чай. Шмотяков с улыбкой достает из темного бумажника два хрустящих листа бумаги и протягивает охотникам.

— Вы меня простите,— говорит он.— Я должен был сделать это сначала.

Все рассматривают листы. Это бумаги областных организаций, удостоверяющих личность Шмотякова.

Манос почтительно вытягивается.

— Вся видимость налицо,— говорит он и осматривает небо.

Солнце стоит над лесом в широком голубом огне.

— Хотите, сейчас пройдем на реку Укму? — предлагает он Шмотякову.— До ночи еще успеем. Немного этой крысы и там есть.

Шмотяков думает.

— Пожалуй,— говорит он.— Только, кажется, будет гроза?

— А мы укроемся в надежном месте.

Шмотяков берет ружье, и они идут берегом озера. За озером начинаются ослепительные березовые заросли, густые и чистые, еще не видавшие топора. Здесь тишина и прохлада. То и дело вспархивают рябчики. Манос не обращает на них внимания. Гордо задрав голову, он шагает впереди Шмотякова и без умолку говорит о себе.

— Ведь я сам в городе жил,— рассказывает он.— Тоже нет-нет и возьмешь книгу. Все читал автора Пазухина. «Буря в стакане воды».

— Вот что...— произносит Шмотяков, думая о чем-то другом.

Помолчав, Манос неожиданно спрашивает:

— А вы не можете пояснить, чем лечат от срыва?

— Нет.

— Значит, вы только по животным? Вы, стало быть, лесную живность знаете? Объясните, что такое акрида? На днях в книжке вычитал, а понять не могу.

— Ладно, об этом после,— говорит Шмотяков.— Мы, кажется, не туда зашли?

Начинался глухой и мрачный еловый лес. Всюду бурелом, темная береза. В низине, между елками, виднелась речушка, через которую можно было перепрыгнуть с берега. Вся она заросла черемушником и калиной.

— Укма,— сказал Манос.

Они пошли зыбучим берегом Укмы, увязая по колено в толстом слое мха.

Манос следовал впереди и предостерегал Шмотякова.

— Тихонько. Тут можно провалиться — окно.

Шмотяков передвигался медленно, с оглядкой. В некоторых местах он крепко хватал Маноса за плечи и со страхом смотрел под ноги.

— Ничего,— успокаивал Манос,— провалитесь, вытащу за волосы, утонуть не дам...

В лесу становилось темней.

Сзади них, как определил Манос,— около Пустого Раменья, прогремело.

— Хорошо,— радостно промолвил Манос.— Давно надо. Смотрите, что делается!

Он схватил большой клок мху и ударил по нему ладонью. Поднялась пыль.

— Разве такая неудержимость допустима!

Небо навалилось на самые вершины. Шмотяков с тревогой осматривался.

— Сейчас начнется осока,— успокаивал его Манос.— Река будет пошире. Там ондатра сидит...

Скоро Укма действительно стала шире. Лес отступил. Берега пошли плотнее. Почти от средины реки начиналась круглая ситка. Из нее с громкими криками вылетали чибисы. Большие коромысла[1] сверкали на солнце темно-зелеными крыльями. На берегу густо росла осока. Манос зашел в нее и, нащупывая ногами, стал пробираться к реке. Из травы виднелась одна его голова.

— Сейчас мы найдем жировку,— говорил он.— Должна она тут жить. Вот и трава срезана. Жрала. Норы.

Манос проваливается в яму. Над ним шевелится осока. Слышится его голос:

— Выразиться попросту, так это будет так... (он произносит ругательство). Вы, Андрей Петрович, извините: в такие минуты не могу себя сдержать.

Манос выпрямляется и, немного прихрамывая, идет к воде.

— Трава верно срезана, а норы нет. Какой же прохвост нарыл ямы? А может быть, и выдра. Вот, кажется, кормовая площадка.

Манос опускается на одно колено, сует в воду руку и ощупывает обрывистый берег, стараясь найти под водой ход в нору.

— Удивительно. Ничего нет,— говорит он.

— Нет? — произносит Шмотяков и наклоняется к воде.

— Нет.

К берегу прибивает кусок свежеотпиленной тесины. Шмотяков берет ее в руки и нюхает. Доска пахнет теплом и смолой.

— Люблю свежее дерево,— говорит Шмотяков.

— Тут у нас лесу хоть подавись,— отвечает Манос.

Он не успевает договорить. Над самыми их головами небо разрывается с грохотом и треском. В то же мгновение впереди них беззвучно отделяется от земли высокая сухая ель и летит в реку. Белая разодранная ее вершина падает совсем близко от Шмотякова и Маноса. Сильной струей воздуха их отталкивает в сторону: дрожит земля. Потом они видят вихрь белых осколков и сучьев.

Манос смотрит на своего спутника. Шмотяков стоит

---

[1] Вид стрекозы.

бледный. Манос берет его за руку и тянет под большую ель.

Падают крупные холодные капли. Становится совсем темно. Гром не прекращается.

Ливень начинается широкий и оглушительный. Вода сразу пробивает густоту сучьев. За несколько минут Манос перемокает до нитки. Шмотяков защищает руками шею, но все-таки вода пробирается за воротник его кожаной тужурки. Даже в сапогах у него вода. Он ежится, вертит головой и с отчаянием посматривает вверх.

Около них, между корнями, текут ручьи. Мох намокает, раздувается.

Манос то и дело выходит из-под елки и с улыбкой подставляет под дождь обнаженную голову.

Ливень прекращается. Все еще тихонько покачиваются ветви берез и сверху по траве стучат крупные капли, но небо уже проясняется, становится светло и прозрачно. Остро пахнет свежей хвоей, грибами и травами.

Манос снимает штаны, рубаху, крепко выжимает их и снова надевает на себя.

Шмотяков стоит под деревом, брезгливо морщится и отряхивает перемокшую кепку.

— Э, благодать-то какая,— говорит Манос и показывает вокруг себя руками на лес, на травы, на реку, заполнившую с краями низкие берега.

Шмотяков выходит из-под дерева, боясь тряхнуться. На лице у него грязные потеки, волосы прилипли ко лбу.

— Ну, что же ты? — говорит Манос.— Скидывай штаны да отожми, перестань ежиться-то.

Манос рассматривает Шмотякова и негромко смеется. Глаза у Маноса сияют. Он даже порозовел, выглядит совсем молодо.

— Сейчас вы, Андрей Петрович, все равно, как скворец у гнезда. Настоящее представление! Ну, пошли, что ли?

— Да нет, пожалуй, сегодня не пойдем, надо обсушиться.

Манос не возражает.

Они выходят на еловую гряду. Влажно краснеет брусника. По стеблям трав карабкаются кверху черные жуки, на листья проворно выползают голубые черви. Кое-где у темных от сырости стволов лежат клочки оборванного ливнем седого лишайника.

Они принимаются отыскивать тропу.

— У меня, надо вам сознаться,— говорит Манос,—

срыв. Иногда лежу в тягости и весь корпус горячий. А как погода наладится — мне легче. Сейчас я куда угодно. Сейчас я в себе еще молодость содержу.

Шмотяков молча шагает за ним, шурша мокрой одеждой.

Из-за деревьев выходит широкий седеющий человек, обвешанный сумками и битой птицей.

— Это наш лесной профессор,— тихонько поясняет Шмотякову Манос.— Он говорить не любит. Живет молчком.— И кричит: — С хорошей погодой, дед!

Старик скупо улыбается. Шмотякова он осматривает исподлобья долго и внимательно, но ничего у него не спрашивает.

Указывая на Шмотякова, Манос объясняет старику:

— Это, дед, высокое лицо. Кабинетный ученый.

— Как тебя звать? — спрашивает у старика Шмотяков.

— Лавер.

— А по батюшке как?

— Не величайте меня. Не надо...— сухо отвечает Лавер.

Манос виновато смотрит на ученого: «такой уж он у нас...»

— Тут поблизости его избушка. Можно обсушиться. Ну, старик, веди нас в свою берлогу.

Лавер, ничего не ответив, шагает вперед.

Скоро они подходят к его владениям.

Изба стоит под двумя большими елями. Лес начинается от самых ее стен. Хоть бы маленькая полянка! У самой двери громадный пень, заменяющий, видимо, охотнику стол. Окна в избушке нет. Внутри — узенькие нары. Над каменкой — черные, сияющие грядки с лучиной. В избе еще чувствуется теплота вчерашней топки.

Манос сразу разводит на улице костер, и они со Шмотяковым сушат одежду. Лавер молча посматривает на них и щиплет убитую птицу. Он не приглашает их ночевать, хотя уже темнеет. Манос берет в углу избы большой пук берестяных обрезков, часть их наматывает на палку и зажигает в костре.

— Ну, пойдем,— говорит он Шмотякову.— Тут, видно, гостям не рады.

Лавер даже не поднимает головы, щиплет птицу и разговаривает с собакой.

— Как? — спрашивает у Шмотякова Манос, когда они углубляются в лес.— К этому старику подойти, как к ежу.

— Да, старик,— неопределенно отвечает Шмотяков.— И много у вас эдаких?

— Да нет, пока один. Не старик — картина. Он людей не любит. По его тропам не ходи.

— Вот как! Это, пожалуй, может помешать моей работе.

Идут молча. Манос размахивает факелом. Длинные черные тени мечутся между стволами. Шмотяков настороженно следит за ними и, как кажется Маносу, боится.

— Сегодня для начала пришлось тебе кое-что повидать,— говорит Манос.— Ничего, привыкнешь.

— Привыкну. А я думаю о том, как бы нам этого старика задобрить...

Глава четвертая

Манос не оставляет приезжего в покое. Он следует за ним всюду. У шалаша почти не отходит от него, раскладывает костер, приносит воду, отгоняет собак или просто, привалившись к сосне, смотрит, как Шмотяков делает записи у себя в тетради. Иногда он подходит совсем близко к нему, заглядывает через плечо. Иногда, пользуясь тем, что Шмотяков о чем-нибудь задумался или отошел, берет у него тетрадь и перелистывает ее, старательно смачивая языком палец.

— У вас тут какие-то фигурки: вроде домики, вроде елки. Вы эдак не можете ли человека-то срисовать под вид, хотя бы меня?

Шмотяков отнимает у него тетрадь.

— Ты без спросу ничего не бери...

— Понимаю,— говорит Манос и в следующий раз, забывшись, тянется к биноклю Шмотякова или к его микроскопу, все это вертит, встряхивает, рассматривает.

Манос беседует со Шмотяковым так, чтобы слышали другие. Газеты читает он только вслух, выбирает в них самое трудное, иногда выхватывает из конца, из середины отдельные слова или фразы и наблюдает, какое это произвело впечатление на слушателей...

— Ох-хо-хо,— вздыхает Онисим.— На цвету прибит...

Манос делает вид, что не слышит этого.

«Комсомольцы орудийного расчета подразделения старшего лейтенанта П. С. Ольховика, уничтожившего в боях

у озера Хасан японскую батарею и две роты солдат. В центре командир подразделения тов. Ольховик».

На этот раз все тянутся к газете посмотреть снимок. Манос надрывается, кричит до хрипоты. С него катится пот, хотя в воздухе свежо и сыро. Над озером собираются тучи, день встает хмурый, глухой, вероятно, будет моросить мелкий грибной дождь, залепечут осины — настоящий охотничий день. В такие дни птица далеко не летает, а белка любит побегать, попрыгать, загрязнить свою шубку.

Дослушав статью, охотники быстро расходятся в разных направлениях. Вскоре лес оглашается лаем, слышится чей-то выстрел.

Утром Манос сидит у шалаша и нетерпеливо ждет, когда проснется приезжий. Потом он идет впереди Шмотякова к озеру и выбирает место для умывания. Пока Шмотяков, весь окутанный паром, плещется в озере, Манос снисходительно наблюдает за ним.

Бледнеет заря. Просыпаются птицы. Лес наполняется веселым шумом.

— Ну, я письмо послал,— говорит Манос.

— Кому?

— Племяннику Михайле.

Шмотяков с неудовольствием смотрит на Маноса:

— Кто же тебя просил?

Манос добродушно посмеивается:

— Ничего, ничего...

Все-таки Шмотяков уходит на работу недовольный. Это смущает Маноса. Вечером он возвращается к избушке раньше людей и видит ружье Шмотякова на сучке сосны. Приезжий, видимо, сидит за работой.

Манос разводит костер и, тихонько насвистывая, принимается готовить ужин.

На тропе, влево от избушки, слышатся шаги. Манос поднимает голову и видит коренастого чернобородого человека с сумкой на боку. Манос с любопытством рассматривает его, потом свистит.

— Э! Да это ты, Игнашонок!

Человек останавливается.

— Я хочу видеть охотоведа Шмотякова.

— Нет. Нельзя. Он при работе.

Игнашонок достает документ, выданный Нименьгским питомником лисиц.

— А мне какое дело! — говорит Манос.— Ты его сейчас сбить можешь. Проваливай со своим питомником.

Игнашонок возмущенно разводит руками. Манос как бы не замечает этого.

— И ночевать тебе здесь не дам. Еще вечером пристанешь к Андрею Петровичу. Иди с богом.

Игнашонок дрожит от злобы. Он хочет пробраться к избушке силой.

— Попробуй,— говорит Манос, загораживая ему путь.— Я тебя разделаю под один пузырь.

Игнашонок плюет, бросает на Маноса взгляд, полный ненависти, и уходит, обещая пожаловаться в сельсовете.

— Давай, давай,— говорит Манос и тихонько идет к шалашу приезжего.

Шмотяков работает. Перед ним карта, раскрытая тетрадь, микроскоп.

— Крысы не нашел? — выглядывая из кустов, улыбается Манос.

Шмотяков вздрагивает от неожиданности.

— Нет еще.

— Крысу мы найдем на Модлони. А тут к вам одно лицо приходило.

— Ко мне? — оживляется Шмотяков.— Ну и что же?

— Я его вытурил.

Шмотяков хмурится:

— Ах, братец ты мой, дорогой Прокопий Сергеевич, это настоящий бюрократизм!

Манос улыбается:

— Ничего. Их тут придет много, а у вас государственные дела.

Шмотяков сидит недовольный.

Когда собираются охотники, Манос рассказывает об этом случае.

Все возмущены. Макар Иванович даже хочет поставить вопрос на колхозном собрании.

— Ставь,— равнодушно говорит Манос.

Макар Иванович плюет и отворачивается.

Всем неловко перед Шмотяковым за Маноса, за весь колхоз.

Манос наконец уходит домой. Всем становится легче. Теперь приезжего никто не стесняет. Утром он берет ружье,

сумку, фотоаппарат и идет по реке Шивде. Километрах в двух от избушки в Шивду впадает река Питремица.

Тут у Онисима стоит маленький плот.

Шмотяков встает на плот и, правда, не совсем умело, но старательно принимается работать шестом.

Встречая его, охотники добродушно посмеиваются. Над ним подшучивает даже Гришка, шурин Маноса.

— Сколько километров в час, Андрей Петрович?

— Молчи, парень,— отмахивается Шмотяков,— шеста еще не возьмешь, а уж плечо ломит.

Берега Питремицы так густо заросли кустами, что сквозь них реки не видно совсем. Гришка раздвигает ветви и показывает свое доброе голубоглазое лицо.

Шмотяков втыкает шест между бревнами. Плот останавливается.

— Как успехи, Григорий Иванович?

— Плохо. Один рябчик да белка.

Гришка виновато улыбается.

— Собака глупа, что ли?

Стоят молча.

Опять жара. Небо безоблачно и глубоко. На воду больно смотреть. Снова пахнет гарью.

— Охотиться-то давно стал?

— Да нет, только-только. И не стал бы. Ну, дело одно постигло.

— Что такое?

Гришка отвечает не сразу, подумав, спрятав лицо в тени:

— Душа заболела.

— О! Это от чего же?

Шмотяков пристально смотрит на Гришку.

— Это пустяки. Парень ты молодой. У тебя все впереди. Смотри, жизнь-то пошла какая хорошая, веселая. Вот какие песни поют ваши колхозницы!

— Нет,— говорит Гришка.— Это у меня так не пройдет. Я очень задумчивый...

Губы Шмотякова шевелит улыбка. Однако, щадя Гришку, он больше ничего не спрашивает.

Шмотяков занят с утра до вечера. Он встает на рассвете. Вечером Онисим видит огонь его костра. Сам к нему ходит мало. Иногда помогает рубить дрова. Услужливо показывает ему лесные пути.

Иногда, оба уставшие, они встречаются на лесной тропе. Идут не торопясь.

Близится вечер. Угасают лиловые осины.

Онисим вполголоса рассказывает случаи из своей охотничьей жизни, показывает особенно дорогие места, старые свои записки на деревьях.

Впереди них взлетает рябчик. Шмотяков снимает ружье и начинает подкрадываться.

Шмотяков скрывается в лесу. Слышится новый взлет рябчика.

— Ну-у! — с неудовольствием произносит Онисим.— Неловок.

Несколько смущенный, Шмотяков возвращается.

— Какие-то напуганные,— говорит он.

Онисим молчит. Он с этим не согласен. Шагают молча.

— Стало быть, надо знать — откуда прилетел, куда сел,— говорит Онисим.— Если сел да крыльями хлопнул, значит, на сухом суку или на березе, если не хлопнул — сел в хвою...

Опять шагают молча.

— И подходят у нас к рябчику не так. Видишь, сидит — не останавливайся. Пройди его, а потом назад обратись и начинай подкрадываться. Тогда он усидит...

Они подходят к переходу через реку Шивду. Черная вода в реке кажется застывшей. Журчание слышно где-то очень далеко в верхах.

— Прибыло,— мягко говорит Онисим.— Где-то дожди прошли...

Вступив на лавинки, Шмотяков хочет взять приставленный к перилам колышек.

— Не тобой поставлено, не ты и возьмешь,— наставительно говорит Онисим.

Шмотяков отдергивает руку.

— Тут еще есть реки? — говорит он.

— Есть,— сухо отвечает Онисим.— Это не на моем путике.

— Да, да, там, кажется, твой сосед Лавер. Чудной какой-то. Понятно, работу я могу вести везде, никто мне запретить не может, только очень уж этот ваш Лавер нелюдим. Ты бы меня с ним познакомил.

— Знакомься сам! — почти крикнул Онисим.

Шмотяков смотрит растерянно и виновато.

— Право, я не знаю, что у вас, и тебя вовсе не хотел обидеть.

Онисим молчит до самой избушки. В этот вечер они больше не видятся.

Теперь Шмотяков не знал, как себя вести со стариком. Он приходил к нему чаще, угощал Онисима хорошими папиросами, почтительно расспрашивал о местах, но Онисим был все время насторожен, иногда просто отмалчивался, как бы не слыша.

Когда снова пришел Макар Иванович, Шмотяков рассказал ему об этой размолвке.

Макар Иванович понимающе кивнул головой.

— Тут, брат, вражда... И мы ничего не можем сделать.

— Так как же мне быть?

— Никак. Делайте свое дело и не обращайте на них внимания. Вот тут вам Проня поклон прислал.

Макар Иванович подал Шмотякову записку, свернутую треугольником. Шмотяков читал:

«Недалек тот час, когда я снова буду стоять рядом с Вами. Сейчас меня как единственного специалиста держит работа. Во сне вижу рябчиков, глухарей. Короче сказать — нахожусь в пределах».

Внизу был приставлен штамп:

«Агент Охотсоюза Прокопий Сергеевич Колыбин».

— А что он знает? — спросил Шмотяков.

Макар Иванович, поняв, улыбнулся.

— Прошлый год был полтора месяца на курсах колхозных машинистов...

Они подошли к краю болота. В тени широкой елки сидела группа женщин. Корзины их были полны крупной золотистой морошкой. Влажный и тонкий аромат этих ягод был слышен издали.

Шмотяков вежливо поклонился женщинам.

— Наших ягод,— предложила ему Устинья Белова.

Шмотяков взял двумя пальцами крупную ягоду и сел к сторонке.

Макар Иванович тоже сел с ним рядом.

Женщины сначала внимательно рассматривали Шмотякова, о чем-то шептались. Потом разом осмелели, заговорили.

— Смотрите, бабы,— сказала Устинья, указывая на Макара Ивановича.— Этот-то стал нас бояться!

— Что ему в нас! — в тон ей ответила Таисья Нефедова.— Ежели бы тут была Мурышиха, она бы его расшевелила.

— С той заговоришь,— продолжала Устинья.— Вон как со своим-то деревенским дружком она обошлась. Уж теперь сам Татанчик рассказывает, не скрывает. «Дружились, дружились да,— говорит,— и решил идти на приступ. Александра ничего. «Пойдем к бане. Тут под горкой неловко...» Иду с ней к бане и думаю: «Ой, дурак, не смел приступить раньше, а баба давно ждала». Вот они к бане подошли, Александра Татанчика в охапку захватила... да как толкнет! Татанчик под горушку лётом. Голову поднял и глядит: тут ли? «И к вам-то,— говорит,— она вышла, а я все боюсь. Как теперь мимо Гаврилина дома ехать, встану и давай лошадь нахлестывать. Ребятишки мне: «Дядюшка, чего лошадь-то хлещешь?»—«Ужо молчите, ребята, я знаю...»

Женщины смеялись.

— А как она Гришку водит,— продолжала Устинья.— Хоть бы, окаянная, на шутку пожалела.

— Кто это такая Мурышиха? — спросил Шмотяков у Макара Ивановича.

— Тут есть у нас одна. Баба молния. Бедный парень по ней страдает.

— Охотник тоже?

— Да так, ружье имеет... Вы его видали — Гришка. Спит и видит ее. А у Александры — муж. Беда. Нехорошо. Прямо совсем ошалел. Как маленький...

— Вот оно что! — сказал Шмотяков и улыбнулся.

Охотники стосковались по лесу, ходить с приезжим им некогда. Шмотяков путешествует больше в одиночку. Придерживается течения рек. Лаверовы тропы обходит. На Нименьгу пробирается окружным путем, который указал ему Гришка. Но это очень далеко; кроме того, он попадает в нижнее течение реки, там сухие высокие берега, местами даже песчаные отмели. Ондатра любит заливные покосы, водяные заросли.

Гришка охотно соглашается провести Шмотякова без дороги в среднем течении Нименьги. Он хорошо знает леса: много лет ходил с дедом драть скалье для дегтярного завода. Легко ориентируется по солнцу, по сучьям, муравейникам, по кистям брусники.

— Хотите, я вас без компаса проведу прямо на Гордину избу? — говорит Гришка Шмотякову.

Они стоят на берегу Шивды, у старой вырубки. Влево от них уходит дорога Лавера, на противоположном берегу темнеет тропа Онисима.

Только что взошло солнце. Осины по краю вырубки стоят в лиловом пламени. Сухорос. Листья и травы пахнут горечью. Шивда опять пересыхает. Кое-где обнажились черные колодины, размытые корни кустов. Земля кажется глухой и бесплодной.

— Да, проведу,— повторяет Гриша и стоит, соображая. Потом быстро нацеливается чуть правее Лаверовой тропы.— Держитесь.

Сразу начинается густой смешанный лес. Через полминуты их уже не видно с дороги.

Смотря в какую-то одну точку, Гришка машет рукой то вправо, то влево.

— Сюда идти — Гордина тропа. А в эту сторону — Старые выломки. Около них есть ляга. Тут раньше старики клады искали, все срыто... Дальше сосновый бор Нюба.

Зорким глазом Гришка окидывает елки, высокие осиновые пни и снова уверенно шагает.

— Что же ты, милый,— говорит Шмотяков, вглядываясь между деревьями (впереди какая-то светлая полянка),— не можешь покорить Мурышиху?

Гришка на мгновение останавливается, с опаской смотрит кругом.

— Вам уже сказали?

— Тут нет ничего особенного,— продолжает Шмотяков.— Я заметил. Мурышиха щегольнуть любит. Надо ее ловить на этом...

Гришка молчит.

Шмотяков больше ничего не спрашивает. Впереди становится светлей и светлей. Вскоре они выходят на маленькую площадку.

— Ну, вот и Гордина изба,— говорит Гришка.

Площадка заросла высоким пыреем. Влево, у молодых елок, темнеют развалины сруба. В средине сруба растет толстая береза; рядом черные камни очага, сгнившие доски нар. Лет пять-десять тому назад здесь жил старый охотник Гордей Артамонов.

Шмотяков и Гришка садятся на гнилое бревно курить. Совсем рядом слышится шум Нименьги.

— Нет, ты очень робок,— говорит Шмотяков.

— Уж какой есть...

Гришка отвертывается. Сидит молча.

Сзади них раздвигаются кусты, и на поляну выходит Лавер.

На лице Шмотякова страх. Гришка замечает это и сам чувствует неловкость перед стариком.

Лавер смотрит на вершины, как бы не замечая Гришки и Шмотякова. Потом повертывается. Шмотяков бледнеет. Гришка в душе смеется.

— Здорово,— говорит Лавер.

В голосе его ни обиды, ни раздражения. Старик даже пробует улыбнуться.

— Ну вот наши леса. Да. Куда пошли-то?

— Крысу искать,— торопливо отвечает Гришка.

Лавер щурится, думает.

— Ондатру,— поправляет Шмотяков.

— Так, так...

Все вместе они идут к реке. Налево, в большом плесе, плавают утки. Гришка падает на землю и ползет.

Лавер и Шмотяков стоят, притаившись за кустом.

— Вы не стесняйтесь,— говорит Лавер.— В лесу ходить никому не запрещено. Вот когда я на медведя собираюсь, тогда не даю на своем путике ни плевать, ни табак сорить, сам не нюхаю табаку, хожу только в лаптях, а то сапоги пахнут дегтем...

— Вот что! — удивленно и радостно произносит Шмотяков.— А сейчас ты не охотишься на медведя?

— В этом году еще нет. Без напарника не решаюсь. Стареть стал...

— А ведь рядом с тобой тоже охотник живет.

Шмотяков настороженно, с некоторой робостью ждет ответа.

Лавер молчит.

В это время над плесом раздается страшный грохот, и утки со свистом проносятся в верха Нименьги.

— Парень в темя колочен,— замечает Лавер и сплевывает.

Гришка бежит от реки, размахивая руками.

— Дедушка Лавер, ей-богу, двух подстрелил. Свалятся. Будут всю осень на воде плавать!

Лавер ничего не отвечает.

Гришка громко начинает рассказывать, как все это произошло. Шмотяков не слушает его, стоит, отвернувшись к лесу. Он чувствует на себе взгляд старика, поднимает го-

лову и замечает, что Лавер все время наблюдает за ним.

Уходит Лавер неожиданно, ничего не сказав на прощание.

Глава пятая

Гришка никогда не видал ондатры. Шмотяков показал ему срезанные ондатрой стебли манника и водокраса. У этих растений были съедены только прикорневые части, все же остальное не тронуто.

— По этим кормовым площадкам всегда легко узнать зверька,— сказал Шмотяков.— Но увидеть ондатру нам с тобой сейчас не придется,— она ведет ночной образ жизни. Сегодня ночью я буду сидеть здесь и поджидать, когда выплывет на кормежку.

И действительно, Шмотяков остался у реки на ночь. Гришка отправился к избушке. Он ничего сегодня не принес.

— Что же ты даром одежу рвешь? — сказал ему Онисим.— И в колхозе ничего не заработал и тут шатаешься?

Гришка виновато молчал.

— Шел бы хоть на лесоэкспорт,— продолжал Онисим.

— Мне, дед, в жизни счастья нету,— печально ответил Гришка.

«Дурак,— подумал Онисим.— Настоящей нужды не видел».

Он велел Гришке приготовлять дрова, сам принялся щипать тетерку.

Гришка обдумывал слова Онисима. Старик был прав: он работал все лето спустя рукава. Вся его жизнь была заполнена только ею — Мурышихой. Не было минуты, чтобы он не думал о ней. Она являлась ему во сне ласковая и волнующая. Потом он целые дни ходил ошалев, не узнавая людей, и бабы говорили, что у парня зашел ум за разум.

Иногда с ним беседовал Макар Иванович. Он рассказывал, как жили ребята раньше. Вот у него, например, в девятнадцать лет даже праздничной рубахи не было. А сейчас это под боком. Вот если бы Макару Ивановичу было столько лет, как Гришке, он вступил бы в комсомол да стал бы в деревне культурные дела развертывать. Уж он бы не закис!

И вот только теперь Гришка видит, что прошло лето,

проходит осень, и не поймешь, что за это время было сделано, чем был занят.

Парня охватывает чувство стыда и раскаяния. Он хватает топор и бежит в лес.

Уже смеркается.

На тропе лежат густые прохладные тени. От реки пахнет черемухой.

— Куда? — кричит Онисим.

Гришка только машет рукой и скрывается в сосняке. Он бродит между стволами, посматривает на вершины, на кору дерева и время от времени делает на соснах зарубки. Щепу он подносит близко к лицу и рассматривает. Да, вот эта бела и мелкослойна, вершина у нее зонтом, кора грубая.

Он начинает срубать дерево. Теперь Онисим догадывается в чем дело и не обращает на Гришку внимания.

Сосна падает во мраке, неизвестно куда. Страшный треск. Невидимые, летят сучья и ударяются о землю, как копыта.

Онисим приходит на помощь Гришке. Они отрубают по небольшому кряжу, несут к избушке и колют их на восемь частей. Потом распаривают над каменкой и дерут дранки. От дранок идет пар. Они теплы и гибки, линии жизни идут по ним серебряными струйками.

Онисим плетет корзины на полу избушки. Ему часто приходится вставать и зажигать лучину. У Гришки же на улице свету хватает от костра.

— Прогадал, дед Онисим,— улыбается Гришка.

— То-то, брат, прогадал. Где мне за тобой угнаться. Вон у тебя как рука-то ходит!

Гришка действительно работает быстро и ловко. Он не повертывает заплетенную корзину, а носится вокруг нее вьюном. Он сжимает ее коленями, постукивает по дранкам большим ножом, вставляет зажимки. Дранки мелькают у него в руке, как молнии.

Лицо у Гришки довольное. Глаза полны блеска. Он что-то мурлыкает.

— То-то,— говорит Онисим,— взялся за дело. А то пристал ни к чему.

Гришка перестает петь. Руки его двигаются медленно. «Ну, беда,— думает Онисим.— Опять не слава богу». И косится за дверь.

— Ну, чего опять притих? Делай, делай. Эх ты! Смотрика, вон звезда валится.

Онисим разговаривает с Гришкой, как с маленьким, и смотрит на падающую звезду.

Гришка тоже смотрит в небо и думает: «Если долетит — в субботу увижу...»

Странное дело, звезда останавливается, не долетев до земли, и дрожит на месте. Гришка изумленно открывает рот. Удивлен и Онисим. Вдруг оба слышат отдаленный гул.

Онисим тихонько посмеивается.

— Вот оно что...

Самолет то уходит, то возвращается снова, задевая созвездие Большой Медведицы.

Собаки, повизгивая, смотрят в небо.

— Нет, нет, собачка,— говорит Онисим Найде,— эту птицу нам с тобой не достать.

— Сейчас он кружит над Чарондскими лесами,— говорит Гришка.— Там больше всего лесных пожаров. Ночью их хорошо видно.

Оба молчат, не сводя глаз с самолета. Рядом застыли собаки.

За лощиной слышится глухой стук: хлопнула дверь. «Услышал»,— хмурит брови Онисим и уходит в избушку.

Весь остаток вечера они работают молча.

Шмотяков пришел на рассвете. Он умылся на озере и стал готовить завтрак.

Онисим помог ему развести костер.

— Спал?

— Нет, всю ночь работал.

Онисим посмотрел одобрительно.

— Видели вчера твоего соседа,— заговорил Шмотяков, посматривая на Онисима (у Онисима нахмурены брови).— Сердитый старик. О тебе и слышать не хочет.

Шмотяков, как бы опасаясь Онисима, быстро зашагал с котелком к озеру.

Когда он вернулся, Онисим у своей избы молчаливо и озлобленно затаптывал костер.

Гришка пошел проводить Шмотякова до Авдеевой сыри. Отсюда он думал подняться в верха Нименьги, в глухариные места.

Они опять остановились у старой вырубки. Гришка потоптался на месте, подумал и решил на глухарей идти зав-

тра. Снова ходил Гришка со Шмотяковым весь день, рассказывал о местах, о людях, показывал заливы, в которых, по его мнению, должна быть ондатра. Так было и на следующий день. Они шагали по тропе и вполголоса беседовали о местах в верховье Нименьги. По мнению Шмотякова, там всего больше было ондатры, потому что к самой реке, судя по карте, подходит болото. Впереди послышались женские голоса. Среди них голос Александры. Гришка затрепетал.

— Я скроюсь,— тихонько сказал он.

Шмотяков удержал его за руку.

Гришка шел, вытянувшись, постоянно одергивая рубашку, и смотрел в сторону.

Женщины подходили. Они были по-летнему цветисто одеты, каждая в руке держала корзину.

— Ой, матушки, какая встреча! — крикнула Устинья.— Их двое, нас четверо, что тут делать?

Женщины смеялись.

Александра шла впереди, размахивая новой корзиной. Она была без платка, в легкой розовой кофте. На пальце у нее сияло серебряное кольцо, в ушах были тонкие серебряные сережки с голубыми камешками. Она задорно и весело осмотрела встречных и в тон Устинье сказала:

— Вы как хотите, а я Гришеньку никому не отдам.

— На что он тебе? У тебя есть полесовнин сын Гаврюша...

— Гаврюша ее забыл совсем,— вмешался Шмотяков, подходя к ним.

— Да как не забыть,— ответила Устинья.— Ведь он теперь в Нименьге-то начальство. Там почище найдет.

Александра на это ничего не ответила. Она отошла поодаль к брусничной кочке, поставила корзину на тропу и встала на колени.

Ее подруги присели отдохнуть и заговорили о том, куда пойти завтра. Гришка тоже сел около них, привалился спиной к дереву и стал бросать в сторону шишки. Он слышал обрывки разговора Александры со Шмотяковым.

— ...Портретик милого муж порвал. Так-то жаль мне этот портретик.

— Так он у тебя сердитый?

— Ой, характерный! Бывало, начнет ругаться — за что? — неизвестно. Словно меня кто поднял с малым...

— Не слушай ты ее! — крикнула Шмотякову Устинья.—

Она у нас подзадорить любит. Живет с мужем, как надо.

Шмотяков, несколько обиженный, не нашелся что ответить.

— Ты раньше-то в колхозах бывал? — неожиданно с затаенным смехом спросила у него Александра.— Знаешь ли хоть, как картошку сажают?

«Заигрывает с ним»,— подумал Гришка и злобно усмехнулся.

Он сделал вид, что рассматривает серого дятла, встал на четвереньки, вытянул шею и со страхом подумал:

«Теперь он от нее не отступит...»

Гришка поднялся только тогда, когда женщины ушли: голоса их слышались уже в отдалении.

— А она острая,— сказал Шмотяков, не глядя на Гришку, и ласково добавил: — Ничего, Григорий Иванович, не унывай — все наладится.

Гришка посмотрел на открытое лицо Шмотякова, и у него блеснула слабая надежда. Стало немного стыдно за то, что так мог подумать об ученом.

Они не нашли сегодня ни одной кормовой площадки. Ондатра, видимо, жила в одном месте. Они поели в Старом выломке малины, пособирали грибов. Потом Шмотяков предложил наудить в реке окуней и сварить обед. Клевало в Нименьге хорошо; они быстро натаскали полный котелок рыбы. Здесь почти к самой реке подходил узкий перешеек Федорова болота, совершенно голого, с редкими кочками, поросшими таволгой и мятликом. Отдыхать нужно было устроиться в тени. Они перешли перешеек. Берег болота был обрывист. Краснело глинистое обнажение. От болота шел негустой еловый лес. В одном месте, на самой кромке берега, стояла широкая тенистая ель. Стояла она на отшибе от леса. Тут Шмотяков с Гришкой и решили устроить привал. Прежде чем развести огонь, Гришка обрыл землю палкой, сорвал вокруг наполовину высохшую траву. Шмотяков в это время чистил рыбу.

— Нет, Григорий Иванович,— говорил он.— Надо быть посмелее, подогадливей. Мурышиха — огонь!

Глаза Гришки засверкали. Он уставился в одну точку и сидел неподвижно.

— Да,— тихо продолжал Шмотяков.— Ради такой можно все забыть... Ты ей говорил что-нибудь?

Гришка помолчал и, не глядя на Шмотякова, начал:

— Один раз мне показалось, что Мурышиха за мной

следит. Куда я пойду, туда и она. А встретишь один на один, улыбается. «Что это, парень молодой, а на улицу выходишь мало?»—«Мне некогда».—«Так и умереть будет некогда... Ты с народом живи. Вон, слышишь, у завода гармошка, пойдем, попляшем?»—«Пойдем». Она пляшет и все на меня смотрит. Песни поет. Потом перестала и говорит: «Девушки, вы Гришку приговаривайте. Он у вас совсем в загоне». А один раз попалась на деревне: «Ты, Гришенька, чего-то голову вешаешь. Если таким будешь все, любить перестану». Меня за руку берет и шагаем вместе. Навстречу ее муж, Гаврила: «Ты на меня сердца не имей, у меня к Гришеньке охота припала».—«Да я ничего, пожалуйста. Я себе другую найду. Вон сколько девчат».—«Небось забегаешь...»—«Нет, пожалуйста...»

Щеки у Гришки горят. Глаза полуприкрыты. Вдруг он умолкает, широко открывает рот и на секунду застывает. Позади Шмотякова, в болоте, пламенем горит мох. Видимо, уголек прыгнул несколько минут назад: в торфу уже выгорела глубокая яма. За рассказом они ничего не заметили.

Ничего не говоря, Гришка хватает с огня котелок и прыгает книзу. На полсекунды все застилает густым паром, слышится запах жареной рыбы. Гришка бежит к реке. Шмотяков выламывает большой сук и начинает захлестывать огонь. Гришка прибегает, льет из котелка, снова бежит. Они работают молча, со стиснутыми зубами, изъясняются знаками, мычанием. В этом древнем болоте торф достигает местами нескольких метров, сейчас он горит лучше самого сухого дерева.

Когда им кажется, что пожар остановлен, пламя вспыхивает снова неожиданно и ярко.

Если пожар направится в глубь болота, его не остановишь. Если он ударится влево, его тоже не остановишь, потому что сразу пойдут глухие еловые гряды — Шумиха. Тут много старого валежника, елки выстоек, при ударе гудит, как выстрел. Толстый покров многолетних зеленых мхов.

Гришка сверкает голыми пятками. Он принес уже не один десяток котелков. В одном боку удалось приостановить огонь.

Они работают до изнеможения. Наконец, кажется, все затушено. Оба мокрые от пота, опасливо озираясь по сторонам, садятся тут же на мох.

— Ух! — вырывается у Гришки.

Шмотяков молча отирает лицо.

Солнце перевалило за полдень. Жара. Воздух неподвижен. Густой, удушливый дым долго стоит на месте.

Они сидят и смотрят на притихшее желтое пятно. Сидят час, два. Все тихо. Шмотяков, оглянувшись по сторонам, встает. Встает и Гришка.

С западной стороны, очень далеко, слышен выстрел. Это ходит Онисим.

— Да,— говорит Шмотяков.

— Да,— отвечает Гришка и злобно смотрит на желтое пятно. Потом встает на него босыми ногами и начинает прощупывать. Под ногой мягко и тепло, но огня нет. Ни шипения, ни дыма. Только стоит еще запах гари.

Они берут котелок и скрываются в лесу. Отойдя с полкилометра от места пожара, Шмотяков проводит рукой по мокрому лбу и говорит:

— Ну, давай рассказывай, что дальше было?

— Нет, больше не стану,— твердо и злобно отвечает Гришка.

Они делают большой круг лесом и снова выходят к реке.

Кончается день. Уже в тени стоят прибрежные травы. В береговых гнездах притихли ласточки. Странная тишина и неподвижность. Как что-то очень далекое, мнится только что прошедший знойный день: шум, свет и движение. Было или не было? Может быть, все это происходит еще в детстве? Вот снова родная река под деревней, кривая и мелкая, заросшая хвощом и кувшинками. «Узенькое место» с десятками ласточкиных гнезд, с камнями, у которых бабы моют платье, и серые «лёжни»[1] под камнями, которых надо разыскивать, засучив штаны выше колена или повесив их на шею в виде хомута. Под ногой что-то скользкое. Падение в воду. Крики баб. Порванная о камень рубаха, ссадина на боку. Товарищи ведут по знойному полю. Цветы и травы полны гудения. Громадный оранжевый шмель висит на цветке, изогнув его дугою. Строгая фигура отца, короткое обследование, из веника вытаскивается прут, покрепче и подлиннее. Товарищи спешно удаляются...

Очнувшись от задумчивости, Гришка смотрит в верха Нименьги и с ужасом видит поблизости фигуру Лавера.

[1] Рыбы из породы вьюнов.

Старик что-то рассматривает на другом берегу. Он сразу замечает Гришку и Шмотякова, но не повертывается к ним.

— Смотрю — кто-то в траве плещется,— говорит Лавер.

Шмотяков и Гришка тоже принялись смотреть на противоположный берег. Действительно, там в траве кто-то плещется.

— Это не крыса? — сощурившись, спрашивает Лавер у Шмотякова.

— Нет. Крыса выходит только ночью...

— А-а...

— Утка! — не помня себя от радости, кричит Гришка.— Ей-богу, утка.

Лавер и Шмотяков ничего не отвечают.

Гришка скидывает штаны, подбирает к подбородку рубаху и идет в реку.

— Долго ли поживете? — неожиданно спрашивает Лавер, не смотря на Шмотякова.

— У меня еще много работы.

— Все с крысой?

— Да. Я изучаю ондатру.

Гришка скрывается в тростнике у противоположного берега и через минуту снова показывается, держа в руках утку.

Утка взмахивает подбитыми крыльями, вертит головой.

— Сиди, сиди,— уговаривает ее Гришка, широко улыбаясь. Он выходит на берег.

Лавер окидывает его неторопливым взглядом и, скупо улыбнувшись, идет в лес.

Онисим с удивлением рассматривал утку. Этого он от Гришки никак не ожидал. Сам охотиться на уток не любил: пустое занятие...

— Ну что же, давай щипли, сразу ее в котел.

— Нет,— говорит Гришка,— домой унесу живую.

— Что так уж сразу и домой! Убьем и еще.

Гришка молчит.

«Давно не видел Мурышихи,— думает Онисим.— Покажись, она опять начнет язык-то очесывать. Совсем бог убил парня».

Онисим провожает Гришку до поворота большой тропы. Сумерки. Мирно постукивает над головами дятел. Тропа устлана желтыми листьями.

— Молотится-то ничего? — спрашивает Онисим.

— Ничего. Колос успел налиться, не все сгорело.

— Давно не помню такой осени. Ну иди, да поторапливайся. Смотри, солнышко сейчас упадет. Ночи темные стали, глухие...

Онисим стоит на тропе, пока Гришка не скрывается за поворотом.

Глава шестая

Вечером Шмотяков сидит у себя в шалаше и читает книжку. Около него вертится Найда. Онисим отгоняет собаку, и сам опускается на пенек к костру.

— Пожалуйста, пожалуйста,— кивает Шмотяков.— Ты сегодня, кажется, с удачей?

— Да, трех глухарей...

Онисим дальнозорок. Он видит изображение ондатры на раскрытой странице в руках Шмотякова.

— Стало быть, и в Вологде все с этой крысой носишься? — говорит он.— Иль есть другое дело? Ружье вон у тебя хорошее, и по учению ты, должно быть, вышел, а в лесу, видать, ходил мало. Видишь все со стороны...

Онисим улыбается.

— Вот так, бывало, мой покойный отец да Родька Чуприков у Мужика тес пилили. Хорошо пилят. Идет незнакомый человек и спрашивает: «Почем пилите?»—«Столько-то».—«Дорого».—«А вот,— говорит Родька,— мы станем пилить, а ты рядом встань да руками день промаши — тебе весь сегодняшний заработок».—«Давайте». Вот Родька с отцом стали пилить, а человек встал рядом и давай руками мотать: «Ну, как?» — спрашивает Родька. «Да ничего».— «Ну ничего, так помахивай». Пилят отец и Родька минут десять, смотрят — человек начал морщиться. Потом говорит: «А ну тя к черту!» И ушел...

— Да нет, я бывал,— торопливо отвечает Шмотяков, не глядя на Онисима.— Только я больше на Кавказе. Я охотник на горных козлов. Север знаю мало.

— Так... А что, этот горный козел, по шкуре или по мясу ценится? Козловые сапоги шьют не из него?

— Да, шьют и сапоги.

— Хм,— произносит Онисим и осторожно из-под густых бровей осматривает Шмотякова.— Вы, стало быть, больше по зверю? Медведя знаешь?

— Знаю. Но я больше по горным.

— У нас ведь и медведь особенный. На Кавказе, говорят, не такой... Бывало, у одного мужика медведь-то повалил корову. Мужик приуныл. Корова была одна. Без коровы мужику какое житье? У нас без навоза земля не родит... Это, может быть, на Кавказе... Купить корову мужику не на что. Вот он рассердился и говорит: «Отомщу же я тебе, окаянная сила». Один раз пошел в лес дрова рубить. С собой, кроме топора, ничего не взял. Зашел в лес. Ходит. Вдруг в стороне слышит рев. Ревут коровы. Опять медведь одну повалил. Коровы, как увидели кровь, собрались в кружок, роют землю копытами и ревут. Ревут и подступают к медведю все ближе и ближе. Вместе они медведя не боятся. Вместе у коровы находится храбрость. Он обороняется от них только кровью. Наберет в рот крови и плюнет в коров. В таком положении застал его наш мужик, по прозвищу Кочеря. Мужик ахнул, выхватил из-за пояса топор и при таком коровьем примере забыл страх, побежал на медведя. Оттеснил коров, размахнулся, изо всей силы ударил обухом медведя в лоб. Медведь заревел, скатился с коровы. Не успел встать на дыбы, мужик его второй раз оглушил. Вот у мишки помутилось в глазах. Пошел он от мужика, шатаясь. А Кочеря обозлился, ни за что не хочет его упускать. Догнал медведя, вскочил ему на спину и ехал на нем так, покуда не заколотил до смерти. Так отплатил Кочеря медведю...

Онисим молчит, посматривая на Шмотякова.

— А-а...— произносит Шмотяков неопределенно: не то верит, не то сомневается в рассказанном.— Да, история,— добавляет он.

Онисим смеется глазами.

— А разве такое происшествие не могло быть? — уже не скрывая улыбки, спрашивает он и сам себе отвечает: — Могло быть...

В береговых кустах темно. Березовая роща через поляну виднеется смутными белыми линиями. Ложится роса. Река шумит мягче и таинственней.

— Разве податься тебе на Иксу,— говорит Онисим.— Тут крысы нет. Напрасно рвешь одежду.

— А вот Нименьга?

— Про Нименьгу я не знаю,— сухо отвечает Онисим.

Утром Онисим подходит к шалашу. Шмотяков спит, свернувшись под накидкой. Костер давно остыл. В траве

у стены лежит белка. Вчера Онисим ее не заметил. Он наклоняется и с удивлением видит, что белка наполовину ободрана не с хвоста, как это делается, а с головы. Онисим осматривает испорченную шкурку и думает: «Как же он обдирает козлов?..»

Вечером, встречая Шмотякова, Онисим спрашивает:

— С полем?

— Да нет,— отмахивается Шмотяков.— Искал новую кормовую площадку, а вот на ужин так ничего и не добыл...

Онисим постукивает крышкой табакерки.

— В наших местах дичь юркая. А особенно боится чужих.

Шмотяков пробует улыбнуться. Он спешит к себе, переминается с ноги на ногу. Лицо у него усталое, одежда помята. На правом рукаве пятно: белая глина.

Онисим старается вспомнить — где тут есть белая глина. Близко нигде нет. Он хорошо знает все береговые обнажения Нименьги от устья до Надпорожья. Может быть, эта глина есть выше Надпорожья, но там высокие сухие берега — ондатра этого не любит, идти туда Шмотякову незачем.

— Где побывал, Андрей Петрович?

— Около Гординой избы.

— Выше не поднимался?

— Нет.

Онисим смотрит на Шмотякова и думает: «Врет. Зачем же он врет?»

— Так-так... Иди отдыхай. А что сварить, у меня найдется...

Шмотяков уходит к себе. Онисим все стоит на берегу Шивды и думает. Не только в берегах Нименьги, во всем ее бассейне нет ни ручья, ни оврага, в котором была бы белая глина.

Тихая, безросная ночь. Они варят ужин. Шмотяков сидит поодаль от костра, в тени, и курит папироску. Рядом с ним лежит Найда. Онисим чистит картошку.

— А что,— говорит он Шмотякову,— этого горного козла картечью свалить можно?

— Можно.

— Прыгает хорошо?

— Да.

— Сам-то убивал не одного?

— Как же!

Видя, что Шмотяков рассказывает неохотно, Онисим перестает спрашивать и снова думает: «Врет. Козла он тоже не знает. Кто их разберет этих ученых...»

Вдруг Онисиму приходит мысль. Белое пятно на рукаве Шмотякова он видел в сумерках, это могла быть известь, которая белеет на берегу около Трифоновой курьи!

— Надо побыть в лесу. В книгах всего не напишут,— уже просто, без иронии, говорит он Шмотякову.

Так они живут.

Время от времени Онисим снова вспоминает о своей утрате. Чаще всего это бывает где-нибудь у ручья, из которого они с Лыском, уставшие, пили воду, или в роще при виде знакомой колодины, на которой они отдыхали. Все это вызывает боль.

Но лес снова ожил, приобрел прежние милые краски и запахи. Жизнь снова исходит от всего, что видит Онисим на каждом шагу. Он снова любит: желтый лист на земле, голые, прозрачные чащи, свист рябчика в вершине, предзакатную тишину, когда слышно, как в глубине леса падают шишки. Он любит серенькие осенние дни, когда дождь ложится невидимо, как роса, и по-особенному пахнет тлеющим тряпичный пыж.

Иногда он сидит у озера в густом чапыжнике и ждет: к воде один за другим подходят четыре лося...

Бывает и так, что он запаздывает в лесу. Темь. Дорога угадывается по вершинам. Он издали слышит запахи остывшего очага и прокопченных стен.

Прошлый год он видел в Пабережском лесу новую охотничью избу, большую и светлую, с двумя окнами, с широкими нарами, с белой печью. Было еще не поздно, он мог дойти до деревни, однако не пошел: захотелось узнать, каков ночлег в этой избе. Чувствовал себя плохо: стеснялся, не знал, куда что поставить, где что взять. А печь была большая, длинная, пламя колыхалось далеко. Он повесил перед устьем мокрые варежки, но сушить было неудобно: варежки или горели или один край сох, другой оставался холодным. Старший из бригады открыл ему дверь в другую комнату. Окна в комнате не было. В углу на полке горела лампа. Посередине комнаты стояла невысокая плоская

печь — сушилка. Онисим сушился, осматривал незнакомые стены, дверь с железной скобой, и у него болело сердце. Вечером при лампе сидели за длинным столом. Читали газеты, рассказывали сказки, готовили заряды на завтра. За окном шумел лес. Лес был все тот же, и говорилось много такого, что говорят охотники, собравшись вместе, но Онисиму было невесело. Утром он пошел к себе без дороги, по солнцу, чтобы сократить путь, и когда издали увидал свою избу и ельник за ней на холме, то даже вспотел от радости. Он долго осматривался кругом, и все в нем улыбалось...

После Онисим вспоминал эту чистую избу, и белые окна, и крылечко с навесом, но полюбить ее не мог. Он не мог себя представить отдельно от своей черной убогой избушки, хотя иногда чувствовал желание полежать на печи, которой у него не было...

Онисим зажигает лучину, разводит в очаге огонь и принимается обдирать белок. Собака уходит на улицу, на свое место к порогу и оттуда хватает на лету маленькие паушки: одну, две, три. Хватит. Она сыта. Теперь можно подремать.

В открытую дверь слышно хлопанье крыльев: филин. Онисим откладывает в сторону ножик и сидит неподвижно. В шалаше на берегу озера тихо. Хорошо бы прийти сейчас сюда какому-нибудь охотнику! В темноте послышалось бы гудение земли под ногами, радостный голос человека, увидевшего огонь.

— Запоздал я, дед Онисим! Напой, накорми...

Поздно. Никто сегодня не придет.

Поужинав, Онисим ложится на нары. Мрак и тишина. В очаге, остывая, похрустывают угли. За лощиной слышится гудение сухого дерева. Дотянувшись левой рукой, Онисим закрывает дверь. На лицо ему с потолка хлопьями падает сажа. Привычным движением он смахивает ее, но сажа попадает за рубашку и рассыпается.

«А вот в пабережской избе,— думает Онисим,— каждую ночь кто-нибудь ночует. Приносят новости. Слышно из газет — на Дальнем Востоке начиналась война. Что там сейчас — неизвестно...»

Удивительное дело, он теперь не может долго жить без людей: пройдет два-три дня, и старик уже посматривает на дорогу к дому. Приезжий все-таки не заменит соседей.

Иногда Онисиму послышатся женские голоса, песни, смех: бабы пришли на Федорово болото за морошкой. Он спешит, продирается без дороги и видит, что болото пусто. Кричат птицы. Высохший, седой мох хрустит и обваливается под ногами. Едкий дым висит над чахлыми сосенками. Горит торф! Вот откуда был этот запах!

Онисим думает: Федорово болото тянется от Редьи до верховьев Нименьги на двадцать километров. Если огонь заберется в глубь болота, в самую толщу торфа, его никак не потушишь. Тогда выгорит и болото и Нюбские боры, идущие по правому берегу. Мало того, пожар может подойти к самым верховьям Нименьги, до самого лесопильного завода, известного на всю страну.

Онисим стоит растерянный. Что надо делать? Надо узнать направление пожара. Потом бежать в сельсовет. Всю силу, работающую на тушении других лесных пожаров, надо бросить сюда, в болото. Потом...

Задыхаясь и падая, Онисим бежит по берегу болота. Бежит долго, до изнеможения. Да, так и есть; пожар выше по Нименьге. Онисим уже давно идет через путики Лавера, сам этого не замечая. Вот, кажется, сейчас близко. Все окутано удушливым белым дымом. Онисим ничего не видит. Он бродит наугад и чувствует, что дым становится гуще и гу- Он поворачивает вправо, в той стороне, кажется, должна быть река. Нет, реки, нету, а дым еще гуще. Ветер почти не заметен, но он тянет прямо на Онисима. Как это получилось, что он попал в ловушку? Он нащупывает ветви болотных сосенок, продирается сквозь них и опять, оказывается, идет не туда. В стороне лает Найда. Онисим бросается на ее голос и выходит из полосы пожара. Потом отдыхая на земле, он прислушивается к треску и шипению огня и понимает, что пожар разошелся очень широко...

Отдышавшись, он делает по берегу болота круг и тщательно осматривает лес. В одном месте обмята брусничная гряда, медвежий помет. Рядом на тропе в пыли совсем свежие следы зверя и около них отпечатки Лаверовых лаптей.

Следы уходят на Избновскую дорогу, переплетаясь и расходясь, местами совсем прячась в подсыхающем метляке.

Онисим не идет дальше. Даже следы Лавера вызывают в нем ненависть. Он старательно обходит их. Он видит новые гряды. Черника высохла и сжалась, она потеряла цвет, сок, чудесный свой запах и стала никому не нужна.

В этом году черничника здесь не касались руки. Вот снова брусничная гряда. На земле лежат красные опавшие ягоды. Кое-где примята трава, но это не медведь. Онисим видит свежесломанный на валежнике сук: сидели. Женщины приходили за ягодами. Он обходит всю гряду, осматривая за каждым деревом. Снова, задыхаясь от дыма, подходит к берегу болота и на самом его краю сквозь дым видит одинокую обгоревшую ель. Берег болота тут обрывист. Вокруг ели и дальше желтым озером лежит зола. Корни дерева обгорели, оно непонятно на чем держится. Онисим теперь видит, что пожар начался отсюда. Под этим деревом разводили костер. Вероятно, это сделали по глупости женщины, зажгли и в страхе разбежались.

Онисим с трудом добирается до избушки. Шмотяков вернулся. Стоит у шалаша и с любопытством посматривает на старика.

— Беда,— говорит Онисим.— Чего боялся, то и случилось: пожар на Федоровом болоте. Теперь таких наделает дел...

Шмотяков, встревоженный, принимается ходить взад и вперед по берегу. Он слыхал от охотников об этом бесконечном древнем болоте...

— Да, старик, это действительно беда. Но что тут делать? Что делать?

Несколько минут они молчат. Онисим раздевается, рубит дрова. Шмотяков, повернувшись в сторону болота, поводит носом. Нет сомнения, пахнет именно горящим торфом.

— Андрей Петрович,— не глядя на Шмотякова, говорит Онисим,— одному из нас надо бежать в Редью за народом. Эта деревня всех ближе. Каких-нибудь верст восемь...

Шмотяков молчит, о чем-то думая. Потом кивает старику.

— Да, ты прав. Конечно, пойду я.

— Не заблудишься?

Шмотяков машет рукой. Он уходит в шалаш, выносит сумку, непромокаемую свою накидку, фотоаппарат.

Онисим одобрительно посматривает на него.

— Так иди все краем болота. Потом попадешь на Островища. Там дорога. По ней до самой Редьи. Зарядов больше возьми, на Островищах глухарь попадет.

Время давно за полдень. Жидкие прозрачные облака стоят над лесом. Жарко и душно.

— В Редье-то третий дом с краю от реки мой сватушка

Агафон живет У него, если надо, и ночуешь. Старенький дом. Наличник в три цвета Напоят и накормят Скажи от Онисима Трубиченка из лесу

Онисим поправил сумку на спине у Шмотякова, дал ему свой маленький топорик, с которым ходил в лес, а себе оставил большой «домашний» Потом он вывел Шмотякова на тропу, ведущую к Федорову болоту

Онисим устал, в лес идти не может Выбредет на тропу, постоит, послушает, пойдет в избушку, полежит на нарах, снова встанет.

Непонятная тишина. Ни выстрела, ни крика, ни лая собаки

Из-за лощины тоже ни звука. Куда мог деться Лавер? Может быть, заболел? Или ходит по следам медведя?

Наступает ночь. По-прежнему тихо. Вдруг Онисим ясно ощущает, что Лавера тоже нет. Он совершенно один в лесу Его охватывает страх. Это не страх одиночества, когда лес представляется пустым и немым Самое страшное в том, что в этой пустоте лес полон движения. Вся северо-западная сторона неба висит багровым пологом и дрожит, то становясь ярче, то тускнея. Через поляну виднеются розовые стволы берез. Озеро совсем красное. Кое-где пятна загнутых листьев кувшинки

Незнакомо притихла природа, и чувствуется — не спит никто: ни зверь, ни птица, вероятно, рыба в красном озере не спит, выплывает на поверхность посмотреть на незнакомый цвет неба

Несколько ночей подряд около Сосновца кричала сова Теперь она тоже молчит. Онисиму кажется, что теперь уже пожар завернулся к югу, образуя полукруг, что горит уже не болото, горит весь лес подряд. Смутный и жалкий путается в багровом сумраке серпик луны

Такая сушь была лет сорок тому назад, когда Степан Марихин утонул в реке около Большого камня. В тот год тлело даже зимой, под снегом.

Онисим не спит всю ночь Ему кажется, что едкий дым подступает ближе и ближе. Вот он густой завесой окружает избушку. Слышатся шипение и шум огня. Онисим выходит за дверь и несколько минут стоит в прохладе.

Все это оттого, что сегодня много волновался. У него от этого даже в левом боку болит

Несколько успокоившись, Онисим сидит на пороге и думает

Он все чего-то ищет и никак не может найти. Как рассказать о беспричинных тревогах, о неосознанных печалях, о том, что еще непонятно самому?

Глава седьмая

Утром Онисим слышит отдаленный гул голосов. Он выходит из избушки и стоит на тропе. Люди почему-то идут не слева, как им полагается, а прямо на Онисима. «Должно быть, решили обойти Большой выломок, да взяли слишком в сторону».

Вскоре он, однако, ясно различает знакомые голоса. Вот кричит Манос:

— Гриша! Не поддавайся, не поддавайся! Ногу подставь! Ногу. Через ногу она осядет. И-эх, ты, сухой!

Потом опять голос Маноса:

— Смирно! Построиться в порядке видимости!

Вскоре они подходят. Манос впереди, за командира: вытянутый, прямой, на губах довольная улыбка (в империалистическую войну он ходил ратником второго разряда. Теперь иногда любит вспоминать старину).

Молодежь идет за ним, четко отбивая ногу. На плечах — лопаты, пилы. Сзади шагают те, кто постарше. Эти идут как попало.

Подойдя к избушке, Манос командует:

— Стой! — и козыряет Онисиму.

Потом смотрит на шалаш. Там пусто. Веселость Маноса пропадает.

— За народом ушел,— поясняет Онисим.— А вы как узнали?

— Еще вчера пришел Лавер, да вот никак не могли собраться.

Онисим удивленно поднимает брови, но ничего больше не спрашивает.

Не давая передохнуть, Манос уводит отряд к болоту.

— Мурышиха! Крепче ногу. Равнение на Гришку! Раз! Два!

Днем Онисим от поры до времени выходит на тропу к Островищу, стоит и прислушивается: со стороны Редьи ничего не слышно. Уж не заблудился ли? Его ищи, собирай народ...

Шмотяков возвращается только к вечеру. Вчера он дей-

ствительно долго блуждал. В Островищах не мог угадать на тропу, вышел, как оказалось после, к Лисьим ямам и по Черному ручью только к ночи добрался до Редьи. Народ в Редье весь на лесозаготовках. Часть ушла в Архангельск на лесоэкспорт. Те, что остались, молотят. Так никого не привел. Собирается человек десять — не то явятся, не то нет.

Шмотяков очень расстроен неудачей. Народ в Редье ему не нравится. Народ там эгоист. Приходилось слышать такие разговоры: «Это не наш лес, старосельский. Пускай старосельцы и тушат».

— Да, правда,— соглашается Онисим,— наш народ мягче. В Редье всегда была какая-то гордость. Ладу у нас не было. Будто бы у стариков еще что-то произошло. Вот все тянется.

Шмотяков идет на пожар.

«Молодец»,— думает Онисим. Сам он не идет с ним. Пожалуй, только будешь мешать молодежи.

Вечером полянка около избы Онисима напоминает ярмарку. Столько народу здесь никогда не бывало. В центре толпы расхаживает Манос. Он взлохмачен, весь в земле и золе. Рубаха на плече порвана. Все еще чувствует себя командиром, то и дело посматривает на шалаш Шмотякова и, когда ему кажется, что приезжий следит за ним, выкрикивает:

— Слышал, дед, как наши распросторили японца?

Манос говорит о событиях у озера Хасан. На шалаш уже не смотрит. Борода его вдохновенно поднята кверху Бумажка, вынутая было из кармана перед началом речи, валяется на траве. Онисим с удивлением и радостью следит за Маносом. Таким он его еще не видал. Притихли бабы на земле. Молодежь, собравшись в кучу, старается не проронить ни слова. Память у Маноса огромная: он помнит все, что вычитал из газет за две недели.

Из шалаша выходит Шмотяков и вместе со всеми почтительно смотрит на оратора.

Потом Манос идет к озеру смыть пот с лица и долго стоит на берегу, вытянув длинную шею.

На лугу снова становится шумно. Звенят котелки Молодежь расходится по лесу за валежником.

Бабы беседуют о впечатлениях дня.

Александра и Устинья неразлучны. Посмеиваясь и толкая друг друга, они заглядывают к шалашу Шмотякова. Приезжий сидит на пороге и пьет чай.

— Присядьте! — предлагает он.

Обе с оглядкой садятся.

Гришка помогает Онисиму готовить дрова и видит все это. Онисим вдруг начинает замечать, как парень ни с того ни с сего злобно покидывает поленья. Онисим осматривается, понимает, в чем дело, и говорит:

— Хватит уж, парень. Иди отдохни.

Гришка идет на тропу, ведущую к деревне. Скрывшись за елками, сворачивает в сторону и незаметно лесом подбирается к шалашу. Здесь он приникает к земле и слушает:

— Муженек-то дома? — спрашивает у Александры Шмотяков.

— Да нет. Все сидит себе в Нименьге.

— Не часто и видишь?

— Как к нему часто-то попадешь, работать надо...

— Да кем он там?

Александра смеется:

— Об этом сейчас не сказывают...

Улыбается и Шмотяков.

— Иногда и наскучит одной-то?

— Да ведь как — живой человек...

Шмотяков играет биноклем.

«Хорошо бы сейчас выстрелить в него солью»,— думает Гришка и представляет, как дико и жалко исказилось бы лицо Шмотякова.

Александра о чем-то шепчется с подругой. Потом Устинья говорит:

— Ты все науки, сказывают, прошел. Объясни: почему нынче мало громов было? Я считаю, все отняли на электричество. Вон Курганово, даже в селе электричество. И на скотном дворе у них электричество. На одном столбе в деревне так даже всем видно горит. А говорят — в город заехать, так все огни, огни, как брусники. Считаю, по случаю этого совсем не будет громов. Весь гром забрали в Москву, в другие города, а деревня оставайся без грому...

Устинья замолкает, склоняется к подруге, и обе они насмешливо посматривают на Шмотякова.

Шмотяков, сначала слушавший все это с любопытством, прячет улыбку, одна его бровь вздрагивает, около рта ло-

жатся складочки. Он видит, что Устинья испытывает его, и произносит несколько раздраженно:

— Ты вон у Александры спроси, она грамотная.

— К тебе пришли, ты и отвечай,— не унимается Устинья.— Вон у тебя руки-то какие чистые, все на книгах сидишь.

В это время к ним подходит Манос. Стоя на берегу, он слышал их.

— Разве можно так разговаривать с Андреем Петровичем! — сурово говорит он.— Играет в вас бесово-то ребро!

Женщины, хихикая, отходят.

Манос поправляет на костре дрова, подбирает с земли кепку Шмотякова, пробует надеть ее на свою голову, потом вертит в руке и садится к костру.

Шмотяков рассеян. Он посматривает то на озеро, то на костер.

«Зажало,— наблюдая за ним издали, думает Онисим — За Мурышиху голыми руками не берись».

И улыбается.

Гришка, притаившийся в кустах, тоже ликует.

Манос вешает кепку Шмотякова на сучок и говорит:

— Для ваших научных трудов я сорганизовал общество.

— Какое? — удивляется Шмотяков.

— Пионеры и комсомольцы, как только настанет выходной, так в ваше распоряжение всем табуном, из трех школ.

Шмотяков со страхом смотрит на Маноса.

— Ну, знаешь, это все равно как пустынник и медведь. Пойми, что я вовсе не хочу беспокоить людей!

Манос снисходительно улыбается.

— Ничего, ничего, в выходной им делать нечего. Вон посмотришь — в деревне собак гоняют.

И, гордый сознанием сделанного важного дела, Манос отходит.

Через минуту на полянке слышится его бодрый голос:

— Боевая команда, спать!

Снова наступает душная багровая ночь. Уставшие люди спят на траве перед избушкой. Онисиму не спится. Он лежит на нарах и смотрит в дверь. У Шмотякова горит костер. Отсветы его играют в озере. На противоположном отлогом берегу мечутся черные тени. Опять это незримое движение за каждой елкой. Около двери на траве ворочается Гришка.

— А ты спи,— говорит Онисим.— Кто тебя кусает? Смотри, один нос остался.

Гришка молчит, поглядывая в небо.

— Из болота-то не выпустили?

— Нет. Все обрыли.

— Смотри, парень, как бы сегодня за ночь не ударило к Гординой избе...

— Да ведь там у нас сторожа остались.

— Ну что там, три человека...

Онисим начинает рассказывать, как горело в том году, когда утонул Степан Марихин.

Гришка лежит молча.

Они не спят всю ночь. На заре Гришка немного забывается. Руки его раскинуты, рот открыт.

Онисим поднимается и идет за водой. Немного свежо. Девчата под соснами жмутся друг к другу. Просыпаются бабы и идут к озеру.

Шмотяков подкладывает в костер дрова.

— Не спишь? — участливо спрашивает у него Устинья.— Тоже забота. Еще совсем молодой. Вон у тебя на лице-то ни одной морщинки. Только бороду напрасно носишь. Дома-то отец, мать?

— Есть.

— Вот отсюда приедешь, повидаешь. Да ведь и самому охота. Говорят, птица — и та на свою родину летит. У меня была утка. Летать умела. Один раз пристала к перелету и скрылась. На другой год утки прилетели, и она с ними. На реку в стаде села. Кто-то спугнул — стадо в лёт, а она вышла на берег и ковыляет к дому. Говорят: «Смотрите, смотрите, вон наша утка идет».

Все молчат.

— А чего ты у нас в лесу-то делаешь? — снова спрашивает Устинья.

— Вот езжу по рекам, исследую жизнь...

— Не под раз попал,— говорит Устинья, обводя вокруг себя рукой.— Задохнешься. Скотина и та мучится. А убытков сколько!

Просыпается Манос. Женщины видят, как он встает, высокий, лохматый, брови строго сдвинуты, и расходятся.

«Так, так,— думает Онисим, посматривая на шалаш,— нечего вам около него вертеться».

Утро не приносило свежести. Земля, казалось, сама ис-

точала дым и духоту. Травы под ногой шелестели, как мертвые.

С болота прибежал один из сторожей и сообщил, что огонь в южной части болота пробрался через окоп. С минуты на минуту можно было ожидать, что загорится лес.

Манос отдал распоряжение немедленно собираться. Он даже Гришке велел идти на пожар.

Вечером Манос появился у шалаша Шмотякова, еле держась на ногах от усталости.

— Ну и работка была сегодня,— сказал он.— Кое-кому сделал двадцать шесть замечаний!

Шмотяков сочувственно кивнул головой:

— Ты тоже похудел за день!

Манос поправил на костре дрова, снял с сучка березы кожаную тужурку Шмотякова и стал ее рассматривать.

Шмотяков с неудовольствием наблюдал за ним.

— Вы что, сочиняете фразы? — спросил Манос, увидав у него на коленях раскрытую тетрадь.

— Да тут свои дела...

Манос бросил тужурку на землю и сел на нее.

Шмотяков вытянулся на месте, но ничего не сказал.

— Положение, Андрей Петрович, трогательное. Огонь может подобраться к Нюбе. Это наши лучшие массивы. Сплошной экспорт!

— Да, это действительно страшно.

Шмотяков взволнованно поднялся и заходил взад-вперед у костра.

На полянке слышался сдержанный говор женщин. Ни криков, ни смеха. Надвигающееся бедствие придавило всех.

Вот, кажется, пожар ликвидирован совсем. Кое-где еще клубится пар. Люди терпеливо ждут. Вдруг в одном месте начинает струиться синеватый дымок, в другом. Шире и шире. Потом разом земля с травой, с кустами, с ягодами проваливается и, потемнев, исчезает. Все застилает искрами. Страшная жара. Трава высыхает, оставаясь зеленой, и вспыхивает. По земле катится огненный вал. Гаснет и все кажется спокойным; горит внутри... На помощь старосельцам пришли еще две деревни: Корневое и Большие Кочегурки. Манос самочинно взял руководство и над ними. Все думали, что он выделен лесной организацией или сельсоветом, и подчинялись ему. Манос ходил, покрикивая, никого

не пускал домой, завел табель и вечером, у костра, отмечал, кто как работает. Ночью он сам проверял посты: бодрствующих хвалил, дремавших грозил отдать под суд. Днем его голос слышался всюду. Впереди него всегда бежала лохматая кривоногая собака — Розка, его любимица и помощник. Завидев Розку, все начинали подтягиваться. Розка останавливалась поодаль, терла морду лапой и чихала от дыма.

Однажды Манос издали услышал тревожное урчание Розки. Между редкими низкорослыми сосенками неподвижно и молчаливо стоял народ. Вдали по берегу болота белели заросли подсыхающего пырея. Трава была в рост человека. Острый, длинный клин с этой травой заходил далеко в болото.

Манос посмотрел на людей, на траву, на лес и, сразу поняв в чем дело, бросился бегом.

Слева из глубины болота катилась огненная волна. Слышался сухой колючий треск и еле уловимый шум. Кусты на пути загорались мгновенно, становились похожими на пучки молний. Сейчас огонь подойдет к полосе сухого пырея и в одну секунду перескочит на берег в лес.

Подбежав ближе, Манос понял, почему люди так растерялись.

Можно было скосить и быстро отгрести пырей на клину, но прямо перед людьми проходила линия горящего торфа. Бежать же в обход было бесполезно: не успеть.

Манос сам растерялся.

В это время в толпе произошло движение. Выделилась Мурышиха и схватила лежавшую в стороне косу.

— Провалишься! — закричал Манос, бросаясь к ней.

Мурышиха увернулась от него и прыгнула через дымящуюся полосу. Мелькнул ее белый платок.

Все ахнули.

Мурышиха упала, быстро оправилась и побежала.

За ней бросился какой-то парень с граблями. Потом побежали другие.

Манос, следивший за этим с напряжением, поднял руку и крикнул:

— Хватит!

Через полминуты там, где пробежали люди, земля, зашуршав, выгнулась и провалилась. Все заволокло едким дымом.

Оставшихся Манос послал в обход. На месте поставил двух стариков с лопатами, и сам тоже пошел в обход.

Мурышиха с парнем прокосили широкую полосу. Другие отгребали и оттаскивали траву. Кое-кто захлестывал сучьями огонь. Вскоре подоспели люди со стороны леса.

Когда лесу уже не угрожала опасность, Манос встал перед людьми, выпятил грудь, осмотрел всех внимательно и дрогнувшим голосом проговорил:

— От имени всего сельсовета выражаю вам свою благодарность.

Он посмотрел на Мурышиху, улыбнулся и тронул ее за плечо:

— Стрела!

В этот день Манос отдал распоряжение вырубать по краям болота широкие просеки, сам всюду появлялся, кричал, показывал, как надо работать.

Наконец, пожар зажали в кольцо. Снова в лесу послышались песни. Опять полянка около избушки Онисима наполнилась движением и шумом. Мурышиха снова начала заглядывать к шалашу.

Онисим следил за ней с возрастающей тревогой. Нехорошо задумала. Замечал это и Гришка. Он стал теперь злой, раздражительный. Александра почти совсем не разговаривала с ним:

— Как, Гришенька, охота?

— Да плохо...

— Что так?

Спросит и — чувствуется — думает совсем о другом.

Один раз он проходил мимо кучки женщин.

— Гришенька,— сказала Устинья,— что ты не весел? Переложи печаль на радость, тебя тут поджидают...

Гришка ничего не ответил. Устинья схватила его за руку и усадила рядом с Мурышихой. Александра, смеясь, обняла его и поцеловала в щеку.

— Бабы, не смотрите...

Гришка сидел, совсем очумев. Он оттолкнул ее, пробовал тоже шутить.

— Ну, задавила...

Пошел в лес и весь день проходил напрасно. За каждым кустом чудилась она, слышал ее смех, ее говор. Собака подлаивала тетерок, но он спугивал их, не подойдя на два выстрела. Собака недовольно урчала и на следующий раз лаяла лениво, рассеянно.

Гришка пришел пораньше из леса и осторожно выглянул на полянку. Мурышиха стояла у шалаша рядом со Шмотяковым. Устинья на другом берегу Шивды собирала ягоды, что-то тихонько напевая, и смотрела со стороны.

Гришка ждал, когда Мурышиха отойдет от шалаша. Вдруг Шмотяков схватил ее за плечи. Оба смеялись. Шмотяков повалил ее в траву. Александра быстро вскочила, отряхнулась и опасливо огляделась. Увидев Гришку, она приставила руку ко рту и вполголоса сказала:

— Гришенька, старику не сказывай. Он заест.

Гришка так был удивлен и обозлен, что не смог ничего ответить.

Александра поправила платок, юбку, наклонилась и руками стала выпрямлять траву. Трава не вставала.

— Вот какая я тяжелая,— сказала Александра и, смеясь, отошла от шалаша. Из леса выходили другие бабы. Вскоре на полянке стало опять шумно. Гришка все стоял у кустов, как оглушенный, и рвал сухие желтые листья.

Пришел Онисим, понимающе посмотрел на парня и заставил его обдирать белок.

Александра больше не подходила к шалашу. На Шмотякова посматривала издали с усмешкой

Во время ужина Шмотяков присел к общему кругу. Гришка старался не замечать его. Обжигая пальцы, он торопливо ел горячую печеную картошку и молчал. Он слышал ее голос. Чувствовал ее взгляды, полные любопытства и задора. Как было не думать о ней? Все, к чему она прикасалась, приобретало свет и теплоту. Он знал, как она бросает дрова в костер, как завязывает полотенцем корзину.

Гришка больше не мог смотреть на нее, положил ложку и отошел на темную тропу. Здесь было прохладно и тихо, пахло черемушником. Этот запах всегда напоминал Гришке детство, большую старую избу, лучину, отца, заканчивающего на полу новые дровни. Сейчас мелькнуло перед ним все это впроблеск, как молния, и сразу забылось. Он стал думать о завтрашней охоте, о собаке, у которой день ото дня больше и больше обострялось чутье, но все слышал голос Александры. Он подумал о том, что лучше было ему ночевать на пожаре вместе со сторожами, и тут же ясно увидел, что он во тьме наугад стал бы пробираться сюда лесом.

Слышался голос Устиньи·

— Марья Игнашонкова, вот, матушки, бедная! Трое маленьких, сама худая.

— Ну, мир — золотая гора — прокормит,— печально заметила Александра.

— Пришла тоже на пожар,— продолжала Устинья,— а у самой ни на плечах, ни на ногах. «Да как живешь-то?» — «Сама не знаю».— «Жалование-то приносит?» — «Не видала синь-волоса».— «Ты бы в суд, присудят ребят кормить».— «А на что вино-то жрать будет?» — «Ну они на это найдут. Вон, говорят, в заводской лавке какое-то по восемь рублей половинка, а он берет, лопает. Где-то деньги находит...»

Женщины заговорили что-то шепотом.

— А что, Андрей Петрович,— услышал Гришка голос Маноса,— та дамка, которая прошлый год с вами была, не жена вам будет?

— Не жена. Она тоже охотовед. Работает в Азленском сельсовете.

— Так, так. Слышал. Ее вчера зачем-то по телефону — в район вызвали. Наши ехали со станции, видели: идет за подводой, ножками выщипывает...

Стали говорить о другом, но Гришка заметил, что Шмотяков слушает рассеянно,— видимо, известие об этой женщине его волновало.

— Тоже тоскует об ней,— подумал Гришка.— Хочет видеть. А Мурышиха давно в руках у этого прохвоста...

Глава восьмая

Теперь Шмотяков настолько освоился в лесу, что безошибочно находит все просеки, квартальные столбы. В лунные ночи он сидит на реке, наблюдает за жизнью ондатры. Многие видят его за этим занятием и относятся к Шмотякову почтительно. Теперь ему не нужны проводники. Он никогда не приглашает с собой Гришку, хотя по-прежнему с ним вежлив, предупредителен, расспрашивает о делах. Об Александре они больше не беседуют. При разговорах Гришка не смотрит Шмотякову в глаза. Александра стала тише, ровнее. Даже старик Онисим замечает это. С Александрой он не разговаривает, смотрит на нее сердито. Многие теперь спят на месте пожара, по краю болота. Александра же с Устиньей и Таиской всегда приходит ночевать к избушке. «От дыма голова болит».

Иногда Гришке кажется, что если бы не Шмотяков, Мурышиха полюбила бы его В начале осени Александра с подругами догнала его на тропе, подала ему корзину, а сама стала перевязывать платок.

Бабы сзади шумели:

— Не сговаривайтесь, все видим! От нас не укрыться! — крикнула Устинья.

— А мы вас переждем, да и в сторону! — ответила Александра.— Вам не укараулить!

Потом взяла у Гришки корзину и, накинув ему на плечо руку, зашагала с ним рядом.

— Ой, парень,— шептала она.— Худо, как попадешь на зубок к бабам. От нас не вырвешься, как из пожара.— Она тихонько привлекла его к себе и посмотрела лукавыми глазами: — А ты не стесняйся. Сам отшучивайся. Да похрабрее! Другой раз, судя по делу, и заверни...

И, тихонько толкнув его в спину, остановилась, пристала к подругам.

Гришка ходил по лесу и весь день чувствовал на плече теплоту ее руки...

— Бабы,— сказала однажды Александра,— мне приснилось, что у меня расплелась коса. К чему это: к радости или к безвремению?

Устинья и Таисья смотрели на нее хитрыми глазами.

За последние дни Мурышиха заметно похудела. Часто о чем-то задумывалась. Шмотяков держал себя с ней очень смело, иногда подшучивал над ней. Гришка прислушивался к нему, темный от злобы. Один раз Гришка заметил, как, разговаривая с ней, Шмотяков отвернулся и зевнул. Гришка посмотрел на него с изумлением и страхом. Парень никак не мог себе представить человека, которому было бы скучно с Александрой. Значит, Шмотяков просто издевается над ней, а баба о нем сохнет?.. Теперь Гришке было все равно, лишь бы задать хорошую память этому человеку. Вечером он зарядил ружье солью и, как только Мырышиха ушла к шалашу Шмотякова, пробрался в березовые кусты и лег на землю так, что ему хорошо было видно обоих.

Шмотяков сидел у костра и пек рыжики, густо посыпав их солью. «Что он делает дни? Ему даже поесть как следует некогда?..»— подумал Гришка.

Александра устроилась поблизости в свете костра. Гришка хорошо видел ее лицо. Глаза Мурышихи сияли.

— Ну, как муженек? — не глядя на нее, спросил Шмотяков.

— Вы опять за то? Все наши бабы смеются: «Уж у тебя чего-нибудь с вологодским есть». — «Да что такое, скажите? А то мне нехорошо, я человек занятой, муж узнает, куда глаза деть?» — «Да, — говорят, — твой Гаврюша уж знает, как этот у тебя о нем расспрашивал, как вы с ним толкуете глазки в глазки». — «Бабы! Да когда, что вы?» — «Ой, от нас не скроешь. Тебе только болтать, с кем попадется. А отойдешь — просмеешь и вологодского. К тебе, лошади, ничего не льнет...»

Александра смеялась. Шмотяков в сильном смущении теребил траву. Прутик перегорел, и гриб упал в костер.

— Что тебе, мое словечко не понравилось? — лукаво спросила Александра и чуть придвинулась к шалашу.

Гришка попробовал курок. Пружина очень упруга и всегда издает сильный треск. Надо было влить масла...

— Ты бы зашла сюда, — сказал Шмотяков, указывая внутрь шалаша.

— А я тебя боюсь...

— Чем же я страшен?

Шмотяков приподнялся и схватил ее за руку.

Александра прошептала:

— Что ты, разве можно при огне!..

Шмотяков отпустил ее, взял котелок и пошел на озеро. Александра поднялась и хотела уйти. Тогда Шмотяков опять схватил ее. Так повторялось несколько раз. Наконец, Александра сказала:

— С тобой устанешь... — И села к самому шалашу.

Осмотревшись по сторонам, Шмотяков снова потянулся к ней.

Гришка взвел курок. Ему хорошо была видна спина Шмотякова. Неуклюже согнувшийся, в широких сапогах, взлохмаченный, Шмотяков был похож на медведя.

Гришка услышал голос Александры:

— Ты рукам воли не давай!..

Курок чуть не вырвался из-под пальца Гришки. Он снова оттянул его до отказа и приник к самой земле. Вдруг Александра подняла руку и изо всех сил ударила Шмотякова по лицу. Шмотяков отскочил от нее. Из носа у него потекла кровь. Он достал носовой платок.

Александра сидела на земле и громко смеялась.

В это время рядом с шалашом в кустах раздался неверо-

ятный грохот. Сноп пламени вылетел как бы из земли и врезался в куст чуть поправее Шмотякова. Листья затрещали и свернулись в трубочку. Затем послышалась возня, шуршание кустов, поспешный топот ног, и все стихло.

От неожиданности Шмотяков опустился на землю и сидел, открыв рот. Кровь стекала по его бороде.

Злой и мрачный появился Онисим.

— У тебя все шуточки! — крикнул на Александру.

Александра быстро встала и ушла.

Шмотяков шел от озера. Ничего ему не сказав, Онисим посмотрел на Гришку, молчаливо стоявшего в отдалении на берегу.

— Дубина, иди-ка сюда!

Гришка покорно пошел за ним. Онисим впустил парня к себе в избушку и закрыл за ним дверь. Не поднимая головы, Гришка сидел на нарах.

Каменка постреливала углями. Было дымно и жарко.

— Ты что хотел сделать? — строго спросил Онисим.

— Нечаянно,— не поднимая головы, ответил Гришка.

— А зачем в кусты залез?

Гришка молчал.

— Шутить довольно! — крикнул Онисим.— Что делается кругом! Вся земля горит! Надо войти в разум. Вы кто такие? Зачем сюда пришли? Андрей Петрович вам не указ. У него не горит: он сегодня здесь, завтра там. А ты дурак!

— Он нехороший,— сказал Гришка.

Онисим вдруг смягчился и спросил вполголоса:

— Ты что-нибудь знаешь?

— Знаю.

— Вот что! Черт их разберет. Приезжают только чужих баб смущать.

Гришка рано ушел в лес и в этот день принес глухаря.

— Вот так! — удивился Онисим.— Ты стал кое-что кумекать...

Весь вечер был он с Гришкой ласков, рассказывал ему случай из своей охотничьей жизни:

— Вот тоже вроде тебя иду. Собака лает. Лает глухо и редко, с визгом. Значит, занята работой: гребет землю лапами, рвет коренья зубами. В голосе обида: зверь укрылся и взять его нельзя.

Шмотяков стоял у костра и тоже слушал.

— Земляной зверь, думается, и на Кавказе такой же? — спросил у него Онисим.— Охотиться на него трудно...

— Да-а-а...— чувствуя его насмешку, протянул Шмотяков.

На другой день Гришка принес трех белок.

— Хорошо,— сказал Онисим, посмотрел на лохматую Гришкину Зорьку и улыбнулся.

Собака была неуклюжа, смешна, неопределенной окраски: рыжее с серым. Лапы у нее были кривые, спина коротенькая.

Зорька сидела перед костром на задних лапах и, стоило сделать в ее сторону движение, стучала хвостом.

Онисим посмотрел на нее сбоку. Голова у Зорьки была совсем как у Лыска: маленькая, длинномордая. Только Лыско был длиннее и грудью шире.

— Значит, идет в лесу хорошо?

— Да, идет! Трех-четырех каждый день подлает. Только я не могу подойти, еще не научился. На земляного зверя идет. Как вчера ты рассказывал, она на Шумихе визжала и землю рыла.

— Не нашел?

— Нет, не могла выгнать.

Онисим сидел на пороге избы, задумавшись.

— Завтра пойдем.

— Пойдем,— радостно согласился Гришка.

Утром они отправляются вместе и находят куницу. Куница успевает забежать в елку и идет по вершинам. Они спешат за собаками через густые заросли ельника. Собаки уходят все дальше и дальше. Гришка прибавляет шагу. Онисим, ослабев, садится на пенек. Гришка бежит бегом. Вскоре становится не слышно ни его, ни собак.

Онисим сидит час, другой. Тихонько шумят вершины. Густые неровные тени двигаются на побуревшем папоротнике. Солнце за спиной то исчезает в сучьях, то появится снова. Удивительное дело, все еще по-летнему тепло, хотя лист уже наполовину облетел и потемнели травы. Часто в небе курлыкают журавли. И все горит и горит...

Вдали слышится выстрел. По силе заряда Онисим узнает выстрел Гришки и взволнованно поднимается. Вскоре слышится второй выстрел.

«Пошла,— хмурится Онисим.— Стреляй сколько хочешь...»

Проходит час. Тихо. Онисим то поднимается, то снова сядет.

Впереди слышно посвистывание. Оглушительно трещат пересохшие сучья. Потом топот по гулкой земле. Онисим подает голос.

Гришка бежит к Онисиму бегом. В руках у него куница.

Онисим изумленно разводит руками.

— Будешь хорошо лесовать,— просто и уверенно говорит он Гришке.

В этот день Гришка уходит домой. Он несет десятка полтора беличьих шкурок, тетерку и куницу. Онисим знает, что все это парень понесет на виду через всю деревню, потом обойдет каждую избу и в сотый раз расскажет о своих удачах. Так было во время первых успехов у самого Онисима. Теперь он думает об этом и улыбается. Тогда, гляди, года через два пойдет Гришка по лесу, как настоящий охотник.

Манос со своими людьми расчистил на берегах болота просеки, обнажил на них грунт и по краям просек принялся рыть окопы.

— Как на войне,— с улыбкой говорил он.— А что ты думаешь, мы тоже от врага родину охраняем!

Всегда бодрый, подтянутый, он прохаживался среди своих людей, добродушно подшучивал, подбадривал особенно утомленных. В течение недели он спал по ночам три-четыре часа, но никому и виду не показывал, что хоть сколько-нибудь устал. Один раз Онисим видел, как Манос шел по тропе и на ходу дремал, натыкался на деревья, вскидывал голову и снова дремал.

Тихонько, с большой сердечностью Онисим сказал:

— Проня, ты бы прилег пока у меня на нарах, а то вернутся все и отдохнуть тебе не дадут. Иди, дверь закрой и поваляйся.

Манос пошел в избушку, лег и сразу так захрапел, что Розка, расположившаяся у порога, подпрыгнула и заурчала.

Двух парней, быстрых на ноги, Манос направил в сельсовет за новым подкреплением. Вместе с народом пришли с других пожаров два лесника и с ними мастер леса, совсем еще молодой, светловолосый парень. Узнав, что мастер леса прибыл для руководства работами, Манос с достоинством,

сдержанно сказал: «Пожалуйста» и печально улыбнулся

Парень посмотрел на него добрым взглядом и запоздало отметил

— А вы все-таки работу проделали большую.

— Работали,— не глядя на него, ответил Манос.

С этого дня Манос опять руководил только своими деревенцами, на маленьком участке болота. Он немного притих. Поговаривал о том, что пора бы дать ему смену, а то вон в колхозе надо устанавливать льномялку: без него там провозятся, да еще сумеют ли наладить! Но работать продолжал он по-прежнему честно и не переставал заботиться о людях. Перед сном всегда обращался к подчиненным

— Какие будут ко мне вопросы?

Если вопросов не было, кликал Розку и шел к сторонке спать. Розка ложилась поблизости и всю ночь сторожила

Однажды после обращения Маноса Онисим сказал:

— Я хочу спросить. Только не у тебя.

Манос повернулся к нему, несколько обиженный, и вытянул длинную шею.

— Бабы,— сказал Онисим,— ну-ка, сознавайтесь, которая на Шумиху за ягодами ходила?

Женщины переглянулись, и Мурышиха ответила:

— Все ходили.

— Правильно, все,— повторил Онисим.— Стало быть, и огонь все вместе жгли?

— Нет, огонь мы не разводили.

— Может быть, они и правы,— вмешался Шмотяков.— Кто-нибудь другой..

У Гришки, сидевшего в стороне, захватило дыхание Вдруг Шмотяков расскажет о том, как они чуть было не стали виновниками пожара!

Шмотяков сделал паузу.

— Кто-то прошел чужой. Кто? Ищи ветра в поле. Виноваты все мы. Надо лучше беречь лес.

— Верно,— сказал Онисим.— Какой-то прохвост, не подумавши, бросил спичку.

Онисиму плохо спалось. Он долго сидел на пороге. Ночь была лунная. На другом берегу озера белела песчаная коса. В тишине что-то плескалось на озере. Онисим тихонько пробрался к берегу и посмотрел из-за кустов.

У самой воды сидел Шмотяков и старательно мыл сапоги.

«Что за чудо? — подумал Онисим.— Как будто на это

дня нет. А то дал бы двугривенный бабам, они бы тебе начистили...»

— Андрей Петрович!

Шмотяков вздрогнул, быстро обернулся к старику.

— Вы что это ночью выдумали?

— Днем некогда.

Онисим ничего не сказал. Правда, Шмотяков уходит на работу очень рано и возвращается в потемках. На вчерашний день опять ночевал где-то под елкой.

Онисим наломал сухих сучков, отодрал от березы скалинку, положил все это на огнище и поджег. Костер разгорелся сразу.

— Видишь,— сказал Онисим.— И ночью нет влаги. Как тут потушишь?

И вздохнул.

Утром Онисим присматривался к Шмотякову. Тот выглядел необыкновенно бодро. Он был чисто выбрит, в новенькой синей рубашке.

«Хочет щегольнуть перед нашими девками,— подумал Онисим. (Мурышиха теперь что-то к нему не подходила, и он на нее не смотрел).— Недаром сапоги-то начищал».

Шмотяков выходит из шалаша с фотоаппаратом. В кругу женщин — радостное оживление.

— Ой, матушки, скоро уезжает, хочет нас на память снять,— шепчет Устинья подругам.

Александра молчит, как будто ничего не замечает.

Манос помогает Шмотякову.

— Становись по ранжиру! — командует он.

Женщины никак не наладят порядок. Манос кладет впереди них длинную жердь, и тогда они выравниваются, касаясь носками жерди.

— Голову прямо! — кричит Манос.— Не мигать!

Сам он встает в средину и вытягивает руки по швам.

Шмотяков, смеясь, фотографирует. Поправляя что-то у аппарата, он выходит вперед и повертывается к группе спиной. Онисим смотрит на его ноги и на голенище левого сапога видит белое пятно. Как бы рассматривая аппарат, Онисим подходит ближе. Да, это белая глина, а не известь. Теперь никаких сомнений нет. Откуда она у него?

Онисим молчаливо провожает Маноса с отрядом. Когда на полянке становится пусто, он находит в избе клочок бумаги и пишет на нем: «Принесите хлеба».

Эту записку он привязывает на шею собаке, отходит с

ней подальше на тропу и гонит ее от себя. Найда, удивленная и обиженная, отбегает за деревья и снова возвращается к нему. Тогда Онисим делает строгое лицо и начинает хлестать ее кушаком. Собака бежит от него, припадая к земле и постоянно оглядываясь.

— Пошла! Пошла! — громко кричит Онисим.— Вот ужо я тебе.— И топает ногами.

Найда скрывается за поворотом. Подождав немного, он подходит к повороту и выглядывает из-за елки: на тропе никого нет.

Лицо Онисима сразу становится добрым.

Шмотяков стоит на берегу озера и пьет из кружки чай.

— Куда сегодня, Андрей Петрович? — спрашивает Онисим.

— Опять к Трифоновой курье.

— Так, так. А мне чего-то нездоровится, решил отдохнуть.

С осторожностью, накопленной десятилетиями, Онисим следует за ним: бесшумно двигается от дерева к дереву, вытягивается за стволами, замирает с поднятой ногой, не дышит. По сапогам шуршит брусничник, иногда хрустнет раздавленная шишка, но земля, плотно закрытая мхами, не гудит.

Шмотяков идет не спеша, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Он проходит Авдееву сырь, попадает на Гордину дорогу. Здесь он сворачивает в сторону, снимает с плеча ружье и осматривает вершины. Никого нет. Совсем низко на елке ворочается сойка, Шмотяков поднимает ружье и в упор стреляет в нее. Сойка разорвана на части. В воздухе кружится несколько голубеньких перьев. Подождав, пока они упадут на землю, Шмотяков повертывается и идет в глубину леса.

Онисим следит за ним злыми глазами. Река с Трифоновой курьей остается позади. Старый выломок. На выворотнях растет малина. Листья осыпались, перезревшие ягоды висят, как бы ни к чему не прикасаясь. В желтой траве совсем голые кисти красной костяники. Шмотяков быстро, на ходу, срывает ягоды.

Онисим обходит выломок стороной, все время не теряя Шмотякова из виду. За выломком начинается низина. Высокая побуревшая трава во многих местах примята ногами. Лес тут редкий. Кое-где лежат обросшие мохом колодины. Онисим ползет от колодины к колодине, от кочки к кочке.

Да, полувековой опыт охоты на крупного зверя сейчас очень кстати.

Иногда Онисим теряет Шмотякова из виду. Приподнявшись, он выглядывает из травы. Шмотяков стоит, прислушивается. Потом начинает шагать без всякой опаски.

Онисим ползет быстрее: «А во мне еще есть силенки,— с волнением думает он.— Это под стать молодому...» И с любовью осматривает лес, траву, огромный диск солнца, поднимающегося над вершинами.

Низина кончается. На холме сосны с розовыми стволами. Над вершинами тонкий синий дымок. Под деревьями желтая полоска, тропа. Онисим слышит похрустывание песка под ногами Шмотякова. Теперь можно за ним не ходить: это Нименьгская дорога, он направляется туда.

Онисим возвращается к выломку, выходит на тропу и шагает по ней, задумавшись. Впереди слышится гудение земли под ногами. Лавер. Идет навстречу. Онисим сворачивает в сторону и торопливо уходит дальше от тропы, чтобы не налететь на его собаку.

Прошлый год, встретившись вот так, лоб на лоб, они остановились бы на тропе, и Онисим полез бы за табакеркой. «Зачем это он ходит в Нименьгу, когда там вовсе нет крысы?»—«Ученый человек. Мало ли. Вон у него книг-то сколько...»—«Ученый-то ученый, а все-таки...» Молчание. Ничего не решив, они на второй день все-таки встретились бы снова: «Не поймешь. Вроде какой-то кочующий. Жил во всех больших городах!»—«Да, теперь ездят...»—«Ездят... Пускают таких в леса...» Оба ревниво осматривали бы сосны.

...Гроза выскакивает из-за дерева и бросается к нему. Большая, широкогрудая, с веселыми желтыми глазами, она подпрыгивает, лижет его в лицо, его руки, потом падает на землю и катается, все время не спуская с него плутовато-веселого взгляда.

Он стоит не двигаясь и чувствует, что Гроза вовсе не была ему ненавистна, он не любил и не любит только ее хозяина; и что вот сейчас, глядя на нее, валяющуюся под ногами, как делает это Гроза всегда, когда долго его не видит, он просто уважает ее. В ней даже есть что-то неуловимо напоминающее Лыска.

Он наклоняется к Грозе, грубовато-ласково гладит ее и ворчит...

— Обрадовалась. Хорошая собака. Хорошая собака. Ну, иди!

Легонько ударяет ее в бок и кивает на лес.

— Иди, иди.

Гроза отбегает несколько метров, смотрит назад, видит, что Онисим не идет, останавливается и виляет хвостом.

— Давай, давай! — машет рукой Онисим.

С полминуты Гроза смотрит еще на него и скрывается в лесу.

Онисим быстро пробирается на свой путик. Потом сидит на берегу Шивды и берестяным ковшиком прихлебывает холодную, пахнущую смородиной воду.

Глава девятая

Вечером возвратившись с работы, Манос сообщил, что теперь у него есть помощник из ребят. Сам он может освободиться и съездить с Андреем Петровичем на Модлонь. Манос пошел обрадовать этим Шмотякова, но того в шалаше не было. Надвигалась ночь.

— Не беспокойся,— сказал Онисим.— Он уже много раз ночевал под елкой. Смелый.

— Удивительное дело,— покачал головой Манос,— первые дни так он просто по берегу идти боялся. От грома чуть не умер.— Подумав, Манос заключил: — Все-таки не отпущу больше одного.

Он достал из кармана клочок бумаги и не спеша написал на нем.

«Андрей Петрович, у меня без вас скука жизни. Сообщаю радость. Ваша знакомая дамка вернулась из района. Ура! Вечером ждите меня, кое-что для Вас приготовил».

Онисим спрятал записку в карман.

Шмотяков вернулся на второй день к обеду. Онисим выходил из леса навестить избушку, но ему не показался. Издали видел дым его костра.

В этот день Манос сообщил, что на пожар пришли из Редьи. Беседовал с ними: «Как к государственной собственности относитесь?» Молчат. «А если до Нименьгского завода дойдет, до штабелей?»—«А нас худо оповестили».— «Как? От нас человек приходил!»—«Был человек, сказал жителям двум-трем и сразу ушел. Порядком даже не поняли, где горит. У нас кругом горит. Люди и так все время на пожарах». Сразу виден саботаж,— заключил Манос.

Он подошел к шалашу и поздоровался со Шмотяковым за руку.

— Завтра на Молдонь, Андрей Петрович!

Шмотяков удивленно вскинулся на Маноса:

— Кто тебе сказал? Нет, я уже решил туда не ехать. Мне удалось хорошо подработать на Нименьге. Завтра опять сюда.

— Успеете,—сказал Манос.— Я знаю, вы стесняетесь меня беспокоить. Напрасно. Как это — быть в лесу и не посмотреть Модлонь! Пока мы ездим, Михайла прибудет. В Нименьге не крыса. Вы должны работу проделать на значок.

И не дав Шмотякову ответить, Манос отошел. Онисим стоял поблизости и слышал весь разговор.

— А ведь на Модлони-то, Андрей Петрович, самая ондатра,— сказал он.— И съездите. Посмотрите. Ребятишки ужо на выходной придут. С ними время проведете. Что-нибудь расскажете. Спешить-то вам куда?

По лицу Шмотякова пошли красные пятна. Чувствовалось, что Манос порядком ему надоел.

— Чудак ваш Прокопий Сергеевич,— сказал он.— Я его вовсе не просил ни о чем.

Шмотяков сидел у костра и ковырял сапогом землю.

«А белое-то пятно смыл!»— подумал Онисим, осматривая его голенища.

Манос сдержал слово. Отправив свой отряд с помощником, он в полной готовности подошел к шалашу.

— Ну, Андрей Петрович, пора! Поедем до Никонова стожья на плоту, а там кривушек верст на семь, прогуляемся лесом.— С этими словами Манос собрал в сумку вещи Шмотякова, положил туда каравай хлеба и сумку взял себе на плечо.

— Пошли! Может быть, под елкой ночевать придется, захватите вашу накидку.

Как ни старался Шмотяков отговорить Маноса, тот только улыбался и махал рукой.

— Будет вам. Я и в колхозе договорился, разрешение взял. Дед, где у тебя плот? А! Знаю. Розка!

Манос шел по берегу озера и подсвистывал собаку. Шмотяков неохотно следовал сзади.

Онисим провожал их.

Манос наломал охапку еловых сучьев, положил их на плот и кивнул Шмотякову.

— Будьте при месте!

Шмотяков сел на сучья и взял между коленей двухстволку. Он был смущен и рассеян.

Манос поймал на берегу собаку (плот в это время немного отошел) и бросил ее Шмотякову.

— Держи! Зажимай ногами. Потом очухается, будет сидеть. Она у меня воды боится, приучаю.

Шмотяков держал Розку. Собака рвалась к берегу и визжала.

Манос взял шест, кивнул Онисиму и встал на плот.

— Ну, в час добрый! — сказал Онисим.

Манос ловко заработал шестом.

Шмотяков сидел на сучьях, держал собаку и с опаской следил за его движениями. Вскоре они скрылись за мысом.

Онисим услышал голос Маноса:

— Прошлый год у нас в сельсовете тоже был один образец из города, так он разговор на три языка знает.

Онисим снова остается один. Целые дни в притихшем лесу. Найда разошлась: теперь он нередко приносит десяток белок.

Беличьих шкурок накопилось много.

Он ходит и по привычке смотрит под ноги. Грязь высохла и потрескалась. Следы можно видеть только в пыли. И он опять видит след медведя, а рядом отпечатки Лаверовых лаптей. Медвежий след настолько свеж, что с краев его еще не успели осыпаться комочки сухой земли. Отчетливо видны громадные когти: самец. Онисим осматривает разрытые в стороне муравейники и идет по следу. Медведь зашел в болото и обратно не выходил. Он или перебрался в Чарондские леса или сидит где-нибудь тут поблизости и жрет подсыхающие верхушки дягиля.

Потом Онисим исследует, откуда вышел медведь. Он проходит Избновскую дорогу, сворачивает к Толоконным горам, то и дело оглядываясь: не выйдет ли где Лавер. След теряется на берегу реки Укмы. Следы Лавера все время идут рядом. Значит, он ходит за медведем!

Онисим возвращается от Толоконных гор в раздумье.

Редкий год они с Лавером не убивали медведя. Вместе ловили, вместе шли стрелять его в капкане. С того момента, как видели свежий след, до того, как на месте капкана обнаруживали поволоку, оба они жили напряженной жизнью.

Говорили об этом намеками.

— Да-а-а,— начинал Онисим.— Нас-то с тобой помоложе.

— Давно такого не видел,— соглашался Лавер.

— Как пружины?

— Выдержат.

И вот на рассвете Онисим, красный, запыхавшийся, поджидает соседа у старой вырубки. Завидев его издали, машет рукой — сверху вниз.

— Что же, бить будем,— негромко, стараясь скрыть волнение, говорит Лавер.

Стоят на тропе, нюхают табак.

— Что-то в этом году малины нет.

— Клюквы будет много.

— Да, клюква будет.

Потом оба торопливо идут в сторону. Объясняются знаками: Онисим поднимает руку. Начинают бесшумно подкрадываться от дерева к дереву, от колодины к колодине.

Падаль лежит, наполовину съеденная. Капкана нет Кругом раскидан мох, сучья. К мелкому густому ельнику тянется темная полоса обнаженной земли. Местами она обрывается. На пути сломанная ольха, вырванная с корнем елушка. На стволе сосны — глубокие белые рубцы. Сердился, хотел разбить...

Старики переглядываются: правда, пружина должна выдержать.

Идут, озираясь на каждом шагу. Стволами разбирают сучья. Поволока тянется без конца.

Должно быть, в том чапыжнике за старой колодиной?

Онисим трогает товарища за плечо. Оба стоят не дыша.

В чапыжнике — движение. Зверь поднимается, темный и страшный. Вот он встает на задние лапы, ревет. Лавер заходит сбоку, вскоре слышно щелканье взводимого курка. Онисим тоже поднимает ружье. Да, встречаться с таким приходилось не часто.

Справа сквозь ветви сверкает струя огня, грохочет выстрел.

Медведь ревет сильнее и переваливается вправо. Онисим стреляет ему в бок. Медведь падает, снова поднимается и идет на Онисима. Онисим пятится к большой елке. Как-то так выходит, что он чувствует под пальцем не пулю, а спрессованную бумагу, пыж, заряд под глvхаря. Медведь совсем рядом.

Вот, наконец, под пальцем и патрон с пулей.

В это время справа, метрах в двух от него, снова гремит выстрел, горящий пыж падает к ногам Онисима. Падает и медведь и больше не поднимается...

Сейчас Онисима неудержимо притягивают эти следы. Он не знает, в чем дело. Зверь и человек ходят друг за другом. Он видит этот вход в болото, кривой узкий просвет между елками, в одном месте — крест-накрест лежат две березки.

«Вот на эту тропу надо бросить падаль и поставить капкан,— решает Онисим,— почему он этого не делает?»

Весь день он думает об этом медведе и впервые за всю жизнь не чувствует себя свободным. Тоска его так сильна, что он не хочет ни пить, ни есть. Сидит неподвижно на пороге избы. Потом он достает из угла старый заржавевший капкан и колом разжимает его пружины. Они по-прежнему упруги и сильны. Онисим любовно моет капкан, протирает его тряпкой, потом ломает сучья можжевельника и растирает их на железе. Теперь капкан пахнет можжевельником, волнующе остро и знакомо. Онисим прячет его под куст и торопливо дрожащими руками начинает выколачивать из куска свинца пули. Одна, другая... Четырех вполне хватит. Ружье бьет удивительно: птица, задетая одной дробинкой, всегда падает кверху лапками.

Когда все приготовлено, он стоит у избушки в раздумье, потом, повздыхав, идет внутрь и ложится на нары.

За кустами, на озере, слышен плеск воды и голос Маноса:

— Вот, должно быть, племяш мой сейчас прибыл.

Плот выплывает из-за кустов. Манос, в одной старой майке, в засученных по колено штанах, взмахивает жердью, как пикой. Сзади него на новенькой белой скамейке сидит Шмотяков. Собака бежит по берегу.

— Слышь, старик! — кричит Манос.— Как ни старался Розку приучить ездить на плоту — не мог. Прыгнет в воду, только нас обоих перебрызгает, и в лес. Вот удивительное дело!

Плот тыкается в берег. Манос опускает между бревнами шест.

— Здорово, старик! Михайлы нету? Что ж он долго? Ну, можешь нас поздравить — крыс нашли видимо-невидимо. Лови!

Манос схватывает за хвост лежащую у него под ногами мертвую ондатру и бросает Онисиму.

— Вот она, голубушка. Не шути, эта тварь семь с полтиной штука!

Онисим вертит в руках ондатру. Она действительно велика. Шмотяков, уставший и недовольный, сходит с плота.

— Ну,— говорит ему Манос.— Мы с тобой к последнему концу прибыли.

Шмотяков с Маносом остались отдыхать и варить обед. Онисим ушел в лес и опять бродил по медвежьим следам. Иногда ему казалось, что кто-то идет по дороге. Он прятался за дерево и выжидал. Никого не было. Лавер, завидев его, сам не показался бы на виду.

В конце дня Онисим встретил на Сосновской дороге Игнашонка. Игнашонок, видимо, шел издалека. Был запылен. Губы его запеклись от жажды.

Он посмотрел на Онисима добрыми серыми глазами и сказал:

— Я иду из Нименьги. Меня уполномочили к охотоведу Шмотякову. По слухам, он живет в вашем лесу.

— Да,— ответил Онисим, пытливо осматривая Игнашонка.— Ты что там делаешь в Нименьге?

— В лисьем питомнике.

— А! Ну иди.

Они пошли лесом.

Вечерело. Манос, только что вернувшийся с охоты, обдирал белок. Он увидел Игнашонка, выпрямился и крикнул:

— Опять не под раз! Прогоню. Ученый при деле.

Игнашонок сразу рассвирепел.

— У меня из сельсовета бумага!

— Ну-ну, там увидим,— равнодушно ответил Манос.— Так и быть, садись, пока посиди.

Игнашонок подобрал на земле сучки, бросил их в костер и присел поблизости на траву.

— По должности кто теперь будешь? — спросил его Манос.— Поди, тоже какой-либо чин?

— У нас в Нименьге свое хозяйство. Лисы. Прошлый раз бумажку ты видел. Надо посоветоваться с охотоведом, что-то молодежь дохнет.

— Водку потребляешь?

— А тебе что?

— Я к слову. Знаю, каким ты был раньше. В сумке чего?

— Да ничего. Хлеб,— несколько смущенно ответил Игнашонок.— Теперь я совсем не пью.

— Ну, так и быть, схожу к Андрею Петровичу.

Манос ушел к шалашу и вскоре появился вместе со Шмотяковым.

Шмотяков издали внимательно осмотрел прохожего и вежливо кивнул ему.

— В чем дело, товарищ?

Игнашонок вполголоса стал излагать суть дела.

Манос с Онисимом принялись готовить ужин.

Манос то и дело посматривал на Игнашонка и напоминал:

— Ты, черная борода, смотри не особенно заговаривайся. Дай человеку побыть одному. А будешь надоедать, я тебе покажу виды образа.

Шмотяков и Игнашонок на полминуты умолкли. Шмотяков нервно подергивал плечами.

— Чего ты суешься в чужое дело! — укоризненно сказал Маносу Онисим.— Что тебе, глупая голова, все покою-то нет!

Манос усмехнулся:

— Ну-ну, старик, не горячись. Ведь наш брат присосется, не отцепишься. Я на курсах учился, и то иной раз начнешь с Андреем Петровичем говорить и все забудешь. А этого по рылу видно — роспись поставить не умеет.

Потом Манос обратился к Игнашонку.

— Ну, все сказал?

Игнашонок злобно блеснул глазами.

— Чего уставился-то? — сказал Манос.— Больше тебе говорить не о чем. Андрей Петрович всю суть выслушал. Давай отчаливай.

— А я вот как возьму на тебя палку! — закричал на Маноса Онисим.— Не слушай его, Платон. Он ведь из-за угла мучным мешком охлестан.

Манос весело смеялся.

— Ну-ну,— миролюбиво говорил он Игнашонку.— Я пошутил.

Но у Игнашонка и Шмотякова разговор, так грубо нарушенный, не налаживался. Оба, недовольные, молчали.

Игнашонок расположился спать на улице вместе с собаками.

— Ты бы в избу шел,— предложил Онисим.

— Нет,— отмахивался Игнашонок,— ночи теплые, спасибо.

— Ну, дело твое,— сказал Онисим и с тайной тревогой посмотрел на собаку. С тех пор как не стало Лыска, он ревниво охранял Найду.

Он лег и не мог заснуть. Прислушивался к дыханию собак. Игнашонка не было слышно. Какой тихий сон...

Манос на полу храпел и свистел носом, как сурок. Спал он сидя, привалившись к стене, потому что вытянуться было негде, избушка была не по его росту, а спать вкорячку Манос не любил.

Луна ушла за избушку. В открытую дверь Игнашонок и собаки были видны на траве темными комками. Онисим смотрел на них. Вдруг Онисиму показалось, что Игнашонок встает. Да, так и есть. Собаки повернулись к нему, Онисим тихонько толкнул ногой Маноса. Тот продолжал храпеть. Игнашонок встал, прислушался и зашагал к шалашу. Манос перестал храпеть, потянулся, хрустнул пальцами и широко, с протяжным оханьем, зевнул. Игнашонок остановился и стал рассматривать звезды.

Манос вышел из избушки. Вышел за ним и Онисим

— Ну, развалились тут,— сказал Манос собакам.— Эх, дед, ночь-то какая!

Он протянул руку и тронул лист ближайшей черемухи Листья были влажные и холодные.

— А что, черная борода, не спишь?

— Бессонница...— ответил Игнашонок и снова лег.

Онисим чиркнул спичкой, разложил костер и сел на траву. Сел рядом с ним и Манос.

— Опять сухо,— сказал Онисим.

— Да...

Они беседовали всю ночь об осени, о погоде.

Рано утром Игнашонок поднялся и хотел уходить.

— Подожди,— сказал Манос,— вот чаю попьем, тогда вместе.

— Спасибо, мне некогда.

Манос все-таки не пустил его. Заставил выпить кружку чаю и вместе с ним ушел в деревню.

Онисим сидит в березняке близ старого выломка со свистком в зубах. Березы наполовину осыпались, в прозрачных вершинах рябчик хорошо виден.

Тихо. Ни лая собак, ни голоса. Теперь горит далеко, в верхах. На пожар ходят из других сельсоветов.

Коротко свистит самец. Онисим отвечает ему и ждет. Вдруг позади начинают шуршать листья. Онисим медленно поворачивает голову. Шмотяков, с ружьем наготове, крадется, осматривая вершины. Наткнувшись на Онисима, бормочет:

— Извини...

— Ничего,— говорит Онисим.— Что с тобой сделаешь? Охотника из тебя не вышло...

Река с Трифоновой курьей далеко позади. Отсюда еле слышен ее шум.

— Хожу в Нименьгу,— поясняет Шмотяков.— Там все с питомником. Правда, и времени нет. Надо бы скорее свою работу заканчивать...

— Да, время позднее. Журавлики пролетели...

Улыбнувшись и кивнув Онисиму, Шмотяков уходит. Подождав, пока стихнут шаги, Онисим возвращается к себе в лес.

Чудно проходит эта осень. Онисим почти не жил один. Все его путики исхожены вдоль и поперек. И он не видит в этом ничего особенного!

Вот опять кричат. Мурышиха. Эту узнаешь из тысячи. Только что хотел посидеть со свистком в березовой роще. Прощай, рябочки. И все-таки Онисим доволен. Он идет к ним навстречу и хмурит брови. Помешали! От них никуда не укрыться...

Женщины смущены.

— Не сердись, дедушка Онисим,— говорит Александра.— Хочешь, я тебе ягод дам?

Она идет рядом и ласково касается его плеча рукой.

Конечно, немного погодя приходит этот дуб, Гришка. Он неузнаваемо весел. Даже лицо у него кажется полнее. На нем новая клетчатая рубаха, хорошие сапоги. Теперь герой! О нем говорят по всему сельсовету. Как же! Принес куницу!

Мурышиха поглядывает на него. Потом тихонько произносит:

— Гришенька, я что-то тебе скажу.

Берет его за руку и отводит к сторонке под дерево.

Онисим собирает на земле сухие сучья и прислушивается

к их разговору. Разгибаясь, он видит сквозь ветви ее лицо. Не смеется. Притихла.

— Чего ты даешь над собой потешаться? — строго говорит она.— Перестань думать худое. Все равно у меня к тебе любви нет, а без этого я не могу... Дура я-то. Казалось, у тебя так, не верила. Поняла в тот раз, когда ты с ружьем подкарауливал.

Она замолкает и печально смотрит в сторону.

Гришка стоит, потупясь.

— Чего ты? — сразу потеплев, говорит она.

— Успокойся...

Вдруг Онисим слышит тихий Гришкин смех. Александра удивленно молчит, смотрит на него во все глаза. Потом она тоже улыбается.

— То-то, глупый, прошло? В твои годы это бывает. Пристал ни к чему, к замужней бабе. Девки-то на что, вон их сколько!

— Не знаю, что получилось,— говорит Гришка,— увидал, как ты с ним тогда ночью заигрывала, стало противно. Стал думать, думать, и все прошло.

— Сразу?

— Нет, сначала было тяжело. Как убил глухаря, так все и забыл...

Они стоят молча.

— А ведь я с этим козлом на шутки,— оправдывается Александра.— Ты ничего не подумай.

— Да я ничего и не думаю. Только у меня все прошло.

— Все? — переспрашивает Александра, и в голосе ее слышится печаль.— Ну вот хорошо,— тихо, неуверенно добавляет она.

Гришка хочет идти.

— Постой,— говорит Александра и, не глядя, протягивает ему руку.— Постой минутку...

Гришка, удивленный, останавливается.

Александра подходит к нему, берет его голову обеими руками и долго смотрит на него. Потом обнимает его и целует в губы.

— Вот когда я попала,— слышит Онисим ее шепот.— Доигралась... Так мне и надо. Свернула голову. А ты не мог догадаться, что я тебя без памяти жалела?.. Так мне и надо. Так и надо...

Вытараща глаза, Гришка держит ее за плечи.

— Уйди! Уйди! — кричит он и протягивает руки, как бы обороняясь. В глазах его страх.

Александра чувствует, что сейчас он боится всего, что связано с ней.

Она последний раз крепко целует его, снова берет его голову обеими руками, смотрит ему в глаза, разглаживает его волосы. Потом быстро повертывается и уходит вдаль по тропе.

Онисим смотрит на нее и думает: «Настоящий человек!»

Женщины собираются домой. Гришка сидит у костра и чистит ружье. Он все еще рассеян, не смотрит прямо.

Мурышихи долго нет. Женщины начинают поговаривать о том, что она всех задерживает: пристала к какой-нибудь кочке и собирает в подол! Неожиданно голос Александры слышится с озера:

— Бабы, до чего вода теплая! Как летом.

Она выходит к подругам бодрая, улыбающаяся и вытирает лицо платком.

— Опять прошепталась со своим Гришенькой,— шутит Устинья.

И она отвечает, как всегда, звонко, задорно:

— У нас с Гришенькой секретов немало!

Потом все они уходят, и Онисим долго еще слышит веселый голос Мурышихи.

Глава десятая

У Гришки появилась забота. Утром он мог просыпаться в любое время. Целые дни Онисим слышал лай его собаки.

— Ну, дед, прибежал к тебе на ночку. Хочу побывать в рябинниках. Как у тебя тут?

Онисим рассказывал о событиях вчерашнего дня: где побывал, что видел, кого принес.

Гришка слушал его, осматривал смятую дочерна полянку, озеро, знакомые сосны, вспоминал начало осени, когда его гнала сюда тоска о Мурышихе, и улыбался. Он и сам чувствовал, что за это время вырос, поумнел, многому научился.

— Ну, а как в деревне? — спрашивал Онисим.

Гришка передавал все новости. Установили льнотрепалку. Ничего, идет. Онисимова сноха Ирина и Мурышиха на ней по два трудодня зарабатывают. Гризодубову, Осипенко и Раскову нашли на болоте.

— Это хорошо,— говорит Онисим.— На болоте в этом году сухо.

— Да,— отвечает Гришка и снова вспоминал, как он вместе со Шмотяковым чуть было не наделал на болоте беды.

О Шмотякове Гришка никогда не спрашивал, и если попадал ему навстречу, сворачивал с дороги.

В лес приходил Макар Иванович. Он передает Шмотякову записку от Маноса. Записка полна горьких слов о том, что «сезон проходит и он, как получивший образование, привязан к машинам». Внизу Манос делает приписку: «Сам приду завтра со школьниками».

Шмотякова нет, он в лесу. Не приходит он и вечером. Поужинав, Онисим и Макар Иванович заливают костер. Становится так темно, что пар, оседающий на лицах, представляется черным.

— Теперь пойдут дожди,— говорит Макар Иванович, ощупью пробираясь к двери.

— Пойдут.

Макар Иванович укладывается на полу, подложив под голову сумку. Онисим лежит на нарах. Тепло. С улицы слышен запах гари.

— Не знаешь ли ты, где тут у нас есть белая глина? — спрашивает Онисим.

— Поблизости нет. Только в Нименьге, у завода.

Лежат в тишине. Вдруг за порогом начинает урчать собака.

— Идет...— тихо произносит Онисим.

Оба выглядывают в дверь. Шмотякова не видно. Слышится его торопливое дыхание. Узкая полоса света ложится около шалаша и двигается по земле, по кустам. Фонарь тухнет. Снова все погружается во мрак.

— Что он делает по лесу в такой темноте? — удивленно шепчет Макар Иванович.

— Важные люди,— отвечает Онисим,— мало ли у них дел...

Под вечер Макар Иванович и Онисим встретились на лесной тропе. Макар Иванович был встревожен.

— Знаешь что, дед,— сказал он тихо,— на Нименьгском заводе был пожар... Сторожа убили. Сейчас пришли бабы за ягодами, сказывают.

На болоте слышались голоса женщин.

— Кто-то поджег,— продолжал Макар Иванович.— Рабочие все на болоте, а в заводе в это время пожар. Удалось-таки затушить.

Онисим молчал.

— Вот еще вологодскому от Прони записку принесли,— вспомнил Макар Иванович.

Онисим торопливо взял записку.

«Задержусь еще на сутки,— писал Манос.— Сообщаю новость. Игнашонок оказался вражком, сегодня утром забрали».

— Меня зачем-то срочно требуют в деревню,— сказал Макар Иванович.— Чего-то знает Гришка. Говорит, скажу только председателю. Вот какие дела. А в Азленском сельсовете женщину схватили, так та леса поджигала...

Макар Иванович спешил. Он повернулся, чтобы идти, и, не глядя на старика, сказал:

— Бросили бы вы, дед, с Лавером это дело. И нам нехорошо. Не такое время...

Онисим ничего не ответил.

Макар Иванович безнадежно махнул рукой и ушел.

Онисим подождал, пока на тропе затихли его шаги, и пошел к избушке.

Шмотяков сидел перед костром с книгой, но не читал Папироска дымилась в его руке. Он поднял голову и стал прислушиваться.

«Слух у него, как у хорошей собаки»,— подумал Онисим и выглянул из кустов.

— Беда, Андрей Петрович, сгорел Нименьгский завод. Весь, дотла!

Шмотяков быстро повернулся к старику.

— Сгорел? Во-о-от что...

Онисим кликнул собаку, вертевшуюся у шалаша, и отошел со вздохом. Он, не торопясь, поставил в углу избушки ружье, сбросил из-под кушака белок, хлопнул дверью и снова тихонько пробрался в кусты около шалаша. Найда опять была здесь. Шмотяков играл с ней. Он держал что-то в руке и дразнил собаку. Найда прыгала, стараясь поймать его за руку. Они вертелись. Шмотяков беззвучно смеялся. Потом, видимо, утомившись, он оттолкнул собаку. Найда снова подошла к нему. Шмотяков посмотрел на нее брезгливо, поморщился и отряхнул руки. Потом он снял с таганка кипящий чайник и плеснул из него собаке на морду.

Найда завизжала пронзительно, жалобно и клубком откатилась от шалаша.

Шмотяков выглянул из кустов, увидал, что у избушки никого нет, и снова скрылся. Онисим подошел к двери и кашлянул. Тогда Шмотяков снова выглянул.

— Вот история,— сказал он.— Вертелась у меня под ногами твоя собака, запнулся и немного плеснул на нее из стакана.

— Так ей и надо,— ровно сказал Онисим.— Не суйся под ноги.

Было еще совсем рано. Онисим, прихватив ружье и топор, направился в верховья Шивды, к старой вырубке. У перехода через реку он остановился и долго слушал. Собака Лавера лаяла в рябинниках. Он еще не прошел на ночлег.

Колышек стоял, приставленный к перилам. Он густо зарос травой. Вокруг него, до самого верха, обвился дикий хмель и теперь на корню спутался и побурел.

Онисим долго стоял над ним. Начинало пахнуть сыростью. Шивда шумела мягче. Сейчас на тропе должен показаться Лавер.

Онисим протянул руку, схватил колышек и резко рванул его вместе с травой. Теперь все, кто ни прошел бы здесь, могли видеть этот колышек и черную вывороченную землю. Онисим рассматривал и колышек, и перила, и старую вырубку с широкими осинами, и ему казалось, что ничего не было: ни вражды, ни одиночества, ни обид. Не было и собаки Лыска: он приснился в удивительном сне...

Вернувшись от перехода, Онисим тихонько подобрался к шалашу. Шмотяков торопливо укладывал вещи.

— Домой, Андрей Петрович?

Шмотяков вздрогнул.

— Да, работа вся закончена.

— Не сейчас ли хотите?

— Да, сегодня доберусь до вашей деревни.

Онисим укоризненно покачал головой.

— Не советую вам ходить. Утречком свежо, быстро добежите. А сегодня мы с вами на прощание последний вечер посидим. Я вам еще многого не рассказал. Как же столько времени жили вместе и не посидеть последний вечер!

Шмотяков улыбнулся.

— Ну, хорошо. Я останусь.

— Вот-вот...

Ночи стали длиннее. Дров требовалось больше и больше. Они вместе срубили на берегу озера сухую елку, очистили ее от сучья и принялись разрубать в два топора. Потом Онисим сказал, что надо бы сходить унести клубок березовых лык.

— Утром надрал, оставил по край дороги. Вот сейчас надо лапти плести, а лык нету.

— Иди,— сказал Шмотяков,— я порублю один.

Онисим направился по Сосновской дороге. Отойдя немного, он свернул в лес и пробрался к реке. Он пошел берегом Шивды, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Шмотяков долбил, как дятел. Онисим улыбался и шагал дальше. Когда он подходил к старой вырубке, уже смеркалось. Лавинки перехода над рекой казались черными линиями. Онисим подошел к перилам. Колышек стоял приставленный на своем обычном месте.

Взволнованный, Онисим несколько минут сидел на берегу Шивды. Потом поднялся, прислушался к гудению дерева под топором Шмотякова и пошел обратно.

Ночью Шмотяков сидел у Онисима в избушке. Шмотяков светил лучину, а Онисим плел лапти и рассказывал ему всякие истории из своей охотничьей жизни. Рассказывал и пытливо смотрел на Шмотякова.

— Давно мне хочется рассказать вам, Андрей Петрович, одну историю. Было это прошлый год, во второй половине сентября. Один колхозник пришел ко мне и говорит: «Иди, убей зайца в Малом поле. Я тебе покажу». Я бросил работу, схватил ружье, и пошли. Дело было к вечеру. Дошли до гумен, колхозник мне указывает, где он видел зайца. Увидел и я его в борозде. Стал держать направление мимо. (Прямо на зайца у нас не ходят. Далеко не допустит, убежит...) Подошел я на убойный выстрел, поднял ружье, спустил. Заяц перевернулся и забил задними ногами. Оказался большой русак, самка. По брюху от самой шеи до задних ног было вымя. «Эх, думаю, зря убил. Подсосная с зайчатами...» А вышло еще хуже. Когда ошкурил, распорол брюхо, чтобы выбросить внутренности — в ней четыре зайчика,— в шерсти! Мне стало жаль, что загубил без пользы четырех зайцев. Выросли, были бы мои! За сорок лет охоты ни разу не встречал я в такое позднее время не ощенившейся зайчихи. Чем объяснить такой поздний помет? По-моему, благоприятным летом?

Сощурившись, Онисим наблюдал за слушателем.

— Да, я тоже склонен так думать,— кивнул Шмотяков.

— А вот Макар Иванович с этим не согласен,— постукивая крышкой табакерки, сказал Онисим.

— Не согласен? Это почему же?

Старик усмехнулся.

— Он не прав! Ему верить не надо...

Онисим приготовился рассказывать всю ночь, однако Шмотяков стал чихать и кашлять от дыма лучины и сказал, что хочет спать.

— Иди отдохни,— сказал Онисим и потрогал в кармане записку Маноса.

Шмотяков ушел в шалаш.

Онисим погасил лучину, лег на нары, но не спал до утра, чутко прислушиваясь и всматриваясь в темноту ночи.

За ночь Шмотяков сжег у себя на костре все дрова. Он стал снова рубить их, чтобы приготовить себе завтрак, а Онисим пошел бродить по краю болота: «Не найду ли рыжиков».

Он пришел к старой вырубке и стал ждать. Светало. День вставал ясный и гулкий. В стороне, по ту сторону озера, курлыкали запоздалые журавли. Ночью прошел дождь. На деревьях и сейчас еще висели крупные капли. Воздух был неподвижен.

Лавер показался вдали на тропе, как всегда обвешанный сумками. Увидев Онисима, остановился, посмотрел на него исподлобья.

— Ты следил за ним? — с трудом выговорил Онисим.

— Видел. Через мои пути шлялся.

— Ну?

Ничего не ответив, Лавер направился к Онисиму, и оба зашагали по тропе. Они шли так, как проходили до этого тысячу раз. Тропа была глубоко выбита, лежала корытом. Сухие головки багульника склонялись над ней и царапали ноги. Они шли и видели все эти милые, родные места, где прошла их юность, где были оставлены молодость, надежды, печали и радости, где, будучи зрелыми людьми, говорили они о своих удачах, заботах и нуждах. С тех пор как они не были на тропе вместе, здесь как бы родилось что-то вновь. Онисим смотрел на знакомые стволы елей, на вершины и старался понять, что же тут произошло? Тот же разноцветный лист на земле, те же увядающие желтые травы, те же затески на деревьях и небо все то же, но что-то было во всем этом такое, чего Онисим никак не мог понять.

Тогда он решил, что изменилось что-то в нем самом. А тропа, лес, небо остались такими же, как и прошлый год, как и сорок лет назад. Он вспомнил о своем смятении в первую ночь пожара на болоте, и ему показалось, что вот то, что он искал и никак не находил тогда, теперь найдено, оно сидит в нем самом...

Старики шли по тропе и прислушивались к гудению дерева под топором.

— Стучит? — произнес Лавер.

— Стучи-и-ит...

Оба про себя усмехнулись.

Они подходят к шалашу. Шмотяков смотрит на них удивленно.

— О! Вы вместе?! Как же так?

— Мы помирились,— твердо произносит Онисим.— Раз надо, мало ли что сделаешь ради этого.

— Да, да,— бормочет Шмотяков и смотрит на боковую стену, где у него стояла двустволка. Ее там нет. Она почему-то в руках Лавера.

Шмотяков делает недовольное лицо, сразу овладевает собой и улыбается.

— Хорошее ружье,— говорит Лавер. Сламывает двустволку и смотрит заряд: в оба ствола вставлены патроны с пулями.

Замечает это и Онисим.

— Нет,— говорит он,— не на медведя. Он больше на козлов. Это по его части.

— Козлы, говорят, тоже ценятся?

— А как же!

Они ждут, пока Шмотяков наденет сапоги.

Онисим достает табакерку, открывает ее. Табакерка полна. Все вокруг наполняется запахом мятных капель. Онисим протягивает табакерку, и Лавер, изготовив пальцы, тянется к ней.

— Что тебя эти дни не слыхать? — спрашивает Онисим, все еще не глядя на соседа.

— Ружье фальшивило. Сверлил.

— Так ведь надо медведя-то убить?

— На воле не оставим...

Шмотяков, совсем одетый, стоит у шалаша.

— Ну, вот и я готов. Пора отправляться.

— А ты погости,— советует Онисим.— Сегодня придет Проня. Обратно вместе уберетесь.

— Нет, мне некогда.

Шмотяков направляется к Лаверу и хочет взять ружье.

— Не тронь,— четко произносит Лавер.

Шмотяков, открыв рот, застывает на месте.

Лавер стоит перед ним большой, лохматый и страшный. Таким бывает он во время схватки с медведем.

— Руки из карманов вынь! — кричит он.

Шмотяков вынимает из карманов руки и с ненавистью смотрит на стариков.

— Что вы делаете?

— Иди, иди к огню!

Шмотяков идет к костру.

— Садись... охотник...

Шмотяков наклоняется и быстро сует в карман руку

Лавер щелкает курком двустволки.

— Не балуй!

Все трое садятся у костра. Шмотяков по одну сторону, старики по другую.

Проходит час. Солнце поднимается над лесом. Снова слышатся крики журавлей. Тихо.

— Мне сказали, что ты злишься на меня из-за собаки,— строгим голосом начинает Лавер.— Как ты мог подумать?

— Что же поделаешь,— виновато отвечает Онисим.— Стало быть, всему причиной годы...

— Вот, должно быть, это.

В глазах Лавера радость. Онисим смотрит на соседа. Он подозревал в Лавере маленькое подлое чувство и только теперь понял, что это чувство было в нем самом, он сам его выдумал и раскрасил и что только теперь через ненависть к настоящему врагу он подошел к жестокой истине и увидел себя, Лавера, все, что окружало их — по-другому. Он подумал и о том, что у людей, которые придут после них с Лавером, не может разбудиться это чувство. Не может, потому что эти люди будут совсем иными и вот об этом случае вражды станут вспоминать, станут рассказывать друг другу и ничего не поймут, потому, что в них самих не будет того, что есть еще в Онисиме. Проходили сотни лет. Поколения росли и исчезали, и человек оставался таким, каким был очень давно. Прадед Онисима, его дед, его отец — все они мало отличались друг от друга. И вот, наконец, сам он, похожий на них во всем, унаследовавший все их привычки и взгляды. И вдруг ничего этого не будет! Появится другой человек. .

Шмотяков настороженно посматривал на старых охотников.

— Зачем вы это делаете? — пробуя улыбнуться, говорит он.— В сельсовете вас за это не похвалят. Не понимаю, что вам от меня надо!

Старики делают вид, что не слышат. Лавер поправляет на коленях двустволку.

Вдали слышится голос Маноса. Все вытягиваются. Лавер крепче сжимает ружье.

— Прокопий Сергеевич идет,— говорит Шмотяков.— Он меня поймет лучше вашего.

Старики не отвечают.

— А я чем виноват! — слышится голос Маноса.— Я прикован к машинам.

Он появляется на тропе рядом с Гришкой. Завидев сидящих у костра стариков и Шмотякова, на секунду останавливается. Потом глубоко вздыхает и вполголоса произносит:

— Надо всегда себя сокращать...

Гришка молчит, смотря себе под ноги.

Манос поправляет на голове фуражку, выпячивает грудь колесом и идет к костру, размахивая, как в строю, руками. Он горд, непоколебим, и только по его лицу, вытянутому и бледному, можно догадаться, что человек страдает.

— Вот старики,— горько говорит он.— Я не усмотрел, не помогло и образование. Гришка, встань так, чтобы я не видел этого изверга, а то я не могу говорить — талант теряю!..

1939



Охотник Аверьян

Часть первая

Глава первая

Настасью звали заозеркой, потому что родилась и выросла она за озером Воже в маленькой лесной деревушке Белые ключи.

Вавила привел ее позапрошлый год тихо, как бы украдкой, в светлую июньскую ночь. Держалась Настасья ото всех в стороне, была молчалива и неприметна.

Весной ее выделили варить для пахарей обед, и тут заозерка всех удивила. Оказалось, что она расторопна и грамотна, что с ней просто хорошо побеседовать.

Как-то в столовую зашел счетовод Аверьян. Настасья стояла среди избы и сучила нитки. В корзине у ее ног прыгал большой золотистый клубок пряжи. Хозяйка избы, вдова Устинья, сидела в полумраке за шкафом, шила и, немного гнусавя, что-то рассказывала. Время от времени обе смеялись.

Аверьян заметил, что Настасья одета в чистенькое ситцевое платье, аккуратно подтянута ремешком. Руки у нее чистые и белые.

— У вас весело,— сказал он.

Устинья кивнула на повариху.

— Форсит без мужа-то. Сидит себе Вавила в Архангельске, а тут живи одна, страдай баба. Ведомости не пришлет, не напишет: как — ты, как — сыночек, как — родные? Ну и ей не монашкой жить. Тоже путеводитель нужен...

Настасья подняла смеющееся лицо.

— Ищи их, путеводителей-то.

— Ну, матушка, это дело не хитрое. Говорят, в чужую жену черт ложку меду кладет.

Все трое засмеялись.

Потом Настасья притихла, положила нитки и стала собирать на стол. Видно было, что этот разговор ей неприятен.

Вавила вот уже полгода работал на лесоэкспорте. По вечерам где-то учился. Писал редко.

Аверьян присел на лавку и стал исподтишка наблюдать за работой поварихи.

Делала Настасья все легко, проворно и с удовольствием. Посуда, ложки, хлеб — все, к чему она прикасалась, выглядело хорошо, опрятно. И в избе Устиньи, старой и прокопченной, все казалось по-новому ладно и даже как бы светлее, а между тем Настасья только чаще мыла пол, лавки да на стены повесила несколько маленьких картинок.

«Она совсем молодец»,— подумал Аверьян, уходя.

Они живут в одном конце деревни. Вечером, возвращаясь с работы, Аверьян встречает ее на тропе в поле.

— О! Будто сговорились.

— А разве нет? — шутит Настасья.

После жаркой избы запахи поля пьянят. Хочется сесть на пригорок и помечтать, как, бывало, в детстве, о тысяче милых, наивных вещей.

Тепло. Тихо. Над деревней летят журавли.

Настасья осматривается кругом.

— Как землей-то пахнет. У нас, бывало, глянешь в сторону — вода, в другую — вода. И запах совсем не такой. Я и здесь все еще выйду и слушаю — не шумит ли, не плещется? Нет, все земля и земля.

Стоят у Аверьянова огорода. Здесь начинаются длинные одворные полосы. Земля лежит вокруг лиловыми озерами, рыхлая, рассыпчатая, полная великой силы.

— Ну, надо идти,— говорит Настасья.

И не уходит.

Прислушиваются к курлыканью журавлей.

— Ты что же, Аверьян, утром в Вожгу?

— Да, надо Аленку отправить.

Аленка учится в семилетке, раз в неделю она приходит домой.

— По дороге-то сухо, взял бы меня.

— Давай.

Она идет. Снова останавливается и поясняет:

— А у меня неотложно. Надо кое-что купить.

Маленькая краснощекая Аленка начинает собираться. У нее светло-русая коса с голубой лентой, как у взрослой девушки. Она вообще старается казаться старше своих лет, но голубые глаза ее всегда веселы, она вечно двигается, поет, что-нибудь рассказывает, смеется.

Мать выносит Аленкины книги, корзину с хлебом. Отец заботливо укладывает все это в телегу. Там, где должна сидеть Аленка, сено взбивает горой. Потом стоит у лошади, ждет и смотрит в поле.

Дальние склоны еще охвачены широкими, мягкими тенями. В пятнах солнечного света появляются два трактора и снова прячутся в тени. Всюду лежит черная, оплодотворенная земля, и в бороздах, мирно поблескивая перьями, бродят грачи.

— Ну, ну, Аленушка, торопись. Вот пабережские поехали.

Мать стоит у палисада и машет Аленке рукой.

— Не опоздать бы, дочка, проспали...

— Ничего,— успокаивает Аверьян.— Вéрхом поедем, там сухо, можно и подстегнуть.

Аленка рассказывает о школьных делах. Отец поддакивает ей. Так они проезжают деревню. Тут Аверьян вспоминает о Настасье: раздумала. Да и зачем ей в такую рань?

Однако смотрит на маленькую Настасьину избу с тремя белыми окнами, на желтые балясины крыльца. Топится печка.

— Вот как,— говорит он Аленке,— значит, эти трое с Бора так весь день на реке и валандались?

— Да. Все уроки пропустили.

— Чудаки...

«Удивительное дело эти бабы,— снова думает Аверьян.— Любят они болтать. Хорошо, что не стал дожидаться...»

Въезжают в лес. Под елками нерастаявшая прохлада ночи. Пахнет мхами, поднимающимися лесными травами и валежником.

Черт возьми, как быстро летит время! Зима! Несчитанные часы над бумагами, споры на собраниях, а утром, по-

рошей — на зайца. Ему вспоминается темная спящая изба. Осторожно ступая босыми ногами, он двигается к передней стене и чиркает спичку. Мечутся тени. Зеленый павлин смотрит с доски ходиков большим глупым глазом. Пять! Рано. Но все равно не заснуть. Он зажигает лампу, надевает валенки и достает из сундучка книгу. Проходит полчаса. Час. За окном начинает постукивать голыми сучьями береза. Он тихонько одевается, берет в темных сенях лыжи, ружье, лопатку, капканы и выходит в синеющее поле.

Вечером он бережно раскрывает на столе тетрадь с пометкой на обложке: «Волгородское общество краеведения», не торопясь, ставит число и записывает:

«Сегодня впервые заметил: начала сыпаться хвоя».

«Наблюдал перекочевку большой стаи клестов. Остановились в густом еловом лесу близ урочища «Высокая грива».

За окном поскрипывает белая дорога. У часовни, собравшись в кружок, лают на луну собаки.

И вот уже ничего этого нет. Снова земля полна материнской силы, тончайших запахов, звуков и красок. Мир расширяется до беспредельности, и он, маленький человек, снова не может спать по ночам, весь охваченный желанием бежать и слушать весенние голоса, шорохи, ощущать теплое дыхание земли...

На третьем километре они видят впереди женщину в синем платке, в серой юбке с тремя оборками, в одной руке она несет сапоги: Настасья.

Юбка ее высоко подоткнута, босые ноги в грязи. От ходьбы порозовела, глаза блестят.

Она бросает сапоги в телегу и попутно треплет Аленку по щеке.

— Эх ты, солнышко.

Рука у нее теплая и быстрая. Аленка улыбается.

Улыбается и отец. Он слезает с телеги и идет рядом с Настасьей краем проселка. Тут сухо, хрустит под ногой песок.

Аленка сидит впереди и что-то напевает.

— Люблю босиком ходить,— говорит Настасья.— Мы, бывало, с подружкой и в праздники захватимся за руки — и пошли босиком по деревне. Песни поем...

— Как же ты сюда-то попала?

— Захотелось на сухой берег, вот и попала.

— Стало быть, суженый тут...— улыбается Аверьян.

— Да, видно, так. Парня совсем не знала и пошла.

— Другой-то был?

— Был... Да еще какой...

— Ну и что же?

— Был да весь вышел...

Они болтают всю дорогу. Десять километров проходят незаметно.

— Так, дочка. Значит, жду через недельку.

— А если не приду? — лукаво смотря на отца, говорит Аленка.

— Что ж, надо сказать прямо — тужить заставишь.

Аверьян трогает Аленку за плечо, сует ей в руку рублевку и идет в МТС.

Он задерживается в МТС, потом — в кооператив. Когда все дела закончены, бежит к лошади и видит у телеги фигуру Настасьи.

— Ну, вот и хорошо,— с улыбкой говорит он.— А где твои покупки?

Настасья машет рукой и что-то бормочет.

Он начинает подбирать у лошади из-под ног сено, поправляет упряжь.

Потом берет Настасью под мышки и хочет посадить на телегу.

— Какая тяжелая.

— А ты уйди. Я сама.

И Настасья ловко прыгает в сено.

От школы к лесу крутой спуск. Застоявшийся мерин рьяно берет с места. Аверьян дает ему волю. Телегу подкидывает, бросает из стороны в сторону. Настасья вскрикивает, хватает кучера за плечи, и оба весело смеются. Навстречу лес. Сосны в золоте и фиолетовых пятнах. Густо пахнет смолой и откуда-то издалека — влажными прошлогодними листьями.

— Шальной, не довезешь живую!

— Засиделась. Надо поразмять...

Они весело разговаривают всю дорогу, и когда Настасья слезает, на мгновенье он ощущает печальную пустоту и думает:

«Все-таки зачем же она ездила?»

Глава вторая

Он стал присматриваться к Настасье и каждый раз открывал в ней что-нибудь новое.

Он заметил, что трактористы и плугари, попадая в столовую, стихали, смирнели. Пожилой, степенный Иван Корытов даже ходить старался тише и все с улыбкой посматривал на повариху:

— Рыбки бы, Григорьевна.

— Рыбка в озере. Много.

— А ты ловила?

— Ну как же. И в озере и в реках. На Укме, на Кере, на Малой Кирице. В Свиди ловила.

Веселая и стремительная, она сновала от стола к печи и все рассказывала об озере, о рыбе, о том, как однажды они с братом Михайлой попали в шторм.

«Она хорошо умеет рассказывать»,— подумал Аверьян.

Он стал чаще заглядывать в столовую.

Настасья была неизменно приветлива, все у нее горело в руках.

Иногда она спрашивала:

— Сегодня какой дорогой пойдешь?

— Полем.

Вечером он шел домой, и Настасья догоняла его за банями.

Однажды Аверьян пришел в столовую и застал там одну Устинью. В светлой тишине избы уютно тикали ходики, пахло горячим хлебом. Вымытая посуда была аккуратно расставлена по полочкам. На столе сияла чистая скатерть. Все было в порядке. О делах можно было переговорить с помощницей Настасьи и, не задерживаясь, уйти. Аверьян сделал это неохотно, пошел в поле и старался отыскать причины, по которым выходило бы, что видеть Настасью надо обязательно, но не нашел их.

Это озадачило и испугало его. Он пробовал думать о другом, с беззаботным видом смотрел на стаю уток, поднявшихся с реки, следил за голубым дымком выстрела под кустами и все думал, куда ушла Настасья?

Так он прошел все поле: разговаривал с бороновальщиками, помог Тимохе Валову направить плуги, курил с председателем Макаром Ивановичем.

Макар Иванович говорил о хорошей погоде, о том, что завтра «соху в тын». Отпахались дружно. Качество хоро-

шее. Аверьян слушал его, поддакивал и думал: сейчас она вернулась.

И не удержался, пошел в деревню.

Настасья мыла на крыльце посуду.

— Тебя-то мне и надо! — крикнула она.— Ведь сегодня последний день. Я должна отчитаться.

И пошла впереди него в избу.

Аверьян шагнул через порог, сразу почувствовал, что Устиньи нет, и ослеп, от полумрака, тишины и волнения.

— Напекло? — шепнула Настасья, видя, как он щурится и шарит по стене рукой.

Ушла за переборку, шелестела там бумагами.

— Аверьян?

— Что?

Она помолчала.

— Так. Погода хорошая...

Настасья вышла к нему и положила на стол ворох записочек, синюю тетрадку.

— Сейчас я тебе покажу.

Не глядя на нее, Аверьян сел за стол, сделал серьезное лицо, но чувствовал, что она видит его волнение и что в глазах ее смех.

Он обрадовался, когда пришла Устинья.

Весь остаток дня его не покидало ощущение огромной утраты. Он шатался по деревне, заходил в контору, но делать ничего не мог. Снова шел в поле, и всюду, где бы он ни был, это ощущение было с ним.

Так было и на второй день. И на третий.

Сам того не замечая, Аверьян следил за каждым ее шагом.

Вот она идет в поле. Походка ее легка и упруга. Он долго смотрит на ее синий платок. Теперь она одевается во все лучшее, и от ее рук часто пахнет дорогим мылом.

Устинья говорит ей:

— Разоделась. Ты, матушка, и так хороша. У тебя красота родовая.

И любуется своей молодой подругой.

Веселая, внимательная и ласковая, она со всяким поговорит, у всякого умеет вызвать улыбку.

Вот они с Устиньей отправляются на реку с бельем. Проходя мимо конторы, Настасья подтягивается на носках и заглядывает в окно.

— Все сидит и сидит...

На стол к нему падает стебель крапивы. Слышится смех.

Вечером Устинья, встретив его, шепчет:

— Лесом идешь, а дров не видишь...

И быстро уходит.

Он ловит обрывки разговоров о Настасье.

Все, что касается ее, приобретает особую прелесть и значение. Ее дом, ее крыльцо с чистыми ступеньками, даже темный, наподобие домика, патрубок на крыше. Все — платье, развешанное под окнами, поленница березовых дров, щепки на завалинке, козлы, на которых пилят дрова,— все не такое, как у других. Весь быт этой избы с белыми окнами, еще мало известный ему, волнует.

Кажется, там, около нее, происходит что-то очень большое, значительное.

Собаку Грома, лохматое, добродушное существо, он видит теперь с радостью, потому что Грома касались ее руки.

Проходя мимо ее свекрови, он волнуется: старуха два года живет с ней под одной крышей.

Он с завистью смотрит на всякого, кто, не стесняясь, может заходить в эту избу.

Утрами, до солнца, он стоит у себя в огороде и мучительно ждет, когда над крышей ее избы появится дым. Этот дым тоже особенный, с привкусом горелой бересты. Тогда он говорит себе: «Она живет, с ней ничего не случилось». За белыми окнами совершается то большое таинственное, во что не дано ему проникнуть, но даже и так благословенна жизнь, потому что там, у себя, она думает о нем.

Потом ему становится страшно.

Когда еще было с ним такое?

Он вспомнил стишок, присланный им Марине из Красной Армии:

Когда я с вами расставался,
Заплакал горькою слезой...—

и десятки писем, сплошь усеянных восклицаниями и уверениями, от которых до сих пор стыдно.

«Письма я буду писать до тех пор, пока ты не скажешь, что довольно, я буду любить тебя, пока я жив...»

Куда бы ни шел в то время, что бы ни делал, Марина всегда стояла перед глазами. И засыпая, он видел ее, неизъяснимо волнующую и милую во всем, даже в своих ма-

леньких недостатках. (Марина была немного ряба, криклива.)

И это продолжалось год.

Да, тогда было так же. Потом как-то само собой вышло — он стал реже писать, не видел ее во сне. А вернувшись в деревню, в первую же встречу с ней не знал, о чем говорить.

— Ну, как живешь?

— Да ничего...

Марина смотрит на него, удивленная и испуганная.

Потом они, обнявшись, стоят в темных сенях, и снова Аверьян мучительно подыскивает слова.

Марина шепчет:

— За меня Тихон Федоров сватался.

— А! Ну и что ты?

Марина, обиженная, молчит.

— От ворот поворот Тихону,— пытается он сгладить неловкость.— Правильно...— И думает: «Что же мне с ней делать?»

Отстраняет от себя жаркое тело Марины и озабоченно говорит:

— Надо, знаешь ты, обязательно к сестре сходить. Потом опять увидимся.

Марина всюду встречается ему. Дома она плачет украдкой от матери. Подруги сообщают ей, где он бывает, с кем сидит.

На зимнего Николу Аверьян немного навеселе шел в избу Устиньи, где всегда собиралась молодежь. На крыльце дорогу ему загородила Марина.

— Чего долго не приходил?

В знакомом синем сарафане, в розовом платке с голубыми лапами,— совсем такая, какой встречал ее Аверьян раньше. Он молча распахнул полы полушубка. Марина крепко прижалась к нему и покорно пошла с ним в сарай, на сено.

На второй день он вспомнил это со стыдом и раскаянием, решил больше не встречаться с Мариной, но она сама всюду останавливала его, и из жалости к ней Аверьян стоял, говорил, обнимал ее в темных сенях.

Весной мать узнала, что Марина беременна. Она вышла в огород, где Марина белила холсты, и в движениях дочери заметила то, что может заметить только женщина. Не рассуждая, она бросилась к Марине и принялась ее бить. Сбежался народ...

Так пошел грех в семье Марины.

Из жалости и ради того, чтобы прикрыть этот грех, Аверьян женился на ней. Вскоре родилась Аленка. Общего между супругами ничего не было. В свободные часы Аверьян читал газету, книги, ходил на охоту — жил своей собственной жизнью, совсем забывая о жене. Правда, несколько зим подряд он пытался заставить Марину посещать ликпункт, но ничего не добился. Марина не хотела учиться.

Она целыми днями могла болтать ни о чем. В это время круглое, неподвижное лицо ее оживало, глаза блестели. Она все забывала: заботы, семейные ссоры, усталость. Однажды, подметив в ней это, Аверьян весь день ходил злой. А после делал вид, что не замечает ее в кругу баб.

Так создалась привычка жить, привычка друг к другу, к дому, в котором накопились сотни родных мест, уголков, вещей.

Родился сын Костя. Потом Гришка. Иногда, запоздав в лесу, Аверьян издали разыскивал огонек своей избы, и все в нем трепетало. Бесчисленные заботы и радости! Аленку приняли в пионеры. Средний уже читает по складам...

Но что же будет теперь?

Он прячется от людей, от солнца. В конторе завешивает газетой окно. Ему часто нездоровится. Он уносит работу на дом. Никто не знает, что с ним.

Дома тишина. В окна рвется молодая зелень березы. Он щелкает на счетах. Вдруг слышит в огороде голос Настасьи. Да, это она. Пришла к Марине за рассадой. Обе стоят у рассадника и беседуют.

Марина совсем еще молодая, но любит показать себя старше, опытнее, потому она во время разговора даже щеку подпирает совсем так, как это делают пожилые бабы, понимающе кивает головой и причмокивает.

— Вот какое дело-то, матушка. А ты бы сама поехала, разузнала.

— Ну его. Я на него сердита.

Марина чмокает. В такие минуты она кажется Аверьяну смешной и глупой.

— Спасибо,— говорит Настасья и наклоняется к корзине с рассадой.

Аверьян встает. Быстро и бесшумно выходит на улицу и начинает перебирать приставленные к стене двора жерди. Увидев его, Настасья кивает Марине:

— Твой-то обедать пришел. Корми! — и не спеша идет мимо двора.

— Здравствуй!

— Здравствуй!

Они смотрят друг на друга. Настасья улыбается одними глазами.

— Слышно, чего-то валяешься. Собачья старость... Кряхтея. Хриплея...

Она тихонько смеется.

— У меня свекровушка заговоры знает. Хочешь пришлю? Поможет...

— Как бы совсем не залечила,— невесело отшучивается Аверьян.

— Ну, как знаешь...

Она идет к дороге, четко выбивая шаг и слегка раскачиваясь на ходу.

Глава третья

После работы Марина часами сидит у окна. Иногда босиком, в одной рубашке выходит в сени.

Ночи нет. Вечерняя заря смыкается с утренней. В тишине все полно сияния. В дальних озимях виден большой белый камень. Можно сосчитать каждую бороздку. Вправо, за оврагом — костры ночного, ребятишки около них, поодаль в логу — кони.

Раньше в ночное приходили взрослые ребята и девушки. Плясали у костров под гармонику, расходились парами по полю. Приходили и Марина с Аверьяном. Сидели на меже... Как давно это было! Теперь он почему-то мало бывает дома. Неужели столько дел? Нет, тут что-то другое. Все молчит. Худеет. Глаза у него ввалились. Иногда он просто страшен.

Марина с тревогой посматривает на деревню. В конторе открыто окно,— сидит...

Вот, наконец, он показывается на крыльце. Марина приставляет к воротам кол, спешит в избу и вскоре выходит на стук.

Оба двигаются по избе, как тени, стараясь не разбудить ребятишек. Отец наклоняется и прикрывает младшего, Гришку, от мух.

— Принести молока?

— Все равно.

Он ест медленно, вяло, смотрит перед собой немигающими глазами.

Марина стоит у стола, поджав на груди руки.

До чего она безобразна в таком виде! У него пропадает аппетит.

— Ты бы села. И так выросла.

— Ничего. Я вот уберу посуду.

И снова стоит.

— Какой-то служащий был. Тебя спрашивал. Высокий, не сказать плотный, звать Николай, по батюшке забыла как. В контору не пошел. Едет к озеру.

— Это агент Охотсоюза. Все равно у меня в этом году ничего нет. Служба связала.

— Заработался ты совсем. С лица спал. Обрезался, обвострился...

Аверьян молчит.

Она убирает со стола, ложится и вскоре засыпает.

Аверьян лежит на спине, положив руки под голову. Должно быть, около часу ночи. В окно видно слабое мерцание звезд. Слышится мягкое постукивание водяной мельницы.

В такие ночи хорошо идти по тихой лесной тропе к озеру. Мирно бежит впереди собака. За плечами поскрипывает берестяной пестерь с хлебом, с картошкой, со старым огрызком-ножиком и рыболовными крючками. Вот светлый бор. Верхушки сосен обиты глухарями. Вот Согра. Кривая, кремнистая ель, серая березка. На кочках темные пятна прошлогодней клюквы. Вот и старая охотничья изба без окон, с черным блестящим дымолоком. Трава вокруг еще никем не примята. Роса. На потолке избы пучок лучины, припрятанный с осени.

Хорошо сидеть у пылающего очага, плести сосновые корзины, прислушиваться к крикам гагар и кукушки. А днем, когда котелок полон упругими черными окунями, лежать в темноте избы на нарах и дремать под гуденье слепней.

...И вдруг все это меркнет. Все, к чему прикасался с благоговейной дрожью, что при одной мысли вызывало восторг, кажется навсегда утраченным, и ты со страхом проходишь мимо. И хотя по-прежнему в дому: теплый свет, уютное шипение самовара, домовитость лавок, привычные голоса и та же береза стоит под окном и по-прежнему, выходя на крыльцо, ты видишь пашни и луга с темными пятнами те-

ней и впадин, и людей, с которыми давно сроднился на общем деле,— то сердце твое не испытывает трепета.

Все это кажется виденным очень давно, может быть, в младенчестве, когда впервые пробудилось сознание.

Всюду, всегда и во всем — одно. Вещи, солнце, воздух, деревья, травы — все напоминает только о ней, за всем стоит только одна она...

Аверьян открывает глаза. В упор на него смотрит с полатей Аленка.

Он вздрагивает от неожиданности.

— Ты почему не спишь?

— А сам!

— У меня забот много.

— Каких?

— Ну, каких, о колхозе, о вас. Мало ли еще что? Вырастешь большая, все будешь знать.

Лежат молча. Марина ворочается спросонок и стонет. (Последнее время ей снятся какие-то нелепые страшные сны.)

Он будит ее.

— Спать не даешь. Повернись на бок.

Лицо у Марины испуганное и глупое. Она начинает почесываться, что-то бормочет, снова засыпает и опять стонет.

Несколько минут он сидит на краю постели.

— Так, так, Аленушка, скоро экзамен?

— Да.

— Не страшно?

— Нет.

Он ложится, прикрывается наглухо одеялом и попрежнему чувствует, что Аленка смотрит на него.

Утром он пробует поболтать с Аленкой.

— Как эти трое, с Бора, слушаются Константина Петровича?

— Теперь слушаются.

Сидят за чаем. Самовар на столе — пылающим костром. Все от него щурятся.

— Жаркое будет лето,— говорит Марина.— Сказывают, к сенокосу-то экспортники вернуться сулятся. Гришка Конопатчик, Вавила...

— Что ж, и время...

Аверьян не смотрит на жену. Дует в блюдце. На дне блюдца колыхается солнечное пятно.

Сегодня выходной. Днем Аверьян подправлял у себя в огороде картофельную яму, пилил с Аленкой дрова. Вечером он сказал Аленке, что нужно получить кое с кого деньги за облигации, и пошел по деревне.

Он заглянул в две-три избы. У палисада Настасьи немного задержался, потом быстро пошел на крыльцо.

Настасья стояла среди избы с ведром в руке.

— Пошла в завод,— сказала она, посмотрела на свекровь и велела ей с ребенком идти спать.

Старуха послушно ушла в сарай. Слышно было, как скрипнули ворота, загремели половицы, опускаясь на покривившихся балках.

— Скоро косить,— сказала Настасья, смотря в сторону.

— Да.

Помолчали.

— Ведро-то поставь. Успеешь...

Настасья поставила ведро и хотела сесть на переднюю лавку...

— Садись поближе...

Она посмотрела в окна, села с ним рядом, навалилась на стол и закрыла лицо руками.

— А вдруг кто придет?

— Никто не придет...

В это время дверь в избу распахнулась и с криком: «Вот я и пришла!» заскочила Аленка.

Настасья быстро поднялась, подошла к шкафу и стала там что-то искать.

— Сейчас скажу маме! — кричала Аленка.— У тебя уж дочка вот какая, а ты гулять.

Ничего не говоря, он взял Аленку за руку и повел из избы. Она замолчала, но когда вышла в поле, снова принялась ругать его и грозила рассказать все матери.

— Мы с тобой жить не будем. Отделимся. Иди к своей Настасье. Больше не ходи к нам.

И тихонько плакала.

Он шел сзади, опустив голову, и не мог говорить от стыда, отчаяния и боли.

Перед самым домом Аленка притихла и только в огороде сердито прошептала:

— А маме все равно скажу.

Зашли в избу. Аверьян сел к столу и стал ждать, когда она начнет рассказывать матери. Теперь было как-

то все равно. Казалось, хуже того, что есть, уже не будет.

Однако Аленка ничего не сказала, и он понял: пожалела его.

Глава четвертая

У Марины болит голова. Она сидит на лавке и тихонько охает. Приходит Павла Евшина, маленькая, круглая, с хитрыми зеленоватыми глазками.

Павле что-то нужно. Стараясь попасть в тон хозяйке, она тоже охает.

Так они сидят с минуту. Потом Павла говорит:

— Ох, ох, не нужна ли тебе курица?

— Ох, ох, какая у тебя?

— Ох, ох, белая. Кладистая, урядная, хорошая.

— Ох, ох, белую-то масть я не люблю.

Молчание.

Марина: А может, она не совсем белая?

Павла: Не совсем, не совсем. Рябенькая.

Марина: Рябь-то какая? Серая?

Павла: Серая, серая.

Марина: А может, с желтинкой?

Павла: Так, так, так. Не белая, не серая, а рябая с желтинкой.

Аверьян только что принес из лесу две стойки для кос. Сидит у стола и ждет обеда.

Зной. Павла обливается потом.

Разговору их нет конца. Это становится невыносимым.

— Как вам не надоест? — сердито говорит Аверьян.

Обе переглядываются. Павла колобочком катится к двери. Идет за ней и Марина. Там они продолжают разговор. Дверь не закрыта. Аверьяну все слышно.

Павла: Борода кустиком черная и ус черный. Я вышла, а он с крыльца и пошел через дорогу. В руке что-то болтается. Она его к себе в горницу пускала

Молчание.

Марина: Это агент Охотсоюза. Он к нам заходил. Известно, все по делу.

Павла: (шепотом). А ты, матушка, не защищай. Все ходят, и твой был.

Марина охает.

Павла: Матушка, задумают — нам не удержать. Твой-то давно ходит. Всей деревне известно.

Из-за угла появляется Аленка, и они замолкают

С наступлением сенокоса Аверьян ушел с бригадой в лесное урочище «Высокая грива». Там в шалашах и спали. Иногда косили ночами, по росе. Спасаясь от комаров, жгли на кострах можжевельник. Днем, в самый зной, отлеживались в сенных сараях, в кустах. Там и тут слышался девичий визг, смех. Иные из молодежи уходили по ягоды.

Подростки приносили в лес еду.

Вместе с другими приходила и Аленка. За это время она повзрослела, стала серьезной, задумчивой, ходила с матерью на ближние покосы.

Разговаривая с Аленкой, Аверьян не смотрел ей в глаза.

— Значит, дочка, на будущий год в шестой?

— В шестой,— так же не глядя на него, говорила Аленка.

Тон взят фальшивый. Разговор обрывается

— Так, так, Аленушка. Газета-то приходит? Что там нового?

— С полюса прилетели.

— О! Все?

— Мазурук остался на Рудольфе...

Глаза Аверьяна блестят.

— А ты мне на следующий раз принеси газетку.

Потом он думает, что бы такое сказать Аленке? Но ничего придумать не может.

— Ну, вот, иди. Я тебя провожу до просеки.

Идут узкой тропой. Чаща. Сучья свисают до самой земли. Все густо затянуто мхами. Под ногой хрустят старые шишки.

— Боровские тоже все трое перешли в шестой?

— Их теперь двое. Один утонул.

— Вот что...

Поперек просеки золотым мостом лежат солнечные полосы. Впереди кричат ребята.

— Ну, вот догоняй! Повяжись платком-то, комары съедят. За ягодами не сворачивай, заблудишься.

Сверкая босыми пятками, Аленка бежит по просеке, не обертываясь и ничего не сказав ему на прощанье.

Как-то на восходе солнца лес около Высокой гривы наполнился певучими женскими голосами. Ауканье Смех Кто-то барабанит по сухому дереву палкой.

— Аню-ю-та!

— Варва-а-ара-а!

В бригаде волнение. Девчата одна за другой исчезают в лесу.

Неожиданно из кустов, у которых стоит Аверьян, выглядывает доброе, загорелое лицо Устиньи. На плече у нее коса. В правой руке корзина, прикрытая вышитым полотенцем.

— Глухой, что ли? Пошарь около той осины...

Устинья не успевает скрыться, ее замечает Павла Евшина, работающая поблизости.

— Ой, матушки,— кричит она,— мы тут совсем одичали. Ну, что в деревне-то?

Они принимаются разговаривать. Павла обращается то к Устинье, то к Аверьяну. Расспрашивает, кто в той бригаде, рассказывает о своих.

Голоса удаляются. Устинья спешит.

— Ну, счастливо вам оставаться,— говорит она.— Иду, а то все дороги заросли, не сыщешь...— и, окинув Павлу быстрым злым взглядом, уходит.

Забираются дальше и дальше. Косят урочище «Синие лучки».

Теперь еду приносят по очереди молодые ребята. Аверьян не видит даже Аленки. Тоскует о ней. Вспоминает, как прошлый год, будучи на железной дороге, получил письмо. Аленка под диктовку матери писала:

«Черт тебя знает, умер ли, женился ли, чего не пишешь? Пиши».

В праздники Аленка на пару с отцом пляшет. Она достает белый платок и помахивает им.

Бабы не могут нахвалиться.

— Ай, девка. Молодец. Смотри — как на винтах.

— Стрекоза. В кого такая зародилась?

— Не в ма-а-ать. Той-то так не смыслить, вся в батюшку родимого... С ней говори обо всем.

— Видишь ли, дочка, есть много такого, о чем ты узнаешь после.

В веселых глазах Аленки нетерпение.

— Ты все от меня хочешь скрыть, а я уж давно большая...

Дня выхода из леса Аверьян ждет со страхом, и когда этот день настает, бежит впереди, вместе с молодежью.

Вечером, у маслодельного завода, он видит Устинью. Подходит к ней с тайным страхом. Сейчас Устинья скажет: «Неловок. Славы много, а дела нет. Надоело...»

Устинья улыбается ему навстречу.

— Заждались тебя тут. Все глазки проглядели...

Больше она не успевает ничего сказать, подходят другие.

Аверьян шагает домой и не видит дороги. Натыкается на чей-то палисад. Только что прошел дождь, мокрые сучья хлещут по лицу. Пахнет черемухой и плесенью старой изгороди.

На второй день Устинья неожиданно сообщила ему:

— Муж приехал. Довольно вам шутки шутить. Хлопал ушами, теперь на себя пеняй.

Она сказала это просто, как о чем-то малозначительном, но непреложном.

— Больше и не гляди, и не думай, и ее не смущай. Была коту масленица.

И совсем уже серьезно заговорила о работе, о том, что завтра к большой реке косить. Вся деревня вместе. Вот будет весело!

Глава пятая

Вечером Вавила сидел с мужиками на бревнах. Он был в новой голубой рубахе, на ногах какие-то чудные желтые туфли, легкие и тонкие, как пергамент.

Аверьян проходил мимо и слышал его рассказ о дорожных курсах. Курсы он закончил. С этой специальностью мог бы теперь работать в районе, но из деревни никуда не пойдет.

«Хвастает»,— подумал Аверьян. Подошел к бревнам и протянул ему руку.

Все притихли. Кое-кто отвернулся.

Аверьян смотрел поверх головы Вавилы.

— Новостей привез короб?

— Да-а-а.

Вавила был немного скуласт. Живые серые глаза сидели глубоко. Бороду он теперь не брил, а подстригал, поэтому казался совсем незнакомым.

Аверьяну очень не хотелось садиться с ним рядом, но уйти сразу было неудобно: не видались больше полугода.

Он опустился на бревно.

— Что ж, теперь можешь шоссе строить?

— С мастером могу, а так еще нет. Нужна практика. Ну, как вы тут?

— Да работаем.

Оба молчали.

Пролетел майский жук и ударился о козырек чьей-то фуражки.

От леса шло стадо. С боков два подростка в белых рубахах то появлялись, то снова исчезали в пыли.

— Земля помоги просит,— сказал Иван Корытов.

К нему пристали, заговорили о жарком лете.

Аверьян незаметно ушел.

Настасью он встретил через несколько дней, в маслодельном заводе. Столкнулись в сенях. Она посмотрела на него просто, без тени смущения, и улыбнулась так, как улыбалась бы всякому.

Он немного задержал ее у двери и спросил:

— Ты какой дорогой пойдешь?

— Деревней, вместе со всеми,— строго, без улыбки ответила Настасья.

Потом шутливо добавила:

— Дальние проводы — лишние слезы...

Зашла в завод и стала разговаривать с женщинами как ни в чем не бывало.

Он тоже зашел туда, как во сне вылил в мерное ведро молоко, пробрался к стенке и стал молча рассматривать в пробирку пробу.

Женщины не успевали наговориться. И Настасья была такая же, как все: много рассказывала, умела вовремя подковырнуть и пожалеть, казалось, с приездом мужа у нее ничего не изменилось.

Он заметил, что теперь Устинья и Павла Евшина очень дружны. Настасья относилась к ним одинаково хорошо. Все они держались вместе. Рассуждали о молодежи, о том, что в этом году много будет свадеб. Устинья вспомнила прежнюю бабью жизнь. Рассказывала она громко, изредка косилась в сторону Аверьяна.

— Вот на вечере один парень меня в уголок зовет. Иду. «Меня кто-то звал?»—«Я».—«Да ты чей есть-то?»—«И я тебя не знаю, ты чья?» Сказалась. Захватил меня. Позна-

комились. Парень хороший. Брови черные, глаза карие...

Устинью обступили тесно бабы. Понимающе кивали головами, улыбались.

— Ладно. Стал мне этот парень поклоны слать. «Ты мне люба. Я тебя жалею...» Замуж зовет. Согласна. Только подождем до весны? Подождем. Пришла весна, а его на другой и женили...

Кто-то в толпе молодых баб охнул.

— Вот снова в Липнике встретились,— продолжала Устинья.— Мы с девками идем, а он идет.—«Можно с вами-то?»—«Вставай». Встал в середку. «Гляди-ко, Устинья, я женился!»—«Женился, так и живешь».—«А ведь мне только тебя и жаль. Приневолили».—«Ну, мне делать нечего...» Вот так и говорим, как бы на шутку. Еще раз встретила. Шли с девками на ярмарку. И он туда. Кушаком подпоясан. С бородкой. Шапку снял, поклонился. «Что меня с собой не принимаете?»—«Нет, мы теперь тебя уж стали забывать». Подошел. Опять встал рядом. «Ой, Устинья, что мне сегодня приснилось!»—«А чего?»—«Будто я тебя замуж взял».—«Что же делать? Теперь не поправишь!..»

— Это бы сейчас! — вставила Нефедова молодуха. Ей никто не ответил.

— Ну, хорошо,— продолжала Устинья.— Жена идет. Куколка. Маленькая, некрасивая. Увела... Больше я его не видела. Говорят, и жил с ней нехорошо, пил, уходил в люди. Под конец будто бы и бить стал, совсем смотался. Парня звали Егором...

— Ой, худо, когда не любя женятся,— сказала Павла.

И, повздыхав, добавила:

— Дурак, что он смотрел? Где глаза были!

— Да вот, поди,— печально улыбнулась Устинья.— Молод был, глуп, а за него родители подумали.

Они начали говорить громко, разом. Настасья стояла молча и невесело смотрела в сторону.

Аверьян ушел. В этот вечер он видел Настасью еще раз. Она шла с реки.

Аверьян направился к гумнам, мимо которых тянулась тропка, и сел на камень. Настасья подошла совсем близко, на мгновенье задержалась и, ничего не говоря, быстро, так что расплескала из ведра воду, повернула в обход, к большой дороге. Он сидел и смотрел ей вслед.

Сзади послышался шелест травы. Аверьян обернулся и увидел Марину, растрепанную, с неподвижным бледным

лицом, в маленьких зеленоватых глазах страх и злоба.

Марина остановилась в нескольких шагах от него и, заикаясь, проговорила:

— Сейчас уж сама видела. Не скроешь.

Руки у нее дрожали. Изо рта брызгала слюна. Он никогда еще не видел в ней такой злобы.

— Иди, иди домой-то,— заглушая отвращение к ней, сказал Аверьян.

— Нет! — крикнула Марина.— Не пойду! Пускай вся деревня знает.

Он быстро поднялся и пошел лугами к реке. Марина следовала сзади и кричала на все поле:

— Ты от меня не уйдешь, не скроешься! Я тебя под землей сыщу!

Из огородов, с крылец изб смотрели люди.

Аверьян шел как под ударами, низко склонив голову, не оглядываясь. На берегу он лег в густую высокую траву и закрыл лицо руками.

Марина сидела в стороне и тихонько плакала.

Говорили, что теперь у Настасьи с мужем нелады. Однако в избе Вавилы всегда было тихо. При людях Вавила всегда звал жену Настасьей. Однажды видели, как они в обнимку шли с реки.

Вавила что-то рассказывал, а Настасья звонко смеялась и толкала его рукой в плечо.

С покосом перебрались к самой деревне, за поле. Обедать ходили домой.

Как-то две бригады, по пути на работу, столкнулись у гумен. Мужики пошли впереди. Курили, степенно, со вкусом, обсуждали текущие дела, прислушивались к говору женщин и снисходительно улыбались.

— Это, Вавила, твоя кричит.

— Да, его такая голосистая.

— Вот и Марина сказалась...

Аверьян и Вавила делали вид, что ничего не слышат, шагали один с краю, другой — с другого.

Вдруг крики участились, перешли в брань.

Мужики смущенно замолчали. Кто-то из молодых принялся насвистывать.

— Нехорошо,— сказал Иван Корытов.

Аверьян обернулся и увидел растрепанную голову жены. Марину держали за руки.

Настасья, низко нагнув голову, шагала в стороне и поправляла платок.

Вавила не обернулся и ничего не сказал.

Председатель Макар Иванович, шагавший впереди, что-то говорил о товарищеском суде.

Все обрадовались, когда подошли к сенному сараю и взяли грабли.

С этого дня Аверьян и Вавила при встрече не смотрели в глаза друг другу. Потом они стали избегать встреч.

Прошло лето. Лес наполнился разноцветным сиянием осин. Осины появлялись неожиданно, во всех уголках, там, где, казалось, их вовсе не было. Они зажгли и осветили лес со всех сторон. Запахло грибами, размытыми почвами и перезревшими ягодами. Особенно хорош был лес по краю старых вырубок, с высохшими там и тут вершинами, на которые любили садиться тетерки.

Аверьян с крыльца услышал бодрый собачий лай на опушке леса и уловил отдаленные запахи молодых сосновых вершин.

День был гулкий, солнечный. Куда-то пролетела стая журавлей.

Он забежал в избу, схватил ружье, кликнул собаку и, не одеваясь, пошел в лес.

Собака шла неохотно. Все повизгивала. Она только что ощенилась. Щенков пришлось отнять и убить. В лесу она постепенно разошлась, скрылась в стороне, и вскоре Аверьян услышал лай: частый, однотонный и грубый — на глухаря. Осторожно, выбирая густой лес, Аверьян пошел. Удивительное дело! Двадцатая осень в лесу, а перед первой встречей с глухарем все так же стучит сердце.

Аверьян осматривал вершины. Конечно, он еще не вылетел на сосну.

Между стволами мелькнул желтый пушистый хвост. Собака перебегала с места на место, беспрерывно лаяла и зорко смотрела вверх. Она давно заметила хозяина, но в его сторону не поворачивалась.

Теперь он видит всю багряную вершину дерева, широкую, с толстыми кривыми сучьями. В листве черным клубом застыл глухарь.

Аверьян делает несколько неслышных шагов и медленно поднимает ружье. Вот на мушке светлая зелень молодой рябинки, голубое небо, огненные листья осины. Гремит выстрел. С шумом и треском глухарь проваливается в листву. Хвост собаки мелькает около ствола осины. Слышится возня, урчание.

Он продувает ружье и крупными прыжками бежит к собаке.

— Зорька, брось! Брось, тебе говорят, старая!

Глухарь, вытянув шею, лежит на траве. На большом желтом клюве пятна зелени. Глаза прикрыты. Краснеет бровь.

Аверьян рассматривает добычу и в это время обо всем забывает.

Глава шестая

Случилось то, чего он больше всего боялся. Однажды, гоняясь за белкой, запоздал и пошел к озеру в охотничью избушку. Уставшая Зорька лениво переваливалась сзади.

Совсем близко от озера на дорогу выбежал Гром.

Аверьян остановился, не зная, что делать. Начинало смеркаться.

Все решили собаки. Они побежали вперед и быстро скрылись за деревьями. Теперь отступать было неудобно. Аверьян стал пробираться зарослями пырея к озеру. Вскоре влево показались вода, темный мыс, рядом — узкой полосой плот и на нем Вавила с шестом в руках.

Избушка стояла на холме, в осиновой роще. Влево, за лощиной, чернел густой еловый лес, кончавшийся у самой воды.

Дверь избушки была открыта. За нею по черным стенам трепетали желтые пятна света. Слышалось потрескивание. Валил дым.

Аверьян снял с плеча сумку, ружье, бросил к стене топор.

Вавила подходил не спеша. В одной руке он нес котелок, в другой — удилище.

— А, кто-то есть!

Аверьян повернулся, но ничего не ответил.

— Здорово.

— Здорово...

Вавила поставил котелок на землю и стал выжимать мокрые брюки.

— Дров прибавить, что-ли? — сказал он, посматривая в лес.— Пришел поздно, не успел.

— Где бродил?

— Весь день провозились мы с Громом у барсучьих ям

То-то выстрела не слышно было.

Они идут в еловый лес. Здесь совсем уж темно. На черной земле, невидимая, шуршит трава. Сквозь сучья видны звезды.

Находят сушину. Аверьян ударяет обухом. Сушина гудит колоколом. Правда, она немного толста, но сейчас ничего другого не сыщешь. Нащупывают и обрубают ветки, вершинки кустов.

Потом рубят вдруг с двух сторон, стараясь попасть в такт.

Этот гул, вероятно, очень далеко слышен. Эхо разносится по озеру.

— Как кость,— говорит Вавила.

В темноте видна белая заруба. От нее и от щепок, раскидавшихся под ногами, кажется светлее.

Дерево падает к озеру. Они обрубают сучья и от вершины дерева видят воду, зажженную множеством звезд.

— Темная ночь,— говорит Вавила.

— Да.

Рубят ощупью. Опять помогает свет белых зарубок. Нужно только сковырнуть первую щепу.

Под комлевой кряж встает Вавила. Он кряхтит в темноте и плюет на руки. Идут. Вавила двигается пошатываясь, в одном месте падает: слышно, как треста шуршит по сухому дереву.

— Не расшибся?

— Кажется, нет. Только топор потерял. О! Нашел.

Потом оба, разгоряченные, сидят у пылающей каменки На таганке висит котелок со свежими окунями.

Дверь открыта настежь.

Вавила начинает строгать из куска ольхи ложку

— Черт, ложку не взял.

Он не говорит: «Жена забыла положить».

— Что-то охотники сюда совсем не ходят,— не отвечая ему, говорит Аверьян.

— А где они? Старики Лавер да Онисим на своих путиках. Они сюда не пойдут. Манос в лесопункте.

«Да, мы тут двое, во всем старосельском лесу...»— думает Аверьян и торопливо говорит:

— Сказывают, раньше в нашей деревне много охотников было.

— Много. Ружья шомпольные. Клюшки... Особенно славился Мамыря. Фузея у него. Дроби, говорят, клал четверть фунта, пороху девять мерок. Выстрелит — куча веток свалится, белку ищи в ней...

Оба смеются.

Очень далеко, по другую сторону озера, слышно гуденье дерева.

Аверьян выглядывает в дверь.

— В Вожге коней пасут...

Потом он выходит из избушки. Стоит, потягиваясь, и смотрит, как падают звезды.

Вавила сосредоточенно строгает розовое дерево. Он, кажется, целиком занят только этим.

Поспевает уха. Он снимает ее и ставит на стол.

— Ну, начнем.

Садятся к столу. Вавила режет большой ломоть хлеба. Хлеб мягкий, пышный, запах его раздражает Аверьяна. Он роется в своей корзине.

— Черт его знает, поторопил жену, хлеб не допекла...— и смущенно вынимает тяжелую, неровную краюшку.

— А ты моего? У меня много.

— Нет, нет. Взял, съесть надо. Завтра в какую сторону?

— Думаю на Борки.

— А! Ну, я похожу около Высокой гривы.

Снова молчат. Преувеличенно старательно дуют в ложки, пережидают друг друга. У Вавилы ложка похожа на лопату.

— Не знаю, по-моему, неправильно поступает сельсовет,— говорит Аверьян.— Избирательные списки готовить взвалили на одних колхозных счетоводов.

— Неправильно. Вот ужо послезавтра на пленуме об этом поговорим.

Соль у Вавилы завязана в кончике синего платка. Аверьян старается не смотреть на этот платок. Потом он видит на гимнастерке Вавилы свежепосаженную заплату, черные пуговицы, пришитые суровыми нитками, и много других мелочей, в которых чувствуется рука Настасьи.

И сейчас он понимает, что ни на минуту не забывал ее.

И то, что до сих пор им делалось, делалось только ради нее, и даже в лесу он — ради нее. Может быть, долго не видя, она стоскуется и снова накажет с Устиньей: «Заждалась. Все глаза проглядела...»

Но в том, как Настасья ведет себя с ним, кажется, этого уже нет, как не было и у него к Марине, когда вернулся из Красной Армии. Молодая, здоровая. Одна да одна. Все прошло с приездом мужа...

— А ты ешь,— мягко говорит Аверьяну Вавила и наклоняет к нему котелок.

Аверьян покорно хлебает. Лицо у него горит.

А вдруг она по-прежнему думает о нем? Может быть, Вавила держит ее угрозами? Она боится его?..

Аверьян кладет ложку, убирает корзину и стоит у порога.

— Топоры и ружья надо занести,— говорит Вавила.

— Пожалуй.

Они приносят топоры и ружья. Вавила сламывает свое и вставляет патроны с пулями.

Аверьян тоже сламывает свою одностволку и сует патрон с пулей. Руки у него дрожат.

— Так-то лучше,— говорит Вавила.— Осенняя ночь. Мало ли что...

Они ставят ружья к стенке, рядом с нарами.

Вавила раскидывает на нарах сухую траву, мох, постилает сверху толстовку, завертывает сапоги в брюки и кладет их в изголовье.

Стелет себе и Аверьян. Нары узкие и длинные, можно ложиться ногами друг к другу. Аверьян переносит в свой угол ружье. Потом достает с грядки сосновую лучину, зажигает ее у потухающей каменки, втыкает в паз и садится на порог курить.

Вавила тоже курит, сидя на нарах. На этот раз молчание особенно длительно и тягостно.

Сегодня удивительно тихо. Даже не слышно осин. Изредка стукнет по стене листок, мелькнет перед дверью и исчезнет. Тонкая, с серебряным блеском лучина горит быстро, широким белым пламенем, шипит и дымит.

Аверьян то и дело обламывает угли и бросает их в каменку.

«Но даже если она думает о нем, что из этого?» — спрашивает себя Аверьян.

Он вспоминает обезображенное злобное лицо Марины,

враждебные взгляды Аленки, слезы... грех... и с отчаянием сам себе отвечает:

«Ничего».

Гаснет огонь. Вавила приподымается и смотрит на порог. Аверьян сидит отвернувшись, согнув плечи.

В открытую дверь видно озеро, черный лес и звезды над ним.

Часть вторая

Глава седьмая

На ночь в помещении сельсовета остаются счетовод Аверьян да сторож Онисим. Онисим не идет никуда, потому что он сторожит. Аверьян же с осени не живет в семье, скитается где попало.

В просторной, чистой избе хорошо пахнет только что вымытым полом, еловыми дровами. Тишина. Дом стоит на отлете — в Поповке, как в крепости: со стороны деревни Костиной горки он огражден большой осиновой рощей, со стороны надпорожского поля — широким церковным зданием и амбарами. Вечерами сюда никто не ходит. Дорогу заметает снегом, и два человека в большом старом доме теряют связь с деревней. Они запирают ворота и начинают варить ужин. На улице гудит и воет. Из окна видно, как передвигаются на снегу тени осин.

— Занесет совсем,— говорит Онисим.

Аверьян думает о том, что вот сейчас в Старом селе около его избы так же шумят и раскачиваются березы, на верхнем сарае стучат плохо прикрытые ворота и в темном углу, на сене, вздыхает старая собака Зорька. В избе за столом тоже ужинают. Его уже не вспоминают, привыкли...

— А ты много не думай,— говорит Онисим.

Аверьян молчит.

— Вот до чего дошло у раменского Ефима с Аксиньей,— продолжал старик.— Ему ведь говорили: «Отступи! Как чуть немного присохнешь — не отстать!» И верно: иссох так — и сидеть не может — чес, вереда. Пошла по всему телу невзгода. На жену не смотрит. А ты из-за кого пошел шататься? Ясно — из-за Настасьи. В таких бабах сатана сидит!

— Да я теперь вовсе о ней не думаю!

Онисим недоверчиво смотрит на него.

— Так иди домой!

— И домой не пойду.

— Это оттого, что стали все больно самолюбивы. В другом вижу больше худого, чем в себе.

— А еще как?

— Еще? Двум дуракам не пожить, а умный да дурак уживутся.

Аверьян смеется.

— Бывает, что и все есть, а дело не клеится,— говорит он.

— Так это у вас называют: не сошлись характерами. Знаю. Палка обоим! Думай, что делаешь!

Сейчас и сам Онисим улыбается. Конечно, он понимает, что все это не так просто.

— А выход-то какой?..

Лицо Онисима сразу становится серьезным.

— Этого тебе не скажу.

Иногда, в середине вечера, когда кончен ужин и прочитана газета, а времени еще много, Аверьян ложится в углу на лавку. Онисим плетет верши. На полу вороха прутьев. Он, не торопясь, выбирает их, пробует в руках и рассуждает про себя:

— Да. А по-моему, этот наш старосельский Илья хоть и партийный, а сукин сын. Он кобылу посадил на ноги. Стала присеменивать.

Аверьян не отвечает. Онисим снова начинает рассуждать сам с собой, постукивает по прутьям ножиком, наконец, тихонько поет:

Гришка-расстрижка, Отрепьев сын...

— А вот председатель — это человек. У него и походка с устигом. Макар Иванович, Макар Иванович! Другого ему имени нет. Да. Вот так. (Короткое молчание. Посвистывание.) Хоть бы куда-нибудь сходил!

— Верно, надо сходить по делу,— говорит Аверьян.

Он накидывает полушубок и выходит на крыльцо. Метель. В роще гнутся деревья. Склонившись, он делает несколько шагов в глубоком снегу. Его сразу ослепляет. Больно сечет лицо. Он с трудом нащупывает дорогу и медленно двигается от вешки к вешке. Впереди выплывает что-

то большое и черное. Слышится храп. Потом совсем рядом морда лошади. В розвалках белый подвижной ком.

— Нно!

Все исчезает. Аверьян стоит, смотрит на трепетный огонек крайней избы и решает, что идти ему некуда и незачем. Он повертывает назад, и ветер толкает его в спину. Ни следа полозьев, ни его следа уже не заметно.

В избе тепло. На полу желтый свет лампы. Онисим подбирает обрезки и складывает их к печи.

— Не гостится? — спрашивает он.— Видно, ты гость не ко времени.

Потом сразу переводит разговор:

— Зайцы сегодня лежат под кустом.

— Да. В одиночку. Невесело...

Оба они заядлые охотники. У Онисима в лесу близ озера Данислова есть избушка. Маленькая, черная, без окон. Дверь — только человеку пробиться, вместо печи — очаг. Больше сорока лет осенями он живет в этой избушке. За лощиной, километрах в двух от него, на реке Укме обитает другой охотник — Лавер. Аверьян часто заглядывает к старикам.

Спать рано. Ночи конца нет. Аверьян сидит у окна и слушает, как гудит вьюга.

— Рассказал бы сказку,— просит он старика.

Онисим постилает себе на лежанке, гасит огонь, ложится и, не торопясь, рассказывает сказку.

«В некотором царстве, в некотором государстве...»

Сначала Аверьян слушает с интересом. Он даже приподымается на локтях и смотрит в темноту ночи широко раскрытыми глазами.

Потом нить сказки обрывается,— все становится непонятным: Аверьян думает о другом...

Осенью 1938 года Аверьян встретился в лесу с незнакомым охотником из Шихановского сельсовета. Стояла сушь. Горели леса. Они стали искать реку Нименьгу, чтобы напиться, и заблудились. Пришлось ночевать под елкой. Утром едва оторвались от потухшего костра, сразу нашли реку.

— Мне не так удивительно,— сказал шихановец,— я в этом лесу не бывал. А вот как же ты?

Аверьян был смущен. Не было еще случая, чтобы он заблудился в лесу.

— Не знаю, что со мной.

Охотник с сожалением рассматривал его.

Аверьян был очень худ, оборван, с утомленным лицом.

— Нездоровится? — спросил шихановец.

Аверьян махнул рукой.

— Хуже...

— Пьешь?

Аверьян не ответил.

— С чего бы это? — укоризненно сказал шихановец.— Такое ли время? Время тревожное.

Аверьян молчал.

Шихановец теребил небольшую рыжую бородку. Взгляд его был суров.

— Этак ты свою реку никогда не найдешь,— сказал он и ушел от Аверьяна.

Вскоре пожар охватил все Федорово болото, подобрался к Нименьгскому заводу. В лесу был пойман поджигатель. По этому же делу арестовали Аверьянова шурина, пьяницу Игнашонка.

После этого Аверьян бросил пить — как отрезал. Но это было еще не все...

— ...Начала она его искать везде: в море и в морской пучине, и по лесам, и по озерам, и по лугам, и в небесной высоте... да ты не спишь, Аверьян?

— Нет, нет, рассказывай...

Дом так заносит, что утром им приходится вылезать в окно.

Задрав бороду, Онисим смотрит на белый, ослепительно чистый холм, за которым должны находиться ворота.

— Мать честная,— говорит он.— Вот законопатило!

Они берут лопаты и принимаются раскидывать снег

Всходит солнце. Земля лежит успокоенная. Ни ветра, ни шума вершин. Мягко синеют овраги.

Теперь до вечера у Аверьяна с Онисимом редкие деловые разговоры.

— Старик, чего это ты кричал там на старосельского Илью?

— Снег на ногах приносит.

Аверьян улыбается. Снег на валенках приносят многие, но Онисим этого не замечает. Старик не знает середины. Так, например, для председателя Макара Ивановича он находит оправдание даже в том случае, когда тот вопиюще несправедлив.

— Ты бы вот с самим-то поговорил,— советует он Аверьяну.— Перестанешь шататься-то.

Аверьян и сам присматривается к Макару Ивановичу. Два года тому назад он часто заходил к нему. Вместе читали газеты, обсуждали международные события. Во время выборов Аверьян был агитатором. Увлекался. Ночами после работы ходил в самую дальнюю деревню — Тимошкино. Потом он работал по всесоюзной переписи. Все видели, как быстро вырастал человек.

И вдруг свихнулся — стал пить, пошел стороной.

Это сильно смутило Макара Ивановича, только что выбранного тогда секретарем партийной организации. Он несколько раз пытался заговорить с Аверьяном о его поведении. Аверьян отмалчивался.

Теперь Аверьян снова приходит к нему.

— Что это делается в колхозе «Восход»? — начинает Макар Иванович.— Председатель только что из Красной Армии, есть комсомольцы, а до сих пор в деревне числятся три единоличника!

Аверьян говорит:

— Мне надо завтра идти в Дор. Загляну к ним, узнаю, что и как?

— Вот, вот.

Аверьян начинает уходить по вечерам.

Онисим следит за ним с любопытством и надеждой.

В воскресенье Аверьян устраивает в старом гумне тир. За ним гурьбой ходят ребята. Теперь он все время с людьми, даже вечером. Посвежел. Взгляд у него стал яснее.

Иногда ночует в дальних деревнях. Утром прибегает торопливый, озабоченный.

— Ну, дед, как ты тут один?

И заглядывает в комнату Макара Ивановича. Председатель уже на месте. У его ног лежит собака. На столе все прибрано, расставлено. Уютно белеет бумага.

Макар Иванович поглаживает темную бороду. Широко улыбается навстречу Аверьяну.

— Мне уже сказывали,— говорит он.— Остается один Иван Костин.

Обсуждают вчерашнее собрание на Дору.

Однажды Аверьян и Онисим просыпаются среди ночи от страшного шума и треска. Наскоро одевшись, выбегают из ворот и в свете луны видят громадный ворох раздробленно-

го синего снега. Снег разом оползлзо всего ската крыши и раздавил забор. Полные необъяснимой радости, они обходят вокруг дома. С черных закраин крыши падает вода. В одном месте они видят черные концы гряд. У самой стены двора натыкаются на сухой бурьян. Нет, все в порядке. Ничего ценного вокруг дома не лежит: снег может оползать.

Они всходят на крыльцо и рассматривают тихие пестрые деревни. Сколько сейчас начнется около каждого дома милых хлопот! Днем стены изб бывают теплыми от солнечных лучей, а в тени хорошо пахнет влажным снегом...

Они не могут спать всю ночь. Влажный воздух проникает в избу. Из-под пола начинает сильно пахнуть землей. Кот выходит подремать среди избы в полосе лунного света.

Утром Онисим зовет старика Ермошу с Лебежского хутора, и они вдвоем начинают разбирать поваленный забор. Ермоша глух. В помещении сельсовета слышно, как они, разговаривая, кричат. Люди проходят мимо и добродушно смеются над ними. Но оба старика довольны. Целый день проводят они на улице, суетятся, хлопочут и, когда забор весь разобран, долго ищут около дома: что бы еще сделать? Потом оба, полуслепые от солнца, приходят в избу, раздеваются, лезут на печь и там продолжают орать.

Ермоша начинает приходить каждый день. И вскоре Аверьян видит, что старики подружились прочно. «Ну вот и хорошо»,— думает он.

Однажды, когда в половине Макара Ивановича идет партийное собрание, оба сидят за столом и по обыкновению беседуют.

Ермоша кивает на пустой Аверьянов стул:

— То же?

— Да. Приговаривают — ко вступлению.

— Эй!

— Приговаривают!

Ермоша открывает рот, что служит у него признаком задумчивости.

— В руки бы его!

— Сам занялся. Может, дурь-то выбьет!

— Эй!

— Дурь-то, говорю, выбьет!

Из двери выглядывает Илья.

— Вы старые,— кричит он,— мешаете работать!

Несколько минут старики сидят молча. Потом Онисим качает головой и вполголоса говорит:

— Не люблю, грешный человек, этого Илью.

— Да уж,— понимающе машет рукой Ермоша,— только недругу можно пожелать такую жизнь.

Иногда Ермоша остается ночевать. Наговорившись вдоволь, старики затихают. Ермоша сразу же принимается храпеть. Спросонок вскрикивает:

— Эй, ты мне?

— Да нет, нет. Лежи.

— Эй! Не спит? Гони к бабе!

Онисим не отвечает. Он лежит с открытыми глазами и настороженно следит за Аверьяном.

— Только идешь туда — не шали,— строго произносит он.— Хватит.

Аверьян поднимается от неожиданности.

— А ты почем знаешь?

— Стало быть, знаю...

— Эй,— слышится с печи.— Нет, мне ничего, я под бока-то подкинул. Скоро свет? Не скоро?

— Нет, лежи!

Аверьян садится к окну. Луна смотрит прямо на него. Земля лежит пестрая, в теплых туманах. Молниями скрещиваются ручьи. В голых вершинах рощи тревожный шум.

Это решение Аверьян подготовлял давно. Мешала какая-то перегородочка: не то робость, не то не хватало надежд на свои силы.

Но вот настанет момент, когда он неизбежно должен ответить на вопрос: как дальше? Эта мысль с тобой всюду. Ты развертываешь газету и узнаешь, что боец решил это перед боем без колебаний. Ты видишь, как пришел к этому твой сосед — на два десятилетия старше тебя, как решают это десятки, сотни тысяч других людей, и сравниваешь себя с ними: твои мысли, твои поступки — все у тебя, кажется, такое, как у них...

Утром Аверьян смело входит к Макару Ивановичу. Макар Иванович, ждавший этого, выслушивает его внимательно.

Потом спрашивает:

— Ты сейчас это решил?

— Нет, я об этом думал не один год.

Макар Иванович пристально смотрит на него.

— Так что же?

— Со мной никто об этом не говорил.

— Бывает и так,— тихо говорит Макар Иванович и склоняется к столу.

Аверьян вступил в партию. Он начинает следить за собой: не сделал ли чего плохого? Иногда в этом доходит до крайностей.

Все это замечает Макар Иванович. Как-то, в начале лета, после шумного дня, он подходит к Аверьяну. В глазах лукавый блеск.

— Ну, как со сведениями?

— Старосельцы что-то никак не соберутся.

Макар Иванович стучит по столу пальцами.

— Боюсь, как бы Проня не подвел с покосом. У него что ни день, то чудо. Пешком, говорят, теперь и не ходит, все в седле! Где-то сумку полевую достал...

Оба смеются. У председателя старосельского колхоза Маноса все время какие-нибудь чудачества. Одернут — начнет работать хорошо. Через недельку опять чем-нибудь увлечется.

— На пашню приедет,— говорит Макар Иванович: — «Ну, какие будут ко мне вопросы?» Если вопросов нет, лошадь стегнет и — обратно. Знаешь что, толковали мы тут и решили прикрепить тебя к Старому селу. Скажем, пойдешь ты в сенокосную группу Васьки Хромого и станешь там работать. Конечно, встретишься и с женой и с Настасьей. Придется раз-другой и дома ночевать — не обойдешь свою деревню.

Макар Иванович сбоку пытливо поглядывает на Аверьяна.

— А почем знать, как лучше-то? Все равно когда-нибудь надо это дело решать!

Аверьян не отвечает.

— Нет, мы тебя не неволим,— говорит Макар Иванович.— Ты теперь — сам решай! Время уж наладить и эту сторону... Небось уж и годы. Под сорок-то есть?

— Да, есть...

— Не забывай. Теперь на тебя больше будут оглядываться.

Макар Иванович улыбается и ясно смотрит на Аверьяна.

Глава восьмая

Аверьян приходит домой, как странник, робко осматривает высокий въезд, темную крышу над ним, темные ребра настила. Как покривились столбы! Он осторожно заходит в сарай. К нему навстречу медленно бредет собака.

— Ну что, Зорька? Как ты тут?

В сарае полумрак. Пахнет свежими вениками. Он видит знакомые очертания вещей, их милую простоту и опрятность. Все — как всегда. Не заходя в избу, он опускается на сено у левой стены и лежит с открытыми глазами.

Марина появляется неожиданно, сразу замечает его и останавливается в середине сарая. В старом ситцевом платье, без платка. Она стоит отвернувшись, наклонив голову, видимо, все еще не хочет поверить, что он пришел и остается с ними.

Аверьяну становится жаль ее, но он боится показать это, мягко говорит:

— Сядь, посиди немного.

Она садится рядом с ним на сено.

На деревне совсем тихо. В окне, на задней стене — оранжевый квадрат света. В хмельнике поет соловей.

— Все валится,— говорит Аверьян.

Она машет рукой.

За эти два года они ни разу не смотрели в глаза друг другу. Марина постарела и как-то притихла.

— Письма от Аленки нет?

— Нет, в этом году, поди, и не приедет.

— Ну, отдохнуть-то все немного дадут.

Молчание.

У ворот начинает потягиваться и скулить собака.

— Скоро солнце взойдет,— говорит Аверьян.— Ночи нет совсем.

— Да уж какая ночь. Еще только прошли Петровки.

Она встает и выпускает собаку.

Аверьян тоже встает, выходит в ворота. Дом стоит на пригорке, в середине деревни. Отсюда широко видно. Вправо, за овсяным полем, над Модлонью лохматая полоса тумана. Деревни по берегам Модлони совсем скрыты в тумане. Кое-где виднеется крыша. Слева, из Раменского леса, подкрадывается к Модлони маленькая кривая речушка Аньга. Над ней слышится ленивое постукивание, но ни мельницы, ни самой реки не видно — в тумане вся земля. Смутно

виднеется в огороде отяжелевшая бледная трава. Аверьян идет в огород смотреть огурцы. Роса изливается с листьев ручейками.

Он ходит по меже и выбрасывает из травы камни, поднимает в хмельнике наклонившиеся колышки, подпирает в углу огорода старую рябину. У него такой вид, как будто он никогда не отлучался.

Марина что-то рассматривает на рассаднике.

— К вечеру-то затопить баню? — робко говорит она.

— Пожалуй...

Это похоже на настоящую семейную жизнь...

Он открывает отводок и придерживает его, пока Марина выходит из огорода. Когда она прислушивается к стуку мельницы, он тоже стоит поодаль и слушает.

— Немного тянет,— говорит она.

— Узелок-то как-нибудь размелем.

Молчат оба, думая об одном и том же.

— Конечно, лучше на себе,— говорит Аверьян.— Пока кругом объедешь — солнце взойдет.

Они кладут мешок с зерном поперек шеста, так что он свешивается на обе стороны. Аверьян несет сзади. Мешок почти касается его груди. У Марины большой конец. Она шагает бодро, с поднятой головой, юбка высоко подоткнута, босые ноги розовеют от росы.

Собака бежит впереди. Она стара. Шея у нее наполовину седая. Аверьяну приходится кричать во всю глотку, чтобы заставить повернуть ее к реке, но она все бежит вперед, и когда они скрываются в хлебах, разыскивает по следу.

— Совсем оглохла Зорька,— говорит Аверьян.

— Да...

Река Аньга пересохла, заросла ситкой. Несколько молодых уток взлетает из травы.

Они переходят реку, не выбирая брода, и опускают ношу на песок, чтобы размять руки и плечи. Зорька лакает воду.

Светлынь. Под ногами видна каждая песчинка.

Марина стоит и поправляет кофту. Движения ее уверенны и спокойны.

— Можно перейти в переднюю избу,— полувопросом говорит она.

— Можно, там светлее.

Марина отвертывается, чтобы скрыть довольную улыбку.

На мельнице никого нет. Старик сторож Примак сидит

у двери избушки на широком чурбане и плетет лапти.

— Ну как, дед, выручишь? — спрашивает Аверьян.

— Не знаю. В лотках воды не больше, как на три пальца.

Слышно, как вода падает с колеса на голые камни. Доски плотины наполовину сухи.

— Прибыли не ждешь?

— Откуда?

Примак показывает рукой на чистое небо, на туманы, на травы.

— Да...

— Положите сами на ковш,— делает неожиданный вывод Примак.

Они идут в мельничный амбар и поднимают мешок на ковш.

— До вечера, дедушка?

— Да уж, если что будет, так вечером.

В кустах за мельницей перепархивают синицы. Сейчас покажется солнце.

Они переезжают на плоту на свой берег и с подбегом идут по траве.

— Успеть бы до пастуха,— говорит Марина.

— Ничего, успеем...

Аверьян стал приучать себя к мысли о том, что он уже живет в семье, что это прочно, незыблемо. Он стал заранее отрезать себе путь в Костину горку: с покоса шел вместе с группой, иногда приглашал кого-нибудь к себе и долго сидел под березами у всех на виду. Люди проходили мимо, смотрели на него, на Марину, белеющую у окна, и думали, что в эту семью навсегда сошел мир и свет.

И с Настасьей все вышло хорошо, просто: на покосе они как бы не замечали друг друга. Как-то под вечер Аверьян пошел за кусты, покурить от костра, и встретил здесь Настасью. Стоя на коленях, она завязывала корзину.

Аверьян быстро наклонился к огню. Уголек несколько раз падал у него из руки.

Молчали.

Настасья встала, повесила корзину на сук и долго прятала в нее бахрому полотенца. Потом пошла и посмотрела на Аверьяна чистым спокойным взглядом. Так смотрела бы она на всякого другого.

Аверьян опустился к костру и подумал: «Ну, вот теперь нечего бояться...»

Ему не нравятся стоги в группе Васьки: широкие, низкие, с тупой овершкой, с приплечками по бокам. Такие стоги до первого ливня: прольет. «Вот с этого и надо начать»,— думает он, нарочно выбирает место повыше, посредине пожни, так чтобы было видно и своим и в группе Ильи Евшина у ключа. Он берет высокий стожар и начинает втыкать его в землю. Земля шуршит под стожаром и поднимается теплой серой пылью. Глубже стожар не идет. Аверьян льет в ямку воду. Вода исчезает, пузырясь и всхлипывая, и тогда земля начинает обманчиво пахнуть прохладой. Аверьян набивает вокруг стожара сваек и бросает в остожье сучья, палки. Теперь сено не будет касаться земли. Задыхаясь от запахов и тепла, он кладет сено прямо руками, пока может достать. Потом зовет внучку Онисима Катьку и ставит ее на стог. Катька начинает ходить вокруг стожара, обжимая сено. Так они принимаются метать, Аверьян подхватывает вилами громадные, как облако, пласты сена.

Тело у него разгорается, мускулы начинают приятно ныть, немного ломит поясницу.

«На самом деле засиделся»,— думает он и начинает работать быстрее. Вот с копен сняты головы. Вот копны уже наполовину исчезли. Вокруг стога чисто, он почти ничего не роняет на землю.

Потом Аверьян приставляет к стогу две жерди. Катька сползает прямо к нему на руки. Бабы бросают работу и подходят смотреть стог.

— Как яичко! — с восхищением говорит Устинья Белова.

Да, такому стогу не страшен ливень. К обеду на берегу реки собираются обе группы. Приходит сам Илья Евшин с женой Павлой. Тут же и Марина. Все рассматривают стог и хвалят. Павла находит, что стог похож, как и полагается, на Марину...

— Бабы! — кричит она.— Да ведь у Марины в аккурат такая головушка — гладенькая, учесанная!

И, растягивая в улыбку тонкие губы, добавляет:

— Да на кого же еще ему быть похожим.

Бабы переглядываются. Смеются глазами.

Настасья с мужем сидят в сторонке у кустика.

Марина одета празднично, бодрая: такой давно не видали. Бабы наперерыв беседуют с ней.

— С самим-то разговариваешь? — спрашивает ее Устинья.

— Да ведь как.

— Смотри, уж и повеселела!

— День меркнет ночью, а человек печалью,— неохотно отвечает Марина. Она боится и не любит Устинью.

Муж Настасьи Вавила приходил на покос только раз в неделю. Он теперь работал на шоссе десятником. Аверьян здоровался с ним за руку. Изредка перебрасывались двумя словами.

— Плохи стоги мечут,— говорит Аверьян

— Да не стоги, а шляпы. Прольет. Вот у тебя они хороши. Молодец!

И решили, что метальщики торопятся: думают больше о трудоднях, а не о качестве.

«Хороший он человек»,— мелькало в голове Аверьяна после каждой встречи с Вавилой. Беседовать с ним становилось все легче и легче. Бабы, сначала следившие за ними с жестоким любопытством, больше не обращали на них внимания. Вавила рассказывал о своей работе: все-таки был малограмотным, а стал специалистом. У нас каждый человек растет. Нередко они посмеивались над председателем Маносом, который, как только узнал, что Аверьян прислан партийной организацией, проникся к нему уважением, часто даже называл его на «вы». Когда бабы, любившие иногда пошалить грубо, вздумали снять с Аверьяна портки, Манос рассвирепел, групповода Ваську, подбивавшего баб на это, обозвал двурушником.

— Ты вот что,— укоризненно заметил ему Аверьян.— Этим словом зря не бросайся!

— Да ведь как же! — кричал Манос.— Он все время кого-нибудь воспламеняет!

Васька смеялся вместе со всеми.

Манос стоял прямой и величественный. Он был высок ростом, сухощав, в широкой русой бороде ни одного седого волоса. На нем была ковбойка, забранная в черные галифе, на голове пестрая, под цвет ковбойки, кепка, подаренная прошлый год племянником.

До прихода Аверьяна Манос с почтением относился к групповоду Илье Евшину, хотя в душе и недолюбливал его. Теперь он Илью пренебрегал открыто.

— Хоть ты и коммунист,— говорил он Илье,— а все-таки не послан.

И сразу повертывался к нему спиной.

Илья усмехался, снисходительно поддакивал, но чувствовалось, что это его задевает.

Манос был очень бесцеремонен в обращении, и отучить его от этого было невозможно.

— Эй ты, продукт! — кричал он Илье.— Это что у тебя за стоги? Сено портишь! У меня уже давно насчет тебя есть кое-какие теории.

Сзади Маноса шла вся группа Васьки. Все насторожились. В группе Ильи тоже все притихли.

Илья подошел к Маносу. Желтые глаза его были полны злобы. Он переглянулся с Аверьяном и вполголоса заговорил:

— Напрасно кричишь. Мой стог круглый, ровный, как сбитый.

— Дудки,— сказал Манос.— Ставлю на вид!

Илья осмотрел его насмешливо, потом обвел взглядом группу Васьки. Все неловко молчали.

— Какой строгий у нас Проня,— сказал Илья.

Манос на это не ответил. Он с достоинством повернулся и указал Илье в угол пожни.

— Вон того калеку я тебя заставлю переметать. И выйдет, что «Пришел за шерстью, а воротился стриженый».

Женщины засмеялись. Начали перешептываться.

Илья побагровел. Короткие пухлые руки его задрожали.

— Знаешь ты черта! — крикнул он.

Манос, как бы не замечая Ильи, кивнул своим:

— Пошли!

Илья сделал Аверьяну знак рукой. Аверьян остался.

Илья нервно курил, глядел исподлобья. Потом он подошел к своему пиджаку, достал из кармана очки, какую-то бумажку и протянул ее Аверьяну.

— Это чего? Посмотри-ка.

Аверьян узнал свой почерк. Вспомнил, как прошлый год на правлении выносил Илье письменную благодарность за групповодство на покосе. Ему стало неприятно. Он молча протянул бумажку Илье.

— Прочитал?

— Да...

— Кто подписывал-то?

— Проня.

Илья улыбнулся, отнес бумажку на всю вытянутую руку и стал читать ее вслух.

Аверьян отвернулся.

На пожне жужжали косы. Роса давно обсохла, косить стало труднее. К кустам на пригорке шел белоус, он щетинился, хрустел под косой, подгибался, нога скользила по нему, как по льду.

— Смотри,— сказал Илья, пряча бумажку,— как тут будешь метать? Он не сидит на стогу-то, ползет! — И резко сдернул очки.

— Ну, не все белоус,— осторожно заметил Аверьян.

Илья стоял к нему боком, прятал глаза. Широколицый, с большой бородой, с коротко подстриженными волосами, он казался Аверьяну смешным.

— Я от тебя этого не ожидал,— заговорил Илья,— члена партии позорят у всех на виду, а ты стоишь, послушиваешь, будто и дело не твое.

Аверьян ответил не сразу.

— Проня вопрос ставит правильно. Глядя на тебя, и у нас в группе плохо мечут.

— Значит, я порчу сено?

— Пожалуй, так.

— Я старый воробей,— строго заговорил Илья.— Меня на мякине не проведешь. Я знаю, что ты хочешь! Ты хочешь завести в группе склоку. Не удастся!

«Надо держаться!»— подумал Аверьян и по-прежнему ровно ответил:

— Нет, я этого не хочу. Я просто хочу, чтобы ты лучше работал.

Он пошел от Ильи и с раздражением думал о том, что предстоит еще немало мучений с Маносом.

Манос встретил Аверьяна радостно.

— Нельзя так сплеча! — строго сказал ему Аверьян.— Ты руководитель колхоза.

— А! — улыбнулся Манос.— Ты все об этом любезном друге. Да я его еще буду в каждый стог рылом тыкать!

Манос взял косу Устиньи, стал рассматривать ее и тихонько напевал:

Догорай, гори, моя лучина,
Догорю с тобой и я...

Аверьян увидал, что разговаривать с ним сейчас бесполезно, да и не к месту,— рассерженный, отошел. Весь день он был молчалив и злился на Маноса.

Вечером, проходя через пожню Ильи, с удивлением обнаружил: стог в углу был переметан.

Илья неожиданно приходит к нему под березы.

— Сена не оставил? — издали спрашивает он.

— Нет, все уклали.

— То-то.

Весь горизонт закрыт густыми тучами. В овраге, за гумнами, начинает журчать совсем было притихший ручей.

У Ильи усталое лицо, глаза потеряли блеск: ломает перед погодой.

Он садится на бревно рядом с Аверьяном и, как бы продолжая рассказ, говорит:

— А разве вся-то жизнь была утеха? Еще малолетком на сплав пошел. Год на позиции. Один раз с товарищем несли цементную плиту для убежища. Она вывернулась да мне на грудь. Так меня в болото и вмяло. С того увечье. Годы еще не убили, убила болезнь да заботы.

Илья смотрит в землю. Около рта у него глубокие складки. Плечи размякли, опустились.

«Вчера надо было с ним помягче»,— думает Аверьян. И снова с раздражением вспоминает Маноса.

— Учился самоуком — от школьников,— продолжает Илья.— В то время у нас в Старом селе было дворов тридцать. Всего пять белых печек. Лучина... Дед мой ходил на путину. С Кубенского устья до Питера тянули доски. Меня с собой брал. Так я и познал чужую сторону в двенадцать лет. Подрос, сам ходил коренным, шкипером от купца Никуличева. В Питере знакомился с рабочими. До 1905 года кое-что узнал, но мало. По-настоящему глаза открылись только в семнадцатом году. Злых людей много. Говорили, что я и с эсерами, и с меньшевиками шел, что у меня и сын Витька у белых служил. Все пришлось вытерпеть. А ведь грамота у меня никакая! Все волнует, все мучит и до всего доходишь ощупью.

Слышится отдаленный гром. Они идут в избу. Илья кряхтит.

В избе темно и тихо. Смутно желтеет намытый пол. В простенке у шкафа белым пятном — Марина. Она сразу же встает, прикрывает полотенцем самовар и уносит его за печку. Потом запирает ворота и подсаживается к столу.

Илья рассказывает задушевно.

Марина сидит, подперев лицо руками, и в упор смотрит на рассказчика. Аверьян замечает, что она взволнована. Это радует его.

Да, Илье пришлось не мало повидать в чужих людях. Аверьян помнит, как однажды, в восемнадцатом году, трое

незнакомых людей жестоко били Илью около гумен. Потом люди уехали, а Илья, жалкий, окровавленный, шел в деревню и кричал:

— Всех не прибить! Всех не прибить!

С того времени Аверьян стал уважать Илью и многое ему прощал. Такой человек может ошибаться, но ему не зажмешь рот. Недаром и сейчас его выступления на собраниях побаиваются. Он режет в глаза. У него постоянно с собой большая клеенчатая тетрадь, полная выписок из газет и всевозможных заметок.

Марина поворачивается к мужу, и Аверьян видит в глазах ее смех. После этого он уже не может сидеть спокойно, все думает о том, какая она нечуткая. Ему хочется встать и уйти. Он с трудом дослушивает Илью, провожает его за ворота и долго стоит в сарае. Зорька подходит и трется о его ноги. Он возвращается в избу и садится в темном углу.

— Ой, прохвостина, и вра-а-ал!..— неожиданно произносит Марина.

Его кидает в пот от досады. Он с трудом сдерживается.

— Как тебе не стыдно! Тебя ничем не проймешь.

Марина молчит. Кажется, она смущена, не знает, что ответить. Это несколько смягчает Аверьяна.

— Слушаешь ты всякие сплетни. Пора бы, кажется, перестать.

— А что мы его, калабаху, разве мало знаем? — просто говорит Марина и, не давая возразить, принимается рассказывать об Илье все то, что обычно любят перебирать досужие бабы.

Но Аверьян слушает жену, и Илья перед ним двоится. Он говорит Марине:

— А ты все-таки перестань. Рады, такие-сякие, закопать человека.

Обиды на жену в нем уже нет. Он думает о том, что теперь для него трудности будут не уменьшаться, а расти с каждым днем больше и больше. Жизнь усложняется. Он должен на все смотреть прямо и все уметь объяснить. Так ли у других? Мучаются ли так Макар Иванович, Илья? Всегда ли все для них ясно? Обо всем ли можно вычитать из книг?

Над самым домом гремит. Вспыхивает широкая молния, и на секунду они видят всю избу. Потом снова все погружается во мрак. Они сидят, как слепые, и прислушиваются к стону берез за окном. Молнии начинают сиять беспрерывно. Один

раз молния кудрявыми зигзагами разрезает небо сверху донизу. Аверьян успевает увидеть белый столб церкви в Костиной горке и совершенно изуродованную, пригнутую к земле рощу. Все время кажется, что избу сорвет и унесет куда-нибудь.

Марина сидит у шкафа, не двигаясь, безмолвно. Ни охов, ни суетни. Она даже изредка взглядывает в окно. На лице ее, освещенном молниями, ни растерянности ни страха. Это что-то новое в ней.

Аверьян старается понять, отчего это, и все смотрит на жену.

— Ребят напугает,— озабоченно говорит Марина и бежит в клеть.

Скоро возвращается.

— Ничего. Я окошко завесила.

— Не течет?

— Пока нет.

Да, в Марине произошла перемена. Она прошла через большое горе, но выдержала, выросла и окрепла. За последнее время он не слыхал, чтобы она с кем-нибудь ругалась или на кого-нибудь жаловалась.

— Не страшно? — участливо спрашивает он.

— Ничего.

— Ты бы подвинулась сюда, в простенок...

Она послушно садится с ним рядом. Робко, как в юности, Аверьян кладет ей на плечо руку, и они сидят молча.

«Нет,— думает Аверьян,— ни в одной книге не найдешь того, как быть с человеком, которого уважаешь, но сердце к которому погасло навсегда...» И он решает, что этого человека надо возвышать в своих глазах. От этого человек очищается, крепнет и видит больше радости. Но надо и себя считать сильным, мужественным, способным на самое лучшее.

— Убило всю рассаду,— говорит Марина.

Он подходит к боковой стене и смотрит в огород. Трава на меже, картофельная ботва, лук, крапива у изгороди, раскачиваясь и приклоняясь к земле, рекой уплывают в поле. В редких каплях дождя все еще отблески молний, но гремит уже отдаленно. Потом все затихает. Скрываются тучи. Разом становится светло. Слышен грохот ручьев в канавах. Дорога вся сливается в один поток и к низу, к гумнам, несет щепки, солому, старый бурьян, поднятый где-то на задворках.

Высунувшись до половины в окно, Аверьян взволнованно осматривает землю.

Глава девятая

В избе влажные запахи земли и березовых листьев. Ни комара, ни мухи. Березы совсем застыли у окна. Солнце уже взошло. На выгоне ревут коровы, слышится рожок пастуха Тимохи. Бабы сегодны, ради выходного и грозовой ночи, проспали.

Напившись чаю, Аверьян идет на реку Аньгу посмотреть утиные выводки. Зорька, видя его без ружья, остается дома.

За одну ночь Аньга пополнела, разлилась по заливам и оврагам. Кое-где занесло песком покосы. Будет трудно косить.

Аверьян идет лесом, в верха, к старой Колывановой мельнице. Над плесом туман, как в большой чаше. Бревна старой плотины совсем скрыты водой. Наклонившись, Аверьян крадется по лесу.

Здесь всегда выводок, но сейчас плесо чисто. Удивленный, Аверьян выпрямляется и подходит к самой воде. За кустом на мели стоят бабы. Перемокшие, веселые, все с подоткнутыми юбками, у всех полные корзины черники. Одна пьет пригоршней воду. Поодаль, крепко поставив загорелые ноги, стоит Настасья — в белой рубашке, в новой юбке, грубого домашнего тканья. Она рассматривает Аверьяна и слегка улыбается. Руки ее раскинуты, корзина и белый узелок свободно висят через плечо. Вода вьется вокруг ее ног серебряными гребешками, видно, как перекатывается около ног галька.

— Нашел выводок, да не тот,— говорит ему Устинья.— Мы, брат, видели, как ты полз.

Спереди Аверьян весь мокрый.

— Черти,— говорит он,— согнали выводок.

— А ты лучше на нас посмотри,— продолжает Устинья.

— Глаза разбегаются.

— Ну, батюшка, сокол с лету хватает.

Бабы выходят из реки и обступают его. От корзин пахнет летом, свежестью. Он пробует из каждой корзины.

— Все бегает,— замечает Устинья.— И поговорить с ним некогда. Стал коммунистом,— так зазнался.

— Ну, ты зря. Я еще не коммунист.

— Скоро станешь речи говорить, как Илья...

— Не знаю. Если научусь, стану.

Устинья лукаво переглядывается с бабами.

— Первый день, когда ты пришел, у нас говорили: «Вон

горская молодая пришла. Давайте спросим: каково первый год у свекровушки?»

Бабы смеются.

— А ну вас! — отмахивается Аверьян.

Настасья не пристает к разговорам. Она стоит в стороне и поправляет юбку. Аверьян подходит к ней. На секунду видит ее лицо и отводит глаза.

— Да возьми и побольше,— говорит Настасья,— не жаль.

Он берет целую горсть и с равнодушным видом поворачивается к ней спиной.

— Что, все у нас в группе будешь аль в другую уйдешь? — спрашивает Устинья.

— У вас.

— Сегодня станешь стог метать,— возьми меня в помощники.

— Ну, поспеет сено — ладно.

Бабы шумно идут по лесу, а он стоит на берегу и с раздражением думает о том, что до сих пор, встречаясь с Настасьей, не может прямо смотреть ей в глаза.

Потом он догоняет женщин.

— Нас ругаешь, а без нас никуда,— говорит Устинья и встает с ним рядом.

Аверьян обнимает ее за талию, и они, не торопясь, в ногу идут за толпой.

— Раньше-то ведь мы с тобой друг от друга ничего не утаивали,— говорит Устинья.

— Я и сейчас такой.

— Неправда. В тебе сейчас уже той простоты нет.

Они спускаются в овраг. Устинья шагает совсем медленно. Женщины удаляются от них. Впереди, за елками, мелькают платки, кофты.

Устинья тихо спрашивает:

— Правда ли, что ты осенью с Настасьей в обнимку ходил?

Аверьян выпускает ее талию.

— Ты бы меньше сплетничала!

Несколько минут Устинья молчит. Потом поворачивает к нему круглое улыбающееся лицо и начинает трещать:

— Бабы рассказывают: «Она один раз вечером идет, и он идет. Он ее взял, захватил: «Нам с тобой хоть бы в обнимку пройти».—«Нет, не стоит. Чего зевал раньше? Мне надо на конюшню идти коней кормить».—«Пойдем вмес-

те».—«Нет, который-нибудь один сначала пойдет — либо ты, либо я». Вот после Настасья с Мариной встретились, Марина ей:«Ты молодец».—«А что?»—«Хорошо ты с моим занимаешься».—«Я ничего не занимаюсь. Он меня звал во двор, да я не пошла...»—«Мы с дочерью шли, все у вас подслушали».—«Подслушали — так чего?»—«А он к тебе приставал, да ты не согласилась».—«Нет, мы только пошутили».—«А вот мы с дочерью ждали, уж если бы ты согласилась, так обоим бы головы отрубили».— «Ну, матушка, надо дождаться, чтобы согласилась да чтобы пошли...»

Лицо у Аверьяна горит. Откуда пошла эта сплетня? Он злобно смотрит на Устинью.

Устинья затихает. Большие серые глаза ее печальны.

— А ты не сердись,— говорит она.— Может, бабы тут и не виноваты. Дыму, батюшка, без огня не бывает...

Устинья застенчиво улыбается.

— Вот у меня в девках тоже дружок был, так, бывало, на покосе видишь — его сапоги лежат, сапоги-то надо задеть...

— Бывает...

Он смотрит в просветы елок, как бы занятый только рекой.

— Вот тут на камнях любят жить утки...

Устинья хитро улыбается и начинает говорить о ягодах: сколько в этом году черники!

Всю дорогу болтают. Устинья больше не вспоминает о Настасье, и, когда они, догнав баб, умолкают, Аверьян благодарно смотрит на нее.

Все к полудню просохло, но метать стоги Аверьяну не пришлось: обмеряли приусадебные участки. Аверьян сидел у Ильи и поджидал комиссию.

В большой летней половине избы было прохладно и сумрачно: окна выходили в хмельник. Эту половину Илья называл горницей. Она служила только для детей, приезжающих из города на лето. Изредка Илья принимал здесь почетных гостей. Иногда сам читал здесь газету или слушал патефон. Все здесь было по-особенному. На подоконниках стояли цветы. На столе, покрытом кружевной скатертью,— письменный прибор, украшенный раковинами. Павла даже входила сюда редко, разве прибрать после мужа, если он что бросил на пол.

На передней стене висел увеличенный портрет Ильи в раме. Под ним подпись: «Дорогому папе. Витя и Матреша». По обе стороны портрета, в рамах под стеклом — ударные грамоты Ильи, выданные лесными и сплавными организациями. Тут же благодарственная грамота своего колхоза, которую Илья показывал Аверьяну. В стороне висели свидетельства детей об окончании школы и их фотографические карточки.

На полавочнике Аверьян заметил уголок книги и достал ее. Это оказалась клеенчатая тетрадь Ильи. Краснея, Аверьян начал быстро ее перелистывать. Вначале шли выписки из газет. Потом запись наблюдений за погодой, приметы, учет работы всей семьи. Половина тетради была отведена для хроники колхозных событий.

«29 июня. Поездка Маноса к озеру на колхозной лошади по личным делам. Вернулся только в 9 часов вечера.

14 июля. Двурушническое поведение кандидата Ав. на пожне Ковытихе в 8 час. утра.

23 июля. В сильную грозу сидел у Ав. Рассказывал о своей рев. деятельности. Ушел около 12 час. ночи. Днем по настоянию Маноса остались необметанными копны. Облака заходили около шести часов вечера...»

Послышались шаги Ильи. Аверьян сунул тетрадь на прежнее место и отошел на середину комнаты. Илья заметил его растерянность, быстро и подозрительно осмотрел комнату, полавочник.

— Ну вот, сейчас и самовар поспеет.

Подошел к полавочнику и резким движением толкнул тетрадь к стене.

Илья сел за стол на хозяйское место и отмахнул окно. Мирно запахло хмелем и крапивой.

— Не помню, закрыл вчера в сельсовете шкаф или нет,— сказал Аверьян.— Вот сижу и думаю.

— Ну, там у тебя Онисим не прозевает.

— Разве что так.

Неловкость прошла. Когда Павла внесла самовар, Илья во весь голос стал продолжать вчерашний рассказ о своей жизни.

Аверьян слушал внимательно, наблюдая за лицом Ильи, за его энергичными движениями. Потом неожиданно спросил:

— За что тебя били тогда у гумен?

Илья сразу замолчал, сдвинул брови. Павла возмущен-

но вытаращила глаза. Кран зафыркал у нее под рукой.

— Открой, открой хорошенько,— крикнул Илья и незаметно ткнул ее локтем в бедро.

Павла долила стакан и сразу вышла. Когда затихли в сенях ее шаги, Илья сказал:

— А разве в то время врагов не было?

Аверьян не отвечая, вопросительно смотрел на него.

— Ведь тогда как было: активиста подстерегали за каждым углом. А разве мало нас погибло от кулацких обрезов?

— Тебя-то за что? — уже несколько раздраженно, с тревогой спросил Аверьян.

Илья снисходительно улыбнулся:

— Ну, как ты думаешь, за что могли бить общественника, который у них реквизиции проводил?

Аверьян поставил стакан на блюдечко и откинулся к стене.

Он больше не спрашивал, и, когда Илья несколько неуверенно принялся описывать, как он восстановил против себя все кулачество Лукьяновского сельсовета, Аверьян рассматривал фотографии на стене, изредка лишь произнося:

— Аа... Вот что.

Илья совсем растерялся, замолчал.

Как бы не замечая этого, Аверьян сказал:

— Ну, пошли, что ли? Вон прибыла комиссия.

За хмельником слышался голос Маноса:

— Я спрашиваю у своей Авдотьи: «Был тут — рубаха в клетку?»—«Приходил какой-то».—«Дура, должна была сообщить исполнителю».—«А я чем знаю?» Так и не открыли — кто, а судя по роже — явный. И знаете что, товарищ Азыкин, стал я с тех пор заметно худеть и вянуть!

Увидав на крыльце Илью и Аверьяна, Манос притих, но через минуту уже весело покрикивал Илье:

— Давай-ка ты, мудрило-мученик, докажи беспартийным товарищам!

Илья резко повернулся к Маносу спиной.

— Можете начать и с меня,— сказал он Макару Ивановичу.— А потом я уйду на покос.

Пошли в огород Ильи. Манос держал на плече треугольную меру.

— У тебя тут, Илюха, соток семь лишку будет! — сказал он, осматривая усадьбу.

Илья не ответил. Аверьян почувствовал на себе его злобный взгляд и сказал Маносу:

— Ты перестань болтать-то.

Манос взмахнул мерой и быстро пошел вдоль по огороду. Илья сначала смотрел на него, потом сорвался с места и зашагал сбоку, прямо по грядам, спотыкаясь и обваливая землю в борозды.

Манос закинул конец меры на изгородь и крикнул:

— Шестнадцать с половиной.

Аверьян записал.

Манос взмахнул мерой перед самым носом Ильи. Илья быстро отклонился. Это понравилось Маносу. В следующие разы он стал нагибать меру то вперед, то в сторону так, что конец ее все время свистел перед носом Ильи.

— Поберегись! Восемь. Десять...

Илья злился, но молчал. Аверьян еле сдерживал смех.

Макар Иванович и работник земельного отдела Азыкин — маленький небритый человек в очках — сидели на бревне и о чем-то тихо беседовали.

Обходя яму, из которой брали глину, Манос оступился и спутал счет. Он подумал секунду и уверенно зашагал дальше.

Аверьян снова записал, перемножил. Получилось немного больше нормы.

— Вертел мерой,— сказал Илья.— Мог натянуть.

— Нно! — крикнул Манос.— Я перемерю...

Аверьян кивнул ему в знак согласия.

— Перемерь только поперек: у ямы ты сбился.

Манос быстро и четко переменил и нашел еще две лишних меры.

— Теряет характер! — радостно сообщил он, кивнув в сторону удаляющегося Ильи.— Придется отрезать много.

— Много излишков найдем мы у вас на усадьбах,— сказал на это Азыкин.

— Что ж, не только у нас,— согласился Макар Иванович.

Пошли на другую усадьбу. Манос, наклонясь к Аверьяну, заговорил:

— У ямы я нарочно спутал... Тут как-то вечером смотрю — меряет сам. Кол поднимет, оглянется, опять опустит. Так весь огород и прошел. Выжига! — громко добавил Манос.

Аверьян дернул Маноса за рукав, и тот успокоился.

Вечером Илья задержал Аверьяна на краю деревни и кивнул на уходящего Маноса...

— Что тебе этот про меня все врет?

— Почему ты думаешь, что говорили о тебе?

Илья поморщился.

— Я давно заметил, что ты ведешь с беспартийными вредные разговоры.— Губы Ильи задрожали.— Ты мой авторитет запачкал. Теперь меня в группе слушать перестали Смотри — не с того конца начал карьеру!

Аверьян ответил тихо:

— Я тебя не понимаю.

— Когда-нибудь поймешь!

Илья блеснул на него глазами и ушел.

С этого дня Аверьян не знал покоя. Что за человек Илья?

Однажды Аверьян не выдержал, пошел к Вавиле и все ему рассказал.

Вавила подумал, посмотрел в сторону.

— Если так,— сказал Вавила,— то, конечно, Илья шкурник. Таких надо к черту выбрасывать из партии. Я его и раньше не особенно жаловал: самолюб, хвастун. Что же поделаешь, язык его спасает. Я раньше вот так же, вроде тебя, смотрю на Илью и думаю: «Человек как будто полезный, а сволочь!» Черт знает, что получается. Разберись!

Вавила горько улыбнулся.

— Ну вот сейчас, что ты о нем скажешь? Плохо стоги метал — выправился. Хотел на своем участке землю скрыть? Он в этом не сознается, раз он прохвост, а Маносу кто поверит? Они друг друга не терпят. Понимаешь,— заключил Вавила,— это все беда как сложно. Ведь можно и так сказать, что человека выправить надо, а не отсекать, раз он не чужой!

Так, ничего не решив, они расстались.

Глава десятая

Секретарь райкома Василий Родионович Ребринский едет старым проселком.

Сквозь тонкую завесу пыли леса кажутся незнакомыми. Проплывают шумные поля с цветными кофтами жниц, со стрекотом жнеек. Сверкает на повороте река Модлонь. Навстречу — снова лес. Давно созрела черника. Тяжелеет ма-

лина. Иногда на секунду запахнет сухими груздями или рыжиками.

Василий Родионович вырос в этих местах, он издали узнает наклонившуюся к дороге кривую сосну, овраг, заросший черемухой, излучины и пороги на Модлони и каждый раз, выезжая сюда вот по этой Пабережской дороге, не может скрыть волнения. Удивительные места!

У Василия Родионовича есть ружье, но охотник он плохой. Он мирный любитель природы. Эту любовь унаследовал он от отца-лесничего и сам кончил Ленинградский лесотехнический институт. Временами он тоскует по работе в лесу.

Изредка машина кого-нибудь догоняет: риковского работника, колхозника, ходившего в райпо за покупками.

Василий Родионович приглашает садиться.

Человек осторожно открывает дверцу, просовывает впереди себя мелкокалиберку. Он небольшого роста, весь какой-то аккуратный, гибкий, с упругими движениями. Лицо у него энергичное, серые с огоньком глаза. Он чисто выбрит, темно-русые волосы свисают на высокий лоб. Это охотник Аверьян. Василий Родионович познакомился с ним на пленуме Зеленоборского сельсовета. Ему понравилось выступление Аверьяна — четкое, сдержанное, умное. Наклонившись к Макару Ивановичу, он спросил:

— Кто это?

— Наш счетовод.

— Занимайтесь с парнем, из него хороший работник выйдет.

— Только приняли в кандидаты.

— А! Хорошо. Очень хорошо.

Василий Родионович стал следить за этим кандидатом— одним из ста двадцати, принятых в районе в этом году. Он справляется о нем по телефону, через уполномоченных.

Василий Родионович повертывается к Аверьяну.

— Ну, как дела-то?

— Ничего. Вот ходил навещать дочь. Учится в средней школе.

— Ну, а как сам-то — учишься?

— Да, почитываю. Больно трудна четвертая глава...

— А ты бы вместе с секретарем?

Аверьян не хочет говорить о том, что сам Макар Иванович с трудом разбирается в этом.

— Много еще других вопросов,— переводит он разговор.

Василий Родионович наклоняется к нему.

— Для вас, товарищ Ребринский, всегда все ясно?

— В чем?

— В людях.

Василий Родионович смотрит на него с удивлением.

— Все просто только для того, кто привык делать не рассуждая,— говорит он.— Но мне-то, может быть, несколько легче, чем тебе, я много работал над книгами, учился.

— Если в партии окажется прохвост, что с ним делать? — неожиданно спрашивает Аверьян.

Василий Родионович смотрит на него с удивлением.

— Конечно, гнать в три шеи. Разве для тебя это не ясно?

— Ясно. Я так и думал,— отвечает Аверьян и смотрит рассеянно.

— У тебя что-то есть? — участливо спрашивает Василий Родионович.

Аверьян молчит.

Василий Родионович больше не спрашивает.

Подъезжают к перекрестку дорог. Перед ними шоссе. Свежеположенный камень засыпан белым песком. По краям еле намечаются тропки. На ровных стенках канав еще видны следы железных лопат. Влево шоссе перегорожено: эта часть пути пока не открыта.

Они съезжают с проселка, и машина идет ровнее. Строгая линия шоссе ослепительно светится. Пыли почти нет. Солнце ловит их в просветы елок и заставляет жмуриться.

Вот новый мостик через ручей. На желтом настиле, у перил, еще валяются стружки.

Где-то в стороне кривляет по лесу старый проселок.

Василий Родионович кивает Аверьяну на шоссе.

— А человек-то из ваших вырос. Мастер!

— Да, да, курсы прошел недаром.

— Ну, как он дома? Жена есть, дети?

— Есть. Ничего, живет. Оба они с Настасьей работники хорошие.

Аверьян высовывается наружу.

— Вот и наше Зеленоборье.

Лес обрывается, и они видят внизу весь сельсовет, разрезанный двумя реками. Прямо на них от Новопокровского леса несется широкая и стремительная Модлонь. По бере-

гам ее деревни: Тимошкино, Дор, Прозоровка, Ястребки, Старое село. Слева из Раменского леса впадает в нее Аньга — кривая и узкая, как второпях брошенный ремешок. На ней только одна деревушка у самого леса — Прилепы.

Через Модлонь, из Старого села в Костину горку, висит над водой переход — тонкие лавинки, с перилами. На самом берегу у перехода дорога круто сворачивает влево и идет полями до самого леса.

— Вот,— говорит Василий Родионович,— надо сделать так, чтобы эта дорога не сворачивала.

— Да, да,— кивает Аверьян.

Оба, задумавшись, смотрят на реку.

— К старику Ермоше чай пить? — спрашивает шофер Нефедыч.

— Давай! — весело соглашается Василий Родионович.— Кстати и выкупаемся.

Вправо на холме, в группе молодых сосен, пестреют крыши Лебежского хутора.

Нефедыч осторожно сворачивает по мостику через канаву, и вот они уже на хуторе. Старик Ермоша сидит в огороде с внучкой Нинкой. Увидав секретаря, садит девчонку прямо в траву и семенит к крылечку.

— Здравствуй, дед!

— Здравствуй. Чаю хочешь?

— Да, согрей.

Ермоша отечески осматривает его.

— Что давно не видно? Мы думали, не уехал ли куда?

— Как здоровье-то?

— Я-то? — не расслышав, отвечает старик.— Пускай сын со снохой переезжают, а я останусь. Стану жить в баньке.

— Что, отсюда не хочется?

— Да ведь как, привычка...

Старик, опечаленный, умолкает. Потом идет греть самовар и все ворчит.

Все трое спускаются к реке.

Жарко даже в кустах. За гумном с картофельных гряд поднимается тонкая пыль.

— Как овсы? — спрашивает Василий Родионович.

— Здесь ничего, а вот в Азле, говорят, погорели. У нас и все так: не иней, так засуха. Старики рассказывают: был тут годок — в конце мая снегу нападало.

Василий Родионович осматривает широкие ржаные скло-

ны, ряды белых берез на берегу Модлони. Кое-где сереют громадные камни, на них пятна зеленого мха, глубокие впадины и округлости, сохранившиеся, вероятно, еще со времен ледников. Здесь все необычно. Но какая суровая сторона!

Чай пьют в огороде под черемухой. Ермоша, в расстегнутой рубахе, босиком, носится, собирая посуду. Ему помогает Нефедыч. Нинка сидит в траве тихо.

— Жарко, дед,— говорит Василий Родионович.

Ермоша понимающе улыбается.

— Нет, ничего, я тут сорок лет прожил. Вот только разве зимой одному будет постыло.

Аверьян спешит домой. Он хочет пройти до деревни берегом, осмотреть: огорожены ли стоги? Василий Родионович на прощание крепко жмет ему руку:

— Ну, как ты теперь, успокоился?

— Да.

— А самый трудный вопрос все-таки приберег для другого раза?

Аверьян ничего не отвечает.

Вопрос о поведении Ильи сейчас кажется совсем мелким, но, главное, не хочется говорить еще и потому, что это будет похоже на кляузу.

Глава одиннадцатая

Аверьяна хорошо видно со всех склонов поля. Женщины сноповязальщицы останавливаются, прикладывают руки к глазам и смотрят на него. Любопытный народ! Как будто целый год не видели. Осмотрев пожни, он спускается в овраг и идет по высохшему руслу ручья к большой дороге. Пускай думают: куда потерялся? Здесь, под ольхами, тихо, прохладно. Он идет не спеша.

Впереди шуршит галька. Аверьян останавливается и за кустом видит синюю кофту Настасьи. Он сразу соображает, что встреча эта не случайна, что Настасья вместе с другими видела, как он шел по берегу, и нарочно пришла сюда.

Аверьян с полминуты стоит и смотрит на нее. Потом, стараясь сдержать волнение, шутит:

— Хороших людей везде встречают.

— Как же, ведь все-таки начальство.

Она подходит к нему, сильная, загорелая, босиком. Белый платок лежит на плече.

— Ты зачем пришла?

— Давно тебя не видела.

— Все такой же...

Она смотрит на него тревожно и пристально, как бы изучая. Аверьян не понимает, в чем дело.

Потом лицо ее светлеет. Она доверчиво придвигается к нему и шепчет:

— Надо идти, а то скажут: опять сошлись.

Оба тихонько смеются.

— Что же теперь-то? — говорит Аверьян.— Теперь-то, наверное, ничего.

Молчат. Слышно, как работает жнейка.

Настасья перекатывает босой ногой гальку.

— Стою и думаю,— говорит она,— сказывать самой или от других узнаешь?

День перед ним темнеет. Он садится на выступ берега.

Не глядя на него, Настасья продолжает:

— Кто-то пронес, что на воскресенье вечером нас с тобой застали в овине.

Щеки ее пылают.

Теперь и Аверьян не смотрит на нее. Он бормочет:

— Черт знает что такое!

Настасья берет кончик платка и подносит его к лицу. Вдруг она резко выпрямляется, смотрит ему в глаза и твердо произносит:

— Никому не выговаривай. Надо виду не показать, тогда отступят!

Она уже повеселела. Улыбается. Надо было придумать это!

Быстро поднимаясь из оврага, она оглядывается на Аверьяна и шутливо поет:

Милый мой, не сознавайся,
Я так не сознаюся.
Укорят, так ты посмейся,
Я так заругаюся...

И, махнув ему рукой, скрывается за кустами.

Ее давно уже не слышно, а Аверьян все стоит, стараясь разобраться во всем том, что сейчас слышал и видел.

Дома Аверьян делает вид, что ничего не знает, но вскоре ему становится стыдно жены. Он с горечью говорит:

— Никак не дают жить. Убежал бы черт знает куда от этих сплетен!

Марина молчит. Теперь ее не разубедишь ничем. У нее совсем не живое лицо, глаза страдальчески смотрят в одну точку. Как она похудела за эти несколько дней! Но она не жалуется, не плачет и, когда приходит Павла Евшина с намеками о худой жизни, деревянно отвечает ей:

— Ну, кому как живется.

И больше ни звука.

Сплетня пущена так ловко, что всюду он слышит одно и то же.

Вечером в маслодельном заводе Павла — та прямо говорит:

— Вот, бабы, недолго Марина покрасовалась! Вот кто поплакал, помучился! Как их снова-то черт столкнул. Да какой домовой и высмотрел-то! Ну и народ...

Павла оглядывается кругом. Аверьяна в толпе не замечает:

— Вот тебе и партийный...— добавляет она.

Наклонившись, Аверьян пробирается на улицу. Земля перед ним плывет. Он долго шатается по полю, потом задворками выходит на проселок и направляется в Костину горку.

Солнце на закате. Бабы, пришедшие с работы, с любопытством рассматривали его. Около сельсовета пусто. Аверьян подходит к окошку.

Онисим сидит на полу и сматывает новые сети. Он так занят, что Аверьяна не замечает. Аверьян осторожно дергает к себе раму. Рама отходит.

— Плохо закрываешься,— говорит он, наваливаясь на подоконник.

Старик поднимает голову.

— О-о! Пришел, Бова-королевич. А я уж думал, так в городе и останешься.

Онисим продолжал сматывать сети, изредка посматривает на него и улыбается.

— Дома-то все ладно?

— Плохо, старик! Ты ничего не слышал?

Онисим, кряхтя, разгибается и подходит к окну.

— Вот беда. Ругаешься?

Аверьян рассказывает ему о сплетне.

Онисим чешет затылок.

— Нехорошо,— говорит он строго.— Никуда не годно. Придется тебе поговорить с самим.

Онисим приклоняется к Аверьяну и, щекоча его бородой, спрашивает:

— А может быть, ты о ней думаешь?.. Народ замечает. А?

— Нет, нет! — кричит Аверьян и сминает ногой растущую у стены крапиву.

— Мекаю я на одного человека,— говорит старик.— От этого всего жди!

— Я ни на кого не думаю,— угрюмо отвечает Аверьян и переводит разговор.

— На хуторе был.

— О! Что Ермоша?

— Сидит с девчонкой.

— Не подвел бы он. Завтра хотим на Аньгу. Давай-ка с нами? Лодку найдем, законопачу старую.

— Давайте! — радостно соглашается Аверьян.

Он быстро лезет в окно и начинает помогать старику сматывать сети.

Весело беседуют.

— Избушка у Данислова не снится? — с улыбкой спрашивает Аверьян.

— Да-а-а... Скоро то время. У меня с самим согласовано: только до осени. Как глухарь на сосну вылетел, так меня больше в Костиной горке не увидишь.

— А кто сторожить будет?

— Подговорю Ермошу.

— Ермошу самого понеси, не услышит.

— Но, но, ты меня не дразни, найдем сторожа!

Аверьян смеется.

— Надо попросить Устинью Белову, может быть, согласится,— говорит он.

Они долго беседуют. Онисим рассказывает даже несколько присказок:

— Бывало, мужик-то с бабами пошел в лес, да и заблудились. Мужик залез на елку посмотреть, а поднялся ветер, шорох. Он и кричит бабам: «Ой, улечу!»—«Не улетай, а то мы одни останемся!» (Думают — от них улетит.) Мужик-то лишь с елки полетел... Вот они и остались...

Оба смеются.

— А ночевать все-таки иди домой,— говорит потом Онисим.— Держись, а то улетишь, как этот мужик.

И Аверьян идет домой.

Ночи — как обрезало — стали темны и влажны.

Он бойко топает по земле босыми ногами. Старик Онисим всегда умеет подбодрить!

В Старом селе редкие огни. Во тьме, на крыльце Маносовой избы слышатся тихие женские голоса. Одна из женщин передразнивает Аверьяна.

— Топ! Топ! Топ!

Аверьян останавливается. Женщины затихают.

— Не могу узнать по голосу,— говорит Аверьян.

— Это ты, Аверьян?

— Я.

Теперь он узнает голос Анны — жены Васьки Хромого.

— А мы вязки делаем,— сообщает Анна.— Днем если машина хорошо пойдет, так делать некогда.

— Когда спать-то будете?

— Когда все уберем, тогда выспимся.

— Какие молодцы!

Он легко прыгает через изгородь, опершись на нее руками, и подходит к темному крыльцу. Наклоняется по очереди к каждой, стараясь узнать. Третья с краю — Настасья. Он слышит ее дыхание и чувствует на себе ее теплый взгляд. Быстро отклоняется.

— Что пришел? — говорит Настасья.— Опять какую-нибудь сговоришь, застанут в овине...

Бабы смеются.

— Беда не велика, если и сговорю...

Для виду он осматривает у них вязки («Много ли наделали-то?») и идет.

Вот как она смело! Пожалуй, не сразу найдешься, что ответить. Он вспоминает об их маленьком заговоре, и это прибавляет ему силы.

В семье Вавилы все мирно. С Аверьяном Вавила как ни в чем не бывало встречается, разговаривает.

— Давеча ты куда-то быстро побежал.

— В лавку ходил. Приехала на каникулы Аленка.

— А!.. Большая уж у тебя девчина стала.

— Да вот закончила восьмой. Говорит — все на отлично!

Вспомнив о дочери, Аверьян хмурится. Выйдя из машины, Аленка бросилась к нему, но увидела на дороге баб и

опустила голову. Правда, она говорила с ним, рассказывала о дороге, но в глаза отцу не смотрела. Сплетня, вероятно, дошла и до нее.

Знает ли о сплетне Вавила? Если знает, то в чем дело? Вавила продолжает встречаться с ним.

Аверьян пробирается задворками в Малое поле. Вавила видит его в открытое окно и машет рукой. Аверьян останавливается в нерешительности. Потом подходит к окну. На столе самовар. Сияет фарфоровая утка — сахарница. Настасья в белой вышитой рубашке. Волосы опрятно забраны в пучок. Тут же старуха свекровь и сын Колька. Он сильно похож на мать.

— Что, дорогу закончили? — спрашивает Аверьян.

— Пока до Азлы. Признаться, и надоело! Каждый выходной взад и вперед сорок километров! Да ты давай, заходи! Настасья, налей ему.

Аверьян заходит в избу. Старуха молча и, как ему кажется, злобно сторонится. Он берет из рук Настасьи чашку, не торопясь, щиплет сахар.

До чего уютно у них в избе!

— Теперь у нас в партийной организации будешь,— говорит он.— Станешь помогать в работе.

— Да. Станем работать помаленьку. Азыкин все тут?

— Прикреплен к нашей организации. Бывает часто.

«Как это я так быстро согласился, пошел!»— с досадой думает Аверьян.

Ему кажется, что он крадет тут все: сахар, пироги, место за столом рядом с недружелюбно притихшей старухой.

Сейчас Настасья не смотрит ему в глаза, разливает, слушает их беседу.

Молчание. Испугавшись этого, Аверьян начинает разговаривать с ребенком.

— Ручкой-то, Коля, не надо. Возьми ложечку. Ручку вытри о подол. Вот так.

Настасья говорит сыну:

— Скажи дядюшке, чтобы взял пирога!

Старухе надоедает молчание. Она принимается сообщать новости:

— Лукерья Ермолаева хвастает. Сын из тюрьмы вышел. На свету пришел, постучался у ворот, открыла: «Мое красное солнышко!» Заплакал: «Мама, ты жива?..»

— Долго ли поживет? — говорит Настасья.— Боюсь, до первой рюмки.

— Ну, сейчас руки-то ему окоротили.

Теперь мужчины молчат, слушают их. Аверьян ждет удобного случая уйти. Потом говорит:

— Эх, забыл отправить в район сводку. Так на столе в сельсовете и осталась!

Он поспешно выходит из-за стола, благодарит и бежит на улицу.

Однажды Аверьян замечает, что Вавила пристально следит за ним, и, насторожившись, ждет.

— Слушай-ка, Аверьян,— говорит Вавила.— Давай в выходной катнем к озеру Воже на уток?

— На уток? — стараясь оттянуть время, произносит Аверьян.

— Да. Ведь сезон-то начался!

— Давай! — с трудом выговаривает Аверьян и быстро поправляется: — Я скажу Ивану Корытову.

— А зачем? Вдвоем съездим.

Аверьян пробует улыбнуться.

— Ну, что же, вдвоем больше достанется.

Накануне отъезда они заряжают патроны, кладут в сумки молодого картофеля, хлеб, крупу, ложки.

Аверьян идет к Онисиму договариваться насчет лодки. Он застает Онисима обеспокоенным: близится осень. День ото дня больше и больше желтеет лист, а утрами ежедневно слышится по опушкам лай собак. В Новопокровском лесу, в Пабережском, в своем Старосельском. А в Сухой Ниве, говорят, подросток по одно утро принес с чучалок двадцать семь полевых! Парнишке не больше шестнадцати. Собака Найда, зачуяв осень, лай на опушке, тоскует, скулит у двери. К ружью она уже не подходит. Если взять его в руки, Найда сойдет с ума. Теперь, того и гляди, убежит в лес, пристанет к чужому охотнику, и эта пропадет, как пропал Лыско.

Охотник Лавер давно на Укме. Обжил избу. Таскает глухарей... А у него нет надежды на смену сторожа.

Вот что наделал глухая беда, Ермоша!

Аверьян и сам много думал об этой истории с Ермошей. Старик забросил работу в колхозе, все сидел на пригорке и смотрел, как разламывали двор, потом сарай. Иногда он злил работавших, неожиданно появляясь там, где только что упало бревно, конец доски или обрубок. На него крича-

ли. Ермоша отмалчивался и все старался показать, что бродит по делу. Он заходил в сарай, с которого уже была снята крыша, и заглядывал в крохотное окно на задней стене. Отсюда он сорок лет наблюдал восход солнца.

Когда очередь дошла до избы, сын с женой и ребятишками переселились спать в деревню. Старик ушел жить в баню. Днем он снова стал работать в колхозе, а к ночи плелся сюда, за три километра на опустевший хутор.

Он часами сидел на пригорке у того места, где стоял дом.

Его часто видели здесь с большой дороги и говорили:

— Вон Ермоша вышел на свое подворье.

Аверьян посочувствовал старику. Раз-другой ругнул глухого Ермошу. Онисим постепенно успокоился. Аверьян сказал о лодке.

— Чудно, если с Вавилой,— ответил Онисим.— И говоришь, сам упрашивает?

Старик подумал.

— Скажи-ка ты лучше ему: лодку починить нельзя.

Потом продолжал торопливо, решительно:

— Иди, полюбуйся.

Они спустились к Модлони. Онисим разобрал на берегу большой куст.

По всему килю лодки шла щель.

— Набьем планок, утычем,— сказал Аверьян.

Его охватило неожиданное упорство. Он начал спорить со стариком, а когда тот, наконец, согласился, Аверьян вдруг присмирел и больше не произнес ни слова.

Они принялись за дело, и вскоре лодка была спущена на воду. Аверьян простился со стариком, быстро начал работать веслами и под Старым селом вытащил лодку в пересохшее русло Митина ручья.

Они встречаются на деревне. Оба с ружьями, с котомками.

«Буду молчать,— думает Аверьян.— Пускай он заговаривает».

— Вчера «Правду» читал? — спрашивает Вавила.

— Нет, не успел. А что?

— Как здорово там насчет учебы! А в Сохте секретарь боится, как бы не обвинили в бюрократическом «контроле». И совсем не руководит.

Оба смеются.

Постепенно разговор налаживается. Шагают плечо к

плечу. Аверьян снова чувствует, что Вавила внимательно и неустанно наблюдает за ним. В чем дело? Он резко поднимает голову. Вавила не отводит глаз. Он смотрит пристально и мирно. Аверьян начинает спешить. Целые сутки вместе! Придется ночевать где-нибудь в стогу или в тресте. К чему эти шутки?

Они подходят к Митину ручью. Аверьян прыгает с берега, разбирает кусты и видит, что лодки нет. Он виновато смотрит на Вавилу.

Вавила огорчен.

— Без своей лодки пустое дело.

У самой воды на мокром песке Аверьян видит четкие отпечатки больших сапог.

— Пойдем коли по реке? — предлагает Вавила.

Они прячут котомочки в кустах и поднимаются к устью Аньги. Но уток мало. Возвращаются в деревню.

Однажды под вечер в сельсовет приходит Макар Иванович, запыленный, усталый — был в дальних деревнях. Сухо кивнув Аверьяну, он проходит к себе. Слышно, как перебирает на столе бумаги, скрипит ящиком.

Онисим с тревогой начинает посматривать на дверь. Вдруг дверь открывается, и Макар Иванович, не глядя на Аверьяна, громко говорит:

— Вавила и Настасья разошлись!

Часть третья

Глава двенадцатая

Манос как-то узнавал о каждом приезде в сельсовет Азыкина и ловил его на дороге, вечером приходил на кружок в кабинет Макара Ивановича, внимательно слушал все, что говорил Азыкин. Внимание его к Аверьяну ослабело. Теперь он относился к нему, как к равному, неплохому товарищу, но прежнего уважения уже не было.

Он постоянно звонил в сельсовет.

— Это кто? Аверьян? Здравствуй, Аверьян. Говорит председатель колхоза «Искра» Колыбин. Ну что же делать, раз у меня чин имеется. Ты, брат, вот что — позови-ка Тро-

фима Михайловича. Трофим Михайлович! Погода-то! Говорю, погода-то какая? В лес бы сейчас, к озеру! А? Тут мне, Трофим Михайлович, довелось вычитать из одной статьи два слова: «Трагическая ситуация». Объясните, пожалуйста, что это такое. Ну, ну, хорошо. Работайте, работайте — подожду до другого раза. До свиданья!

Однажды Манос купил баранок и позвал Азыкина пить чай. Часть баранок он выложил в тарелке на окно, так, чтобы все видели, и рядом положил свою полевую сумку. Получалось, как будто в доме находится какой-то гость из военных.

Манос сидел в самом окне и рассказывал Азыкину о себе так, что было слышно у околицы.

— У меня, товарищ Азыкин, такой нежный характер. Уж не утерпеть, чтобы не думать. Иногда всю ночь не спишь. А то вот так сидишь под окном и думаешь. Отчего происходит вращение земли? Или как живет букашка? Посмотришь, вся меньше рубашной пуговицы, а ветром ее с листка не срывает. В чем содержится сила? Образование у меня не особенно большое. От этого, должно быть, во мне все время неспокойность духа. Я, например, могу над книгой часы терять. Она тебя держит все равно, как живое существо. Потом рассердишься, бросишь и идешь работать, наверстывать. А газету взять! Бывало, сунешь в охотничью сумку на пыжи, после где-нибудь в избушке надо патроны набивать — прицепишься к факту из жизни или к слову, например: «Конференция круглого стола» — и сидишь и думаешь, и порох из гильзы просыплешь, а надо узнать, что это за «круглый стол». Или встретишь какой-нибудь пример любовного характера, на почве неплатежа или прямого обмана бывшим мужем, — опять глубокие мысли и даже, я бы сказал, какая-то грусть. А один раз читаю в газете: «Ученик не явился на уроки, пошел рыбачить». Сразу у меня волосы дыбом. Раньше бы меня за это семь дней подряд драли. Теперь нельзя. Вон как у Ефимки Репкина сын говорит: «Тронь — достань крови — узнаешь, что будет». Понятно, сильно бить и сам не станешь, а потаскать надо.

— Передовой колхозник — и вдруг говоришь о телесных наказаниях! Нехорошо.

Манос подумал, виновато улыбнулся.

— Да ведь если бы я и постегал, так немного.

— Все равно это мне не нравится. Просто ты меня удивляешь. Ведь это совсем не по-советски.

Манос помолчал и снова принялся рассказывать.

— Кто-нибудь, бывало, скажет: «Ну, Проня, у нас зачитался. Уж он у нас до чего-нибудь дойдет. Прошлый год вот так читал да читал — и уехал на курсы машинистов».

— Ну, как?

— Да кончил. Сейчас для меня любая жнейка или льномялка все равно как ружейный механизм. Хотите, после чаю докажу на деле?

Азыкин не отвечал.

Поняв его молчание как согласие, Манос еще более оживился, почувствовал прилив доброты и крикнул двум прохожим, сидящим на бревнах:

— Чьи?

Тот, что постарше, с широкой седой бородой, обернулся:

— Мы из Лукьянова. Ходили к озеру за сухой рыбой.

— Идите, по чашке чаю.

Прохожие переглянулись и пошли в избу.

Манос, не ожидавший такого быстрого решения, несколько растерялся, на минутку даже притих.

Потом оправился, придвинул прохожим хлеб и сахар.

— Это что же, до вас километров девяносто будет?

Старший стал по пальцам перечислять места.

— Каликино, Сохта, Азла, Ковжа, Лельма...

— Что же вы пешком? Разве лошади нет в колхозе?

— Да нет. У нас там на острове у Спаса сваты, думаем — рыбки достать, да и не видались давно, дня три погостили.

— А! — улыбнулся Манос.— Это дело.

Подумав, снова спросил:

— Это у вас там работал наш староселец Илья Евшин?

— Илья? — переспросил лукьяновец.— Да, у нас такой работал.

Лукьяновец помолчал, переглянулся с товарищем (тот, не торопясь, пил из блюдечка, аппетитно закусывая хлебом) и подавил усмешку.

— Мы его знаем.

Манос сделал вид, что не заметил его усмешки.

— Один раз какие-то два чудака напали на нашего Илью у гумен и давай утюжить. Оформили его так, что насилу домой пришел.

— Это ребята вдовы Степахи из Замошья — Киря да Алешка. (Лукьяновцы снова переглянулись.) Это ваш Илья у нее два мешка овса увез.

— Вот как! Смотри, верно ли?

Лукьяновец обиженно промолчал.

Манос поторопился загладить оплошность:

— Я, признаться, слышал об этом раньше, только все хотелось переспросить.

Вышли из избы и все вместе зашагали до околицы.

— Ну, а сейчас наш Илья выправился,— сказал Манос.— Ничего плохого за ним не слышно.

— Этого я не знаю,— ответил пожилой лукьяновец и свернул за канаву на прямую дорогу к реке за своим молчаливым товарищем.

— Знаете, кто этот Илья? — сказал Манос.— Это зверская душа!

— Ну, ты очень скор,— ответил Азыкин.— Может быть, у человека есть какие-то недостатки, а зачем же все-то насмарку? Про Илью много сплетен. Он ведь любит говорить правду в глаза.

Манос почувствовал, что этот разговор Азыкину не нравится, тронул его за рукав и зашагал к ближайшей жнейке.

Во время выборов кандидат партии Илья работал агитатором. Говорил он хорошо, четко. Иногда он был способен на самоотверженность. Ради дела одной вдовы Илья пробыл в районе целый день, а приезжал только сдать картошку. Он пошел в райзо и не давал работникам покоя до тех пор, пока не добился, чего захотел. С тех пор Азыкин его запомнил. Раньше Илья дома жил мало, все больше на железной дороге, табельщиком. Жил скромно. Берег копейку.

Азыкин удивился, когда узнал, что дома многие Илью недолюбливали. Илья выступал на собраниях с обличительными речами. Может быть, в этом было все дело? Потом Азыкин понял, что дело еще в чем-то другом. «Не поторопились ли его принять в партию?»— думал Азыкин. Сам он родился и вырос в деревне. Хорошо знал, как иногда бывает нелегко разгадать людей в чужом месте. С Ильей он много раз беседовал о работе, об учебе, бывал у него.

Маносу эта дружба не нравилась, но он считал, что Азыкину все это нужно для работы, и скрепя сердце мирился.

Не нравилось и Илье то, что Азыкин часто беседует с Маносом. Он считал, что Манос может наговорить много пустого. Будет не хуже, если Манос перестанет вертеться около Азыкина.

Однажды, встретив Маноса в поле, Илья оглянулся по сторонам и шутливо заметил:

— Ты прошлый год на одном обжегся...

Манос потемнел:

— Это ты про Трофима Михайловича?

— Успокойся,— сказал Илья.— Я ничего тебе про него не говорю. Я про Шмотякова.

Но Манос не мог успокоиться. Тонкие, расширенные ноздри его дрожали.

Прошлый год Манос всячески старался угодить приезжему из Вологды, некому Шмотякову, выдававшему себя за охотоведа. Манос охранял отдых Шмотякова, ездил с ним по рекам, совершенно не подозревая, что прислуживает диверсанту.

— Чего же тут удивительного! — ровно продолжал Илья.— Не один ты был обманут. Чудак!

Манос посмотрел на него с ненавистью и отошел. Он сел на конце полосы, где женщины вязали снопы, и притих. Лицо его было страдальчески вытянуто и бледно. Устинья подошла к ведру с водой и участливо остановилась рядом с Маносом.

— Сидит один-одинешенек. Что с тобой?

Манос молчал.

Устинья напилась и склонилась к нему:

— Не вздыхай тяжело, не отдадим далеко!

Манос улыбнулся.

— Ты нам в таком виде не должен показываться,— шепнула Устинья.— Что в тебе эдаком-то? То бывает любо, как мимо пройдешь, а сегодня хочется бороду вырвать.

Глаза Маноса наполнились смехом. Он поднялся и весело посмотрел кругом. На конце полосы работала Настасья. Она вязала, не разгибаясь. Девчата, молодые бабы пели, перекликаясь друг с другом. Настасья как бы ничего не замечала, не подавала голоса.

— Как у них? — вполголоса спросил Манос, кивая на Настасью.

— Живет. Хоть и шутит и говорит, а ведь от людей, знаю, стыдно, да и невесело одной.

— Удержатся?

— Не знаю.

Помолчали. Слышно было, как весело пофыркивает лошадь.

— Что тут такое получилось? — снова спросил Манос.

— Злые языки. Я немножко-то думаю, да молчу. Надо проверить.

— Ну, ну, проверь.

Вавила и Настасья разошлись тихо, никто не слышал у них споров.

По словам Павлы, больше всех опечалил этот разрыв Илью.

На самом деле Илья стал нервным: если сильно хлопали дверью, вздрагивал.

Один Манос не верил Илье по-прежнему. Он прислушивался к разговорам о нем и улыбался.

Аверьяна Манос щадил: при нем говорил на отвлеченные темы:

— Ну, как там твердолобые?

И принимался рассказывать все последние газетные новости. Дело в том, что у него появилось новое увлечение: он решил стать хорошим оратором. Его все время нужно было слушать. Началось это неожиданно. Манос шел с Азыкиным и рассказывал ему о себе:

— В 1912 году, когда я жил в Архангельске, так ходил с получки в самый лучший трактир. Любил послушать, как играет баян «Вальс разбитой жизни». Один раз сунул портмонет в брюки и спокойно выхожу на улицу. Мне будто кто шепнул: «Прокопий, а где у тебя документы?» Я руками начал водить с ног до головы, но было уже поздно. Деньги, документы и карманные часы утекли в руки классового врага. Кряду почувствовал себя ненормальным. Когда заявил в участок, то за паспорт с меня потребовали штрафную сумму, а у меня ее нет. С тех пор разве во дворе фабрики тальянку послушаешь, а ходить в трактир стремления не стало... Стал читать книги. Например: «Ведьма и черный ворон за Дунаем». Или пойдешь гулять — заглянешь в сад, на пристань. Бывает, пройдешься с кем-нибудь под ручку...

Манос замолчал, задумавшись.

— Все это дошло в письменной форме до моих родителей. Отец думает: «Баловством занимается, надо женить». Вытребовал домой и женили.

— Ты хорошо рассказываешь,— скрывая улыбку, заметил Азыкин.

Манос просиял и подумал о том, что он и раньше всегда умел хорошо сказать, но некому было оценить! Только сей-

час по-настоящему узнал себе цену. Тут он решил стать большим оратором. Теперь он даже с Ильей был не так строг, потому что увлекался формой речи и частенько вместо строгих выражений или насмешки произносил что-нибудь напыщенное, но не злое. Он стал очень многословен, иногда просто раздражал. Все знали, что это у него пройдет, но пока вынуждены были терпеть. Не терпела его словолюбия лишь одна жена Авдотья: она сразу принималась ругаться, что возмущало оратора до глубины души. Он умолкал, опечаленный. Сидя у окна, смотрел на проселок. Колхозники из дальних деревень ехали на мельницу. У одного из них небрежно, козырьком набок, надета фуражка. Это смешило Маноса. Он сразу забывал огорчения, открывал окно и выкрикивал приветствия.

Манос наблюдал за ораторами. Очки постоянно носил с собой. Он не брезгал даже учиться у Ильи и так увлекался, что пропускал мимо ушей его ядовитые замечания. Он испытывал Илью во всевозможных настроениях. Наблюдал за ним, как самый кропотливый исследователь. В такое время его невозможно было рассердить или обидеть. Илья стал замечать странное выражение лица Маноса во время встреч с ним и чувствовал непонятную тревогу.

Однажды Манос для того, чтобы испытать, как держит себя Илья в злобе, неожиданно сказал ему:

— Сплетню-то, Илюха, пустил ты!

Илья вытаращил глаза.

Манос немного отступил, чтобы лучше наблюдать за ним.

Илья сначала побледнел, потом все его лицо покрылось красными пятнами, глаза стали совсем золотыми, как у жабы. Он долго не мог произнести слова, и это не понравилось Маносу: тут пока нечему было учиться.

— Я тебя, пустую голову, сразу к прокурору! — оправившись, наконец, вымолвил Илья.— Ты у меня познакомишься с советским законодательством!

«Вот это хорошо,— подумал Манос.— Надо запомнить!» И подлил в огонь масла:

— Ну, ну, рыло-то не вороти. Хотел повредить Аверьяну, а навредил Вавиле. Все знаем.

— Я с тобой не хочу разговаривать. Мы с тобой поговорим в другом месте!

Последняя фраза тоже понравилась Маносу. Он терпеливо ждал еще, но Илья, больше ничего не добавив, ушел.

Манос завел тетрадь, как у Ильи, и стал записывать в нее все, что, по его мнению, было интересным. Незаметно увлекаясь, он стал очень груб с Ильей, часто называл Илью — Илюхой, что приводило того в бешенство. Илья не выдержал и однажды резко заговорил с Аверьяном.

— Ты не видишь, что делает этот прохвост. Он просто издевается над коммунистами. Ты думаешь — это тебя касается или нет?

— Других он что-то не трогает,— мягко заметил Аверьян.— Ты, должно быть, сам как-нибудь нагрубил.

От злобы Илья начал заикаться.

— Ты что, у него на побегушках?

Аверьян сдержался и ушел. В тот же вечер он строго беседовал с Маносом. До каких это пор будет продолжаться!

— Ой, господи,— отмахнулся Манос,— как мне напостылел этот фрукт!

И заглянул в тетрадь.

— Завтра надо допахать полянку в Езовой. Тракторы туда не проберутся, мосток разломан. Не хочешь с Иваном Корытовым для упражнения?

Аверьян забыл приготовленную злую фразу.

— Раз надо, чего ж. У меня время будет.

— Это вот представляет интерес,— сказал председатель.— Илюху тоже пошлем. А видел, как на Ковытихе гриву подняли? В колено! Земля рассыпается, как творог.

Аверьян посмотрел на посветлевшее лицо Маноса, и горячность его исчезла.

Полянка дальняя. Поднимаются рано и к восходу еле поспевают на место. Иван Корытов, не выбирая, становится первым с краю полосы. Земля тут тяжелая, с водорезом. Особенно урастают края. Илья, подумав и осмотревшись, становится за Иваном. Аверьян встает рядом с Ильей.

— Оставь мне поменьше,— говорит Илья.

— Хорошо,— охотно соглашается Аверьян. Оставляет ему совсем немного: закончит, перейдет к краю, раз сам этого хочет.

Утро лохматое, мокрое. Пухлые дождевые облака. Кое-где просветы неба. В лесу, на Аньге, солнце выхватило как бы широкую чашу. Все остальное в тени. Аверьян посматривает туда. Это как раз над Колывановым плесом

Он пашет, смотрит, прислушивается. Нет, выстрелов не слышно.

— А утки в этом году мало,— вслух произносит он.

— Не ждешь?

— Нет.

Перекликаются на ходу. Илья тоже изредка бросает словечко.

Склон темнеет шире и шире. Мирно, тихо, торжественно. «Как в дружной семье»,— думает Аверьян.

Илья допахивает свой ремешок и, ничего не сказав, едет на небольшую полосу в углу полянки. Аверьян недоуменно смотрит ему вслед. Иван Корытов, не останавливая лошади, следит за Ильей исподлобья. Продолжают пахать. Потом Аверьян не выдерживает и кричит Илье:

— Ну, как тут?

Илья отвечает неохотно:

— А худо, земля по плугу не ползет.

Он злобно хлещет лошадь.

«Так тебе и надо»,— удовлетворенно думает Аверьян.

Илья уезжает домой, оставив недопаханный маленький клинышек.

Аверьян с Иваном заканчивают склон, измученные и злые.

— Надо его срезать,— говорит Иван, кивая на клинышек, оставленный Ильей.

— Да. Должно быть, устал Илья, не осилил...

Иван молчит.

Аверьян моложе его, сильнее. Он без разговоров едет допахивать клинышек. Лошадь идет по борозде, как без упряжи. Можно совсем не держаться за плуг. Земля как бы совсем не касается лемеха. Она поднимается слева вкусными пышными грядками. Лемех сияет ослепительно. Аверьян не замечает, как клинышек уже весь вспахан. Он догоняет Ивана Корытова у самой деревни и рассказывает ему о своем открытии.

Иван смотрит на него с хитрой усмешкой.

— Он человек занятый. Ему надо все поскорее да полегче...

Глава тринадцатая

Аверьян допоздна в сельсовете. Дома уходит в заднюю избу, сидит над книгой. Иногда помогает в работах: сушит

овин, рубит в овраге ольховые дрова для теплины. Эту работу он особенно любит. Мягкое розовое дерево обнажается под топором с аппетитным хрустом. Ольховые дрова жарки, горят тихо, как тают — ни одной искорки. Аверьян рубит и складывает дрова в большую кучу на гребне берега.

В овраге, как в большом старом доме, тихо, глухо. Кустарник становится прозрачным. Аверьян видит в нем пролетающих диких голубей, видит вдали развалины старого дегтярного завода. Как хорошо, что сюда никто не ходит!

И вдруг около завода показывается человек. Аверьян узнает Илью и перестает рубить. Илья идет по берегу и рассматривает поле. В руках у него оброть. Он видит Аверьяна и останавливается.

— Сколько тут олешняку наросло,— говорит Аверьян.

— Олешняк тут расти любит,— думая о чем-то другом, отвечает Илья и медленно спускается в овраг. Он садится на камень у самой воды и смотрит на Аверьяна в упор.— Слыхал?

У Аверьяна сжимается сердце.

— Нет. Ничего не слыхал.

— Германия объявила войну Польше.

Они принимаются обсуждать события.

— Надо будет исправить в сельсовете радиоприемник,— говорит Аверьян.

— Да.

Илья не уходит. Аверьяну становится неприятен его пристальный взгляд. Он принимается за работу.

— У нас к тебе будут вопросы,— говорит Илья.

Аверьян отпускает топор и стоит, отвернувшись.

— Дело-то получилось неладно. Ты сколько-нибудь об этом думал? В своей семье у тебя безобразия, да еще и другим жить мешаешь!

Аверьян все молчит. Илья повышает голос.

— Мы тебя прорабатывать будем!

— Что же, если заслужил,— разбирайте.

— Как ты отвечаешь! — кричит Илья.— Разве так говорят, когда вопрос идет о поведении партийца!

Аверьян видит, что Илья чем-то сильно раздражен, и просто отвечает:

— Сейчас я никакой вины за собой не чувствую.

Илья усмехается.

— Рассказывай это какой-нибудь тетке, а я старый воробей...

Аверьян свирепеет:

— Я тебе говорю правду! Что ты какой Фома неверный!

Илья, как бы не слыша этого, продолжает:

— Больно возгордился. Одернем. Мы тебе для начала выговорок привесим.

Аверьян бросает топор и кричит:

— Уйди! Пришибу!

Становится тихо. Илья тревожно следит за Аверьяном. Потом с усмешкой говорит:

— Вот тут и воспитывай.

Аверьян далеко отбрасывает сучья, перекидывает через ручей стволы. Из-под его ног в воду осыпается земля.

Илья, не торопясь, поднимается из оврага.

Постепенно Аверьян успокаивается. Он немного устал. Садится на ворох сучьев курить. Сумерки опускаются тихие и влажные. В лесу слышится запоздалый лай собаки. Теперь немного освободился с работой, можно по утрам ходить в лес. С завтрашнего дня, пожалуй, можно начать.

Когда он поднимается из оврага, в поле уже совсем темно. Собаки в лесу не слышно. В деревне огни. Он идет на них по кустам можжевельника. Где тут искать тропу!

С краю деревни — крохотная пустующая избушка старого пастуха Ивана. Теперь в ней огонек — живет Настасья. Он останавливается на дороге, с полминуты смотрит на огонек и быстро уходит. Но уже у самого своего дома он вдруг начинает раскаиваться в том, что не посмотрел, как она живет. В этом не было бы ничего особенного. Можно даже зайти к ней и посидеть немного на лавке.

Он приходит домой, раздевается, садится к столу и все думает об этом. Теперь очень трудно будет подобрать случай заглянуть к ней: днем не пойдешь, а вечером надо идти нарочно в тот конец деревни, обязательно увидят — так уж всегда бывает. В конце концов, почему он не может зайти к ней просто, как ходит сосед к соседу, сказать слово утешения, может быть, даже в чем-то помочь? Потом его начинает раздражать это. Нужно же было пройти мимо!

После чаю он готовит на завтра патроны, потом делает в тетради фенологические записи о бабьем лете, и вечер кое-как проходит.

Утром он идет на колодец за водой и смотрит, какое поднимается солнце. Солнце совершенно багровое. Над са-

мым горизонтом — пухлые дождевые облака. Это хорошо, дождь нужен.

В сельсовет еще рано. Аверьян идет поправлять на гумнах крыши. Все старое, надо бы напилить тесу, подновить.

Так он подходит к последнему гумну на берегу Аньги. Внутри гумна трещит «триер». У самых ворот на бревне лежит чей-то серый платок и синяя Настасьина кофта. Он заглядывает в ворота. С ней работает Устинья. Все покрыто пылью и золотистыми осколками соломы. У женщин видны одни зубы. Они опускают ручки «триера» и начинают вытирать лица.

— Здравствуйте,— говорит Аверьян и заботливо осматривает крышу. Да, здесь тоже большие щели, но желоб еще хорош, просто сдвинуло ветром. Он лезет на полати и начинает снизу поправлять желоба. Устинья и Настасья молчат, поглядывая на него. Он тихонько посвистывает. Долго хозяйским глазом осматривает крышу. Хотя там уже исправлено все.

— Да что эдак уж не поговоришь-то с нами? — замечает Устинья.

— С вами-то? (Он продолжает трогать желоба.) Вот как-нибудь в свободное время...— Потом, продолжая рассматривать крышу, добавляет: — Шла бы ты, Устинья, в сельсовет сторожихой? Замени старика-то!

— В сельсовет? — переспрашивает Устинья.— Дай подумать.

— Ну, подумай.

Он слезает.

— Пыли в этом году много.

— Да.

Пыль у них на губах. В пыли ресницы.

— Ну, работайте,— говорит он.— Теперь вас не обмочит.

Он выходит из гумна и крепко прикрывает за собой ворота. Потом он роняет из рук варежку, наклоняется за ней и трогает кофту Настасьи. Кофта теплая от солнца.

По полю идет Макар Иванович. Они встречаются.

— Осмотрел крыши,— говорит Аверьян.

— А! Кто на том гумне работает?

Аверьян называет. Потом, отвернувшись, дополняет:

— Зашел на одну минутку, желоба два поправил.

— Так.

Ему кажется, что Макар Иванович не верит. Лицо председателя становится суше, строже. Но это только на полминуты.

— Вот Настасья,— говорит Макар Иванович.— Что она у нас как-то между рук? Ведь пять групп кончила. Надо заставить обучать неграмотных. Да мало ли дел!

Аверьян молчит.

— А я вот что сделаю,— сразу решает Макар Иванович.— Пойду-ка я потолкую с ней сейчас.

— Что сегодня в газетах? — не отвечая, спрашивает Аверьян.

— Взят немцами Львов.

Они расходятся.

Потом, в сельсовете, Макар Иванович сообщает:

— На самом деле, мы не видим людей. Знаешь, Настасья сегодня придет на заседание культсекции! Да как она обрадовалась!

Макар Иванович довольный ходит по комнате.

Аверьян молчит. Теперь он должен будет с ней встречаться.

Вечером Настасья приходит к Макару Ивановичу. Босиком, на плечи торопливо накинут серый платок.

Сидят перед лампой, беседуют о делах.

Макар Иванович, как бы между прочим, замечает:

— Собираются к Устинье бабы. Шуму, криков у них много, а хорошего мало. Тут и сплетни, иногда и ругань. Что бы такое придумать? А? — Сощурившись, он смотрит на Настасью.— Я все хотел зайти к ним, да вот видишь, как! Только из сельсовета...

Он заглядывает в портфель.

— Вот тут в «Известиях» есть и статейка-то интересная —«Конец хуторам». Не знаю, как быть?

— Я давно не читала вслух,— говорит Настасья.— Отвыкла.

— А ведь торопить тебя никто не станет.

Настасья еще с минуту стоит у стола, вертит в руках газету, потом уходит.

Она осторожно пробирается в темноте краем канавы. Всюду огни. Дорога в робких полосах света. От окна до окна, как по ступенькам.

«А если ничего не выйдет,— думает Настасья,— что же, больше не заставят!..»

Но сразу же ее охватывает страх. Только так — чтобы

вышло! Иначе не должно быть. За этим приходила к Макару Ивановичу...

Настасья торопится, натыкается на репей, попадает в грязь и, подобрав юбку, прыгает через канаву.

В избе Устиньи шумно. Настасья идет по лужку и слышит голос Павлы Евшиной:

— Азыкин, говорят, от кооперации жить наладился.

Настасья топает по ступенькам крыльца. В избе становится тихо. Она решительно открывает дверь. Бабы сидят по лавкам с прялками, с клубками ниток.

— Мир беседе вашей! — говорит Настасья и с улыбкой осматривает баб.— Подслушивать не хотела, а слышала... Павла! Ты напрасно в чужом доме считаешь. Узнает Азыкин, он за клевету тебя сразу в суд.

Никто ни слова.

Павла сидит у стола неподвижно. Маленькая, круглая, с беспокойными зеленоватыми глазами.

Все выжидательно посматривают на нее. Павла не выдерживает, не глядя на Настасью, говорит:

— Тебе, матушка, лучше знать. У тебя с Азыкиным лен не делен.

Устинья склоняется к темному стеклу.

— Какая темень! Плохо тому, кто сейчас в лесу аль в дороге.

Говорят о трудностях в пути, о страхах, о том, где кого пугало.

Настасья ждет удобного момента, но все не может решиться и прячет газету подальше на груди. Как они посмотрят. А вдруг все повернут на смех?..

К ее удивлению, женщины принимают это спокойно.

Устинья говорит:

— Ты возьми и почитай, а мы послушаем...

Настасья часто появляется в Костиной горке. Она знакомится со всеми учителями и учительницами. К самой молодой — Нине Яковлевне — идет пить чай.

Она занимается с неграмотными.

Теперь по вечерам ее не застанешь дома. Внучка Онисима, Катька, остается с ее сыном.

Бабы, которых она обучает грамоте, говорят про нее:

— Настасья! А чего она не сумеет?

Вавила снова работает на дороге. Он приходит в деревню все реже и реже. Избегает встреч. Никто не знает, что с ним

Мать на вопросы соседок говорит:

— У всех все бывает.

И ее не переспрашивают.

Старуха ходит на работу. Теперь ее ничто не держит. Помогает складывать в ометы солому, стелет лен. Приходит навестить внука. С Настасьей не говорит. Онисимова Катька служит у них для связи. Старуха выходит с ребенком на улицу, сидит на канаве, а то уводит парнишку к себе и поит чаем. Когда ей нездоровится, она не отпускает внука от себя. Тогда Катька уходит домой, и крохотная изба Настасьи на запоре.

Старуха видит, какой веселой стала сноха. Когда в сельсовет прибывает кинопередвижка, она тратит на билет последний рубль. Ее не удержишь дома. Если она не идет в Костину горку, идет с молодыми бабами к девчатам на поседку. Стоят в углу, шепчутся, посматривают, как девки пляшут, шутят с ребятами, бывает, что попляшут и сами.

Однажды Вавила, возвратившись в деревню, вышел из дому и направился к Настасье. Павла Евшина сразу нашла дело к Настасье, тоже покатилась туда горошиной и даже опередила Вавилу. Поджав на груди руки, она сидела в уголке, подслеповатые глаза сощурены, лицо серьезное.

Вошел Вавила. Он посмотрел прежде всего на Павлу, и Павла сжалась: она только сейчас поняла, что Вавила пьян, начала отступать и робко заговорила:

— Пришла, думала нет ли у тебя квасу.

— А! — крикнул незнакомым, хриплым голосом Вавила.— Квасу захотела!

Павла похолодела и засеменила к двери.

— Сиди! — приказал Вавила.— Сейчас я тебе ноги выдергаю.

Скромный, рассудительный Вавила был неузнаваем. Его никогда не видали таким пьяным. Павла не предполагала, что пьяный он может быть так страшен. Глаза у него красные, борода спутана, рукав рубашки порван. Как она могла оказаться такой дурой!

— Да нет, уж я пойду,— сказала Павла.— У меня там в баню собираются.

— Сиди! — повторил Вавила.

Павла села, как на горячие уголья.

Он был так непохож на себя, что даже Настасья не могла опомниться, смотрела на него большими глазами, и не находила, что сказать. Как может измениться человек!

— Ты бы сел,— мягко сказала она.— Что уж эдак вздумал напиться-то. Кого этим удивишь?

Он сел на лавку, навалился грудью на стол и закрыл лицо руками.

— Вернись,— тихо проговорил он.

Павла в углу начала всхлипывать.

Настасья стояла у шестка опечаленная.

— Иди проспись,— посоветовала она.— Я так с тобой не могу разговаривать. Все равно ты меня сейчас не поймешь.

— Не вернешься?

— Нет. К этому ты должен привыкнуть.

Тогда он поднялся и, натыкаясь на скамейку, на угол печи, пошел из избы. Он вышел и забыл закрыть за собой дверь.

Дома он поставил на стол пол-литра и один, в тишине, начал пить водку стаканами. Мать с ужасом смотрела на него из-за переборки и боялась что-нибудь сказать.

Потом он начал говорить сам с собой. Наконец, стал покрикивать, осмотрел избу, посмотрел на мать, не узнавая ее, вскочил и побежал из избы. В дверях он упал, до крови разбил лицо.

Мать поспешила к Илье; когда она возвращалась вместе с Ильей, в огороде раздался выстрел. Она схватилась за сердце и упала. Илья поднял ее и потащил к изгороди. Вавила стоял у бани, босой, без рубашки. В руках у него дымилось ружье. Он выстрелил вверх. Сбежался народ. Бабы стояли за изгородью и перешептывались. Илья хотел увести его домой. Вавила в упор посмотрел на Илью, потом поставил ружье к углу бани и сказал:

— Это ты, старый воробей? Сейчас я сделаю из тебя ворону!

Он навалился на Илью. Вскрикнув, Илья упал. Вавила схватил его за ноги и начал таскать по грядам. Мальчишки за изгородью подпрыгивали и взвизгивали от восторга. Выручать Илью полезли мужики, но Вавила сам выпустил его и, больше не обернувшись, зашагал в избу.

Илья поднялся весь в земле. Земля у него была в бороде, во рту, за рубашкой. Он плюнул, злобно осмотрел собравшихся и ушел.

Мать осторожно открыла дверь. Вавила, притихший, сидел у стола. Она достала из сундука чистое полотенце,

обтерла на его лице кровь, потом села рядом, тихонько гладила его по голове и ласково шептала:

— Ну вот, все и прошло. Вот и ладно. Какой ты глупый...

Глава четырнадцатая

Настасья теперь чаще попадается навстречу. Он приходит к Ваське Хромому, садится к середнему окну, откуда виден крохотный пастухов домик, и вдруг приходит она. Стоит у двери, говорит громче, чем следует. Разбили молодые бабы лампу, теперь не с чем заниматься по вечерам.

— Да как успехи-то? — с улыбкой спрашивает Васька.— Читать-то научила?

— Плохо.

Иногда в избу, где она занимается с неграмотными, заглядывает учитель Константин Петрович. Она шутит с ним, рассказывает о своих неудачах. Константин Петрович находит, что дело у нее идет неплохо.

Она ходит в клуб на игры, на спектакли. Играет сама. Однажды после работы Аверьян проходил мимо клуба и в темноте сеней слышит ее голос. Потом второй, тоже молодой, женский. Он входит в сени, и обе убегают.

Только что кончилась репетиция. В длинном коридоре клуба полумрак: под потолком тусклая лампа. Настасья стоит у стола. Вторая женщина куда-то исчезла. За дверью в конце коридора оживленный говор.

— Пойдем, сядем на лавочку? — говорит Аверьян. Она не отвечает.

— Ты не хочешь посидеть рядом?

Она оглядывается на двери и идет с ним в угол к окну. Аверьян хочет положить ей на плечо руку. Она скидывает ее.

— Зачем? Говори так.

Он не может побороть волнение и долго сидит молча.

— Домой вместе?..

— Ни за что!

— Значит, у тебя ко мне ничего не было и нет.

Настасья отвертывается. Он не видит ее лица. Потом она тихо произносит:

— Тебе лучше об этом не думать.

Он смотрит на нее со страхом.

— Ведь тебе теперь ничто не мешает!

— Все равно. Это не так просто. Уйди! Успокойся. Зачем опять начинать все снова? Я тебе ничего не скажу.

Она уходит, оставив его в великом горе.

Когда собираются все участники спектакля, Константин Петрович предлагает поиграть в «третий лишний». Все встают парами один за другим. Третий должен встать впереди какой-нибудь пары, и тогда задний оказывается лишним. Человек, ходящий вокруг, бьет по спине третьего лишнего, начинается беготня, смех.

Аверьяна тоже просят играть. Он долго отказывается, потом встает и делает все, как другие: бегает, ловит, смеется, но никого, кроме Настасьи, не видит.

Вот она встает впереди него, обертывается и шепчет:

— Не будь таким. Все замечают. Что ты такой чудной...

Улыбается ему. Потом сразу становится строгой и весь вечер не подходит близко. Аверьяну кажется, что он видит ее в последний раз.

Он выходит из клуба и слышит сзади ее голос. Она вместе с Нефедовой молодухой. Обе, крепко держась в темноте друг за друга, шмыгают мимо. Настасья задевает Аверьяна плечом.

Он стоит у рощи, пока слышны их голоса. Потом заходит в сельсовет и тяжело опускается к столу.

Онисим вот уже с неделю как в лесу. Вместо него сторожихой Устинья.

Устинья с тревогой подсаживается к Аверьяну.

— Опять чего-то задумал.

Он поднимает голову. Устинья отводит глаза.

— Получилось совсем нехорошо,— говорит она.— От баловства дело дошло до большого. Совсем этого не думала. Потакала обоим.

Устинья садится рядом с ним и тихо продолжает:

— Где ты ищешь чужое? Для чего...

Аверьян молчит.

— Вашему брату все как с гуся вода. Вам и раньше легче было. С работы мужик пришел: попил-поел, завалился. А матери все покою нет. Ребята. «Чего не спишь?.. Камни бы ворочала, переворочала, а вас не переворочаешь никак. Камни ворочаешь — они молчат, а вы все орете! Дрыхни!» Не дрыхнет... Так от них, от ребят, устанешь — куда ни ляг, хоть на голую доску, все притягивает. Дочь умерла.

Рано утром надо хоронить, а я так устала, все сплю и сплю... Свекровь: «Устинья, встань, простись с девкой-то, ведь больше не увидишь...» А я сплю и сплю. Растолкает, открою глаза, мне совсем свет не нужен. Тяжело мне их открывать. И все бы я лежала навзничь. А нового ждешь и сердце болит: какой будет, что тебе даст... Один раз ребенка на пути родила. Из Подосенок с ярмарки шла. Были вдвоем с подругой Митревной. Отошли версты четыре. Я остановилась. «Что ты?»—«А ты не знаешь?»—«Пойдем, пойдем скорее!»—«Нет, придется разве дойти до того камня». Я почему-то надела шубу овчинную. Апрель. Снег мокрый, вода-то бежит. Только я легла — ребенок тут. На мне две юбки. «Завертывай ребенка, клади на меня и увертывай полами меня и ребенка». Слышим — идут. «А если мужики?»—«Все равно. Нужна помощь». Идут два мужика. «Спасите, не дайте душе погибнуть!» Один выпивши: «А что нам?»—«Как что? Ночь! Ведь меня на дороге разъедут Ты постой около меня, а она в больницу сходит». Другой говорит: «А тебя можно одеть? Тебе холодно?»—«Да, холодно. А чем тут можно одеться!» Он снял черной дубки шубу и одел меня. Окрыл, как одеялом, этой шубой. «Ничего, я тебя шубой?» — «Хорошо. А тебе как же?»—«Я в теплой рубашке». Когда он меня одел, моя сопроводница говорит: «Тогда я пойду в больницу». Тот, выпивший: «И я с тобой».—«Хорошо. А ты стой возле нее!» В больнице одна акушерка. Он акушерку разбудил. Сторожа нашли. Акушерка принесла пеленок, ножницы, нитки. «Где ребенок-то?..» Прохожий взял свою шубу и понес меня на носилках на переменку с другим. «Спасибо. Как тебя? Как молить-то!»—«Если жив — дай бог здоровья, если помер — царствия небесного».—«С какого прихода-то? Откуда?»—«Не все равно?..» Девочка сытенькая, покойная. Я боялась — не задушить бы. Глядела, щупала, хватит ли воздуху? Когда стали завертывать, она пищала. «А что раньше не кричала? Сейчас ничего. Сейчас я тебя возьму!» Потом мне стало хуже и хуже. Меня в кирпичный барак хотят нести. Пригибает меня к мертвой постели. А как очнусь, сразу: «Что с ней? Жива?»—«Жива, жива, успокойся».

Аверьян смотрит на Устинью с нежностью. Ему вспоминается больная мать.

Мать! Мучительно и неустанно думает она о тебе. Она всегда тут, с тобой, в твоей печали, в радости и в терпении. Она ничего не оставляет про себя. Все это тебе, по-

тому что ты растешь, ты можешь стать хорошим человеком. И вот ты встал на свои ноги. Вся земля перед тобой открыта для жизни, для подвигов и познания. Ты идешь по земле, и мать следит за тобой. Ты живешь где-то на другом конце света. У тебя уже борода, плечи твои немного согнулись, ты в семье, в новом кругу — все забыл, ты иногда уже стыдишься произнести слово: мама. Но вот после многих лет приходит письмо, и в конце его стоит слово: мать. Она разыскала тебя, потому что нежность ее к тебе все та же, как в то время, когда ты был совсем маленьким.

Вот она вошла в дом, и все ожило под ее ласковыми, умелыми руками. В доме стало тепло, всюду появились милые вещи. Тысячи мелочей, которые не имели значения, вдруг обрели утраченные краски и запахи и наполнили твою жизнь.

Она как бы вновь пришла на землю. Пришла уставшая, робкая и оглянулась. Родина ее полна света. Теперь тут все другое. И вдруг снова на этой земле у тебя, в твоем доме, становится темно, и снова плачет мать, как раньше. Снова не слышит она ни шума берез под окном, не видит ни первой зелени лугов, ни голубого неба. Аверьян чувствует стыд. Как он не думал обо всем этом раньше.

— Будет — пошалил,— говорит Устинья.

— Да, да,— бормочет Аверьян и выходит.

Деревни притихли, совершенно спрятались во мраке. Поют полночные петухи.

«Куда зашел!»— думает Аверьян. Он старается представить, как будет рада Марина, когда он скажет: «Не беспокойся, я никуда теперь от вас не уйду. Давай все забудем...» Но эта мысль не приносит успокоения.

Он шагает, не разбирая дороги. Вот и деревня. В окнах его избы слабый свет. Еще пройти три дома... Он останавливается, потом быстро сворачивает в первый попавший переулок и направляется в поле. Ноги его вязнут в снежной пашне. Он долго ищет тропу и, не найдя ее, бежит по полосам. Полосы кончаются. Наугад, через ольховые кусты и огороды, он выходит на край деревни к избе Настасьи. Нигде никого. Он крадется по изгороди палисада, заглядывает в проулок и на крыльце смутно видит качнувшуюся белую фигуру.

— Настасья! — произносит он.

Не отозвавшись, она исчезает. За ней хлопает наружная дверь. Аверьян бросается на крыльцо и слышит в сенях ее

дыхание. С минуту они стоят, не произнося ни слова. Потом скрипит дверь в избу, и все стихает.

Утром Аверьян собирается с Аленкой в лес пилить сушник.

Он рассеян. Невесело посматривает на дочь. Какая она стала большая. Так, наверно, теперь и будет все время дуться на него.

Светает. Виднеются неясные очертания гумен.

Шагают молча. Аленка задумчиво смотрит перед собой.

Он говорит с легким укором:

— Что не писала зимой?

— Уроки. Школьные спектакли. Некогда.

— На кого думаешь учиться?

— Хочу быть геологом,— уверенно говорит Аленка.

То, что она решила это про себя, никого не спрашивая, и радует и немного обижает.

«Да, в ее дела теперь уже не суйся. Это раньше все у отца спрашивала».

— Давно надумала?

— Да еще прошлый год. Посоветовалась с учителем и решила.

Сердце Аверьяна сжимается.

— Так, так...

Аверьян не может больше говорить; отвернувшись, идет сзади. Как нехорошо, когда так оборваны кусты! Пестро, а все равно тетеревов в вершине рассмотришь не сразу.

— Что же, наверное, там с учителями иногда разговор и об отце зайдет? Кто такой? Как да что?

— Да нет, никто не спрашивает...

— Вот что. Так и не приходилось ничего обо мне? Скажем, на собрании или на квартире?

— Нет...

Они заходят в лес, начинают спиливать сушину, и Аверьян все вспоминает о том, как хорошо беседовали они с дочерью раньше. От той Аленки за два года осталось мало. Правда, она жива, любознательна, но это только без него. Стоит появиться отцу, и живость Аленки пропадает.

«Тут уж, видно, ничего не поделаешь»,— печально думает он.

Аленка мало сидела дома. Трепала с бабами лен, помогала убирать с гумна солому. Вечерами гуляла с подругами по деревне. Аверьян часто слышал ее голос.

Один раз Аленке пришлось стоять рядом с Настасьей на омете соломы. Обжимая пласты, они близко подходили друг к другу, и Аленка не смотрела на Настасью. Она даже стала немного печальной, потому что ясно видела: бабы наблюдают за ними. Веселая, находчивая, она сейчас не знала, как себя вести, и раскаивалась, что так необдуманно залезла на омет.

— Наплюй! — услышала она шепот Настасьи.— Пускай смотрят, насматриваются.

Аленка несмело подняла голову, уловила нежность в глазах Настасьи, почувствовала это и в ее движениях и улыбнулась.

Неловкость сгладилась.

Работать с Настасьей было легко. Сильная и ловкая, она еле касалась граблями пластов Аленки, и пласты ложились на место как бы сами собой.

Аленка украдкой осматривала ее.

«Мама так не сможет»,— думала она.

— А школу кончишь, потом куда? — спросила Настасья.

— Потом дальше.

— Хорошо,— вздохнула Настасья.

Когда у омета что-то замешкались мужики, подававшие солому, Настасья приблизилась к Аленке и поправила воротничок ее кофточки.

— В городе-то не тосковала?

— Нет, там было много подружек.

— Да уж ты найдешь...

Вечером, встретив Аленку на деревне, Настасья хотела снова поговорить с ней, но Аленка отвечала неохотно. Потом заторопилась, ушла. Больше Настасья не старалась встретить ее.

Глава пятнадцатая

Когда он берет ружье, Зорька забывает годы. Она припадает к полу, вертится на месте и лает так, что Марина затыкает уши.

— Будет уж!

Они идут тихим полем. Пахнет дымом печей и оголенными хмельниками.

В тени совсем белая трава.

Да, вот уже иней, скоро начнет седеть белка.

Он идет через Марьин поток. Эти полкилометра кустами — сплошное мученье. Тетерева срываются со всех сторон ежеминутно. Они с Зорькой растерянно провожают их взглядом: этого с подхода не убьешь...

Вот, наконец, отчетливый шум сосен на опушке...

— Ну, старая, ищи!

Он может сутками бродить по лесу, перелезать через валежины, пробираться в чапыжнике, пахнущем землей и зверем.

Макар Иванович с завистью посматривает на него.

— Нет, опять завтра не смогу,— говорит он.— Может быть, в выходной.

Настает выходной. Он бежит к Аверьяну.

— Слышал? Вчера машина Ребринского застряла на промостке у Михеевой пустоши! Надо собрать дорожную секцию.

— Да. Ребринский в сельсовете не был?

— Нет. Спешил. Встретил я его у плотов. Спрашивал про тебя: как работает, учится ли?

— Вот как! — радостно говорит Аверьян.

— Так вот, брат, иди опять без меня...

И Аверьян уходит.

«Вот уж завтра я его вытащу»,— решает он. И на следующий день является к Макару Ивановичу еще в потемках.

В избе тихо. Потрескивает в печи.

— Спит?

Ему никто не отвечает. Он смело заглядывает за переборку, Макар Иванович сидит, облокотившись на стол. Только что встал, хмурый.

— Ну, пошли,— весело говорит Аверьян.

— Нет, не хочется,— отвечает Макар Иванович и не смотрит ему в глаза.

Аверьян садится к окну.

— Что-нибудь неладно?

— На тебя есть заявление Ильи. Мы должны разобрать. Дело серьезное.

Аверьян молчит.

— В 1938 году, во время пожара на Федоровом болоте, ты где был?

— Не помню. Для чего это надо?

— 26 и 27 июля как раз перед пожаром и в день пожара ты был в лесу. Тушить не помогал. После этого ты три дня пьянствовал со своим шурином Игнашонком, врагом народа.

Аверьян не может ничего сказать.

— Всего этого я не знал,— с укором говорит Макар Иванович.— У тебя не одну ночь ночевал диверсант Шмотяков. Пока тебя ни в чем не винят, но сам понимаешь — надо выяснить. Кроме того, Илья требует разобрать дело с семьей Вавилы. Семью-то ты разбил.

Сидят в тишине. В сенях Зорька скребет дверь лапами.

Макар Иванович направляется к умывальнику, и Аверьян чувствует, что говорить с ним он больше не станет.

Он возвращается домой, ставит ружье на место и идет в сельсовет. Зорька неуверенно провожает его до гумен.

Собираются, как всегда, в кабинете Макара Ивановича. Запаздывает Илья. Сидят, вполголоса беседуют. Это заседание неожиданно и неприятно. Илья заходит среди полной тишины. Уверенно, размашисто шагает к столу и садится рядом с Азыкиным. Из кармана у него торчит тетрадь.

Пока Макар Иванович читает длинное заявление Ильи, все сидят, опустив головы. Один Илья смотрит прямо, открыто. Он сощурился от напряжения, старается не пропустить слова. Потом густым голосом произносит:

— Ты напрасно проглатывал слова, может быть, не всем товарищам понятно?

Все молчат.

Илья берет слово и рассказывает несколько шире все то, что было в заявлении.

— Давай, Аверьян, отвечай на все,— просит Макар Иванович.

Аверьян долго не может овладеть собой.

— Я вижу, в чем меня подозревают,— говорит он.— Но я вины не чувствую. Не знаю, что рассказывать. Спрашивайте...

Он садится.

— На какие деньги ты купил прошлый год двуствольное ружье? — спрашивает Илья.

— Ну, на какие...

Вопрос неожиданный. Аверьян не знает, что ответить. Это были деньги, накопленные экономией от жалованья,

самоотверженно сберегаемые в течение двух лет. О них даже Марина не знала. Ружье снилось ему. Всякая денежная трудность наполняла его страхом за эти деньги. Когда, наконец, ружье было куплено, то он даже болел несколько дней. Он всегда будет благодарен Марине, настоящей жене охотника, она поняла его.

— Я накопил эти деньги,— говорит Аверьян.

— Вот что! — насмешливо замечает Илья и достает тетрадь. Там у него записаны все расходы и доходы Аверьяна за два года. Он доказывает, что накопить столько денег Аверьян никак не мог. Семья, да еще дочь учится в районном городе...

— Так постой,— перебивает Илью Азыкин.— Что ты этим хочешь сказать?

— А вот что,— спокойно продолжает Илья, откидывает на всю длину левой руки тетрадь, в правой держит очки и сквозь них читает: — «16 июля 1938 года у Аверьяна Чуприкова ночевал диверсант Шмотяков. В дальнейшем эти ночевки повторяются».

Илья закрывает тетрадь.

— Я не стану рассказывать, все помнят, какая дружба была у Чуприкова с этим «ученым». Вино вместе пили? Пили.

Неожиданно поднимается Аверьян. К нему все повертываются...

— Об этом я должен сказать. Все это верно. Только дружбы у меня со Шмотяковым не было. Он не один раз начинал со мной разговор о деньгах, о недостатках, но ничего мне не предлагал. После его ареста я вспомнил эти разговоры. Кажется, кому-то еще рассказывал, ничего не скрывал.

Илья с негодованием указывает на него.

— Сначала ни в чем не хотел сознаваться.— И грозит пальцем: — Рано начал хитрить.

Потом Илья обращается к собравшимся:

— Мы любим либеральничать. Сейчас-то хоть, по крайней мере, надо заняться. Ведь стен стыдно!

— Аверьян, что ты на это скажешь? — не смотря на Аверьяна, спрашивает Макар Иванович.

— Мне нечего объяснять. Деньги накопил. Со Шмотяковым дружбы не было. С Игнашонком, правда, пил... Был такой грех.

— Перед пожаром и в первый день пожара ты где был? — спрашивает Илья.

— Был на охоте.

— Где ночевал? В охотничьей избушке?

— Нет. Одну ночь ночевал под елкой, на другую затемно пришел в деревню.

— Почему не ночевал в избушке вместе со всеми?

— Так вышло.

— Ты был один?

— Нет, не один.

— С кем?

Аверьян молчит. Все напряженно ждут.

— Сам не знаю,— говорит Аверьян.— Чей-то шихановский охотник. Попал в Пабережский лес случайно. Шел по просеке, да сплутал. Вышел туда. А потом понравилось. У вас, говорит, птицы много. Из какой деревни, я так и не спросил. Забыл, как и звать.

Илья осматривает всех с усмешкой и садится.

— У меня больше вопросов нет.

Выступает Азыкин.

— Тут товарищ Евшин столько наговорил, что если бы все так подтвердилось, нашего кандидата надо прямо вязать!

Кое-кто улыбается. Илья, упершись обеими ладонями в колени, снисходительно слушает.

— Форма, к которой прибегает Евшин, мне не нравится,— говорит Азыкин.— Мы еще не знаем, насколько и в чем виноват Чуприков, а уж вопросы ставим нехорошо. Я бы сказал, злорадно, как настоящему врагу.

— Товарищи,— вмешивается Илья,— может быть, мы попросим у Аверьяна Чуприкова извинения за беспокойство?

Все начинают шуметь. Азыкин смотрит на Илью с нескрываемым презрением. Илья улавливает его взгляд, и на лице у него выступают багровые пятна.

— Считаю, что такой тон разбора дела недопустим,— продолжает Азыкин.— Заявление Евшина, по-моему, носит склочный характер.

Илья внешне спокоен. С его губ не сходит снисходительная улыбка. Он поднимает руку.

— Товарищ председатель, разрешите. Вот сейчас тут мы слушали, так сказать, оратора, говоруна. Нам так не сказать. Но мы и в семнадцатом году не красно говорили, а

ведь революция-то все-таки победила! Позвольте, товарищ Азыкин, вы кто будете? Представитель райкома, прикрепленный? Разрешите вам заявить, что вы плохой представитель! Вот меня интересует, вы какого года рождения? Так. Значит, вы живого городового не видали. Нет, вы ошибаетесь, это не все равно. Может быть, вас тут не знают, а я знаю. Вы когда-то были троцкистом...

— Врешь! — стремительно поднимаясь, кричит Азыкин.

Илья с усмешкой осматривает слушателей и спокойно достает тетрадь. Он открывает ее на той странице, где у него какая-то наклейка из газеты, и читает:

«Г. Возвышаев, П. Пенкин, Т. Азыкин — собирались тайком в пределе церкви Покрова богородицы. Все методы их работы носили явно троцкистский характер. Фракционность...»

— Это клевета! — кричит Азыкин.— Негодяй, как ты смеешь читать старую газету!

Илья недоуменно осматривает собравшихся.

— Товарищ Азыкин,— смущенно говорит Макар Иванович,— пожалуйста, ведите себя как следует.

Азыкин поднимается и, заикаясь, с красным лицом, объясняет, что вся заметка от первой до последней строчки измышление человека, который давно арестован.

Его слушают внимательно и, кажется, верят, но неловкость остается.

Илья с сожалением посматривает на него.

— Мы отвлеклись от дела,— говорит Макар Иванович.— Разбирается поведение Аверьяна, а не товарища Азыкина.

Он строго смотрит на Илью и стучит по столу карандашом.

— Сядь!

Илья удивленно раскрывает глаза, повертывается к нему и, как бы не поняв, к кому это относится, продолжает рассматривать Азыкина. Потом он снова выступает:

— Может быть, товарищи, кое-кто считает, что некоторые вопросы нужно сейчас обойти. Нет, мы, большевики, не привыкли увиливать от прямых вопросов. Мы не боимся говорить прямо. Разбил Аверьян у Вавилы семью? (Вавила, сидящий в углу у печки, морщится.) Да, разбил. Все запачкал, испортил, осквернил. А мы его весной принимали в кандидаты, хотели сделать из него коммуниста! У меня, товарищи, иногда даже были такие мысли. Не затем ли

Чуприков хотел и в партию вступить, чтобы не казаться ниже Вавилы? Вот, мол, смотри, Настасья,— я тоже могу быть партийцем, глядишь — через год куда-нибудь продвинут!..

Аверьян вскакивает с поднятыми кулаками. Азыкин едва успевает схватить его за плечи.

Илья стоит, щурится и выжидает.

— Что такое? — с укором произносит Макар Иванович.

Вавила мрачно говорит:

— Прекратите это все.

Все умолкают. Илья быстро листает тетрадь.

— У вас ничего не подготовлено,— говорит Вавила.— Все неясно. Надо разбираться снова.

— Правильно,— соглашается Азыкин.

Всем становится легче, начинаются разговоры вполголоса. Илья, не прося слова, подходит к столу и раскрывает тетрадь.

— Садись! — уже кричит на него Макар Иванович и обращается к собравшимся: — Значит, дело надо довыяснить.

Аверьян выходит с собрания вместе с Азыкиным. Он бледен. У него все еще дрожат руки.

— Раз ты прав, значит, бояться нечего,— говорит Азыкин.— А с Настасьей? Ты действительно за это не отвечаешь. Кроме того, ведь баба-то выправилась! Вон как она поднялась. И общественница.

Аверьян уходит. Азыкин стоит и смотрит ему вслед.

— Увернулся! — слышится голос Ильи.

Илья идет другим краем дороги.

Азыкин не отвечает.

— Ну, мы его еще просветим,— говорит Илья, останавливаясь рядом с Азыкиным.— А вы, товарищи, напрасно либеральничаете. Смотрите, как бы не пришлось отвечать самим.

— Было бы за что! — недружелюбно отвечает Азыкин.

Илья долго смотрит на него в упор, потом тихо спрашивает:

— Как у тебя закончилось дело с кооперацией в Нижних Слободах?

— Какое?

— Да ведь тебя таскали?

— Как тебе не стыдно! Ведь сам знаешь, что кроме нераспорядительности мне ничего не приписали!

— Ну, ты извини, кое-кто на этот счет другого мнения!

От возмущения Азыкин не может ничего сказать.

— Так вот,— как бы не замечая этого, говорит Илья.— Мне уже трое заявили, что ты обвешивал.

— Этого не может быть!

— А мы живых людей позовем...

Азыкин никогда этого не делал, но он начинает задумываться: разве не мог ошибиться?

Глава шестнадцатая

На другой день Илья, как всегда уверенный, идет в сельсовет, по пути заглядывает в маслодельный завод, беседует с молодым мастером коммунистом Филей Кротовым.

После его ухода Филя долго сидит озабоченный и притихший.

На реке Илья видит моющую платье Устинью и спускается к ней.

Устинья настороженно повертывает к нему голову, но не разгибается.

— Ну, как жизнь, Емельяновна?

— Ничего, живу.

Тон Устиньи не нравится Илье. Он строго спрашивает:

— Помнится, ты прошлый год с первого дня была на пожаре?

Устинья смотрит на него, открыв рот.

— С каким человеком Аверьян подходил к работающим? Еще посидели они тут с вами. У стариков в избушках были...

Устинья выпрямляется, бросает платье.

— Ничего не помню.

Потом она поспешно, со страхом добавляет:

— Ничего не знаю. Уйди от меня, ради бога. Иди в лес к старикам, те все знают.

Устинья принимается старательно полоскать белье.

Илья злобно следит за ней. Так с ним не разговаривала ни одна баба. Он осторожно осматривает по сторонам: никого поблизости нет.

— Письма-то у тебя живы? — спрашивает он.

Белье падает из рук Устиньи.

— Какие?..

— Да ты не притворяйся, будто ничего не понимаешь,— продолжал Илья.— Помнишь, прошлый год Шмотяков присылал тебе из лесу письма?

— Какие это письма? — кричит Устинья.— Там всего три слова: «Купи и принеси хлеба». «Принеси сахару». Вот и все.

Илья грозит пальцем.

— Ну, знаешь, ты это рассказывай вон Катьке (по мосту идет внучка Онисима — Катька), а меня не объедешь.

— Да никаких писем не было! — со слезами на глазах кричит Устинья.— Ты, калабаха, меня еще куда-нибудь впутаешь.

Катька останавливается у перил.

— Не кричи,— злобно шепчет Илья Устинье.— И помалкивай. Я не говорил — ты не слыхала. А помнить об этом — помни...

Он откашливается, делает веселое лицо и выходит на дорогу. Катька робко шагает другим краем.

— Чего в узелке-то? — лукаво спрашивает у нее Илья.

Катька смотрит на него исподлобья.

— Сахар из лавки.

— Вот что. По лавам через реку ходить не боишься?

— Нет.

Катька все смотрит недоверчиво. Это начинает раздражать Илью. Сдерживаясь, он тихонько говорит:

— Дядюшка-то Аверьян к Настасье заходит?

Катька, не ответив, прижимает узелок к груди и бежит от него, сверкая голыми пятками.

— Держи-и, держи! — пробует пошутить Илья, но, чувствуя, что это не вышло, плюет и грязно ругается.

В тот же день Илья спешно заходит на Нименьгский завод. Утром возвращается веселый.

Аверьян издали слышит его голос на деревне и хочет незаметно проскочить в свой переулок.

— Постой! — кричит Илья и подходит к нему.

Стоят у канавы. По дороге ветер перекатывает березовые листья. Они постукивают черенками о сапоги Ильи.

— Идем на выручку единокровных братьев! — говорит Илья.

— Да, да,— оживляется Аверьян.— Читал вчера, как население встречает Красную Армию, обнимают наших ребят.

Несколько минут беседуют о победах Красной Армии. Потом начинают говорить о работе, и Аверьян сразу чув-

ствует, что у Ильи есть что-то против него новое. Он сразу обрывает разговор.

Заметив его испуг, Илья говорит:

— Что же ты, елки зеленые! Думаешь, все, как у тетки, прощать будут! А заявление в партию подавал, о чем думал?

— Я никакой вины не чувствую!

Илья поднимает палец:

— Это вы нам подождите!..

И делает строгое лицо:

— Перед таким шагом надо было все сугубо продумать! Надо каждое слово взвешивать! Ну, вот что получается, мы тебя исключим, будешь запачкан. Стоило начинать дело! Чудак!

И, осмотрев Аверьяна открыто, насмешливо, Илья уходит.

Потерялась в лесу молодая кобыла Воронуха. На Сосновской дороге видели ее следы, и рядом следы медведя. Правда, след Воронухи был старый, омытый дождями, медведь же только прошел.

Собрались искать лошадь. Шли многие: подростки, пожилые.

Илья вышел на деревню хмурый, жаловался: ломает, должно быть, сменится погода. Если к вечеру будет легче — пойдет на Пильму (там он рубил для своей коровы хлев) и попутно осмотрит все дороги, сыри. Только на Пильме Воронухи нет: все бы за лето наткнулся на нее или услышал.

Направились в Дедово. Солнце еще не вставало. Пожни притихли в мягком свете. Плотный туман лежал у самой земли. В лощинах он был так густ, что мальчишки прятались в нем друг от друга. Когда взошло солнце, туман быстро побежал по земле, разбивался о кусты и исчезал. Кусты сразу почернели, засияли. Мальчишки отряхивали их.

Вскоре стало совсем ясно. Над самым лесом закурлыкали журавли. Большие, неуклюжие, с длинными вытянутыми ногами, солидно, не спеша взмахивали крыльями.

— Стадятся! — сказал Иван Корытов.

Аверьян прислушивался к спокойному курлыканью журавлей, осматривал небо и думал: «За сколько же дней Илья узнает погоду?»

Зашли в лес, стали расставлять цепь. Аверьян молчал и все думал о нем. Потом шел в лесу, перекликался с соседями и опять думал об Илье.

Под вечер сошлись на гари у Сосновца. Сдержанно разговаривали: всем было жаль Воронуху. Аверьян изредка вставлял замечания. Потом сказал:

— Не застряла ли Воронуха на Пильме, в Авдюшкином болоте? Илья там наверно не был.

— Может быть,— поддержал его Иван Корытов.— Не мешает заглянуть и туда.

Все согласились.

Последние годы на глухую реку Пильму как-то неприятно было ходить. Коней в лесу не пасли, ягоды и грибы были всюду близ становых дорог.

Пошли на Пильму. Держались старой просеки, а больше наугад.

В сырях и грязях останавливались: следов Воронухи нигде не было видно.

Кромкой берега Пильмы была пробита тропа. Шла она прямо, уверенно к еловой гряде — Акимову бугру, срезала изгибы реки, просекала заросли.

С бугра доносилось гудение дерева под топором. Изредка топор звенел, отскакивая: видно, дерево было крепкое, сухое.

Аверьян с Иваном Корытовым первые подошли к вырубке и остановились. Весь Акимов бугор был повален. Возвышался лишь голый холм, и на склоне его стоял белоснежный еловый сруб. Толстые — одно к одному — бревна тщательно выстроганы скоблем, глубокий прочный паз, накрывая дерево, сливался с ним — не просунешь иглы. Заусолки были опилены, острые края бревен срезаны. Все белело, светилось, только косяки были розовые — из сосны. Вокруг сруба густо лежали свежие щепки, серебристые стружки, опилки. От всего этого на холме было светло. Подошли ближе. Щепки захрустели под ногами. Все стали щупать сруб, постукивали по гулкому дереву и улыбались.

Аверьян поднял щепку и разломил ее в руках.

Трудно найти что-нибудь более приятное, чем запах свежей ели в стене.

Сосна пахнет густо, сыто, до легкого головокружения. Волокно ее отлетает под топором шероховатыми ломтями. Вырубленная в сосне «коровка» похожа на розовую чашу, которую хочется вынуть из дерева и нести на солнце. У ели

нет того богатства красок. Аромат ели тоньше, нежнее, иногда он чуть уловим. Особенно хороша ель в середине ствола, источающей свет и тепло солнечных десятилетий.

У всех блестели глаза. В каждом проснулся северный плотник.

— Вот ужо, ребята,— проговорил Иван Корытов,— зимой навозим лесу и поработаем на большом-то дворе. Будет где развернуться!

Человек десять вошли в сруб. В углу его стояла большая, только что законченная колода для воды. Она гудела: стоило сказать погромче, задеть за порог каблуком.

Ходили в срубе, прикидывали на глазок длину, ширину его и переглядывались. В хлеве свободно могли стоять две коровы и с десяток овец.

По одну сторону сруба, в штабеле, лежали тесаные потолочины. Заготовлены они были, видимо, еще с весны — облились серой и пожелтели.

Все обратили внимание на то, что в стене сруба не было ни одной вершины. Но и на вырубке ничего не валялось. Все старательно прибрано, расчищено, сожжено. Мелкие сучки там и тут сложены в аккуратные кучки.

В одном месте вырубки на гари виднелась жнитвина: Илья сеял ячмень. В другом — зеленели еще листья репы.

Осматривали вырубку, сруб, в стороне — ворот, обтертый веревками, шалаш, рядом с ним костер и мрачнели.

Трудно было поверить, что все это сделано одним человеком. Всем становилось ясно, что, пока были светлые ночи, Илья не смыкал глаз — работал в лесу. Вот почему он плохо метал стоги, иногда дремал на ходу. Он просто был не в силах делать лучше.

— Вот отчего его ломает,— с хитрой усмешкой проговорил Корытов.

Все зашумели.

Илья вышел из леса (видимо, пережидал, пока все уйдут, и не выдержал). Он был хмур, гладил поясницу.

— Только до вас пришел,— громко сказал он.— Тоже пробежал дорогами. Кобылы тут нигде нет. Да ведь я сказывал!

Заметив, что многие косятся на его «хлевец», быстро повернулся к нему и пояснил:

— Лесок попал хороший. Дай, думаю, срублю побольше. И люди спасибо скажут. Вон у вдовы Устиньи некуда корову загнать, пускай на здоровье гонит.

— Что же ты ее ни разу не позвал в лес? — спросил Иван Корытов. — Хоть сучья таскала бы — и то ладно!

— Ну, что с нее взять!..

Иван Корытов шагнул к костру прикурить и стал рассматривать закрытый у пенька ветками черный котел. От котла чуть заметно поднимался пар. Иван кивнул на этот котел.

— У Ильи все по-особому: только пришел, а тут за него кто-то уж пообедал...

Все мрачно молчали.

Илья сделал вид, что не расслышал, разговаривал с подростками.

Аверьян чувствовал на себе его взгляды. Илья, должно быть, заметил, что первыми к вырубке подошли они с Иваном Корытовым. Обязательно заподозрит теперь: нарочно привел сюда! Этого Илья не забудет...

Илья пришел вместе со всеми к Авдюшкину болоту. Вышагивал впереди, изредка покрикивал на подростков или просил то одного, то другого: «Опустись-ка вон в ту сырцу!», «Осмотри-ка, парень, около того выворотня, что-то сильно умята!»

Воронуху не нашли.

Илья спешил из леса. К вечеру ждал из города дочь. Но она приехала поздно. Илья сидел за чаем у открытого окна и прислушивался. Когда ему сказали, что Матреша стоит с вещами на деревне, Илья выбежал из-за стола во тьму ночи босиком, в расстегнутой рубахе.

На дороге, около середины деревни, раскачивался фонарь, слышались веселые молодые голоса. Илья подбежал к машине. На краю канавы стояла Матреша с двумя чемоданами и разговаривала с подругой. Шофер с помощником наливали в радиатор воду. Около них носился Васька Хромой, возбужденный, в одних портках (шоферы черпали из его колодца воду керосинным ведром). Илья покосился на Ваську и плюнул:

— Как тебе не стыдно, при девушке в одних портках и ругаешься! Свинья!

— Да ведь эти девушки слыхали! — просто ответил Васька.

Илья сунулся к дочери, похлопал ее по плечу и взял оба чемодана. Дочь упрашивала оставить ей один, он ничего не ответил.

Аверьян смотрел, как сзади шла, размахивая руками,

здоровенная дивчина, а отец кряхтел под тяжестью чемоданов.

В нем все было не такое, как у других. Даже в его любви к детям!

Аверьян понял, что злоба Ильи к нему безмерна. Из-за него приходилось Илье подтягиваться на работе, из-за него потерял Илья авторитет. Теперь, пока еще не совсем перестали с ним считаться, Илья решил предупредить Аверьяна, обезвредить его для себя. Его теперь не остановишь никакими силами. Теперь он будет биться до изнеможения, будет бегать, ездить, говорить.

Надо как-то этому помешать. Но как? Аверьян не находил ничего такого, что не показалось бы склочным, потому что Илья начал против него дело.

Часть четвертая

Глава семнадцатая

Илья приносит из клети шомпольное ружье, которого не брал в руки уже лет двадцать, чистит его и идет в лес.

Дороги заросли. На тропах — трава и кусты осины. Местами поперек пути лежат подгнившие елки. Обходя их, Илья ворчит, сердито разбирает сучья. Тажелое ружье то и дело сползает у него с плеча.

Через речку Хоревку обвалился мостик. Илья перебирается по скользкой балке и падает в воду. Правда, тут только до колена, но все равно начерпал в сапоги. Он переобувается и посматривает на солнце. Время к вечеру. На берегу, в осиновой роще чувствуется прохлада, запахи влажной земли и валежин. Все это напоминает Илье годы охоты на птицу, ночевки в лесу. Но он не был хорошим охотником, скорее, все это раздражает его. Он мельком осматривает лиловые вершины и в одной видит черный ком. Сразу вспотев, он делает ружье на изготовку и крадется за деревьями. Глухарь громаден, в нем не менее шестнадцати фунтов мяса. Это так волнует Илью, что он забывается, бежит от дерева к дереву, наступает на сучья. Слышится оглушительное хлопанье. Илье кажется, что он ощущает на своем лице ветер, поднятый крыльями черной птицы. Илья стреляет влет, почти не целясь, его сильно толкает. Струей огня

обрывает несколько листьев. Потом все стихает. В одном месте слегка покачиваются сучья. Плюнув и громко выругавшись, Илья уходит. Потеряно много времени. Начинает смеркаться. Он сворачивает на старую просеку, то и дело останавливается и слушает. Где-то далеко ударили обухом в сухое дерево. Над вершинами сказался ворон: возвращается на ночевку. Илья теряет просеку, попадает в лощину. Высокая трава, кочки. Он узнает Согру близ озера Данислова, вскоре выходит на берег и видит на елке охотничий знак старика Лавера. Вот и тропа. Слышен запах дыма. Он подходит к избушке.

Лавер стоит у двери. На самом берегу Укмы костер. Навешен большой чайник. Перед избушкой на широком темном пне сумка Лавера с убитой птицей.

— Здравствуй, дед! — с некоторой робостью произносит Илья. (Он не любит и побаивается этого старика.)

Лавер молча кивает и смотрит на него как на пустое место. Потом уходит зачем-то в избушку. Илья стоит, ждет. Наконец, заглядывает в темную дверь. Лавер сидит на нарах. Потрескивает каменка. В избе страшная жара.

Илья скидывает ружье, сумку и подкладывает в костер дров. Закипает чайник. Лавер уносит его, потом достает с потолка избушки веник и плотно закрывает за собой дверь.

Становится совсем тихо. Илья сидит на земле у костра, ждет, когда старик кончит париться, и злится. Проходит с полчаса, Лавер открывает дверь и в одном белье садится на пороге избы. Сзади него виднеется пламя каменки.

Удивительное дело! Илья не знает, как начать разговор. Старик смотрит по-прежнему, как бы не видя его. Разговаривает с собакой. Наконец, весь белый, босиком идет за водою на Укму и принимается готовить ужин.

— Дед,— начинает Илья,— прошлый год в первый день пожара сюда приходил Аверьян? Не помнишь, с кем он был?

Старик не отвечает.

Собака лежит у его ног и стучит хвостом: оба заняты.

— Не скажешь? — неуверенно уже спрашивает Илья.

Старик молчит.

Илья думает о том, как будет ночевать в избушке вдвоем с этим человеком, и ему становится страшно. Он исподлобья посматривает на Лавера, озирается по сторонам. У стены избушки он видит большой ворох берестяных об-

чинков, наматывает их на палку, зажигает в костре и торопливо, без оглядки, идет через лощину. Измученный, вымокший в траве до пояса, он приходит к Онисиму.

Найда бросается на него с лаем.

— Что! — кричит Онисим.

Собака покорно возвращается к порогу.

Узнав Илью, Онисим рассматривает его с любопытством.

— Славно,— говорит он.— Новый охотник.

— Насилу дотащился,— жалуется Илья.— Давай, думаю, лучше ночую у Онисима.

Онисим не отвечает. У него поспел ужин. Он стелет у костра на траве скатерть и наливает в деревянное корытце свежих щей. Илья садится поодаль, искоса поглядывает на его приготовления. Нигде похлебка не пахнет так вкусно, как в лесу.

Онисим отдает собаке кости, бросает кусок хлеба. Найда, счастливая, устраивается под кустиком. Илью раздражают фиолетовые огоньки ее глаз, он отвертывается и развязывает сумку. Онисим садится к столу и молча протягивает Илье ложку. Едят, обжигаются.

На полянке колеблются две огромные тени.

Трещит в костре. Оба посматривают на него. Это как бы сглаживает неловкость молчания.

— Гагары стадятся,— говорит Илья. (На озере слышны их крики.)

— Тронулось много птицы... Вон позавчера лебеди опускались.

— Вот бы подстрелить.

Онисим не отвечает, он смотрит на Илью испытующе. На самом деле решил лесовать или что другое?

— Пожар-то помнишь? — осторожно спрашивает Илья.

— Ну?

— В первый день на пожар Аверьян приходил. С каким он был человеком?

Онисим задерживает ложку в руке.

— А тебе что?

— Как же, надо узнать.

Онисим слышал, что у Аверьяна какая-то неприятность. Он не знает — что; раз решили разбирать, значит, что-то есть, но когда о нем что-то хочет узнать Илья, старик настораживается. Это поднимает Аверьяна в глазах старика, и он начинает подумывать о том, уж не напрасно ли возводят на Аверьяна какое-то дело?

— Ну, как, дед, скажешь?

— Все забыл. Стала память старая,— со смехом в глазах говорит Онисим.

Молча заканчивают ужин. Старик идет в избушку. Собака ложится у порога.

Илья тоже лезет в избушку, опускается на пол к стене и вытягивает ноги. Онисим лежит на нарах, спиной к гостю.

За дверью свежо и сыро. Угасает костер.

— Как бы тебе, старик, самому отвечать не пришлось,— начинает Илья.— Ты знаешь, что бывает за укрытие?

Онисим быстро повертывается к Илье.

— Это что, стращать?

Илья молчит.

— Ну-ка,— говорит Онисим,— иди с богом, откуда пришел. Иди! Иди!

— Ты что, ошалел?

— Иди! — уже кричит Онисим и встает.— Иди жалуйся на меня, куда знаешь!

Илья выходит на улицу, смотрит на холодное, чистое небо, на озеро, застывшее в лунном свете, и ежится.

Онисим захлопывает дверь.

Илья вздрагивает и бежит к угасающему пламени. Он оживляет костер, ложится к огню спиной и всю ночь вертится от холода. Едва начинает брезжить, он вскакивает и уходит домой.

Он никому ничего не говорит о своей охоте. Для виду убивает на опушке сойку и крылышки ее прибивает на стену в горнице над своим большим портретом.

Неудачи не смущают Илью. После каждой неудачи он становится только злее, решительнее и держит себя со всеми как строгий судья.

— Эй ты, председатель,— обращается он к Маносу,— что у тебя на Филатовом овине — лен сушат или тараканов морозят? Теплина пуста, никого нет.

Илья снисходительно улыбается.

— Должно быть, и сушит такой субчик, как ты! — сдержанно, с достоинством отвечает Манос.

Илья сразу свирепеет, начинает кричать.

Манос радостно раскрывает глаза. Прошлый раз, сцепившись с Ильей, он не заметил, как Илья держал выхва-

ченные в злобе очки. Сейчас Илья достает очки и долго поправляет их на носу большим и указательным пальцем. Манос, забывшись, приближается к Илье и следит за ним с любопытством.

— Тебе чего? — растерявшись, спрашивает Илья.

Манос отступает на шаг, говорит начальнически:

— Ты мне дай отчет: где эти дни шатался? У меня людей не хватает, люди на вес золота. Спрашивался у бригадира?

Илья отвечает важно:

— У меня партийные дела!

— Ты меня в панику не бери! Штрафую за прогул! Что ты, гнида, бродишь, собираешь сплетни на хороших людей! Прямо какой-то Потап на балу!

Илья грозит пальцем:

— Защищать! Захотел на казенные хлеба? Я тебе както намекал о Шмотякове. Свяжут!

Манос настолько оскорблен, что не знает, с чего начать речь. В память приходят отрывки самых решительных выступлений Азыкина, слова Ильи. Ко всему этому примешивается страх снова ошибиться. Манос ничего не может слепить из всех этих обрывков и, махнув на все рукой, уходит от Ильи в смятении.

День ото дня Илья становится бодрее. Его можно видеть всюду. На гумне, на стлище, в сельсовете. Всюду слышен его трескучий голос. Но авторитет Ильи подорван невозвратно. Его или не слушают, или поддакивают для виду. Илья догадывается, что его разговор с Устиньей известен всем. Она, видимо, разболтала, да еще прибавила от себя...

Так и есть. Его вызывает к себе Макар Иванович.

— Что же ты, милый, занимаешься болтовней? — просто спрашивает он.

«Теперь уж все равно»,— думает Илья, неторопливо усаживается на диване и ясно смотрит на секретаря. Губы его шевелит улыбка.

— С каких это пор ты считаешь политическую работу болтовней? — спрашивает он.

«Как он смотрит!»— думает Макар Иванович и начинает наблюдать за Ильей, как бы впервые его видя.

Молчание Макара Ивановича раздражает Илью. Он говорит уже резче:

— Мне кажется, ты, товарищ секретарь, собираешь о членах партии сплетни.

Макар Иванович продолжает рассматривать его. Это спокойствие секретаря озлобляет Илью окончательно. У него начинают дрожать губы.

— Ты хочешь отстоять своего счетовода. Боишься за своего рекомендуемого.

— Перестань,— не повышая голоса, говорит Макар Иванович.— Запомни: болтать не надо.

Макар Иванович собирает на столе бумаги. Илья видит, что этот разговор стоил секретарю большого напряжения: лицо у него неподвижное, губы плотно сжаты. Илья уверен, что Макар Иванович уносит в себе обиду и, конечно, при удобном случае кое-где напомнит об этом. Он наливается бешенством и кричит:

— Ты хочешь меня топить!

Макар Иванович удивленно поднимает голову:

— Не дури.

— Позволь напомнить,— продолжает кричать Илья,— кто в тридцать седьмом году распахал Агафоновы лужки?

Держась за портфель, Макар Иванович снова неузнающим взглядом осматривает Илью. Илье кажется, что точно так смотрит на него последнее время Манос. У него мелькает догадка: не обсуждает ли секретарь его поведение с этим беспартийным?

— Председателем был ты! — кричит он.— Счетоводом Аверьян. При вас в Малом поле навыпахивали глины!

Макар Иванович выпускает портфель. Все это действительно было. Лужки погублены, на полосах после той весны выросла одна метлика...

— А ты не помнишь, как у полосы стоял прокурор Теркин? Уполномоченный рика? — спрашивает Макар Иванович.— Ведь он заставил пахать глубже, приводил насчет глины какую-то теорию! Агафоновы лужки тоже перепаханы под нажимом уполномоченного Крысина!

Илья усмехается.

— А если бы они заставили о стенку головой стукаться, ты бы послушал?

Макар Иванович начинает горячиться. Илью радует это.

— Вреда колхозу вы тогда принесли много,— говорит он.— Жаль, меня не было дома. Я бы не допустил до этого. Не знаю, как это все гладко сошло вам с рук!

Илья делает паузу и добавляет:

— Может быть, и не сошло.

Макар Иванович вдруг перестает спорить, спокойно бе-

рет портфель и спешит к выходу. Илья остается с раскинутыми руками.

— Чего встал пугалом? — ворчит на него сторожиха.— Сейчас дверь закрою.

Илья покорно идет к двери.

Глава восемнадцатая

Марина замечает, что Аверьян последние дни задумывается, худеет. Она приходит в сельсовет и каждый раз заглядывает к нему. Сидит со сторожихой Устиньей, смотрит, как он работает, как говорит по телефону.

— Да, товарищ Ребринский, это я, Чуприков. Ничего. (Он мрачнеет.) Тут разбирали мое дело.

Посидев с полчаса, она уходит: нет времени.

Вечером в день разбора дела он сидит у окна в потемках. Больше никого в избе нет. Возвратившись с работы, Марина зажигает лампу и ставит ее на стол. Он неподвижен, ничего не замечает. Марина осторожно касается рукой его волос. Он удивленно поднимает голову. Марина стоит спокойная, внимательная и строго смотрит на него.

— Хоть я давно тебе чужая,— говорит она,— а так нельзя. Не рвись! Тоской делу не поможешь. Я не знаю, что у тебя. Думаю, что ничего худого не сделали...

Он, размягший, прислоняется к стене и сидит, не спуская с нее взгляда. Потом отвертывается и говорит:

— Если я тебе чужой, так в чем дело! Поступай как знаешь. Жалости ко мне у тебя теперь все равно нет.

Она долго молчит. Потом совсем тихо произносит:

— Если бы не было жалости, я бы не плакала.

— Разве ты плачешь?

Марина не отвечает.

Ему вспоминаются слова матери:

«Те слезы, сынок, тяжелее, которые в тайности...»

Он смотрит на Марину и не знает, что ответить.

— Иди! — говорит Марина.— Тебе время.

И он уходит.

Илья сидит у самого стола. На нем новая коричневая рубаха, он только что из бани. В руках у него свежая газета. Все молчат, переглядываются.

Макар Иванович объявляет о том, что дело Чуприкова доследовано.

Аверьян мучительно старается вспомнить что-нибудь, но по-прежнему никакой вины за собой не чувствует. Он смотрит на широкое, с застывшей улыбкой, лицо Ильи, на его широкий жабий рот, в его желтые, влажно поблескивающие глаза.

Да, он никакой вины за собой не чувствует, но все-таки ему страшно, потому что тут находится этот человек.

Макар Иванович перелистывает папку. Все замечают, что он взволнован, поэтому всем становится ясно, что дело важное, нешуточное.

— Мы, товарищи, постарались выяснить все. Навели все справки.

Макар Иванович умолкает и принимается что-то разыскивать в папке.

Илья упирается ладонями в колени и чуть склоняется к столу. Становится видна у него в кармане тетрадь.

— Многое из того, что говорил прошлый раз Илья Евшин, подтвердилось,— продолжает Макар Иванович.

Слышатся вздохи, скрипение стульев.

Неподвижным остается один Азыкин. Он знает все заранее. Он сидит в уголке дивана, полуприкрыв глаза, и как бы дремлет.

Макар Иванович, не торопясь, докладывает о пьянстве Аверьяна с Игнашонком, о том, что многие видели, как Игнашонок давал ему деньги. Аверьян кутил с Игнашонком три дня без перерыва. Неизвестным осталось, где был Аверьян 26 и 27 июля перед самым пожаром и в день пожара. Игнашонок в это время тоже пропадал с завода...

Наступает тишина. Все смотрят на Аверьяна. Лица суровы, неподвижны.

Аверьян молчит. Все это правда. В 1938 году он пил с Игнашонком. И, может быть, брал на водку деньги, он не помнит этого. Вообще все это время, как он шатался, зачастую ему было все равно, где ночевать, с кем выпить. Он жил страшно. Иногда его пьяного видели валяющимся в канавах...

— Это было,— говорит Аверьян, ни на кого не глядя.— Но я ни в чем не виноват. Теперь видите — я не пью.

Высказываются робко, неопределенно.

Посмелее выступает Вавила. Он не видит причины для исключения Аверьяна, как это предлагают некоторые.

Илья просит слово в порядке ведения собрания. Могут ли голосовать члены других партийных организаций, кроме того, такие, о которых не сегодня-завтра разбирается вопрос как о хулиганах?

— Так ты что же — предлагаешь ему удалиться? — с неудовольствием замечает Макар Иванович.

— Нет. Я только прошу учесть,— говорит Илья.

Неожиданно вскакивает Азыкин.

— Евшин совсем не умеет вести себя на собрании! Надоело на него смотреть!

— Председатель, позвольте слово! — спокойно говорит Илья.— Я не знаю, товарищи, кому и на кого надоело смотреть. Кто кому мозолит глаза?

Илья раскрывает тетрадь, немного придвигает к себе лампу и начинает, не торопясь, читать о том, как в начале весны группа двурушников — Возвышаев, Пенкин, Азыкин пытались сорвать ход мобилизации средств в Нижних Слободах.

Все открывают рты. Сам Азыкин вынимает изо рта папиросу. Никто не смотрит ему в глаза.

— Позвольте! — вдруг кричит Азыкин.— Да ведь это все та клеветническая заметка. Какая наглость!

Все недружелюбно повертываются к Илье.

— Ты все время нарушаешь порядок ведения собрания,— говорит Макар Иванович.— Прекрати эти безобразия. К чему опять эта заметка? Ложь! И не о нем сейчас речь. Лишаю слова!

Илья снимает очки и продолжает листать тетрадку. Все ждут.

— Что это клевета — у меня на этот счет особое мнение.

Он делает паузу.

— Да только ли у меня!

— Врешь, жабья морда! — во весь голос кричит Азыкин.

Все смотрят на него. Он стоит со стиснутыми кулаками, тяжело дышит.

Илья бросает на него быстрый взгляд и улыбается.

— Каких еще вам надо доказательств? Виноватый всегда скажется.

— Садись! — приказывает Макар Иванович.

Несколько овладев собой, Азыкин просит слово и принимается объяснять. Эта клеветническая заметка была причиной того, что его в Нижних Слободах исключили из партии, сняли с работы и перестали отпускать в кооперати-

ве продукты. Потом, конечно, все было выправлено, но до сих пор больно вспоминать об этом. Он просит извинить его за то, что погорячился. По делу Аверьяна он считает, что Аверьяна не должны исключать. Аверьян уже не тот!

Ни один из выступающих не упоминает больше об этой заметке. Начинают горячо говорить о поступках Аверьяна Кто может поручиться за пьяницу? Было время, собирал рюмочки, не брезговал ничем. Правда, все это прошло, и вот видные коммунисты, вроде Макара Ивановича, даже нашли нужным рекомендовать его в кандидаты партии. Но выходит, что он не совсем открыто пришел в партию, что-то оставил про себя...

Аверьян смутно слышит все это. Он еще не представляет, что с ним будет, если исключат, что будет потом. Самое страшное в том, что могут не поверить в его искренность!

Поднимается Макар Иванович. Все смотрят на него.

— Что же, товарищи,— говорит секретарь.— Вы правы, как можно поручиться за человека, который ради рюмочки вязался со всяким негодяем? Может быть, весной мы действительно совершили ошибку.

Илья одобрительно кивает головой.

— Есть ошибки, которые исправимы.

Макар Иванович не отвечает.

— Но все-таки я против исключения Аверьяна. Он вполне исправим.

— А нам известно, что было у него с Игнашонком, со Шмотяковым? — спрашивает Илья.

Молчание. Макар Иванович ставит на голосование предложение Ильи: исключить.

Аверьян закрывает глаза.

Тихо. Слышится шелест поднимаемых рук. Когда Аверьян открывает глаза, все руки уже опущены.

— Значит, против только один я,— говорит Макар Иванович и поворачивается к Филе-маслоделу: — Запиши: «Исключить при одном голосе против».

— Неправильно! — кричит Азыкин.— Я буду говорить об этом в райкоме.

Все молчат.

Илья поправляет на носу очки. Потом, не торопясь, достает очешник, с легким щелканием открывает его и быстро снимает очки.

— Так что ты советуешь? — говорит он Азыкину.— Пе-

реголосовать? Мне кажется, собрание, кроме секретаря, единодушно.

Азыкин не отвечает.

Расходятся. Аверьян сидит у окна. Потом встает и, опустив голову, выходит.

Макар Иванович и Азыкин тоже идут на улицу и стоят у ворот. На деревне шумно: возвращаются с кинокартины. Мелькают огоньки цигарок.

— Райком отменит,— решительно произносит Азыкин.

— Не знаю...

Макар Иванович прощается и торопливо идет под гору, к реке. Он догоняет Аверьяна, но не выравнивается с ним, осторожно следует сзади.

Под ногами поскрипывает песок. Вот над рекой черная полоса лавинок. Лавинки стучат, прогибаясь под ногами. Лицом и руками Макар Иванович ощущает туман, теплый, влажный, с запахами земли. Говорят, последним ливнем в верхах сорвало плотину.

Аверьян ни разу не обертывается. Они выходят на берег. В крайнем гумне свет фонарей: бабы треплют лен. Согнувшись, оба быстро проходят мимо и снова скрываются во тьме. Так следует Макар Иванович за Аверьяном до самой его избы. Здесь он ждет, когда хлопнет дверь, и подходит к окошку. Марина сидит за прялкой. У стола ребята с книгами, с тетрадями. Аверьян раздевается в углу и сразу валится на лежанку.

— Чаю или есть хочешь? — спрашивает Марина.

— Как вы — мне все равно.

Марина начинает собирать ужин.

«Ничего»,— думает Макар Иванович и уходит.

Утром Илья идет на ток. Сумерки. В кустах, за канавой, просыпаются сороки. Идти далеко, до самого Лебежского хутора. Илья торопится, оглядывается назад: никого не видно, он первый.

Тракторист устанавливает привод. Илья кивает ему, похозяйски обходит вокруг ометов, щупает солому. Потом встает на свое место к барабану и старательно обметает вокруг него веничком.

Женщин Илья встречает улыбками. Пробует шутить, но на его шутки не отвечают; одни сразу берутся за грабли, другие лезут на скирду подавать снопы. Илья остается

один. Он думает о том, что в этом виноват Аверьян; бабы сочувствуют ему.

Илья снова пытается заговорить с женщинами:

— Вот, бабы, какие дела-то!

Опять никто не отвечает.

Включен мотор. Начинает работать привод. Ровно вертится барабан. Илья ровным слоем направляет снопы в барабанную пасть. Он как будто не спешит: успевает замечать все кругом, покрикивает на девчат: «Не рвись!», «Что рот открыла, отгребай!»

Все стараются до поту. Подростки носятся с граблями бегом. Один Илья ровно, уверенно направляет снопы. Зерно летит бесчисленными брызгами.

— Ты, заозерка, что скажешь? — кричит Илья сквозь грохот машины.

— Что спросишь? — не глядя на него, отвечает Настасья.

Он посматривает на нее исподлобья.

— Обиделась?

— А что на тебя обижаться! Тебе только в глаза наплевать. Ты бы жил один на всем белом свете.

Все повертываются к Настасье.

Павла опускает грабли.

— Отступи от нее, отец,— советует она Илье.— Видишь — дружка задели, так сердце-то у нее рвет.

Илья и сам не рад, что так получилось. Он кричит на жену и вырывает сноп из рук Устиньи.

Павла, склоняясь то к одной, то к другой, начинает что-то нашептывать женщинам. Женщины переглядываются, удивленно качают головами.

Аверьян просыпается и видит на полу, на стене, по лавкам яркий солнечный свет.

В избе пусто. Пахнет горячим хлебом.

Аверьян умывается, выходит в сарай и выглядывает из ворот. Наступает новый день, день отлета птиц, строгий, немного печальный и величественный. Еще не весь осыпался лист, кусты за полем похожи на громадные костры. Облетела только рябина.

Павла Евшина смотрит из окна. Круглое лицо ее оживлено любопытством.

Аверьян уходит в сарай, начинает перекладывать сено,

передвигает старые сани. Снова идет к воротам. Павла все еще смотрит. Тогда он решительно шагает по въезду. Павла прячется. Он идет задворками в другой конец деревни. Здесь садится на камень к чьей-то бане и начинает соображать, куда сейчас идти, что делать? Потом он догадывается, что могут увидеть, как он сидит тут, и, сам не зная зачем, встает и идет по полю.

У гумна Манос с двумя помощниками исправляют привод льномялки. Рядом стоят выпряженные кони. В воротах любопытные лица баб. Сзади них слышится голос Павлы (она уже здесь!):

— Ой, матушки, таких ли вышибают.

Ему кажется, что Павла говорит только для него. Никто ей не отвечает.

— Будет вам трещать, сороки! — кричит Манос.

Потом кивает подростку на коней: «Крути!» — и подходит к Аверьяну. Стоят, закуривают. Манос бледен. Ноздри у него взволнованно раздуваются.

— Всю ночь не спал. В голову мысли лезли, — начинает он. — Мне не утерпеть, чтобы не думать. У меня Авдотья как легла, так и храпит. Иногда разбудишь: «Ты все спишь! Об чем-нибудь подумай!..» — только ругается...

Аверьян чувствует, что говорит Манос совсем не то, о чем думает.

Стоят молча. Манос смотрит в сторону.

— Племянник Михайла женился, — снова начинает Манос. — Женился и влип: свиристелка.

Аверьян не отвечает. Тогда Манос начинает осматриваться по сторонам. Выпрямляется, делает строгое лицо и тихонько говорит:

— Понимаешь, я не могу говорить на тему политического характера. Наши с тобой взаимоотношения теряются.

Он достает очки, хочет их приладить на нос, потом как попало сует в карман и отходит за угол овина. Аверьян, уходя, заглядывает за угол и видит, что Манос плачет.

Пропала на избе крыша. Дорожки тесин заросли зеленым мохом, серыми лишаями, концы совсем сгнили, как обуглились, не достают до застрехов.

Аверьян приставляет лестницу и лезет на крышу. Марина стоит внизу. Они мирно беседуют, как будто вообще ничего не случилось.

— Придется все снимать. Ты не видала дорожильника?

— Знаю. В задней избе.

Они снимают с одной стороны весь тес, кладут на землю в стопку, и Марина идет за инструментом.

Солнце давно взошло. Ясно. В броду, на Аньге, сияет песчаная коса. Земля совсем голая. Прошли первые заморозки Потемнела и сникла у изгородей крапива. Громадные листья девясила повисли тряпками. Вечерами стало холодно. Давно отлетели журавли.

Иван Корытов едет из леса с дровами.

— К зиме и пчелки забираются в тепло! — с улыбкой говорит он Аверьяну.

— Да, да, пора все проверить! — с напускной бодростью отвечает Аверьян.

Он берет у Марины дорожильник. Оба садятся на стопку теса и начинают прочищать дорожки. Рыхлая грязная стружка разлетается в труху.

Руки у Марины маленькие, загорелые, пальцы истыканы жнитвиной. Она дергается вслед за инструментом, вытягивает даже шею, как плывет. Чувствуя усталь, она невольно разжимает руки — дорожильник проскакивает вхолостую. Она виновато смотрит на Аверьяна. Нет, Аверьян не сердится. Он теперь день ото дня добрее, но это только больше пугает ее. Марина видит, что для нее у него ничего нет, только эта обижающая доброта. Она думает о том, сколько ей придется жить одной, без него, и тихонько плачет.

— Чего ты? — участливо, со страхом спрашивает Аверьян.

— Так что-то придумалось.

Он выпускает ручки дорожильника. Долго сидит, задумавшись. Потом, не глядя на нее, тихо произносит:

— Правда. Ничего у нас не выходит...

Марина отвечает сквозь слезы:

— Сейчас сама так думаю. Тогда я этого не понимала

И смотря на него без злобы, похудевшая, с большими тоскующими глазами, добавляет:

— Только не уходи так, скажись...

Аверьян молчит. «Да, надо ей сказать»,— думает он

Глава девятнадцатая

Макар Иванович пришел в сельсовет и увидал Аверьяна, как всегда, на месте. Он считал, писал, разговаривал с посетителями, с иными даже пробовал шутить.

— Написать тебе, Аксинья, что ли? В Октябрьскую позовешь пиво пить...

— Да уж только бы дожить, а чем угостить — найдем...

Макар Иванович то и дело выходил в общую комнату и приглядывался к нему. Аверьян такой же, как всегда! Макар Иванович подошел к самому его столу и попросил написать отношение члену сельсовета Старого села. В отношении надо было сказать о старике Ермоше, проживающем на месте хутора в трех километрах от деревни, об оказании помощи больному старику.

Аверьян начал писать, и Макар Иванович увидел, что пишет он совсем не то, весть о старом Ермоше не тронула его. В глазах Аверьяна безразличие. Они остаются такими и в то время, когда Аверьян улыбается. Сейчас с ним можно говорить о чем угодно, он будет отвечать, улыбаться, не думая о сказанном. Он не будет вздыхать, сидеть, опустив голову, но может остановиться где-нибудь на пути и простоять несколько часов, пока его не сдвинут.

В сельсовете полно людей. В углу Аверьян видит лицо Настасьи. Пришла по делу к Макару Ивановичу, садится на лавку и ждет. Шум, толкотня, кто-то просит справку. Да, это единоличник Иван Костин...

Когда Макар Иванович понял, что происходит с Аверьяном, он испугался, послал мальчишку с запиской к себе домой. Мальчишка принес что-то завернутое в бумагу. Макар Иванович, улыбаясь, как и Аверьян, одними губами, подошел к нему и подал этот сверток.

— Помнишь, обещал тебе нулевой дроби. На, возьми. Все равно мне ходить некогда.

Аверьян молчал. Потом Макар Иванович заметил, как глаза его потеплели, движения потеряли четкость, быстроту. Он оглянулся, как будто сейчас поняв, где он и что с ним, и сказал:

— Спасибо.

С этой минуты он уже не работал, как раньше, он стал тих, неуверен, перестал шутить, улыбаться, на лице у него появилась растерянность.

Макар Иванович ушел, оставив его в сельсовете. Устинья то и дело выглядывала из своей каморки, следила за ним и снова скрывалась.

Под вечер в сельсовет пришел Илья. Он хлопнул дверью и смело двинулся в передний угол. Не сгибая головы,

весь вдруг повернулся на месте, приставил к столу стул и прочно сел на него.

Аверьян продолжал работать.

— Что, разве я не прав? — тихо начал Илья.— Должен был слушать. Ведь говорил тебе не кто-нибудь. Понятно, тебя винить не станут: большевиком может быть не всякий.

Илья достал очки и потянулся к газете. Аверьян искоса посмотрел на его пухлую руку. Устинья вышла в общую и стала подметать пол.

Илья продолжал совсем тихо:

— Только канители наделал организации. Ну вот, чего дождался? Вчера тебя исключили, а завтра, может быть, пойдешь на казенные хлеба, за своими приятелями.

Аверьян перестал считать, прикрыл пальцем цифру и так застыл.

— А тужить-то чего! — успокаивающе продолжал Илья.— Нужно было слушать раньше. А сейчас что же ты, после-то дела! Вот ты даже тут не можешь держаться, как человек...

Аверьян поднялся, шагнул к Илье и схватил его за горло. Со стола полетели счеты, загремел, опрокинувшись, стул.

Устинья засуетилась в углу: то ли бежать за народом, то ли броситься на выручку Илье.

Аверьян выпустил Илью, отряхнул руки, плюнул и упал на стул. Илья тупо осмотрел избу, Устинью и, указывая на нее пальцем, сказал:

— Ставлю в свидетели!

— Я ничего не слыхала и не видала! — крикнула Устинья и зажала уши.

Илья, шатаясь, поднялся и, держась за стенку, вышел из сельсовета.

Аверьян тоже вскоре вышел. Устинья смотрела в окно. Он перешел реку по лавам, поднялся в гору, к своей деревне.

Устинья повздыхала и отошла от окна.

У самой деревни, в конце полосы, Аверьян снова увидел Настасью. Мелькнуло ее лицо, белый платок. Он быстро прошел за крайний амбар.

Дома никого не было. Ворота приперты коромыслом. Аверьян выхватил коромысло, зашел в сарай и запер ворота изнутри. К нему подбежала собака. Он оттолкнул ее, взял

приставленное к углу ружье, прошел в избу и сел в простенок на лавку.

Собака царапалась за дверью.

Он осмотрел темные стены избы, полати, лавки, фотографические карточки на стене и выглянул в окно. Ему показалось, что за углом мелькнуло лицо Настасьи. У самого окна качалась желтая влажная ветка березы. Он тронул ее, листок оборвался и, мягкий, прохладный, остался в руке. Он почувствовал страшную слабость, закрывая окно; ружье валилось из рук. Стискивая зубы, он снял с правой ноги сапог, взвел курок ружья, поставил ружье на пол и упер стволом к себе в подбородок. Потом он закрыл глаза и медленно стал поднимать правую ногу. Вот уже большой палец коснулся железа. Он нащупывает собачку. В последнее мгновенье у Аверьяна дрогнула рука со стволом. Раздался выстрел.

Прошло несколько минут. Он открыл глаза и услышал бешеный лай собаки за дверью. Не узнавая, он стал осматривать избу, смотрел и не верил, что он живет и видит эту избу, эту дверь, слышит лай своей собаки. Из оцарапанной щеки текла кровь, но боли он не чувствовал, он помнил только одно: он жив!

Он встает, открывает дверь и сразу же видит вдали плесо у мельницы и человека на плоту, забивающего в плотину доску. Собака прыгает на Аверьяна с радостным лаем и визгом, она почти сбивает его с ног, он то и дело прислоняется к стене. Неуверенно он подходит к воротам и держится за них. Он жив и все это видит! Вот она лежит перед тобой, земля, полная изобилия и радости! Прозрачные реки текут по лесам. По берегам их отдыхают лоси... На лесные озера белым облаком опускаются лебеди. В согре, по дуплам и колодинам расплодилась куница; в соснах у самой деревни поселились тетерки. Весной вся земля полна бормотания и чуфыкания косачей. На рассвете, в поле, у самого твоего амбара, ты слышишь, как все ходит ходуном. Ты выходишь на пригорок и видишь вокруг землю, лишенную покровов, теплую, с запахами молодых побегов и свежести. Она рассыпается и хрустит под пальцами, и кожа твоя розовеет, наполняясь прохладой и соком... Перестали пасти в лесу коней... Конские тропы на Митревы пенники, к Исаковой избушке давно заросли, затески на деревьях облились серой и потемнели. Изгороди стаек[1] упали, шала-

[1] Загоны для пасущегося скота.

ши погнили. Там, где толстым слоем лежал мох — постель твоего деда, отца,— выросли из шалаша однолетки осины и стены покрылись грибками. Там, где твой дед рубил лучину, теперь не бывал топор, и древний «Костер»[1], повернутый на юг комлями, свидетельствует еще о том, что в этом направлении была дорога. Где-то на Жарах или на Иксе рубят лес, но стук топоров долго еще не долетит сюда, озеро Данислово долго еще будет видеть человека гостем, и лоси, не боясь тебя, будут отдыхать по берегам Шивды...

Да, он жив и хочет жить всегда, не умирая. Он будет жить и докажет всем свою великую любовь к человеку, к этой земле, к лесам, к рекам, небу, докажет свою чистоту перед всеми. Докажет потому, что чувствует в себе громадные силы. Он разрешит теперь сам все трудности, все вопросы, хотя еще не знает, как это сделает, но сделает, потому что он любит землю и человека на ней.

Босой, в расстегнутой рубашке, он выходит в огород и жадно вдыхает запахи осени. Ноги его влажны, к ним пристают семена старых трав. Щеки его розовеют. Он идет по полю, сам не зная куда. За ним бежит Зорька. К ней пристают еще несколько собак. Они провожают его по всему полю.

Он проходит гумна. В воротах неподвижные женские лица.

У погребов, на середине поля, он видит Настасью. Настасья идет к нему на виду у всей деревни. Торопится. Вот уже совсем рядом.

— Ты живой...

Он хочет произнести: «Настасья»,— но боится, что она уйдет от него, и встает впереди нее на тропу.

— Что мы делаем!.. — чуть слышно говорит Настасья.

— Так что? Пусть знают. Пусть видят. Марина знает...

К сельсовету подъехала машина. Из нее неторопливо вышел секретарь райкома Ребринский.

Макар Иванович встретил его на крыльце и провел к себе в комнату.

Поговорили о молотьбе, об озимых, о сухой осени. Потом Василий Родионович попросил дело Аверьяна. Несколько встревоженный, Макар Иванович подал дело. Ребринский

[1] Штабель бревен, складываемых у дорог.

долго рассматривал его. Нашел заметку из старой газеты — клевету на Азыкина, брезгливо поморщился. Кто и для чего раскопал все это? Протокол написан торопливо, безграмотно, всюду поправки. Он оттолкнул папку.

Может ли быть, чтобы он так грубо ошибся? Он вспоминает гибкую фигуру Аверьяна, его упругую походку, сознание силы и достоинства на его лице и ничего не может понять. Ему становится нестерпимо обидно оттого, что именно этот, на которого он так надеялся, оказался с изъяном. Десять лет Ребринский на партийной работе — перед ним прошли сотни людей, больших и малых. Сейчас судьба одного, незаметного, затерянного в лесу человека волнует его по-особенному. Может быть, это потому, что он тоже, как и Аверьян, весь из лесов, от земли, что в нем та же неутолимая жадность к жизни?

Нет, он думает об Аверьяне не только потому, что их объединяет любовь к природе. Как могла прийти в голову эта мелкая мысль?

Василий Родионович кивнул на папку:

— Сами-то вы тут разбираетесь?

— Да вот постановили...

— Азыкин вам помогает?

— Да. Занимается с нами по «Краткому курсу». Приезжает часто. Вот, пожалуй, один-то Азыкин у нас и есть.

— Неправда,— сказал Ребринский.— У вас есть хорошо развитые коммунисты. Вот этот ваш дорожныйй мастер. Потом маслодел Филипп Грихонин. Когда-то в совпартшколе учился. Что они перестали работать над собой? А ты расшевели, заставь!

Ребринский назвал еще несколько коммунистов.

Макар Иванович удивленно смотрел на него.

— Да, если так считать, то, конечно,— согласился Макар Иванович.

— Так что же вы не могли как следует подготовить партийного собрания?

«На самом деле,— подумал Макар Иванович,— как же это получилось?»

Ребринский вышел из сельсовета и зашагал под гору, к реке. Макар Иванович догнал его.

— Что же ты,— с мягким укором заговорил Ребринский,— людей не знаешь?

Макар Иванович молчал. Он думал о том, что сельсоветские дела мешают руководить партийной организацией.

Хотел пожаловаться на свою недостаточную грамотность, но спохватился: все это отговорки, скажет секретарь. «Давно ли ты на общественной работе?»—«Да вот, никак шесть исполнится».— «Значит, пора чему-то научиться...»

— Теперь будет посвободнее,— сказал Макар Иванович.

За рекой, на старосельских пожнях, женщины снимали лен. Ребринский направился туда.

Утром был иней, пристывало. Сейчас земля отошла. Шелестели кусты. По-летнему спокойно сияли лужи. Поля раздвинулись, стали незнакомо просторны и тихи.

Из Старого села навстречу Ребринскому вышел Манос. Он был в плаще, с полевой сумкой на боку, прямой, бодрый.

— Приветствую,— крикнул Манос и приложил руку к козырьку фуражки.— Председатель колхоза «Искра»— Колыбин.

Он сунул Ребринскому руку и поправил на плече ремень. Ребринский рассматривал его высокую прямую фигуру. Он уже не раз встречался с Маносом, знал и о его чудачествах и о том, что при желании этот человек мог хорошо работать.

— Людей не хватает, Василий Родионович,— четко произнес Манос.

— Может быть, поискать,— они и найдутся.

— Нет. Смотрите сами. Пятнадцать у Белого мостика лен снимают. Двенадцать ушли на Исаковы десятины хвою для подстилки скоту тесать. Старики — Климаша да Лукан ушли к Бабьему озеру за берестом. Семеро уехало на станцию за картошкой. И получается — ни там, ни тут.

Манос вытянулся, настороженно ожидая.

— Сколько у тебя стариков и подростков? — спросил Ребринский.

Загибая на руках пальцы, Манос принялся считать:

— Тимоха с внуком, Белоножка, Степанида, Вася Бухаркин, Лывушкин со своей Перепетой.

Манос прошел по порядку все Старое село. И сам удивился: насчитал больше двух десятков.

— Эти люди могли бы хвою тесать? — спросил Ребринский.

— Да, ведь, понятно, дело не тяжелое.

— Вот их и попроси, а всех крепких отправь на лен.

Манос приложил руку к козырьку кепки.

— Тут еще не все.

Манос посмотрел на Макара Ивановича.

— Вот Чуприков. Ушел в лес, вторые сутки ни слуху ни духу. А по-моему — парень всех мер.

— Так что же он срывает работу?

Манос круто повернулся.

— Тут, Василий Родионович, есть такие оптики, что ой-ой! Прогульщик с партбилетом!

Манос помолчал. Ноздри его широко раздувались. Он хотел сказать что-то злое, но только махнул рукой.

— Хотите, я приведу факт с отрицательными замашками?

Ребринский молча кивнул.

— Когда в начале жнитвы начисляли двойной трудодень, так этот Илья Евшин вместе с женой с полосы не сходил. А как перестали, так он сразу повез зерно государству.

Манос перевел дыхание и указал Ребринскому на полосу у леса. В середине полосы было широкое темно-зеленое пятно.

— Второй пример: Илья взялся подобрать после молотилки и смотрите, что сделал! Озимь на том месте пошла.

Немного помолчав, Манос добавил:

— Вы бы, Василий Родионович, зашли к этому товарищу в огород. Вот где у него интерес к жизни!

Ребринский переглянулся с Макаром Ивановичем. Тот отвел глаза.

Манос пригласил Ребринского к себе ночевать, но тот сказал, что нужно сходить в другие колхозы, сам еще не знает, где остановится на ночлег.

Глава двадцатая

В Старое село опять приехал Ребринский. Он вылез из машины с ружьем в руках и направился к дому Аверьяна.

Аверьян сидел за столом и завтракал. Приезд Ребринского как будто не удивил его. Он радостно поднялся навстречу и усадил гостя за стол.

— Только с реки,— сказал он.— А уток мало. Да я, признаться, не совсем люблю эту охоту. Мне бы все в лесу.

С дороги Ребринский хотел есть. Он с удовольствием хлебал с Аверьяном суп из вареных рыжиков.

— Так что будем делать? — хитро сощурившись, спросил он Аверьяна.

— Придется в лес идти...

В сенях послышалось шуршанье плаща, скрипнула дверь, и через порог шариком перекатилась кривоногая Маносова Розка. Она покатилась по избе, все обнюхала, осмотрела и легла у печки.

— Ко мне в гости, Василий Родионович? — сказал Манос, входя в избу.— Я велел Авдотье самовар поставить.

— А мы идем на охоту.

— Ну что ж, ни пуха вам, ни пера! Долго пробудете?

— Часа на три,— ответил Аверьян.

Манос погладил бороду, встал. Розка подкатилась к двери.

— Тогда вы мимоходом осмотрите читальню. Устроена при помощи женских сил.

— Хорошо, хорошо,— закивал Василий Родионович.

Манос быстро вышел.

Позавтракав, Аверьян надел старую фуфайку, лапти — «в них легче ноге»,— кликнул собаку, и они пошли.

На окнах читальни висели занавески. У крыльца толстым ковром лежала хвоя.

В читальне слышались голоса.

Женский голос: — Что-то все пишет, пишет.

Манос: — А как же, матушка, я административное лицо.

Женский голос: — Этому лицу много доверено...

Манос: — Да ведь у меня живые люди!

Когда они вошли в читальню, Аверьян сразу догадался, что Манос отвечал так для того, чтобы слышал секретарь. Аверьян улыбнулся и молча стал наблюдать за Маносом.

Манос сидел за столом. Перед ним лежала полевая сумка. Стол был покрыт чистой скатертью. За спиной Маноса висело полотенце с большими оранжевыми петухами. Пол в читальне был чисто вымыт, посредине лежала домашнего тканья цветная дорожка. У левой стены стоял большой стол. На нем лежало несколько развернутых газет и журнал «Молодой большевик». Три женщины сидели на лавочке. Они, видимо, только что кончили уборку читальни. Сидели, раскрасневшиеся, с подоткнутыми юбками.

— Вот тут я для себя столик поставил,— сказал Манос.— Иногда буду приходить наблюдать текущую жизнь.

Манос вышел проводить их. Шагал в ногу с секретарем и говорил:

— Вчера у нас один парень приехал из Западной Бело-

руссии. Порасскажет — хорошо встречали нашу Красную Армию.

Манос гордо выпрямился.

— Если потребуется, так мы, Василий Родионович, ратники второго разряда, тоже сумеем рассердиться!

Остановились у гумен. Манос хозяйственно осмотрел поля, пожни по берегу Модлони. Всюду было пусто. Стоги жались один к другому. Пятнами темнели кусты. В полянке у Лебежского хутора Василий Родионович заметил совершенно розовый склон.

Манос тянулся, ожидая похвал.

— Это хорошо,— сказал Василий Родионович.— Только что же вы солому-то на полосах оставили? Посылаешь в лес хвою тесать, а тут лежит солома!

Он указал на розовые полосы.

— Овес был такой, что на одном вершке хвост и голова,— виновато ответил Манос.— Ниже никак не берет машина.

— А вы бы косилкой.

— Косилку не могли направить...— ответил Манос и с раздражением подумал: «Черт его знает, льномялку устанавливал, а с этим дьяволом ничего не мог поделать».

Василий Родионович снова осмотрел поля. «Нет работы с людьми,— еще раз отметил он для себя.— Нужно будет заняться ими вплотную».

— Ну, пошли, что ли! — решительно произнес он.

Манос довел их до середины поля и попросил долго не задерживаться в лесу. Время все-таки глухое.

Они идут через Марьин поток. В кустах сухо, запах устаревшей травы и листьев. Трава высокая и редкая, листья лежат на ней, как на дне реки.

Василий Родионович давно не бывал на осенних пожнях. Он жадно рассматривал кусты, рыжие муравейники, нарядные рябины, полосы солнечного света на земле, на белых стволах берез.

Они на ходу срывают прозрачные оранжевые ягоды шиповника и вполголоса беседуют.

— Взял на две недели отпуск,— говорит Аверьян.— Надо в лес походить да кое-что перечитать. Сижу вечерами.

— Что у тебя такое? — как бы между прочим спрашивает Василий Родионович.

— Дело разберешь — увидишь. У меня ничего нет.—

Аверьян быстро поворачивается вправо.— Опять эта собака!..

Они подходят к опушке. Лес неподвижен. Очень далеко лает чья-то собака.

Зорька, не торопясь, переваливается между деревьями. Коротенькая, отяжелевшая, над глазами большие желтые пятна. Издали кажется, что у нее двойные глаза. Вот она останавливается, смотрит на вершины и виляет хвостом.

— Берет только опытом,— говорит Аверьян.— Ничего не слышит. Сверху упали перышки — осколки сосновой коры. Вот догадывается: она где-то тут.

Аверьян осматривает елки. Сейчас его тело напряжено. Сколько в нем уверенности, спокойствия и силы! Василий Родионович смотрит на него сбоку. «Нет, этот не покривит. А пережитое,— поди, таким нелегко дается. Ну, что же... Крепче будет». Аверьян чувствует на себе его взгляд и с улыбкой говорит:

— Я каждый раз — как впервые, а охочусь больше двадцати лет.

Слышно потрескивание сучьев под ногами Зорьки.

Потом она начинает часто лаять.

— Пошли,— говорит Аверьян и смело, без опаски шагает вперед.

Василий Родионович еле поспевает за ним.

Вот уже совсем рядом собака, а Аверьян все ступает без разбора. Метрах в двадцати от собаки, в мелком ельнике, он останавливается. Встает и Василий Родионович и держит руку на груди.

Посмотрев с минуту на вершины трех высоких елок, Аверьян уверенно произносит: «Ага!»— и повертывается к Василию Родионовичу.

— Ну, вот тебе задача — рассмотреть. Можно с этого места, можно ходить кругом этих высоких елок.

Собака продолжает лаять. Посматривает на людей, перебегает с места на место и лает.

Василий Родионович с тревогой принимается осматривать вершины. Но там все спокойно: темно-зеленая хвоя, шишки, голубые просветы неба.

Аверьян стоит в стороне. Ружье у него по-прежнему за плечами. За ремнем белеют варежки. В руке топор. Василий Родионович продирается сквозь сучья. Мягкие кочки с хрустом обжимаются у него под ногами. Он ничего не видит.

— Не спеши,— ровно говорит Аверьян.— Успеем. Да, пожалуй, с того бока, где ты сейчас, должно быть лучше видно. Бывает, что она прилепится к сучку в вершине, в мох затянется. Подлезешь к самой — никак не можешь различить. Так глазок, увидишь, чернеет или ухо — в нем кисточка...

Василий Родионович снова смотрит вверх и видит на сучке пепельную полоску. Кругом седой лишай, хвоя. Полоска неподвижна. Наконец, он различает кончик пушистого хвоста. У него начинает сильно биться сердце.

— Вижу! — кричит он.

— Я знаю, что теперь видишь,— спокойно отвечает Аверьян.— Хорошо. Иди сюда. Белку надо бить только в голову, чтобы не портить шкурку.

Василий Родионович бежит к нему, встает рядом и сразу видит у самого ствола маленькую голову белки.

— Стреляй,— говорит Аверьян.— Не торопись. Она никуда не уйдет. Она наша. Главное дело — найти...

Василий Родионович поднимает ружье. Руки у него немного дрожат. Потом это проходит.

Белка неподвижна.

Собака умолкает и смотрит то на Василия Родионовича, то на вершину.

Раздается выстрел. Подгибая сучья, как по ступенькам, белка спускается книзу. Несколько секунд висит на нижних сучках и падает прямо в рот собаке. Дав Зорьке немного помять ее, Аверьян кричит:

— Будет! Положи!

Подняв белку, он раздувает шерсть у нее на шее сверху и говорит:

— Первый сорт. Мездра совсем белая.

Он дает Василию Родионовичу подержать белку и смеется глазами, видя, как тот несколько смущенно и радостно осматривает ее.

Аверьян обрезает у белки передние лапки и бросает их собаке. Зорька не спеша уходит в лес.

Они тоже идут. Аверьян на ходу обдирает белку.

— Рекомендуется снимать сразу,— говорит он.— А то кровь запекается — дефект.

Потом он обезжиривает шкурку ножом и сует ее в сумку. Зорька неожиданно появляется перед ними и подхватывает тушу на лету.

Они шагают без дороги. Аверьян не смотрит по сторонам, идет прямо, как в своем доме.

На кочках темная перезревшая брусника. Ее теперь можно есть горстями. Она опадает от легкого прикосновения. Около старых мостков через ручьи и сыри — заросли черной смородины. Крупные ягоды лежат на земле.

Начинаются сухие светлые гряды, вырубки. На опушках много белки, много высоких сухих осин: дерево на краю леса гибнет скорее.

— Кто выкопал эту газетную заметку про Азыкина? — спрашивает Василий Родионович.

— Коммунист Илья Евшин.

— Что он за человек?

— Не скажу про него ни худого, ни хорошего: он поднял на меня дело. Слышишь, вон чужая собака лает?

— Да...

— К этому человеку нам надо подойти.

Они останавливаются на краю гряды и слушают. Далеко, далеко в Пабережском лесу слышится выстрел. Собака перестает лаять. Зато снова сказывается Зорька. Лай у нее отрывистый, ленивый.

— Вот сейчас надо быть осторожным,— говорит Аверьян и снимает ружье.— Ты постой. Потом крикну.

Склонившись, он быстро и беззвучно двигается от елки к елке и вскоре пропадает.

Василий Родионович нетерпеливо ждет. Когда раздается выстрел, он не дожидается крика и бежит со всех ног. Запыхавшийся встает перед Аверьяном.

Аверьян держит в руках тетерку и гладит ее грудь.

— Поровну,— говорит он с улыбкой.— Моя белка, твоя эта.

Зорька расходится. Аверьян не успевает обдирать белок. Он просто сует их за ремень. Вскоре совать становится некуда. Вокруг его тела белки, как ожерелье. Хвосты один подле другого, головушки повернуты на грудь. У некоторых не тронуты большие яркие глаза. Они кажутся живыми.

Выстрелы в лесу и лай все ближе.

Василий Родионович осматривает лес. В какой стороне деревня — разберись! Правда, если б найти просеку, тогда он смог бы легко определиться. В одном месте они видят старый квартальный столб, но кругом так заросло, что просеку можно угадать только по положению столба.

Они выходят в сырь. Совсем рядом лает чья-то собака.

Они прыгают с кочки на кочку, хватаются за жидкие сосенки. Наконец, сухой берег, тропа. Обтертая ногами осиновая валежина. Между елками голый холм — Лисьи ямы.

Слышатся удары обухом в елку. Через несколько минут они видят между деревьями рыжую с белыми пятнами собаку.

Аверьян улыбается.

— Ты опять в наш лес пришел! — радостно кричит он.

Из-за ветвей показывается человек лет сорока, с рыжей бородкой, в хороших охотничьих сапогах, в синем холщовом пиджаке. Он смотрит на них и сверкает чистыми, белыми зубами.

— Опять заблудился.

— Да нет, видно, дело не в этом,— с улыбкой говорит Аверьян.— Я вот неделю в лесу хожу и каждый день тебя слышу. Черти, шихановцы, выщелкаете у нас всю белку!

Оба смеются.

Аверьян указывает охотнику на Василия Родионовича.

— Познакомься, Семен, это секретарь райкома.

— А! Товарищ Ребринский! — говорит охотник и протягивает Василию Родионовичу большую чистую руку.— Выстрелить-то хоть разок удалось?

— Не разок, а много,— говорит Аверьян.— И только одну шкурку испортил.

— Дело,— одобрительно замечает Семен.

Теперь лают обе собаки. Все трое начинают рассматривать белку.

Семен подходит к дереву и начинает стучать обухом.

— Смотрите!

— Смотрим,— отвечает Аверьян.— Вот она.— Он снимает с плеча ружье и стреляет.

Семен подбирает упавшую белку, достает из патронташа заряженный патрон, подает Аверьяну и принимает от него пустую гильзу. Калибр у них один. Потом они идут.

Собаки бегут впереди, то показываясь, то снова скрываясь. Изредка Аверьян или Семен покрикивают:

— По-ла-а-а-ай!

Или свищут, давая понять собакам, в каком направлении они идут. Собаки держатся этого направления и по пути ищут.

— Мне, знаешь, потребовался ты один раз,— говорит Аверьян Семену.— Не мог вспомнить, из какой ты деревни,

как звать. Вот удивительное дело! А тут — как-то услышал твою собаку и все вспомнил.

— Однажды мы с ним закружились,— поясняет Василию Родионовичу Семен.— Ходили да ходили, попали в такую сырь, что никак и не разберешься. Лес оборванный: суша не суша, сырая не сырая, по сучью не выйдешь, солнца нет. И место совсем незнакомое. Чувствуем оба: больно где-то далеко от деревни. А была сушь. Леса даже позапрошлый год горели. Хочется обоим пить нестерпимо, поэтому и в сырь-то попали. Стал свет меняться. Да так быстро. Шагаем наугад. Свалишься, станешь вставать, слышишь — сзади пыхтит, тоже свалился. Одно время, так, пожалуй, один встает, другой ложится. Коленки оборвали, белеют, как у прежних святых. Я говорю: «Ты как хочешь, а я больше от этой елки не оторвусь». Наклонился так, смотрю — суша. Давай дрова рубить. Нарубили дров, костер наклали. Накидали вокруг хвои, от земли-то оторвались, стало тепло. Свету только, что у костра. Посмотришь кверху, как в трубу. Вот попали. Погибнешь — никому не найти! Подремлем, да поговорим. Вспомним, когда в таких местах в лесу бывали, какие похождения прошли. Не спали всю ночь. Потом я чуть приклонился. «Аверьян!»—«Что?»— «Я вершины увидел!» Верно. Смотрим оба — вершины. Потом яснее и яснее, и настало утро...

Они останавливаются и осматривают лес. Светлая осиновая роща.

Посредине течет какая-то речушка.

— Шивда! — говорит Аверьян.— Далеко попали. Надо сознаться — я виноват. Вел к Онисиму в избушку...

Он смотрит на Василия Родионовича.

— Разве можно побывать у нас в лесу и не увидеть озера Данислова?

Василий Родионович кивает головой. Про старых охотников Лавера и Онисима он слышал.

Подходят к озеру.

— Что ж,— говорит Семен.— Придется ночевать и мне с вами.

Аверьян показывает в сторону.

— Идти сейчас некуда.

На земле, под ветвями уже темнеет. Собаки выходят на дорогу. В вершинах совсем тихо. Озеро виднеется сквозь деревья синими пятнами.

Онисим только что пришел с охоты и раскладывает

перед избушкой костер. Он больше любит варить на воле. Собака настороженно рассматривает незнакомых людей.

— Ляг! — говорит он ей.

Собака отходит к углу избушки.

— Как раз к ужину,— говорит Онисим.— Устали?

Охотники, громко разговаривая, моют на озере ноги, руки и присаживаются к костру. Онисим три раза стучит обухом в сухое дерево. За лощиной слышатся три ответных удара. Вскоре на полянку выбегает Гроза и за ней не спеша, раскачиваясь и глядя прямо перед собой, показывается Лавер. Он подходит к костру, молча кивает Семену, потом Василию Родионовичу, которого рассматривает долго и внимательно, и садится поодаль.

— Как промысел? — спрашивает его Василий Родионович.

— Это наш секретарь райкома,— поясняет Аверьян.

Лавер понимающе кивает головой, достает табакерку, нюхает, потом говорит:

— В этом году промысел будет на белку. А птицы опять мало.

Потом спрашивает:

— Нарочно к нам приехал?

— Да. Ваши леса посмотреть.

Лавер не отвечает.

Онисим рвет около избушки сухую траву и обтирает копоть с большого черного чайника. Аверьян берет чайник, приносит с озера воды и подает старику.

Онисим сердито спрашивает:

— Не съехал?

— Нет, все живет на Лебеже, в бане.

Онисим почти бросает чайник на землю.

Во время ужина вдруг настораживаются собаки и смотрят на темную тропу.

На полянку выкатывается кривоногая Розка, быстро все обнюхивает и садится перед Онисимом. Потом слышится шуршанье плаща. Манос стремительно выбегает из темноты. Перепачканный в грязи, утомленный и притворно злой.

— Вот они, черти! — кричит он.— Насилу-то догадался. А то уж, думаю, завтра придется народ собирать, разыскивать.

— Чудак! — говорит Аверьян.— Нарочно пришел?

— А как же! У нас, брат, каждый человек дорог. Вот и

побежишь, не глядя на ночь. Сколько раз падал, что если в один раз вытянуть, то хватит до Нернемы.

Манос быстро скидывает плащ, идет на озеро, потом садится вместе со всеми в кружок к столу.

Котел окутан паром. Аппетитно пахнет свежей дичью Манос от нетерпения причмокивает губами и вертит в руках большой ломоть хлеба.

Онисим стучит по краю котла ложкой: можно начинать.

Манос первый запускает свою большую ложку в котел и вытаскивает ее полную до краев.

Собаки в стороне грызут кости.

Немного отдышавшись, Манос говорит:

— В сельсовет опять какой-то приехал. Станет вышки ставить. Сказывают, тридцать семь метров каждая.

— Это для того, чтобы лучше видеть всю страну,— замечает Василий Родионович, а сам думает: «С этими людьми ее всегда и всюду видишь и слышишь. Ее чистую душу кому заглушить, затуманить?..

И вот тебе дано счастье все это чувствовать и помогать рождению нового...»

— А! — понимающе кивает Манос.— Работа оборонного значения. Тогда мы на эту вышку будем заглядывать!

Малеевка
1940



Комментарии

При жизни А. И. Тарасова вышло пять его книг, и две — посмертно (1956,1961). Тиражи их были невелики, а между тем повести и рассказы писателя представляют собой примечательную страницу «деревенской» прозы накануне Великой Отечественной войны, во многом сохраняющую поныне свое познавательное и художественное значение.

Он, в отличие от многих других писателей 30-х годов, проявил острый интерес к труду и быту сельских тружеников, к нравственным и — шире — духовным традициям русского крестьянства. Он, одним из первых, увидел глубину и богатство душевного мира сельских людей, изображавшихся тогда, за немногими исключениями, «звероподобно».

Важным нам представлялось показать и связи героев писателя с природой, поскольку экологическая проблематика, незнакомая обществу в ту пору, вышла ныне на передний край. А Тарасов показывает наиболее здоровые отношения трудящегося человека с естественной средой его жизни.

Сын своей крестьянской среды, Тарасов не оторвался от нее, не открещивался, а открывал ее взыскательным и любящим взглядом. Эта традиция стала в наши дни основополагающей для писателей, уроженцев села, работающих на деревенском материале.

Как видим, точек соприкосновения с художественным миром, созданным А. Тарасовым, у нас немало до сих пор. Произведения его не утратили живой актуальности и вполне имеют право на наше пристальное внимание и глубокое уважение.

Исходя из этого, мы стремились представить в этой книге по возможности весь творческий путь Александра Тарасова в его наиболее характерных произведениях.

«БУДНИ». В 1929 году состоялась первая серьезная встреча А. Тарасова с читателями. Повесть вышла отдельной книгой в издательстве «Федерация» (143с., тираж 5 тыс. экз.), и пусть она осталась незамеченной в критике, в прозе тех лет сейчас она видится заметным явлением. Она писалась по следам горячих событий того времени — кануна коллективизации, которое привлекло недавно В. Белова («Кануны»), Б. Можаева («Мужики и бабы»), И. Акулова («Касьян Остудный») уже в исторической перспективе. А это дает любопытный материал для сравнений.

Во время работы над повестью А. Тарасов жил на ст. Няндома (Архангельская область) и оттуда вел переписку с издательством. Первоначально повесть называлась «Загорская сторона» и была представлена в трех частях. В письме от 3 мая 1928 года ответственный секретарь редсовета Б. Губер писал А. Тарасову: «...редсовет окончательно решил воздержаться от издания этой рукописи», поскольку «представители новой деревни, комсомольцы, не внушают читателю веры в их реальную силу и возможность переделать деревню», тогда как «отрицательные стороны деревенского быта даны автором гораздо сильнее и убедительнее» (ВОГА, ф. 49, оп. 1, д. 335, л. 1).

В то же время издательство убеждает молодого писателя продолжать работу над рукописью, т. к. она обладает очевидными достоинствами. Это «хорошо выполненные сценки с детьми: яркая фигура Федьки Жиженка, особливо в последней части, когда он становится сельским исполнителем... в нем намечен очень интересный образ настоящего, преданного местного мужика-общественника; знание быта, языка, обстановки, самый замысел показа деревни в ее буднях». Исходя из сопоставления сильных и слабых сторон повести, предлагались рекомендации: «оживить повесть более сложной фабулой», «ввести новые мотивы — расслоения деревни, участия в деревенской жизни кооперации» и т. п. (т а м ж е).

Судя по всему, А. Тарасов принял замечания в расчет, основательно поработал над рукописью и получил новый ответ издательства от 9 февраля 1929 года: «...Ваша повесть «В цвету черемухи» принята к печати, и таким образом, наконец, положено начало Вашей литературной деятельности (т а м ж е, л. 3). Между тем в бочонок меду была-таки добавлена ложка дегтю: «...правка Вашей рукописи оказалась настолько серьезной, что я только сейчас закончил работу,— писал Б. Губер 1 апреля 1929 года,—...в набор пойдет дня через три, а стало быть, выйдет в свет в конце июня» (т а м ж е, л. 4).

Участие в судьбе рукописи А. Тарасова принял и его друг по Вологде А. Пестюхин, который к этому времени жил уже в Москве и работал в «Федерации» и Литфонде. В письме от 10 апреля 1929 года он сообщал земляку, что рукопись «отправлена в набор и будет напеча-

тана в журнале «Молодая гвардия» № 7 или 8!!! Вот это здорово...» В журнале, однако, повесть опубликована не была, а в издательстве, по-видимому к концу работы, сменили ее название на другое — «Будни», которое и мы сохраняем в этом новом издании.

С. 3. В И К — волостной исполнительный комитет; волость — единица административного деления, примерно соответствующая современному сельсовету

С. 9. По́мерки — то же, что номера, номерки (*диал.*).

С. 15. «Крымка» — род охотничьего ружья.

С. 17. Толчея — небольшая мельница для размола крупы.

С. 28. Осибириться — разбогатеть, обзавестись добром, как сибирский переселенец (*местн. речение*).

С. 57. Яшник — пирог без начинки из ячменной муки (*диал.*).

С. 88. По край дороги — возле самой дороги (*диал.*).

«ОТЕЦ». В архи́ве А. И. Тарасова, кроме окончательной беловой рукописи рассказа в том варианте, который и мы публикуем, сохранились многочисленные черновики, автографы глав, машинописи с правкой — общим объемом 294 страницы. Уже это свидетельствует о том, что писатель работал над этим своим произведением напряженно и взыскательно, добиваясь цельности главного образа, ясности идейного звучания. Впе́рвые рассказ опубликован в журнале «Красная новь» (1935, № 8), а потом входил в книги 1937 и 1946 годов.

В современной Тарасову критике рассказ его нашел в основном верную оценку.

«Старик, проживший многотрудную жизнь, хочет быть вместе с детьми своими и не может с ними быть: страшится мысли о полном изменении жизненного уклада. Он остается один и чувствует прежде всего ненатуральность своего положения. Он полон зависти к людям, счастливым в работе, но пока еще не может заставить себя присоединиться к ним. Он сделает это...» — так писал Б. Рагинский (Лит. газ., 1940, 20 марта). Справедливо отмечая вслед за Тарасовым, что отца и детей разделяет всего лишь «десятая доля», критик К. Лаврова подчеркивает, что «эта досадная дробь еще искажает то прекрасное человеческое общение, тот новый тип отношений, который уже складывается в описанном у А. Тарасова мире, где смыкаются вековые традиции народной мудрости с мудростью нашего века, века социализма» (Октябрь, 1940, № 10, с. 183). Обобщая оценку, И. Арамилев пишет, что в этом рассказе «колхозная действительность, изображенная автором, сама агитирует за артельный труд достаточно красноречиво» (Новый мир, 1940, № 6, с. 247).

Тем не менее случалось, Тарасова обвиняли в том, что «советской деревни в ее сегодняшнем развитии в книге нет, и нет там подлинной жизненной борьбы» (Лит. газ., 1941, 4 февраля). Точно так же не поняла позже художественной гибкости А. Тарасова в обрисовке образа последнего единоличника и Анна Караваева в 1952 году: «...старнк-отец живет один со своими бреднями, которые были бы естественны в устах какого-нибудь профессора-идеалиста и мракобеса, но не крестьянина далекой северной деревни» (ф. 49, оп. 1, д. 593, л. 6).

Между тем А. Тарасов в этом рассказе не повел своего старого героя по плоскому пути «перевоспитания» и создает очень органичный в его жизненности образ. Образ во многом автобиографический, но с другой стороны — и глубоко типический. В северных деревнях как раз немало было людей начитанных, собиравших личные библиотеки. Но что делать, знания, которых они набирались, были очень противоречивы, и это сказывалось на характере.

Так, старая учительница Л. Ванюшина в районной газете пишет об Иване Федоровиче Тарасове: он «был закоренелый единоличник, упрямый, во всем сомневающийся, упорно не желавший отрешиться от старых взглядов и форм жизни, не пропускавший ни одной церковной службы» (газ. Борьба, 1970, 5 мая). Что делать, и сама Ванюшина, как видим, до старости не сумела отрешиться от юношеского ригоризма. А писатель Ефим Твердов, вспоминая, что Тарасов читал много, очень много, писал: «У его отца, как я видел сам, было в несколько раз книг больше, чем в волостной библиотеке» (Красный Север, Вологда, 1976, 23 мая).

Архив подтверждает слова Твердова: сохранилась опись библиотеки И. Ф. Тарасова еще от 26 марта 1906 года. И чего здесь только нет! «Лесная математика», «Словарь коммерческий», Гораций, Русская история, Мильтон, «Педагогический календарь», журналы, Библия, Псалтырь и, конечно, жития святых, и множество других книг... (ф. 49, оп. 1, д. 546, л. 1—7).

И сам И. Ф. Тарасов очень своеобразно отражается в своих письмах сыну с 1913 по 1940 год (их сохранилось более восьмидесяти). Они в основных формах стереотипны, и вот одно, с некоторыми сокращениями, для примера (поправлены только знаки препинания):

«Привет дорогому моему сыну Александру Ивановичу и всему твоему семейству!

Ваше письмо получил 18-го сентября и деньги по переводу 50 р., за которые сердечно вам благодарен. А что я вам долго не писал, в работе запутался, уборка подоспела ржи, а также и овса... да к тому же надо и помолотить...

Коллектив у нас в деревне образовался... А что мне делать? При-

глашают и меня. Как ваш совет? Скажи правду, как мне решиться. Напиши.

Еще привет от нашего семейства, от матери и Маши, Дуни, Вячеслава, Рафаила, ходит в школу, и от Лиды всему вашему семейству.

Еще, дорогой мой Сашенька, не оскорбись, что я у вас спрошу, не будет ли возможности послать, ежели есть, сахару или же конфет... Две недели голодую, нет никаких сластей...

Я налог уплатил, на страховку выдали извещение 10 р. 21 к.

С почтением к вам и любящий вас Ив. Ф. Тарасов.

19 сентября 1929 г.» (ф. 49, оп. 1, д. 400, л. 37).

Конечно же наивно думать, что герой рассказа «Отец» списан с Ивана Федоровича, но семейные наблюдения во многом дали А. Тарасову материал, которым он сумел распорядиться с истинным человеческим тактом и несомненным художественным чутьем.

«АННА ИЗ ДЕРЕВНИ ГРЕХИ». Рассказ впервые опубликован в журнале «Красная новь» (1936, № 6), вошел во все последующие сборники произведений А. Тарасова, в критике по праву почитается лучшим и, наверное, поэтому по жанру определяется обычно как «повесть», хотя по объему не превосходит другие рассказы писателя. «Пересказ содержания не даст самого существенного — того художественного решения своей темы, которое находит автор,— пишет К. Малахов по поводу этого рассказа Тарасова.— А это решение найдено. Сдержанно и как бы несколько застенчиво рассказал в своей повести автор и о росте новых отношений, о новых, повышенных требованиях, предъявляемых новыми людьми друг к другу, о новой, не звериной, а подлинно человеческой любви» (Лит. газ., 1939, 30 января). И в том же тоне пишет К. Лаврова по поводу разлада Анны с мужем и ее влечения к Никите: «Оказывается, людей связывает не кровное, а иное, более крепкое родство. Оно возникает из поэтических впечатлений, увлекательного товарищества в отличной и веселой работе. Из этих впечатлений родятся и новые чувства, и новые таланты» (Октябрь, 1940, № 10, с. 182). В том же тоне писали о рассказе «Анна...» и в послевоенное время (В. Викулов, Ю. Дюжев).

С. 8. Н а с т а в л я т ь к о с у — наточить ее с помощью лопаточки.

«ПОДРУГИ». Рассказ опубликован впервые в «Красной нови» (1936, № 11), а затем в сборниках 1937 и 1946 годов. Он заметно отличается от всех других произведений А. Тарасова и, несомненно, поэтому получил противоречивую оценку в критике. «...Это маленькая фольклорная сокровищница, но там много вульгаризированных городских пословиц. Автор немного перепустил пестрого ситчика, и рассказ получился слишком красивым»,— говорил на обсуждении творчества А. Тарасова А. Митрофанов (Лит. газ., 1941, 20 апреля). Созвучен с ним в какой-то

мере и А. Чаковский: в прозе Тарасова «единственным диссонансом является совершенно не нужная подчас стилизация, она встречается не часто, но на фоне тонкой художественной ткани повествования особенно заметна и режет глаз» (там же).

Отношение к народному творчеству в семидесятые — восьмидесятые годы гораздо уважительнее, чем в тридцатые, и иам ближе точка зрения К. Лавровой, которую привлекает в рассказе «мотив гуманизма и народности культуры». По ее словам, «эта горькая и страшная повесть о бабьей доле вся овеяна поэзией старинного народного предания». И далее критик пишет: «В этом повествовании о жизни двух подруг, о их изломанной страдальческой юности и о молодой, счастливой и деятельной старости, во всех деталях этого рассказа, перемежающегося присловьями, песнями, описаниями обрядов и примет, поэтическими рассуждениями рассказчицы на житейские темы, мы непосредственно воспринимаем органическое соответствие гуманистических начал культуры социализма вековой народной мечте.

В раскрытии этого соответствия глубокая воспитательная идея книги А. Тарасова» (Октябрь, 1940, № 10, с. 182). Как видим, в оценке К. Лавровой рассказ получает и обобщающее значение. Конечно, в образах старых крестьянок трудно конкурировать нынче с Ф. Абрамовым, В. Астафьевым, В. Беловым или В. Распутиным. Однако Александр Тарасов по-своему оригинален и органичен, да и до сих пор прямое обращение к традициям фольклора в прозе — редкость. И потому опыт Тарасова не утратил своей ценности.

С. 7. Перепугало — то есть от испуга женщина тронулась рассудком.
С. 26. В дегтю́ — произношение (*диал.*).
С. 27. Возле ручку — рядом, рука о́б руку (*диал.*).
С. 42. Речь идет о выборах в Учредительное собрание в сентябре 1917 года по спискам, составленным до революции. Подробнее см.: Очерки Вологодской организации КПСС. Сев.-Зап. кн. изд-во, 1969, с. 176—177.
С. 44. В то время по деревням стали создаваться комитеты бедноты.
С. 47. Строжит — форма от глагола «строгает» (*диал.*).

«КРУПНЫЙ ЗВЕРЬ». Повесть опубликована впервые в журнале «Красная новь» (1939, № 8—9), позже входила во все сборники Тарасова и прозвучала как самое значительное произведение А. И. Тарасова и получила множество положительных отзывов. По мнению И. Арамилева, в этой повести А. Тарасов крупно состоялся как лирик в прозе, который «подходит к колхозной деревне с той стороны, которая почти совсем не освещена в советской литературе. Его герои — рядовые колхозники.

Он отлично знает и любовно изображает их труд, горе и радости, показывая их незаурядные способности, крупные характеры, глубокие чувства и страсти» (Новый мир, 1940, № 6, с. 248). Наиболее обстоятельный разбор повести дал Н. Замошкин, несомненно, один из лучших критиков той поры, который, в частности, писал: «В полном соответствии с описываемой природой и людьми Тарасов как писатель тоже медлителен, точен, солиден. Цельность, единство изображаемого с изобразительными средствами — это и есть то, что накладывает на произведения Тарасова печать художественной силы и подлинности» (Красная новь, 1940, № 4, с. 206).

«ОХОТНИК АВЕРЬЯН». Это последнее завершенное и опубликованное при жизни А. Тарасова произведение, написанное в пору зрелости и признания. Может быть, поэтому над ним он работал так упорно, как никогда раньше, хотя всегда был взыскателен к себе. Сравним: беловая машинопись повести составляет 174 страницы, а объем подготовительных материалов — черновики, автографы глав, правленные неоднократно машинописи — 793 страницы.

По поводу этой повести писали многие критики, но скептические оценки очень редки. Более всего слабой представилась эта повесть В. Ковалевскому, а главный герой ему «кажется человеком, бесцельно слоняющимся среди людей, вялым. Это искусственно перенесенный в нашу обстановку гамсуновский мотив» (Лит. газ., 1941, 20 апреля). На обсуждении прозы Тарасова эту точку зрения никто не поддержал. Еще ранее И. Арамилев писал, что повесть «Охотник Аверьян» — это «лучшая по отделке деталей вещь», в ней «душевные движения героев сложны, целомудренны, по-настоящему благородны» (Новый мир, 1940, № 6, с. 248). Об этом же он говорил и на обсуждении, связывая художественные достижения А. Тарасова с современностью: «А. Тарасов показывает огромные сдвиги в сознании колхозника советской деревни, и он делает это как художник, обнажая то, что скрыто от простого глаза... Это великолепная реальность третьей пятилетки...» Тогда же А. Митрофанов говорил по поводу «Охотника Аверьяна»: «...В результате того, что страна выросла, что первые нужды удовлетворены, люди захотели большего», и это, по мнению критика, отражается в жизни их чувств: «Аверьян не знал, что можно не спать ночами, что можно бредить и мечтать, думая о любимой женщине. И вдруг его настигла именно такая любовь, он переживает ее мучительно, радостно и страстно». «Вся прелесть в том,— вторит критик Н. Замошкин в своей статье той же поры,— что это рассказ о первой любви взрослого зрелого человека». На Марине он женился из жалости, «а теперь он не «жалеет», а любит. Это целый переворот, достойный того, чтобы быть достойным поэзии, изображения» (Крас-

ная новь, 1940, № 4, с. 212). Аверьян и Вавила — «сельские интеллигенты. В них нет «власти тьмы», нет и пейзанства. Чувствуя, как все сложно (семья!), они не форсируют событий» (там же, с. 213). И еще один важный момент отмечает в этой повести критик: «Как-то спокойно, по-хозяйски, по праву ощущает Тарасов природу, пейзаж, совершенно не очеловечивая его, не нуждаясь в этом» (там же, с. 214). Перекликается с ним и Б. Рагинский: «Природа в книге Тарасова — не самоцель. Это средство утверждения жизни... Люди похожи на природу и не оскорбляют, а дополняют ее своим присутствием», потому что они — «навсегда выпрямившиеся люди. Молодое поколение их никогда и не было согнутым» (Лит. газ., 1940, 20 марта).

Конечно, критика тридцатых годов даже в ее лучших образцах не свободна от издержек, наложенных временем. Но Александру Тарасову повезло: уже тогда по праву была оценена актуальность и художественная новизна его повестей и рассказов. «У Тарасова есть свое лицо, свой голос,— говорил Ю. Лукин.— В его творчестве много импрессионизма,— он, конечно, лирик, поэт. Он обладает хорошим умением изображать чистое, непосредственное чувство, то новое и свежее, что имеется в нашей жизни... Несомненно: перед нами художник с ясно выраженным темпераментом, со своим голосом, со своей особой складкой» (Лит. газ., 1941, 20 апреля). «В полном соответствии с описываемой природой и людьми Тарасов как писатель тоже медлителен, точен, солиден,— писал Н. Замошкин.— Цельность, единство изображаемого с изобразительными средствами — это и есть то, что накладывает на произведения Тарасова печать художественной силы и подлинности» (Красная новь, 1940, № 4, с. 206).

Своеобразие, подлинность, художественная сила — это те качества, которые дают право писателю остаться в литературе надолго. Верится, что такое право Александр Тарасов получил всею своей работой, всею своею жизнью.

Содержание

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ТАРАСОВ

БУДНИ

Повести и рассказы



Редактор
Л. КУЛЕШОВА

Художник
Б. ЛАВРОВ

Художественный редактор
Г. САЛЕНКОВ

Технический редактор
Г. КУЛИКОВА

Корректоры
Т. ЛЮБОРЕЦ, Г. ГОЛУБКОВА

ИБ № 3580

Сдано в набор 25.01.85. Подписано к печати 01.08.85. А13204. Формат 84×108 1/32 Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 22,79. Усл. кр.-отт 22,73. Уч.-изд. л. 25,48. Тираж 100 000 экз. Заказ № 194. Цена 2 р. 40 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомнздата РСФСР 170040, Калнннн, проспект 50-летия Октября, 46

2 р. 40 к.

«СОВРЕМЕННИК»